This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

UC-NRLF
B 3 962 143

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ
СОЧИНЕНІЙ
И. С. ТУРГЕНЕВА

въ 12 томахъ.

v. 2

ТОМЪ ВТОРОЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива" на 1898 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1898.

Gift of Professor Nel
Addi

Типографія А. Ф. Маркса, Ср. Подъяч., № 1.

PG 3420
A1
1898
v. 2
MAIN

ПРЕДИСЛОВІЕ АВТОРА

КЪ СОБРАНІЮ ЕГО РОМАНОВЪ, 1880 ГОДА *).

Рѣшившись въ предстоящемъ изданіи (1880 г.) помѣстить всѣ написанные мною романы—(Рудинъ, Дворянское гнѣздо, Наканунѣ, Отцы и Дѣти, Дымъ, Новь) въ послѣдовательномъ порядкѣ, считаю не лишнимъ объяснить, въ немногихъ словахъ, почему я это сдѣлалъ.—Мнѣ хотѣлось дать тѣмъ изъ моихъ читателей, которые возьмутъ на себя трудъ прочесть эти шесть романовъ сподрядъ, возможность наглядно убѣдиться, насколько справедливы критики, упрекавшіе меня въ измѣненіи однажды принятаго направленія, въ отступничествѣ и т. п. Мнѣ, напротивъ, кажется, что меня скорѣе можно упрекнуть въ излишнемъ постоянствѣ и какъ бы прямолинейности направленія. Авторъ «Рудина», написаннаго въ 1855-мъ году,—и авторъ «Нови», написаннаго въ 1876-мъ, является однимъ и тѣмъ же человѣкомъ. Въ теченіе всего этого времени, я стремился, насколько хватило силъ и умѣнія, добросовѣстно и безпристрастно изобразить и воплотить въ надлежащіе типы—и то, что Шекспиръ называетъ: the body and pressure of time **), и ту быстро измѣнявшуюся физіономію русскихъ людей культурнаго слоя, который преимущественно служилъ предметомъ моихъ наблюденій.—Насколько это мнѣ удалось—не мнѣ судить, но смѣю думать, что читатели не усомнятся теперь въ искренности и однородности моихъ стремленій.

Позволю себѣ прибавить нѣсколько краткихъ замѣчаній о каждомъ изъ этихъ шести романовъ, замѣчаній, не лишенныхъ, быть-можетъ, нѣкотораго интереса.

«Рудинъ», написанный мною въ деревнѣ, въ самый разгаръ крымской кампаніи, имѣлъ успѣхъ чисто-литературный не столько

*) Помѣщено въ томѣ III изданія 1880 года, и перепечатано въ томѣ I посмертнаго изданія.

**) «*Самый образъ и давленіе времени*».

M198175

въ самой редакціи «Современника», гдѣ онъ былъ помѣщенъ, сколько внѣ ея. Помнится, покойный Некрасовъ, выслушавъ мое чтеніе, сказалъ мнѣ: «ты затѣялъ что-то новое; но, между нами, по секрету, скученъ твой Рудинъ».—Правда, нѣсколько недѣль спустя, тотъ же Некрасовъ, говоря со мною о только-что написанной имъ поэмѣ: «Саша», замѣтилъ, что — «ты, молъ, увидишь, я въ ней до нѣкоторой степени подражаю твоему «Рудину»—но вѣдь ты не разсердишься».—Помню также, что меня очень изумило письмо Сенковскаго (барона Брамбеуса), котораго я чуждался, какъ вся тогдашняя молодая школа — и который отнесся къ «Рудину» съ великимъ сочувствіемъ.

«Дворянское гнѣздо» имѣло самый большой успѣхъ, который когда-либо выпалъ мнѣ на долю. Со времени появленія этого романа, я сталъ считаться въ числѣ писателей, заслуживающихъ вниманія публики.

Гораздо меньшій успѣхъ имѣло «Наканунѣ»—хотя ни одинъ изъ моихъ романовъ не вызвалъ столько статей въ журналахъ. (Самою выдающеюся была, конечно, статья Добролюбова.) — Покойный Н. Ф. Павловъ сильно раскритиковалъ меня—а другому, нынѣ также покойному критику, нѣкоему Дарагану, дали даже обѣдъ по подпискѣ въ благодарность за весьма строгую статью о «Наканунѣ», въ которой онъ особенно настаивалъ на безнравственности главныхъ дѣйствующихъ лицъ. Появилось нѣсколько эпиграммъ; одна острота особенно часто повторялась: мое произведеніе потому-де названо «Наканунѣ», что оно вышло наканунѣ хорошаго романа.

Прошу позволенія у читателей разсказать—именно по поводу этого «Наканунѣ»—небольшой эпизодъ изъ моей литературной жизни.

Почти весь 55-й годъ (такъ же какъ предшествовавшіе три года)—я безвыѣздно провелъ въ своей деревнѣ, во Мценскомъ уѣздѣ Орловской губерніи. Изъ числа моихъ сосѣдей самымъ мнѣ близкимъ человѣкомъ былъ нѣкто Василій Каратѣевъ, молодой помѣщикъ 25-ти лѣтъ. Каратѣевъ былъ романтикъ, энтузіастъ, большой любитель литературы и музыки, одаренный притомъ своеобразнымъ юморомъ, влюбчивый, впечатлительный и прямой. Онъ воспитывался въ московскомъ университетѣ и жилъ въ деревнѣ у своего отца, на котораго каждые три года находила хандра въ родѣ сумасшествія. У Каратѣева была сестра,—очень замѣчательное существо—которая тоже кончила сумасшествіемъ. Всѣ эти лица давно уже умерли; — оттого я такъ свободно говорю о нихъ. Каратѣевъ заставлялъ себя заниматься хозяйствомъ, въ которомъ ничего не смыслилъ — и осо[illegible]

любилъ чтеніе да разговоры съ людьми ему симпатичными. Такихъ людей оказывалось немного. Сосѣдямъ онъ не нравился за вольнодумство и насмѣшливый языкъ;—къ тому-жъ они боялись знакомить его съ своими дочерьми и женами, такъ какъ за нимъ упрочилась репутація—въ сущности вовсе имъ не заслуженная—репутація опаснаго волокиты. Ко мнѣ онъ ѣздилъ часто—и его посѣщенія доставляли мнѣ почти единственное развлеченіе и удовольствіе въ тогдашнюю, для меня не слишкомъ веселую, пору.

Когда настала крымская война и произошелъ рекрутскій наборъ на дворянство, названный ополченіемъ—не жаловавшіе Каратѣева дворяне нашего уѣзда, согласились, какъ говорится, упечь его—и выбрали въ офицеры этого самаго ополченія. Узнавъ о своемъ назначеніи, Каратѣевъ пріѣхалъ ко мнѣ. Меня тотчасъ поразилъ его разстроенный и встревоженный видъ. Первымъ его словомъ было: «я оттуда не вернусь; я этого не вынесу; я умру тамъ».—Здоровьемъ онъ похвалиться не могъ: грудь у него постоянно болѣла, и сложенія онъ былъ слабаго. Хотя я самъ боялся за него всѣхъ трудностей похода, однако я постарался разсѣять его мрачныя предчувствія и началъ увѣрять его, что не пройдетъ и года — и мы снова сойдемся въ нашемъ захолустьѣ, будемъ опять видѣться, толковать и спорить попрежнему. Но онъ упорно настаивалъ на своемъ—и послѣ довольно-продолжительной прогулки въ моемъ саду, вдругъ обратился ко мнѣ съ слѣдующими словами: «У меня есть до васъ просьба. Вы знаете, что я провелъ нѣсколько лѣтъ въ Москвѣ, но вы не знаете, что со мной произошла тамъ исторія, которая возбудила во мнѣ желаніе разсказать ее—и самому себѣ, и другимъ. Я попытался это сдѣлать; но я долженъ былъ убѣдиться, что у меня нѣтъ никакого литературнаго таланта—и все дѣло разрѣшилось тѣмъ, что я написалъ эту тетрадку, которую я передаю въ ваши руки». Сказавши это, онъ вынулъ изъ кармана небольшую тетрадку, страницъ въ пятнадцать. «Такъ какъ я увѣренъ», продолжалъ онъ: «несмотря на всѣ ваши дружескія утѣшенія, что я не вернусь изъ Крыма, то, будьте такъ добры, возьмите эти наброски и сдѣлайте изъ нихъ что-нибудь, что не пропало бы безслѣдно, какъ пропаду я!» — Я сталъ-было отказываться; но видя, что мой отказъ его огорчаетъ, далъ ему слово исполнить его волю, и въ тотъ же вечеръ, по отъѣздѣ Каратѣева, пробѣжалъ оставленную имъ тетрадку. Въ ней бѣглыми штрихами было намѣчено то, что составило потомъ содержаніе «Наканунѣ». Разсказъ, впрочемъ, не былъ доведенъ до конца и обрывался круто. Каратѣевъ, во время своего пребыва-

лія въ Москвѣ, влюбился въ одну дѣвушку, которая отвѣчала ему взаимностью; но, познакомившись съ болгариномъ Катрановымъ (лицомъ, какъ я узналъ впослѣдствіи, нѣкогда весьма извѣстнымъ и до сихъ поръ не забытымъ на своей родинѣ)—полюбила его и уѣхала съ нимъ въ Болгарію, гдѣ онъ вскорѣ умеръ.—Исторія этой любви была передана искренно—хотя неумѣло. Каратѣевъ, дѣйствительно, не былъ рожденъ литераторомъ. Одна только сцена, именно: поѣздка въ Царицыно, была набросана довольно живо—и я въ моемъ романѣ сохранилъ ея главныя черты. Правда, въ то время въ моей головѣ вращались другіе образы: я собирался писать «Рудина»; но та задача, которую я потомъ постарался выполнить въ «Наканунѣ», изрѣдка возникала передо мною. Фигура главной героини, Елены, тогда еще новаго типа въ русской жизни, довольно ясно обрисовывалась въ моемъ воображеніи; но недоставало героя, такого лица, которому Елена, при ея еще смутномъ, хотя сильномъ стремленіи къ свободѣ, могла предаться. Прочтя тетрадку Каратѣева, я невольно воскликнулъ: «вотъ тотъ герой, котораго я искалъ!»—Между тогдашними русскими такого еще не было. Когда на слѣдующій день я увидѣлъ Каратѣева, я не только подтвердилъ ему мое рѣшеніе исполнить его просьбу—но и поблагодарилъ его за то, что онъ вывелъ меня изъ затрудненія и внесъ лучъ свѣта въ мои, еще до тѣхъ поръ темныя, соображенія и измышленія. Каратѣевъ этому обрадовался и, повторивъ еще разъ: «не дайте этому всему умереть», — уѣхалъ на службу въ Крымъ, откуда онъ, къ глубокому моему сожалѣнью, не вернулся. Предчувствія его сбылись. Онъ умеръ отъ тифа на стоянкѣ близъ Гнилого-Моря, гдѣ было помѣщено — въ землянкахъ — наше орловское ополченіе, не видавшее во все время войны ни одного непріятеля и тѣмъ не менѣе потерявшее отъ различныхъ болѣзней около половины своихъ людей. Я, однако, отложилъ исполненіе своего обѣщанія: я занялся другой работой; кончивши «Рудина», — я принялся за «Дворянское гнѣздо»; и только зимою, съ 58-го на 59-й годъ, очутившись снова въ той же деревнѣ и въ той же обстановкѣ, какъ и во время моего знакомства съ Каратѣевымъ, я почувствовалъ, что уснувшія впечатлѣнія зашевелились; я отыскалъ, я перечелъ его тетрадку; отступившіе на второй планъ образы выступили снова на первый—и я тотчасъ же принялся за перо. Нѣкоторымъ изъ моихъ знакомыхъ тогда же стало извѣстнымъ все то, что я теперь разсказалъ;—но я считаю своей обязанностью нынѣ, при окончательномъ изданіи моихъ романовъ, подѣлиться этимъ и съ публикой, и тѣмъ *заплатить хотя позднюю* дань памяти моего бѣднаго молодого друга.

И вотъ какимъ образомъ болгаринъ сдѣлался героемъ моего романа. А гг. критики дружно упрекали меня въ дѣланности и безжизненности этого лица, удивлялись моей странной затѣѣ выбрать именно болгарина, спрашивали: почему? съ какой стати? какой смыслъ? — Ларчикъ просто открывался—но я не почелъ тогда нужнымъ входить въ дальнѣйшія объясненія.

Объ «Отцахъ и Дѣтяхъ», кажется, нѣтъ нужды говорить подробно: этому роману посвящена цѣлая глава моихъ «Литературныхъ и житейскихъ Воспоминаній». — Замѣчу одно: вотъ уже семнадцать лѣтъ прошло со времени появленія «Отцовъ и Дѣтей»; а, сколько можно судить, взглядъ критики на это произведеніе все еще не установился — и не далѣе какъ въ прошломъ году я, по поводу Базарова, могъ прочесть въ одномъ журналѣ, что я не что иное, какъ «баши-бузукъ, добивающій не имъ раненыхъ».—Правда, это сказалъ тотъ самый г. Антоновичъ, который, вскорѣ послѣ появленія «Отцовъ и Дѣтей», утверждалъ, что г. Аскоченскій предвосхитилъ содержаніе моего романа.

«Дымъ», хотя успѣхъ имѣлъ довольно значительный, однако возбудилъ противъ меня большое негодованье. Особенно сильны были упреки въ недостаткѣ патріотизма, въ оскорбленіи родного края и т. п. Опять появились эпиграммы. Самъ Ѳ. И. Тютчевъ—дружбой котораго я всегда гордился и горжусь донынѣ—счелъ нужнымъ написать стихотвореніе, въ которомъ оплакивалъ ложную дорогу, избранную мною. Оказалось, что я одинаково, хотя съ различныхъ точекъ зрѣнія, оскорбилъ и правую, и лѣвую сторону нашей читающей публики. Я нѣсколько усомнился въ самомъ себѣ и умолкъ на нѣкоторое время.

Что же касается до «Нови»—то, я полагаю, не для чего настаивать на томъ, какимъ дружнымъ осужденіемъ было встрѣчено это мое послѣднее, столь трудно доставшееся мнѣ произведеніе. За исключеніемъ двухъ, трехъ отзывовъ — писанныхъ, не печатныхъ,—я ни отъ кого не слышалъ ничего, кромѣ хулы. Сперва увѣряли, что я все это выдумалъ: что живя почти постоянно за границей, я потерялъ всякое пониманіе русской жизни, русскаго человѣка; что одно лишь мелкое самолюбіе да склонность къ популярничанью водили моимъ перомъ; одинъ журналистъ поспѣшилъ объявить, что всякій порядочный человѣкъ долженъ непремѣнно плюнуть на мою книгу и тутъ же попрать ее ногами *). А потомъ, послѣ извѣстнаго процесса,

*) Одинъ рецензентъ пошелъ еще далѣе. По поводу нѣкоторыхъ статей о переводахъ «Нови» — появившихся за границей, онъ произнесъ слѣдующее изреченіе: «пускай иностранцы о немъ статьи пишутъ; а мы даже плюнуть на него не хотимъ». — Экая скупость, подумаешь!

оправдавшаго бо̀льшую часть того, что̀ называли моими выдумками, судьи мои принялись толковать другое: будто я самъ чуть ли не участвовалъ въ тѣхъ неблагонамѣренныхъ замыслахъ, и ужъ конечно зналъ о нихъ, ибо въ противномъ случаѣ — какъ бы могъ я предвидѣть и предсказать заранѣе?! и т. д., и т. д.—Все это потомъ пришло понемногу въ равновѣсіе; и во время моего послѣдняго пребыванія въ Россіи, я могъ убѣдиться, что, не отступая отъ нѣкоторыхъ, несомнѣнно справедливыхъ обвиненій, главнымъ образомъ основанныхъ на моемъ удаленіи отъ родины, большинство моихъ соотечественниковъ не считаетъ мой послѣдній романъ вполнѣ безполезнымъ или вреднымъ, или достойнымъ одного презрѣнія.

Такъ и оправдались на мнѣ слова покойнаго Бѣлинскаго, которыя онъ часто любилъ повторять: «всякій человѣкъ рано или поздно попадаетъ въ свою по̀лочку».

«Was ist der langen Rede kurzer Sinn?»—Къ чему клонится вся эта рѣчь? спроситъ, пожалуй, иной читатель. — Во-первыхъ — къ оправданію того намѣренія, которое было выражено мною въ первыхъ же строкахъ настоящаго предисловія;— а во-вторыхъ, къ слѣдующему выводу, внушенному мнѣ многолѣтнимъ опытомъ: критика наша, особенно въ послѣднее время, не можетъ предъявить притязанія на непогрѣшимость — и тотъ писатель, кто слушается *ея одной*, — подвергается опасности испортить свое дарованіе. Главный ея грѣхъ состоитъ въ томъ, что она не свободна. Не могу кстати не высказать своего мнѣнія о «безсознательномъ и сознательномъ творчествѣ», о «предвзятыхъ идеяхъ и тенденціяхъ», о «пользѣ объективности, непосредственности и наивности» — обо всѣхъ этихъ «жалкихъ» словахъ, которыя, изъ какихъ бы авторитетныхъ устъ они ни исходили, всегда казались мнѣ общими мѣстами, ходячей риторической монетой, которая потому только не считается за фальшивую, что ее слишкомъ многіе принимаютъ за настоящую. Всякій писатель, *не лишенный таланта*—(это, конечно, первое условіе) — всякій писатель, говорю, старается прежде всего вѣрно и живо воспроизводить впечатлѣнія, вынесенныя имъ изъ собственной и чужой жизни, всякій читатель имѣетъ право судить, насколько онъ въ этомъ успѣлъ, и гдѣ ошибся;—но кто имѣетъ право указывать ему, какія именно впечатлѣнія годятся въ литературу, и какія нѣтъ? Коли онъ правдивъ — значитъ онъ правъ; а коли у него нѣтъ таланта—никакая «объективность» ему не поможетъ. У насъ теперь развелись сочинители, которые сами почитаютъ себя «безсознательными творцами» — и *выбираютъ все «жизненные»* сюжеты; а между тѣмъ насквозь

проникнуты именно этой злополучной «тенденціей». — Всѣмъ извѣстно изреченіе: *поэтъ мыслитъ образами;* это изреченіе совершенно неоспоримо и вѣрно,—но на какомъ основаніи? Вы, его критикъ и судья, дозволяете ему образно воспроизводить картину природы, что ли, народную жизнь, цѣльную натуру — (вотъ еще *жалкое* слово!); — а коснись онъ чего-нибудь смутнаго, психологически-сложнаго, даже болѣзненнаго—особенно если это не частный фактъ, а выдвинуто изъ глубины нѣдръ своихъ тою же самой народной, общественной жизнью, — вы кричите: стой! это никуда не годится, это — рефлексія, предвзятая идея, это — политика! публицистика!—Вы утверждаете, что у публициста и у поэта задачи разныя... Нѣтъ! онѣ могутъ быть совершенно одинаковы у обоихъ; только публицистъ смотритъ на нихъ глазами публициста, а поэтъ — глазами поэта. Въ дѣлѣ искусства вопросъ: какъ?—важнѣе вопроса: что? Если все отвергаемое вами—*образомъ,* замѣтьте: *образомъ*—ложится въ душу писателя — то съ какой стати вы заподазриваете его намѣренія, почему выталкиваете его вонъ изъ того храма, гдѣ на разубранныхъ алтаряхъ возсѣдаютъ жрецы «безсознательнаго» искусства— на алтаряхъ, передъ которыми курится ѳиміамъ, часто зажженный собственными руками этихъ самыхъ жрецовъ? — Повѣрьте: талантъ настоящій—никогда не служитъ постороннимъ цѣлямъ и въ самомъ себѣ находитъ удовлетвореніе; окружающая его жизнь даетъ ему содержаніе — онъ является ея *сосредоточеннымъ отраженіемъ;* но онъ такъ же мало способенъ написать панегирикъ, какъ и пасквиль... Въ концѣ-концовъ — это ниже его. Подчиниться заданной тэмѣ или проводить программу—могутъ только тѣ, которые другого, лучшаго не умѣютъ.

И. Т.

Парижъ.—Августъ, 1879.

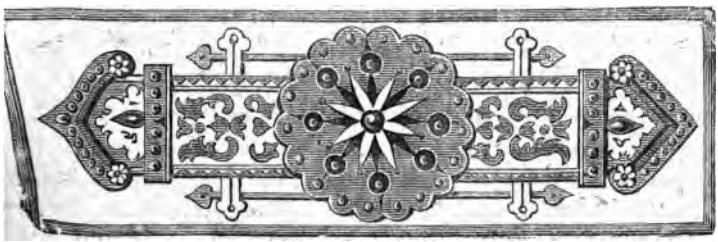
ОТЦЫ и ДѢТИ.

РОМАНЪ ВЪ XXVIII ГЛАВАХЪ.

ПОСВЯЩАЕТСЯ ПАМЯТИ

Виссаріона Григорьевича Бѣлинскаго.

(НАПИСАНО ВЪ 1861 ГОДУ).



I.

— Что̀, Петръ? не видать еще?—спрашивалъ, 20-го мая 1859 года, выходя безъ шапки на низкое крылечко постоялаго двора на *** шоссе, баринъ лѣтъ сорока съ небольшимъ, въ запыленномъ пальто и клѣтчатыхъ панталонахъ, у своего слуги, молодого и щекастаго малаго съ бѣловатымъ пухомъ на подбородкѣ и маленькими тусклыми глазенками.

Слуга, въ которомъ все: и бирюзовая сережка въ ухѣ, и напомаженные разноцвѣтные волосы, и учтивыя тѣлодвиженія, словомъ, все изобличало человѣка новѣйшаго, усовершенствованнаго поколѣнія, посмотрѣлъ снисходительно вдоль дороги и отвѣтствовалъ: „никакъ нѣтъ-съ, не видать".

— Не видать?—повторилъ баринъ.

— Не видать,—вторично отвѣтствовалъ слуга.

Баринъ вздохнулъ и присѣлъ на скамеечку. Познакомимъ съ нимъ читателя, пока онъ сидитъ, подогнувши подъ себя ножки и задумчиво поглядывая кругомъ.

Зовутъ его Николаемъ Петровичемъ Кирсановымъ. У него въ пятнадцати верстахъ отъ постоялаго дворика хорошее имѣніе въ двѣсти душъ, или, какъ онъ выражается, съ тѣхъ *поръ, какъ размежевался* съ крестьянами и завелъ

„ферму“,—въ двѣ тысячи десятинъ земли. Отецъ его, боевой генералъ 1812 года, полуграмотный, грубый, но не злой, русскій человѣкъ, всю жизнь свою тянулъ лямку, командовалъ сперва бригадой, потомъ дивизіей, и постоянно жилъ въ провинціи, гдѣ въ силу своего чина игралъ довольно значительную роль. Николай Петровичъ родился на югѣ Россіи, подобно старшему своему брату Павлу, о которомъ рѣчь впереди, и воспитывался до четырнадцатилѣтняго возраста дома, окруженный дешевыми гувернёрами, развязными, но подобострастными адъютантами и прочими полковыми и штабными личностями. Родительница его, изъ фамиліи Колязиныхъ, въ дѣвицахъ Agathe, а въ генеральшахъ Агаѳоклея Кузьминишна Кирсанова, принадлежала къ числу „матушекъ-командиршъ“, носила пышные чепцы и шумныя шелковыя платья, въ церкви подходила первая ко кресту, говорила громко и много, допускала дѣтей утромъ къ ручкѣ, на ночь ихъ благословляла,—словомъ, жила въ свое удовольствіе. Въ качествѣ генеральскаго сына, Николай Петровичъ—хотя не только не отличался храбростью, но даже заслужилъ прозвище трусишки — долженъ былъ, подобно брату Павлу, поступить въ военную службу; но онъ переломилъ себѣ ногу въ самый тотъ день, когда уже прибыло извѣстіе объ его опредѣленіи, и, пролежавъ два мѣсяца въ постели, на всю жизнь остался „хроменькимъ“. Отецъ махнулъ на него рукой и пустилъ его по штатской. Онъ повезъ его въ Петербургъ, какъ только ему минулъ восемнадцатый годъ, и помѣстилъ его въ университетъ. Кстати, братъ его о-ту пору вышелъ офицеромъ въ гвардейскій полкъ. Молодые люди стали жить вдвоемъ, на одной квартирѣ, подъ отдаленнымъ надзоромъ двоюроднаго дяди съ материнской стороны, Ильи Колязина, важнаго чиновника. Отецъ ихъ вернулся къ своей дивизіи и къ своей супругѣ, и лишь изрѣдка присылалъ сыновьямъ большія четвертушки сѣрой бумаги, испещренныя размашистымъ писарскимъ почеркомъ. На концѣ этихъ четвертушекъ красовались, старательно окруженныя „выкрутасами“ слова: „Піотръ Кирсановъ, генералъ-маіоръ“. Въ 1835 году Николай Петро-

вичъ вышелъ изъ университета кандидатомъ и въ томъ же году генералъ Кирсановъ, уволенный въ отставку за неудачный смотръ, пріѣхалъ въ Петербургъ съ женой на житье. Онъ нанялъ-было домъ у Таврическаго сада и записался въ англійскій клубъ, но внезапно умеръ отъ удара. Агаѳоклея Кузьминишна скоро за нимъ послѣдовала: она не могла привыкнуть къ глухой столичной жизни; тоска отставного существованія ее загрызла. Между тѣмъ, Николай Петровичъ успѣлъ, еще при жизни родителей и къ немалому ихъ огорченію, влюбиться въ дочку чиновника Преполовенскаго, бывшаго хозяина его квартиры, миловидную и, какъ говорится, развитую дѣвицу: она въ журналахъ читала серьезныя статьи въ отдѣлѣ „Наукъ". Онъ женился на ней, какъ только минулъ срокъ траура, и, покинувъ министерство удѣловъ, куда по протекціи отецъ его записалъ, блаженствовалъ со своею Машей сперва на дачѣ около Лѣсного института, потомъ въ городѣ, въ маленькой и хорошенькой квартирѣ, съ чистою лѣстницей и холодноватою гостиной, наконецъ — въ деревнѣ, гдѣ онъ поселился окончательно, и гдѣ у него въ скоромъ времени родился сынъ, Аркадій. Супруги жили очень хорошо и тихо: они почти никогда не разставались, читали вмѣстѣ, играли въ четыре руки на фортепіано, пѣли дуэты; она сажала цвѣты и наблюдала за птичнымъ дворомъ, онъ изрѣдка ѣздилъ на охоту и занимался хозяйствомъ, а Аркадій росъ да росъ—тоже хорошо и тихо. Десять лѣтъ прошло какъ сонъ. Въ 47-мъ году жена Кирсанова скончалась. Онъ едва вынесъ этотъ ударъ, посѣдѣлъ въ нѣсколько недѣль; собрался-было за границу, чтобы хотя немного разсѣяться... но тутъ насталъ 48-й годъ. Онъ поневолѣ вернулся въ деревню и послѣ довольно продолжительнаго бездѣйствія занялся хозяйственными преобразованіями. Въ 55-мъ году онъ повезъ сына въ университетъ; прожилъ съ нимъ три зимы въ Петербургѣ, почти никуда не выходя и стараясь заводить знакомства съ молодыми товарищами Аркадія. На послѣднюю зиму онъ пріѣхать не могъ, — и вотъ, мы видимъ его въ маѣ мѣсяцѣ *1859 года*, уже совсѣмъ сѣдого, пухленькаго

и немного сгорбленнаго: онъ ждетъ сына, получившаго, какъ нѣкогда онъ самъ, званіе кандидата.

Слуга, изъ чувства приличія, а можетъ-быть и не желая остаться подъ барскимъ глазомъ, зашелъ подъ ворота и закурилъ трубку. Николай Петровичъ поникъ головой и началъ глядѣть на ветхія ступеньки крылечка: крупный, пестрый цыпленокъ степенно расхаживалъ по нимъ, крѣпко стуча своими большими желтыми ногами; запачканная кошка недружелюбно посматривала на него, жеманно прикорнувъ на перила. Солнце пекло: изъ полутемныхъ сѣней постоялаго дворика несло запахомъ теплаго ржаного хлѣба. Замечтался нашъ Николай Петровичъ. „Сынъ... кандидатъ... Аркаша...“ безпрестанно вертѣлось у него въ головѣ; онъ пытался думать о чемъ-нибудь другомъ, и опять возвращались тѣ же мысли. Вспомнилась ему покойница-жена... „Не дождалась!“ шепнулъ онъ уныло... Толстый сизый голубь прилетѣлъ на дорогу и поспѣшно отправился пить въ лужицу возлѣ колодца. Николай Петровичъ сталъ глядѣть на него, а ухо его уже ловило стукъ приближающихся колесъ...

— Никакъ они ѣдутъ-съ,—доложилъ слуга, вынырнувъ изъ-подъ воротъ.

Николай Петровичъ вскочилъ и устремилъ глаза вдоль дороги. Показался тарантасъ, запряженный тройкой ямскихъ лошадей; въ тарантасѣ мелькнулъ околышъ студентской фуражки, знакомый очеркъ дорогого лица...

— Аркаша! Аркаша! — закричалъ Кирсановъ, и побѣжалъ, и замахалъ руками... Нѣсколько мгновеній спустя, его губы уже прильнули къ безбородой, запыленной и загорѣлой щекѣ молодого кандидата.

II.

— Дай же отряхнуться, папаша,—говорилъ нѣсколько сиплымъ отъ дороги, но звонкимъ юношескимъ голосомъ Аркадій, весело отвѣчая на отцовскія ласки:—я тебя всего запачкаю.

— *Ничего*, ничего,—твердилъ, умиленно улыбаясь, Ни*колай Петрович*ъ, и раза два ударилъ рукою по ворот—

у сыновней шинели и по собственному пальто. — По-
:и-ка себя, покажи-ка, — прибавилъ онъ, отодвигаясь,
отчасъ же пошелъ торопливыми шагами къ постоялому
ру, приговаривая: „вотъ сюда, сюда, да лошадей поскорѣе“.
Іиколай Петровичъ казался гораздо встревоженнѣе сво-
сына; онъ словно потерялся немного, словно оробѣлъ.
:адій остановилъ его.

– Папаша, — сказалъ онъ: — позволь познакомить тебя
моимъ добрымъ пріятелемъ, Базаровымъ, о которомъ я
ѣ такъ часто писалъ. Онъ такъ любезенъ, что согла-
:я погостить у насъ.

Іиколай Петровичъ быстро обернулся и, подойдя къ
эвѣку высокаго роста въ длинномъ балахонѣ съ ки-
ли, только-что вылѣзшему изъ тарантаса, крѣпко стис-
ъ его обнаженную, красную руку, которую тотъ не
ву ему подалъ.

– Душевно радъ, — началъ онъ: — и благодаренъ за доб-
намѣреніе посѣтить насъ; надѣюсь... позвольте узнать
е имя и отчество?

– Евгеній Васильевъ, — отвѣчалъ Базаровъ лѣнивымъ,
мужественнымъ голосомъ, и, отвернувъ воротникъ ба-
она, показалъ Николаю Петровичу все свое лицо. Длин-
и худое, съ широкимъ лбомъ, кверху плоскимъ, книзу
:треннымъ носомъ, большими зеленоватыми глазами и
ячими бакенбардами песочнаго цвѣта, оно оживлялось
хойной улыбкой и выражало самоувѣренность и умъ.

– Надѣюсь, любезнѣйшій Евгеній Васильичъ, что вы
соскучитесь у насъ, — продолжалъ Николай Петровичъ.
Тонкія губы Базарова чуть трбнулись, но онъ ничего
отвѣчалъ и только приподнялъ фуражку. Его темно-
:окурые волосы, длинные и густые, не скрывали круп-
къ выпуклостей просторнаго черепа.

– Такъ какъ же, Аркадій, — заговорилъ опять Николай
тровичъ, оборачиваясь къ сыну: — сейчасъ закладывать
шадей, что ли? Или вы отдохнуть хотите?

– Дома отдохнемъ, папаша; вели закладывать.

– Сейчасъ, сейчасъ, — подхватилъ отецъ. — Эй, Петръ,
ышишь? Распорядись, братецъ, поживѣе.

Петръ, который въ качествѣ усовершенствованнаго слу не подошелъ къ ручкѣ барича, а только издали пок нился ему, снова скрылся подъ воротами.

— Я здѣсь съ коляской, но и для твоего таранта есть тройка, — хлопотливо говорилъ Николай Петрович между тѣмъ какъ Аркадій пилъ воду изъ желѣзнаго ко шика, принесеннаго хозяйкой постоялаго двора, а Ба ровъ закурилъ трубку и подошелъ къ ямщику, отпряга шему лошадей: — только коляска двухмѣстная, и вотъ не знаю, какъ твой пріятель...

— Онъ въ тарантасѣ поѣдетъ, — перебилъ вполголо Аркадій. — Ты съ нимъ, пожалуйста, не церемонься. О чудесный малый, такой простой—ты увидишь.

Кучеръ Николая Петровича вывелъ лошадей.

— Ну, поворачивайся, толстобородый! — обратился Б заровъ къ ямщику.

— Слышь, Митюха,—подхватилъ другой, тутъ же ст явшій ямщикъ съ руками, засунутыми въ заднія прорѣ тулупа:—баринъ-то тебя какъ прозвалъ? Толстобородый есть.

Митюха только шапкой тряхнулъ и потащилъ вож съ потной коренной.

— Живѣй, живѣй, ребята, подсобляйте, — воскликну Николай Петровичъ:—на водку будетъ!

Въ нѣсколько минутъ лошади были заложены; отецъ ыномъ помѣстились въ коляскѣ; Петръ взобрался н козлы; Базаровъ вскочилъ въ тарантасъ, уткнулся голов въ кожаную подушку,—и оба экипажа покатили.

III.

— Такъ вотъ какъ, наконецъ ты кандидатъ и дом пріѣхалъ,—говорилъ Николай Петровичъ, потрогивая А кадія то по плечу, то по колѣну.—Наконецъ!

— А что дядя? здоровъ?—спросилъ Аркадій, которо несмотря на искреннюю, почти дѣтскую радость, его н полнявшую, хотѣлось поскорѣе перевести разговоръ настроенія взволнованнаго на обыденное.

— Здоровъ. Онъ хотѣлъ-было выѣхать со мной къ тебѣ навстрѣчу, да почему-то раздумалъ.

— А ты долго меня ждалъ?—спросилъ Аркадій.

— Да часовъ около пяти.

— Добрый папаша!

Аркадій живо повернулся къ отцу и звонко поцѣловалъ его въ щеку. Николай Петровичъ тихонько засмѣялся.

— Какую я тебѣ славную лошадь приготовилъ!—началъ онъ:—ты увидишь. И комната твоя оклеена обоями.

— А для Базарова комната есть?

— Найдется и для него.

— Пожалуйста, папаша, приласкай его. Я не могу тебѣ выразить, до какой степени я дорожу его дружбой.

— Ты недавно съ нимъ познакомился?

— Недавно.

— То-то прошлою зимой я его не видалъ. Онъ чѣмъ занимается?

— Главный предметъ его—естественныя науки. Да онъ все знаетъ. Онъ въ будущемъ году хочетъ держать на доктора.

— А! онъ по медицинскому факультету,—замѣтилъ Николай Петровичъ и помолчалъ. — Петръ,—прибавилъ онъ и протянулъ руку:—это, никакъ, наши мужики ѣдутъ?

Петръ глянулъ въ сторону, куда указывалъ баринъ. Нѣсколько телѣгъ, запряженныхъ разнузданными лошадьми, шибко катились по узкому проселку. Въ каждой телѣгѣ сидѣло по одному, много по два мужика въ тулупахъ нараспашку.

— Точно такъ-съ,—промолвилъ Петръ.

— Куда это они ѣдутъ, въ городъ, что̀ ли?

— Полагать надо, что въ городъ. Въ кабакъ,—прибавилъ онъ презрительно и слегка наклонился къ кучеру, какъ бы ссылаясь на него. Но тотъ даже не пошевельнулся: это былъ человѣкъ стараго закала, не раздѣлявшій новѣйшихъ воззрѣній.

— Хлопоты у меня большія съ мужиками въ нынѣшнемъ году, —продолжалъ Николай Петровичъ, обращаясь къ сыну.—Не платятъ оброка. Что̀ ты будешь дѣлать?

— А своими наемными работниками ты доволенъ?

— Да,—процѣдилъ сквозь зубы Николай Петровичъ.— Подбиваютъ ихъ, вотъ что бѣда; ну, и настоящаго старанія все еще нѣту. Сбрую портятъ. Пахали, впрочемъ, ни чего. Перемелется — мука будетъ. Да развѣ тебя теперь хозяйство занимаетъ?

— Тѣни нѣтъ у васъ, вотъ что горе,—замѣтилъ Аркадій, не отвѣчая на послѣдній вопросъ.

— Я съ сѣверной стороны надъ балкономъ большую маркизу придѣлалъ,—промолвилъ Николай Петровичъ:— теперь и обѣдать можно на воздухѣ.

— Что-то на дачу больно похоже будетъ... а впрочемъ, это все пустяки. Какой зато здѣсь воздухъ. Какъ славно пахнетъ! Право, мнѣ кажется, нигдѣ въ мірѣ такъ не пахнетъ, какъ въ здѣшнихъ краяхъ! Да и небо здѣсь...

Аркадій вдругъ остановился, бросилъ косвенный взглядъ назадъ и умолкъ.

— Конечно,—замѣтилъ Николай Петровичъ:—ты здѣсь родился, тебѣ все должно казаться здѣсь чѣмъ-то особеннымъ...

— Ну, папаша, это все равно, гдѣ бы человѣкъ ни родился.

— Однако...

— Нѣтъ, это совершенно все равно.

Николай Петровичъ посмотрѣлъ сбоку на сына, и коляска проѣхала съ полверсты, прежде чѣмъ разговоръ возобновился между ними.

— Не помню, писалъ ли я тебѣ,—началъ Николай Петровичъ:—твоя бывшая нянюшка, Егоровна, скончалась.

— Неужели? Бѣдная старуха! А Прокофьичъ живъ?

— Живъ и нисколько не измѣнился. Все такъ же брюзжитъ. Вообще ты большихъ перемѣнъ въ Марьинѣ не найдешь.

— Приказчикъ у тебя все тотъ же?

— Вотъ развѣ что приказчика я смѣнилъ. Я рѣшился не держать больше у себя вольноотпущенныхъ, бывшихъ дворовыхъ, или, по крайней мѣрѣ, не поручать имъ ни-

какихъ должностей, гдѣ есть отвѣтственность. (Аркадій указалъ глазами на Петра.) Il est libre, en effet,—замѣтилъ вполголоса Николай Петровичъ:—но вѣдь онъ—камердинеръ. Теперь у меня приказчикъ изъ мѣщанъ: кажется, дѣльный малый. Я ему назначилъ двѣсти пятьдесятъ рублей въ годъ. Впрочемъ,—прибавилъ Николай Петровичъ, потирая лобъ и брови рукою, что у него всегда служило признакомъ внутренняго смущенія: — я тебѣ сейчасъ сказалъ, что ты не найдешь перемѣнъ въ Марьинѣ... Это не совсѣмъ справедливо. Я считаю своимъ долгомъ предварить тебя, хотя...

Онъ запнулся на мгновенье и продолжалъ уже по-французски.

— Строгій моралистъ найдетъ мою откровенность неумѣстною, но, во-первыхъ, это скрыть нельзя, а во-вторыхъ, тебѣ извѣстно, у меня всегда были особенные принципы насчетъ отношеній отца къ сыну. Впрочемъ, ты, конечно, будешь въ правѣ осудить меня. Въ мои лѣта... Словомъ, эта... эта дѣвушка, про которую ты, вѣроятно, уже слышалъ...

— Ѳеничка?—развязно спросилъ Аркадій.

Николай Петровичъ покраснѣлъ.

— Не называй ея, пожалуйста, громко... Ну, да... она теперь живетъ у меня. Я ее помѣстилъ въ домѣ... тамъ были двѣ небольшія комнатки. Впрочемъ, это все можно перемѣнить.

— Помилуй, папаша, зачѣмъ?

— Твой пріятель у насъ гостить будетъ... неловко...

— Насчетъ Базарова ты, пожалуйста, не безпокойся. Онъ выше всего этого.

— Ну, ты, наконецъ, — проговорилъ Николай Петровичъ.—Флигелекъ-то плохъ—вотъ бѣда.

— Помилуй, папаша,—подхватилъ Аркадій:—ты какъ будто извиняешься; какъ тебѣ не совѣстно.

— Конечно, мнѣ должно быть совѣстно, — отвѣчалъ Николай Петровичъ, все болѣе и болѣе краснѣя.

— Полно, папаша, полно, сдѣлай одолженіе!—Аркадій ласково улыбнулся. „Въ чемъ извиняется!“ подумалъ онъ

про себя, и чувство снисходительной нѣжности къ доброму и мягкому отцу, смѣшанное съ ощущеніемъ какого-то тайнаго превосходства, наполнило его душу.—Перестань, пожалуйста, — повторилъ онъ еще разъ, невольно наслаждаясь сознаніемъ собственной развитости и свободы.

Николай Петровичъ глянулъ на него изъ-подъ пальцевъ руки, которою онъ продолжалъ тереть себѣ лобъ, и что-то кольнуло его въ сердце... Но онъ тутъ же обвинилъ себя.

— Вотъ это ужъ наши поля пошли,—проговорилъ онъ послѣ долгаго молчанія.

— А это впереди, кажется, нашъ лѣсъ? — спросилъ Аркадій.

— Да, нашъ. Только я его продалъ. Въ нынѣшнемъ году его свозить будутъ.

— Зачѣмъ ты его продалъ?

— Деньги были нужны; притомъ же эта земля отходитъ къ мужикамъ.

— Которые тебѣ оброка не платятъ?

— Это ужъ ихъ дѣло; а впрочемъ, — будутъ же они когда-нибудь платить.

— Жаль лѣса, — замѣтилъ Аркадій и сталъ глядѣть кругомъ.

Мѣста, по которымъ они проѣзжали, не могли назваться живописными. Поля, все поля, тянулись вплоть до самаго небосклона, то слегка вздымаясь, то опускаясь снова; кое-гдѣ виднѣлись небольшіе лѣса, и, усѣянные рѣдкимъ и низкимъ кустарникомъ, вились овраги, напоминая глазу ихъ собственное изображеніе на старинныхъ планахъ Екатерининскаго времени. Попадались и рѣчки съ обрытыми берегами, и крошечные пруды съ худыми плотинами, и деревеньки съ низкими избёнками подъ темными, часто до половины размётанными крышами, и покривившіеся молотильные сарайчики съ плетёными изъ хвороста стѣнами и зѣвающими воротищами возлѣ опустѣлыхъ гуменъ, и церкви, то кирпичныя съ отвалившеюся кое-гдѣ штукатуркой, то деревянныя съ наклонившимися крестами и разорёнными кладбищами. Сердце Аркадія

понемногу сжималось. Какъ нарочно, мужички встрѣчались все обтерханные, на плохихъ клячонкахъ; какъ нищіе въ лохмотьяхъ, стояли придорожныя ракиты съ ободранною корой и обломанными вѣтвями; исхудалыя, шершавыя, словно обглоданныя, коровы жадно щипали траву по канавамъ. Казалось, онѣ только что вырвались изъ чьихъ-то грозныхъ, смертоносныхъ когтей — и, вызванный жалкимъ видомъ обезсиленныхъ животныхъ, среди весенняго краснаго дня, вставалъ бѣлый призракъ безотрадной, безконечной зимы съ ея метелями, морозами и снѣгами... „Нѣтъ“, подумалъ Аркадій, „не богатый край этотъ, не поражаетъ онъ ни довольствомъ, ни трудолюбіемъ; нельзя, нельзя ему такъ остаться, преобразованія необходимы... но какъ ихъ исполнить, какъ приступить?..“

Такъ размышлялъ Аркадій... а пока онъ размышлялъ, весна брала свое. Все кругомъ золотисто зеленѣло, все широко и мягко волновалось и лоснилось подъ тихимъ дыханіемъ теплаго вѣтерка, все—деревья, кусты и травы; повсюду нескончаемыми, звонкими струйками заливались жаворонки; чибисы то кричали, вiясь надъ низменными лугами, то молча перебѣгали по кочкамъ; красиво чернѣя въ нѣжной зелени еще низкихъ яровыхъ хлѣбовъ, гуляли грачи; они пропадали во ржи, уже слегка побѣлѣвшей, лишь изрѣдка выказывались ихъ головы въ дымчатыхъ ея волнахъ. Аркадій глядѣлъ, глядѣлъ, и понемногу ослабѣвая, исчезали его размышленія... Онъ сбросилъ съ себя шинель, и такъ весело, такимъ молоденькимъ мальчикомъ посмотрѣлъ на отца, что тотъ опять его обнялъ.

— Теперь ужъ недалеко,—замѣтилъ Николай Петровичъ: — вотъ стòитъ только на эту горку подняться, и домъ будетъ виденъ. Мы заживемъ съ тобой на славу, Аркаша; ты мнѣ помогать будешь по хозяйству, если только это тебѣ не наскучитъ. Намъ надобно теперь тѣсно сойтись другъ съ другомъ, узнать другъ друга хорошенько, не правда ли?

— Конечно,—промолвилъ Аркадій:—но что̀ за чудный день сегодня!

— Для твоего *пріѣзда*, душа моя. Да, весна въ пол-

номъ блескѣ. А впрочемъ, я согласенъ съ Пушкинымъ помнишь, въ Евгеніи Онѣгинѣ:

Какъ грустно мнѣ твое явленье,
Весна, весна, пора любви!
Какое...

— Аркадій!—раздался изъ тарантаса голосъ Базарова: пришли мнѣ спичку, нечѣмъ трубку раскурить.

Николай Петровичъ умолкъ, а Аркадій, который н чалъ-было слушать его не безъ нѣкотораго изумленія, и не безъ сочувствія, поспѣшилъ достать изъ карма серебряную коробочку со спичками и послалъ ее Ба рову съ Петромъ.

— Хочешь сигарку?—закричалъ опять Базаровъ.

— Давай,—отвѣчалъ Аркадій.

Петръ вернулся къ коляскѣ и вручилъ ему вмѣстѣ коробочкой толстую, черную сигарку, которую Арка немедленно закурилъ, распространяя вокругъ себя та крѣпкій и кислый запахъ заматерѣлаго табаку, что Н колай Петровичъ, отроду не курившій, поневолѣ, х незамѣтно, чтобы не обидѣть сына, отворачивалъ носъ

Четверть часа спустя оба экипажа остановились пер крыльцомъ новаго деревяннаго дома, выкрашеннаго сѣр краской и покрытаго желѣзною, красною крышей. Эт было Марьино, Новая-Слободка тожъ, или по кресть скому наименованью, Бобылій-Хуторъ.

IV.

Толпа дворовыхъ не высыпала на крыльцо встрѣч господъ; показалась всего одна дѣвочка лѣтъ двѣнадца а вслѣдъ за ней вышелъ изъ дому молодой парень, оч похожій на Петра, одѣтый въ сѣрую ливрейную кур съ бѣлыми гербовыми пуговицами, слуга Павла Пет вича Кирсанова. Онъ молча отворилъ дверцу коляски отстегнулъ фартукъ тарантаса. Николай Петровичъ сыномъ и съ Базаровымъ отправились черезъ темнук почти пустую залу, изъ-за двери которой мелькнуло лодое женское лицо, въ гостиную, убранную уже въ *вѣйшемъ вкусѣ.*

— Вотъ мы и дома,—промолвилъ Николай Петровичъ, снимая картузъ и встряхивая волосами. — Главное, надо теперь поужинать и отдохнуть.

— Поѣсть, дѣйствительно, не худо,—замѣтилъ потягиваясь Базаровъ и опустился на диванъ.

— Да, да, ужинать давайте, ужинать поскорѣе. — Николай Петровичъ безъ всякой видимой причины потопалъ ногами.—Вотъ кстати и Прокофьичъ.

Вошелъ человѣкъ лѣтъ шестидесяти, бѣловолосый, худой и смуглый, въ коричневомъ фракѣ съ мѣдными пуговицами и въ розовомъ платочкѣ на шеѣ. Онъ осклабился, подошелъ къ ручкѣ къ Аркадію, и, поклонившись гостю, отступилъ къ двери и положилъ руки за спину.

— Вотъ онъ, Прокофьичъ, — началъ Николай Петровичъ: — пріѣхалъ къ намъ наконецъ... Что̀? какъ ты его находишь?

— Въ лучшемъ видѣ-съ,—проговорилъ старикъ и осклабился опять, но тотчасъ же нахмурилъ свои густыя брови.— На столъ накрывать прикажете?—проговорилъ онъ внушительно.

— Да, да, пожалуйста. Но не пройдете ли вы сперва въ вашу комнату, Евгеній Васильичъ?

— Нѣтъ, благодарствуйте, не зачѣмъ. Прикажите только чемоданишко мой туда стащить, да вотъ эту одежёнку,— прибавилъ онъ, снимая съ себя свой балахонъ.

— Очень хорошо. Прокофьичъ, возьми же ихъ шинель. (Прокофьичъ, какъ бы съ недоумѣніемъ, взялъ обѣими руками базаровскую „одежёнку“ и, высоко поднявъ ее надъ головою, удалился на цыпочкахъ.) А ты, Аркадій, пойдешь къ себѣ на минутку?

— Да, надо почиститься,—отвѣчалъ Аркадій и направился-было къ дверямъ, но въ это мгновеніе вошелъ въ гостиную человѣкъ средняго роста, одѣтый въ темный англійскій *сьютъ*, модный низенькій галстукъ и лайковые полусапожки, Павелъ Петровичъ Кирсановъ. На видъ ему было лѣтъ сорокъ пять: его коротко остриженные, сѣдые волосы отливали темнымъ блескомъ, какъ новое серебро; лицо его, желчное, но безъ морщинъ, не-

обыкновенно правильное и чистое, словно выведенное тонкимъ и легкимъ рѣзцомъ, являло слѣды красоты замѣчательной: особенно хороши были свѣтлые, черные, продолговатые глаза. Весь обликъ Аркадіева дяди, изящный и породистый, сохранилъ юношескую стройность и то стремленіе вверхъ, прочь отъ земли, которое большею частью исчезаетъ послѣ двадцатыхъ годовъ.

Павелъ Петровичъ вынулъ изъ кармана панталонъ свою красивую руку съ длинными розовыми ногтями, руку, казавшуюся еще красивѣй отъ снѣжной бѣлизны рукавчика, застегнутаго одинокимъ, крупнымъ опаломъ, и подалъ ее племяннику. Совершивъ предварительно европейское „shake hands“, онъ три раза, по-русски, поцѣловался съ нимъ, то-есть, три раза прикоснулся своими душистыми усами до его щекъ, и проговорилъ:

— Добро пожаловать.

Николай Петровичъ представилъ его Базарову: Павелъ Петровичъ слегка наклонилъ свой гибкій станъ и слегка улыбнулся, но руки не подалъ и даже положилъ ее обратно въ карманъ.

— Я уже думалъ, что вы не пріѣдете сегодня,—заговорилъ онъ пріятнымъ голосомъ, любезно покачиваясь, подергивая плечами и показывая прекрасные бѣлые зубы.— Развѣ что̀ на дорогѣ случилось?

— Ничего не случилось, — отвѣчалъ Аркадій: — такъ, замѣшкались немного. Зато мы теперь голодны, какъ волки. Поторопи Прокофьича, папаша, а я сейчасъ вернусь.

— Постой, я съ тобой пойду,—воскликнулъ Базаровъ, внезапно порываясь съ дивана. Оба молодые человѣка вышли.

— Кто сей?—спросилъ Павелъ Петровичъ.

— Пріятель Аркаши, очень, по его словамъ, умный человѣкъ.

— Онъ у насъ гостить будетъ?

— Да.

— *Этотъ* волосатый?

— *Ну, да.*

Павелъ Петровичъ постучалъ ногтями по столу:

— Я нахожу, что Аркадій s'est dégourdi, — замѣтилъ онъ.—Я радъ его возвращенію.

За ужиномъ разговаривали мало. Особенно Базаровъ почти ничего не говорилъ, но ѣлъ много. Николай Петровичъ разсказывалъ разные случаи изъ своей, какъ онъ выражался, фермерской жизни, толковалъ о предстоящихъ правительственныхъ мѣрахъ, о комитетахъ, о депутатахъ, о необходимости заводить машины и т. д. Павелъ Петровичъ медленно похаживалъ взадъ и впередъ по столовой (онъ никогда не ужиналъ), изрѣдка отхлёбывая изъ рюмки, наполненной краснымъ виномъ, и еще рѣже произнося какое-нибудь замѣчаніе или скорѣе восклицаніе, въ родѣ „а! эге! гм!“ Аркадій сообщилъ нѣсколько петербургскихъ новостей, но онъ ощущалъ небольшую неловкость, ту неловкость, которая обыкновенно овладѣваетъ молодымъ человѣкомъ, когда онъ только-что пересталъ быть ребенкомъ и возвратился въ мѣсто, гдѣ привыкли видѣть и считать его ребенкомъ. Онъ безъ нужды растягивалъ свою рѣчь, избѣгалъ слова „папаша“ и даже разъ замѣнилъ его словомъ „отецъ“, произнесеннымъ, правда, сквозь зубы; съ излишнею развязностью налилъ себѣ въ стаканъ гораздо больше вина, чѣмъ самому хотѣлось, и выпилъ все вино. Прокофьичъ не спускалъ съ него глазъ и только губами пожевывалъ. Послѣ ужина всѣ тотчасъ разошлись.

— А чудаковатъ у тебя дядя,—говорилъ Аркадію Базаровъ, сидя въ халатѣ возлѣ его постели и насасывая короткую трубочку.—Щегольство какое въ деревнѣ, подумаешь! Ногти-то, ногти, хоть на выставку посылай!

— Да вѣдь ты не знаешь,—отвѣтилъ Аркадій:—вѣдь онъ львомъ былъ въ свое время. Я когда-нибудь разскажу тебѣ его исторію. Вѣдь онъ красавцемъ былъ, голову кружилъ женщинамъ.

— Да, вотъ что! По старой, значитъ, памяти. Плѣнять-то здѣсь, жаль, некого. Я все смотрѣлъ: этакіе у него удивительные воротнички, точно каменные, и подбородокъ такъ аккуратно выбритъ. Аркадій Николаичъ, вѣдь это смѣшно?

— Пожалуй; только онъ, право, хорошій человѣкъ.

— Архаическое явленіе! А отецъ у тебя славный малый. Стихи онъ напрасно читаетъ, и въ хозяйствѣ врядъ ли смыслитъ, но онъ добрякъ.

— Отецъ у меня золотой человѣкъ.

— Замѣтилъ ли ты, что онъ робѣетъ?

Аркадій качнулъ головою, какъ будто онъ самъ не робѣлъ.

— Удивительное дѣло, — продолжалъ Базаровъ: — эти старенькіе романтики! Разовьютъ въ себѣ нервную систему до раздраженія... ну, равновѣсіе и нарушено. Однако, прощай! Въ моей комнатѣ англійскій рукомойникъ, а дверь не запирается. Все-таки это поощрять надо—англійскіе рукомойники, то-есть, прогрессъ!

Базаровъ ушелъ, а Аркадіемъ овладѣло радостное чувство. Сладко засыпать въ родимомъ домѣ, на знакомой постели, подъ одѣяломъ, надъ которымъ трудились любимыя руки, быть-можетъ, руки нянюшки, тѣ ласковыя, добрыя и неутомимыя руки. Аркадій вспомнилъ Егоровну, и вздохнулъ, и пожелалъ ей царствія небеснаго... О себѣ онъ не молился.

И онъ, и Базаровъ заснули скоро, но другія лица въ домѣ долго еще не спали. Возвращеніе сына взволновало Николая Петровича. Онъ легъ въ постель, но не загасилъ свѣчки и, подперши рукою голову, думалъ долгія думы. Братъ его сидѣлъ далеко за полночь въ своемъ кабинетѣ, на широкомъ гамбсовомъ креслѣ, передъ каминомъ, въ которомъ слабо тлѣлъ каменный уголь. Павелъ Петровичъ не раздѣлся, только китайскія красныя туфли безъ задковъ смѣнили на его ногахъ лаковые полусапожки. Онъ держалъ въ рукахъ послѣдній нумеръ *Galignani*, но онъ не читалъ; онъ глядѣлъ пристально въ каминъ, гдѣ, то замирая, то вспыхивая, вздрагивало голубоватое пламя... Богъ знаетъ, гдѣ бродили его мысли, но не въ одномъ только прошедшемъ бродили онѣ: выраженіе его лица было сосредоточенно и угрюмо, чего не бываетъ, когда человѣкъ занятъ одними воспоминаніями. А въ маленькой задней комнатѣ, на большомъ сундукѣ, сидѣла, въ голу-

бой душегрѣйкѣ и съ наброшеннымъ бѣлымъ платкомъ на темныхъ волосахъ, молодая женщина, Ѳеничка, и, то прислушивалась, то дремала, то посматривала на растворенную дверь, изъ-за которой виднѣлась дѣтская кроватка и слышалось ровное дыханіе спящаго ребенка.

V.

На другое утро Базаровъ раньше всѣхъ проснулся и вышелъ изъ дома. „Эге!“ подумалъ онъ, посмотрѣвъ кругомъ, „мѣстечко-то не казисто“. Когда Николай Петровичъ размежевался съ своими крестьянами, ему пришлось отвести подъ новую усадьбу десятины четыре совершенно ровнаго и голаго поля. Онъ построилъ домъ, службы и ферму, разбилъ садъ, выкопалъ прудъ и два колодца; но молодыя деревца плохо принимались, въ прудѣ воды набралось очень мало, и колодцы оказались солонковатаго вкуса. Одна только бесѣдка изъ сиреней и акацій порядочно разрослась; въ ней иногда пили чай и обѣдали. Базаровъ въ нѣсколько минутъ обѣгалъ всѣ дорожки сада, зашелъ на скотный дворъ, на конюшню, отыскалъ двухъ дворовыхъ мальчишекъ, съ которыми тотчасъ свелъ знакомство, и отправился съ ними въ небольшое болотце, съ версту отъ усадьбы, за лягушками.

— На что̀ тебѣ лягушки, баринъ?—спросилъ его одинъ изъ мальчиковъ.

— А вотъ на что̀, — отвѣчалъ ему Базаровъ, который владѣлъ особеннымъ умѣньемъ возбуждать къ себѣ довѣріе въ людяхъ низшихъ, хотя онъ никогда не потакалъ имъ и обходился съ ними небрежно: — я лягушку распластаю, да посмотрю, что̀ у нея тамъ внутри дѣлается; а такъ какъ мы съ тобой тѣ же лягушки, только что на ногахъ ходимъ, я и буду знать, что̀ и у насъ внутри дѣлается.

— Да на что тебѣ это?

— А чтобы не ошибиться, если ты занеможешь, и мнѣ тебя лѣчить придется.

— Развѣ ты дохтуръ?

— Да.

— Васька, слышь, баринъ говоритъ, что мы съ тобой тѣ же лягушки. Чудно̀!

— Я ихъ боюсь, лягушекъ-то,—замѣтилъ Васька, мальчикъ лѣтъ семи, съ бѣлою какъ лёнъ головою, въ сѣромъ казакинѣ съ стоячимъ воротникомъ, и босо́й.

— Чего бояться? развѣ онѣ кусаются?

— Ну, полѣзайте въ воду, фило́софы, — промолвилъ Базаровъ.

Между тѣмъ, Николай Петровичъ тоже проснулся и отправился къ Аркадію, котораго засталъ одѣтымъ. Отецъ и сынъ вышли на террасу подъ навѣсъ маркизы; возлѣ перилъ, на столѣ, между большими букетами сирени, уже кипѣлъ самоваръ. Явилась дѣвочка, та самая, которая наканунѣ первая встрѣтила пріѣзжихъ на крыльцѣ, и тонкимъ голосомъ проговорила:

— Ѳедосья Николавна не совсѣмъ здоровы, придти не могутъ; приказали васъ спросить, вамъ самимъ угодно разлить чай, или прислать Дуняшу?

— Я самъ разолью, самъ, — поспѣшно подхвати́лъ Николай Петровичъ. — Ты, Аркадій, съ чѣмъ пьешь чай, со сливками или съ лимономъ?

— Со сливками, — отвѣчалъ Аркадій и, помолчавъ немного, вопросительно произнесъ:—папаша?

Николай Петровичъ съ замѣша́тельствомъ посмотрѣлъ на сына.

— Что̀?—промолвилъ онъ.

Аркадій опустилъ глаза.

— Извини, папаша, если мой вопросъ тебѣ покажется неумѣстнымъ, — началъ онъ: — но ты самъ, вчерашнею своею откровенностью, меня вызываешь на откровенность... ты не разсердишься?..

— Говори.

— Ты мнѣ даешь смѣлость спросить тебя... Не отъ того ли Ѳен... не оттого ли она не приходитъ сюда чай разливать, что я здѣсь?

Николай Петровичъ слегка отвернулся.

— Можетъ-быть, — проговорилъ онъ наконецъ: — она *предполагаетъ...* она стыдится...

Аркадій быстро вскинулъ глаза на отца.

— Напрасно жъ она стыдится. Во-первыхъ, тебѣ извѣстенъ мой образъ мыслей (Аркадію очень было пріятно произнести эти слова), а во-вторыхъ — захочу ли я хоть на волосъ стѣснять твою жизнь, твои привычки? Притомъ, я увѣренъ, ты не могъ сдѣлать дурной выборъ; если ты позволилъ ей жить съ тобой подъ одною кровлей, стало-быть она это заслуживаетъ: во всякомъ случаѣ, сынъ отцу не судья, и въ особенности я, и въ особенности такому отцу, который, какъ ты, никогда и ни въ чемъ не стѣснялъ моей свободы.

Голосъ Аркадія дрожалъ сначала: онъ чувствовалъ себя великодушнымъ, однако въ то же время понималъ, что читаетъ нѣчто въ родѣ наставленія своему отцу; но звукъ собственныхъ рѣчей сильно дѣйствуетъ на человѣка, и Аркадій произнесъ послѣднія слова твердо, даже съ эффектомъ.

— Спасибо, Аркаша, — глухо заговорилъ Николай Петровичъ, и пальцы его опять заходили по бровямъ и по лбу. — Твои предположенія дѣйствительно справедливы. Конечно, если бъ эта дѣвушка не стоила... Это не легкомысленная прихоть. Мнѣ нелегко говорить съ тобой объ этомъ; но ты понимаешь, что ей трудно было придти сюда, при тебѣ, особенно въ первый день твоего пріѣзда.

— Въ такомъ случаѣ я самъ пойду къ ней,—воскликнулъ Аркадій съ новымъ приливомъ великодушныхъ чувствъ, и вскочилъ со стула. — Я ей растолкую, что ей нечего меня стыдиться.

Николай Петровичъ тоже всталъ.

— Аркадій,—началъ онъ:—сдѣлай одолженіе... какъ же можно... тамъ... Я тебя не предварилъ...

Но Аркадій уже не слушалъ его и убѣжалъ съ террасы. Николай Петровичъ посмотрѣлъ ему вслѣдъ и въ смущеньи опустился на стулъ. Сердце его забилось... Представилась ли ему въ это мгновеніе неизбѣжная странность будущихъ отношеній между имъ и сыномъ, сознавалъ ли онъ, что едва ли не большее бы уваженіе оказалъ ему *Аркадій, если* бъ онъ вовсе не касался этого

дѣла, упрекалъ ли онъ самого себя въ слабости—сказать трудно; всѣ эти чувства были въ немъ, но въ видѣ ощущеній—и то неясныхъ; а съ лица не сходила краска, и сердце билось.

Послышались торопливые шаги, и Аркадій вошелъ на террасу.

— Мы познакомились, отецъ! — воскликнулъ онъ съ выраженіемъ какого-то ласковаго и добраго торжества на лицѣ. — Ѳедосья Николаевна, точно, сегодня не совсѣмъ здорова и придетъ попозже. Но какъ же ты не сказалъ мнѣ, что у меня есть братъ? Я бы уже вчера вечеромъ его расцѣловалъ, какъ я сейчасъ расцѣловалъ его.

Николай Петровичъ хотѣлъ что-то вымолвить, хотѣлъ подняться и раскрыть объятія... Аркадій бросился ему на шею.

— Что́ это? опять обнимаетесь? — раздался сзади ихъ голосъ Павла Петровича.

Отецъ и сынъ одина́ково обрадовались появленію его въ эту минуту; бываютъ положенія трогательныя, изъ которыхъ все-таки хочется поскорѣе выйти.

— Чему жъ ты удивляешься? — весело заговорилъ Николай Петровичъ.—Въ кои-то вѣки дождался я Аркаши... Я со вчерашняго дня и насмотрѣться на него не успѣлъ.

— Я вовсе не удивляюсь, — замѣтилъ Павелъ Петровичъ:—я даже самъ не прочь съ нимъ обняться.

Аркадій подошелъ къ дядѣ и снова почувствовалъ на щекахъ своихъ прикоснове́ніе его душистыхъ усовъ. Павелъ Петровичъ присѣлъ къ столу. На немъ былъ изящный утренній, въ англійскомъ вкусѣ, костюмъ; на головѣ красовалась маленькая феска. Эта феска и небрежно повязанный галстучекъ намекали на свободу деревенской жизни; но тугіе воротнички рубашки, правда, не бѣлой, а пестренькой, какъ оно и слѣдуетъ для утренняго туалета, съ обычною неумолимостью упирались въ выбритый подбородокъ.

— Гдѣ же новый твой пріятель? — спросилъ онъ Аркадія.

— *Его дома* нѣтъ; онъ обыкновенно встаетъ рано и

отправляется куда-нибудь. Главное, не надо обращать на него вниманія: онъ церемоній не любитъ.

— Да, это замѣтно.—Павелъ Петровичъ началъ, не торопясь, намазывать масло на хлѣбъ.—Долго онъ у насъ прогоститъ?

— Какъ придется. Онъ заѣхалъ сюда по дорогѣ къ отцу.

— А отецъ его гдѣ живетъ?

— Въ нашей же губерніи, верстъ восемьдесятъ отсюда. У него тамъ небольшое имѣньице. Онъ былъ прежде полковымъ докторомъ.

— Тэ-тэ-тэ-тэ... То-то я все себя спрашивалъ: гдѣ слышалъ я эту фамилію: Базаровъ?.. Николай, помнится, въ батюшкиной дивизіи былъ лѣкарь Базаровъ?

— Кажется, былъ.

— Точно, точно. Такъ этотъ лѣкарь его отецъ. Гм!— Павелъ Петровичъ повелъ усами.—Ну, а самъ господинъ Базаровъ собственно что̀ такое?—спросилъ онъ съ разстановкой.

— Что̀ такое Базаровъ?—Аркадій усмѣхнулся.—Хотите, дядюшка, я вамъ скажу, что̀ онъ собственно такое?

— Сдѣлай одолженіе, племянничекъ.

— Онъ нигилистъ.

— Какъ?—спросилъ Николай Петровичъ, а Павелъ Петровичъ поднялъ на воздухѣ ножъ съ кускомъ масла на концѣ лезвія, и остался неподвиженъ.

— Онъ нигилистъ,—повторилъ Аркадій.

— Нигилистъ,—проговорилъ Николай Петровичъ.—Это отъ латинскаго *nihil*, *ничего*, сколько я могу судить; стало быть, это слово означаетъ человѣка, который... который ничего не признаетъ?

— Скажи: который ничего не уважаетъ, — подхватилъ Павелъ Петровичъ, и снова принялся за масло.

— Который ко всему относится съ критической точки зрѣнія,—замѣтилъ Аркадій.

— А это не все равно?—спросилъ Павелъ Петровичъ.

— Нѣтъ, не все равно. Нигилистъ, это человѣкъ, который не склоняется ни передъ какими авторитетами, ко-

торый не принимаетъ ни одного принципа на вѣру, какимъ бы уваженіемъ ни былъ окруженъ этотъ принципъ.

— И что жъ, это хорошо? — перебилъ Павелъ Петровичъ.

— Смотря какъ кому, дядюшка. Иному отъ этого хорошо, а иному очень дурно.

— Вотъ какъ. Ну, это, я вижу, не по нашей части. Мы, люди стараго вѣка, мы полагаемъ, что безъ принсйповъ (Павелъ Петровичъ выговаривалъ это слово мягко, на французскій манеръ. Аркадій, напротивъ, произносилъ „прынципъ, налегая на первый слогъ), безъ принсйповъ принятыхъ, какъ ты говоришь, на вѣру, шагу ступить, дохнуть нельзя. Vous avez changé tout cela, дай вамъ Богъ здоровья и генеральскій чинъ, а мы только любоваться будемъ, господа... какъ бишь?

— Нигилисты,—отчетливо проговорилъ Аркадій.

— Да. Прежде были гегелисты, а теперь нигилисты. Посмотримъ, какъ вы будете существовать въ пустотѣ, въ безвоздушномъ пространствѣ; а теперь позвони-ка, пожалуйста, братъ, Николай Петровичъ, мнѣ пора пить мой какао.

Николай Петровичъ позвонилъ и закричалъ: „Дуняша!“ Но вмѣсто Дуняши на террасу вышла сама Ѳеничка. Это была молодая женщина лѣтъ двадцати-трехъ, вся бѣленькая и мягкая, съ темными волосами и глазами, съ красными, дѣтски-пухлявыми губками и нѣжными ручками. На ней было опрятное ситцевое платье; голубая новая косынка легко лежала на ея круглыхъ плечахъ. Она несла большую чашку какао и, поставивъ ее передъ Павломъ Петровичемъ, вся застыдилась: горячая кровь разлилась алою волной подъ тонкою кожицей ея миловиднаго лица. Она опустила глаза и остановилась у стола, слегка опираясь на самые кончики пальцевъ. Казалось, ей и совѣстно было, что она пришла, и въ то же время она какъ будто чувствовала, что имѣла право придти.

Павелъ Петровичъ строго нахмурилъ брови, а Николай Петровичъ смутился.

— *Здравствуй*, Ѳеничка,—проговорилъ онъ сквозь зубы.

— Здравствуйте-съ, — отвѣтила она не громкимъ, но звучнымъ голосомъ и, глянувъ искоса на Аркадія, который дружелюбно ей улыбался, тихонько вышла. Она ходила немножко въ развалку, но и это къ ней пристало.

На террасѣ въ теченіе нѣсколькихъ мгновеній господствовало молчаніе. Павелъ Петровичъ похлебывалъ свой какао, и вдругъ поднялъ голову.

— Вотъ и господинъ нигилистъ къ намъ жалуетъ,— промолвилъ онъ вполголоса.

Дѣйствительно, по саду, шагая черезъ клумбы, шелъ Базаровъ. Его полотняное пальто и панталоны были запачканы въ грязи; цѣпкое болотное растеніе обвивало тулью его старой, круглой шляпы; въ правой рукѣ онъ держалъ небольшой мѣшокъ; въ мѣшкѣ шевелилось что-то живое. Онъ быстро приблизился къ террасѣ и, качнувъ головою, промолвилъ:

— Здравствуйте, господа; извините, что опоздалъ къ чаю; сейчасъ вернусь; надо вотъ этихъ плѣнницъ къ мѣсту пристроить.

— Что это у васъ, піявки? — спросилъ Павелъ Петровичъ.

— Нѣтъ, лягушки.

— Вы ихъ ѣдите—или разводите?

— Для опытовъ,—равнодушно проговорилъ Базаровъ и ушелъ въ домъ.

— Это онъ ихъ рѣзать станетъ,—замѣтилъ Павелъ Петровичъ.—Въ принципы не вѣритъ, а въ лягушекъ вѣритъ.

Аркадій съ сожалѣніемъ посмотрѣлъ на дядю; Николай Петровичъ украдкой пожалъ плечомъ. Самъ Павелъ Петровичъ почувствовалъ, что сострилъ неудачно, и заговорилъ о хозяйствѣ и о новомъ управляющемъ, который наканунѣ приходилъ къ нему жаловаться, что работникъ Ѳома „дибоширничаетъ“ и отъ рукъ отбился. „Такой ужъ онъ Езопъ“, сказалъ онъ между прочимъ: „всюду протестовалъ себя дурнымъ человѣкомъ; поживетъ, и съ глупостью отойдетъ“.

VI.

Базаровъ вернулся, сѣлъ за столъ и началъ поспѣшно пить чай. Оба брата молча глядѣли на него, а Аркадій украдкой посматривалъ то на отца, то на дядю.

— Вы далеко отсюда ходили?—спросилъ наконецъ Николай Петровичъ.

— Тутъ у васъ болотце есть, возлѣ осиновой рощи. Я взогналъ штукъ пять бекасовъ; ты можешь убить ихъ, Аркадій.

— А вы не охотникъ?

— Нѣтъ.

— Вы собственно физикой занимаетесь?—спросилъ въ свою очередь Павелъ Петровичъ.

— Физикой, да; вообще естественными науками.

— Говорятъ, германцы, въ послѣднее время, сильно успѣли по этой части.

— Да, нѣмцы въ этомъ наши учители,—небрежно отвѣчалъ Базаровъ.

Слово: германцы, вмѣсто нѣмцы, Павелъ Петровичъ употребилъ ради ироніи, которой, однако, никто не замѣтилъ.

— Вы столь высокаго мнѣнія о нѣмцахъ?—проговорилъ съ изысканною учтивостью Павелъ Петровичъ. Онъ начиналъ чувствовать тайное раздраженіе. Его аристократическую натуру возмущала совершенная развязность Базарова. Этотъ лѣкарскій сынъ не только не робѣлъ, онъ даже отвѣчалъ отрывисто и неохотно, и въ звукѣ его голоса было что-то грубое, почти дерзкое.

— Тамошніе ученые дѣльный народъ.

— Такъ, такъ. Ну, а объ русскихъ ученыхъ вы, вѣроятно, не имѣете столь лестнаго понятія?

— Пожалуй, что такъ.

— Это очень похвальное самоотверженіе, — произнесъ Павелъ Петровичъ, выпрямляя станъ и закидывая голову назадъ. — Но какъ же намъ Аркадій Николаичъ сейчасъ *сказывалъ,* что вы не признаете никакихъ авторитетовъ? *Не вѣрите имъ?*

— Да зачѣмъ я стану ихъ признавать? И чему я буду вѣрить? Мнѣ скажутъ дѣло, я соглашаюсь—вотъ и все.

— А нѣмцы все дѣло говорятъ? — промолвилъ Павелъ Петровичъ, и лицо его приняло такое безучастное, отдалённое выраженіе, словно онъ весь ушелъ въ какую-то заоблачную высь.

— Не всѣ,—отвѣтилъ съ короткимъ зѣвкомъ Базаровъ, которому явно не хотѣлось продолжать словопреніе.

Павелъ Петровичъ взглянулъ на Аркадія, какъ бы желая сказать ему: „учтивъ твой другъ, признаться".

— Что касается до меня,—заговорилъ онъ опять, не безъ нѣкотораго усилія: — я нѣмцевъ, грѣшный человѣкъ, не жалую. О русскихъ нѣмцахъ я уже не упоминаю: извѣстно, что̀ это за птицы. Но и нѣмецкіе нѣмцы мнѣ не понутру. Еще прежніе туда-сюда; тогда у нихъ были—ну, тамъ Шиллеръ, что̀ ли, *Гёте*... Братъ,—вотъ имъ особенно благопріятствуетъ... А теперь пошли все какіе-то химики да матеріалисты...

— Порядочный химикъ въ двадцать разъ полезнѣе всякаго поэта,—перебилъ Базаровъ.

— Вотъ какъ,—промолвилъ Павелъ Петровичъ, и, словно засыпая, чуть-чуть приподнялъ брови. — Вы, стало-быть, искусства не признаете?

— Искусство наживать деньги, или нѣтъ болѣе геморроя!—воскликнулъ Базаровъ съ презрительною усмѣшкой.

— Такъ-съ, такъ-съ. Вотъ какъ вы изволите шутить. Это вы все стало-быть отвергаете? Положимъ. Значитъ, вы вѣрите въ одну науку?

— Я уже доложилъ вамъ, что ни во что̀ не вѣрю; и что такое наука—наука вообще? Есть науки, какъ есть ремесла, званія; а наука вообще не существуетъ вовсе.

— Очень хорошо-съ. Ну, а насчетъ другихъ, въ людскомъ быту принятыхъ постановленій, вы придерживаетесь такого же отрицательнаго направленія?

— Что̀ это, допросъ?—спросилъ Базаровъ.

Павелъ Петровичъ слегка поблѣднѣлъ... Николай Петровичъ почелъ должнымъ вмѣшаться въ разговоръ.

— Мы когда-нибудь поподробнѣе побесѣдуемъ объ этомъ предметѣ съ вами, любезный Евгеній Васильичъ; и ваше мнѣніе узнаемъ, и свое выскажемъ. Съ своей стороны я очень радъ, что вы занимаетесь естественными науками. Я слышалъ, что Либихъ сдѣлалъ удивительныя открытія насчетъ удобренія полей. Вы можете мнѣ помочь въ моихъ агрономическихъ работахъ: вы можете дать мнѣ какой-нибудь полезный совѣтъ.

— Я къ вашимъ услугамъ, Николай Петровичъ; по куда намъ до Либиха! Сперва надо азбукѣ выучиться и потомъ уже взяться за книгу, а мы еще аза въ глаза не видали.

„Ну, ты, я вижу, точно нигилистъ“, подумалъ Николай Петровичъ.

— Все-таки позвольте прибѣгнуть къ вамъ при случаѣ,—прибавилъ онъ вслухъ.—А теперь намъ, я полагаю, братъ, пора пойти потолковать съ приказчикомъ.

Павелъ Петровичъ поднялся со стула.

— Да,—проговорилъ онъ, ни на кого не глядя:—бѣда пожить этакъ годковъ пять въ деревнѣ, въ отдаленіи отъ великихъ умовъ! какъ разъ дуракъ дуракомъ станешь. Ты стараешься не забыть того, чему тебя учили, а тамъ—хвать!—оказывается, что все это вздоръ, и тебѣ говорятъ, что путные люди этакими пустяками больше не занимаются, и что ты, молъ, отсталый колпакъ. Что дѣлать! Видно, молодежь, точно, умнѣе насъ.

Павелъ Петровичъ медленно повернулся на каблукахъ и медленно вышелъ; Николай Петровичъ отправился вслѣдъ за нимъ.

— Что, онъ всегда у васъ такой?—хладнокровно спросилъ Базаровъ у Аркадія, какъ только дверь затворилась за обоими братьями.

— Послушай, Евгеній, ты уже слишкомъ рѣзко съ нимъ обошелся,—замѣтилъ Аркадій.—Ты его оскорбилъ.

— Да, стану я ихъ баловать, этихъ уѣздныхъ аристократовъ! Вѣдь это все самолюбіе, львиныя привычки, фатство. Ну, продолжалъ бы свое поприще въ Петербургѣ, *коли ужъ такой* у него складъ... А, впрочемъ, Богъ съ

нимъ совсѣмъ! Я нашелъ довольно рѣдкій экземпляръ водяного жука, Dytiscus marginatus, знаешь? Я тебѣ его покажу.

— Я тебѣ обѣщался разсказать его исторію, — началъ Аркадій.

— Исторію жука?

— Ну, полно, Евгеній. Исторію моего дяди. Ты увидишь, что онъ не такой человѣкъ, какимъ ты его воображаешь. Онъ скорѣе сожалѣнія достоинъ, чѣмъ насмѣшки.

— Я не спорю; да что онъ тебѣ такъ дался?

— Надо быть справедливымъ, Евгеній.

— Это изъ чего слѣдуетъ?

— Нѣтъ, слушай...

И Аркадій разсказалъ ему исторію своего дяди. Читатель найдетъ ее въ слѣдующей главѣ.

VII.

Павелъ Петровичъ Кирсановъ воспитывался сперва дома, такъ же какъ и младшій братъ его, Николай, потомъ въ пажескомъ корпусѣ. Онъ съ дѣтства отличался замѣчательною красотой; къ тому же онъ былъ самоувѣренъ, немного насмѣшливъ и какъ-то забавно-жёлченъ—онъ не могъ не нравиться. Онъ началъ появляться всюду, какъ только вышелъ въ офицеры. Его носили на рукахъ, и онъ самъ себя баловалъ, даже дурачился, даже ломался; но и это къ нему шло. Женщины отъ него съ ума сходили, мужчины называли его фатомъ и втайнѣ завидовали ему. Онъ жилъ, какъ уже сказано, на одной квартирѣ съ братомъ, котораго любилъ искренно, хотя нисколько на него не походилъ. Николай Петровичъ прихрамывалъ, черты имѣлъ маленькія, пріятныя, но нѣсколько грустныя, небольшіе черные глаза и мягкіе жидкіе волосы; онъ охотно лѣнился, но и читалъ охотно, и боялся общества. Павелъ Петровичъ ни одного вечера не проводилъ дома, славился смѣлостію и ловкостію (онъ ввелъ было гимнастику въ моду между свѣтскою молодежью) и прочелъ всего пять, шесть французскихъ книгъ. На двадцать-восьмомъ году

отъ роду онъ уже былъ капитаномъ; блестящая карьера ожидала его. Вдругъ все измѣнилось.

Въ то время въ петербургскомъ свѣтѣ изрѣдка появлялась женщина, которую не забыли до сихъ поръ, княгиня Р. У ней былъ благовоспитанный и приличный, но глуповатый мужъ, и не было дѣтей. Она внезапно уѣзжала за границу, внезапно возвращалась въ Россію, вообще вела странную жизнь. Она слыла за легкомысленную кокетку, съ увлеченіемъ предавалась всякаго рода удовольствіямъ, танцовала до упаду, хохотала и шутила съ молодыми людьми, которыхъ принимала передъ обѣдомъ въ полумракѣ гостиной, а по ночамъ плакала и молилась, не находила нигдѣ покою, и часто до самаго утра металась по комнатѣ, тоскливо ломая руки, или сидѣла, вся блѣдная и холодная, надъ псалтыремъ. День наставалъ, и она снова превращалась въ свѣтскую даму, снова выѣзжала, смѣялась, болтала и точно бросалась навстрѣчу всему, что̀ могло доставить ей малѣйшее развлеченіе. Она была удивительно сложена; ея коса золотого цвѣта и тяжелая, какъ золото, падала ниже колѣнъ, но красавицей ее никто бы не назвалъ; во всемъ ея лицѣ только и было хорошаго, что̀ глаза, и даже не самые глаза—они были не велики и сѣры—но взглядъ ихъ, быстрый и глубокій, безпечный до у́дали и заду́мчивый до унынія,—зага́дочный взглядъ. Что-то необычайное свѣтилось въ немъ, даже тогда, когда языкъ ея лепеталъ самыя пустыя рѣчи. Одѣвалась она изы́сканно. Павелъ Петровичъ встрѣтилъ ее на одномъ балѣ, протанцовалъ съ ней мазурку, въ теченіе которой она не сказала ни одного путнаго слова, и влюбился въ нее страстно. Привыкшій къ побѣдамъ, онъ и тутъ скоро достигъ своей цѣли; но легкость торжества не охладила его. Напротивъ: онъ еще мучительнѣе, еще крѣпче привязался къ этой женщинѣ, въ которой, даже тогда, когда она отдавалась безвозвратно, все еще какъ будто оставалось что-то завѣтное и недоступное, куда никто не могъ проникнуть. Что̀ гнѣздилось въ этой душѣ,—Богъ вѣсть! Казалось, *она находилась* во власти какихъ-то тайныхъ, для

нея самой невѣдомыхъ силъ; онѣ играли ею, какъ хотѣли; ея небольшой умъ не могъ сладить съ ихъ прихотью. Все ея поведеніе представляло рядъ несообразностей; единственныя письма, которыя могли бы возбудить справедливыя подозрѣнія ея мужа, она написала къ человѣку почти ей чужому, а любовь ея отзывалась печалью: она уже не смѣялась и не шутила съ тѣмъ, кого избирала, и слушала его и глядѣла на него съ недоумѣніемъ. Иногда, большею частью внезапно, это недоумѣніе переходило въ холодный ужасъ; лицо ея принимало выраженіе мертвенное и дикое; она запиралась у себя въ спальнѣ, и горничная ея могла слышать, припавъ ухомъ къ замку, ея глухія рыданія. Не разъ, возвращаясь къ себѣ домой послѣ нѣжнаго свиданія, Кирсановъ чувствовалъ на сердцѣ ту разрывающую и горькую досаду, которая поднимается въ сердцѣ послѣ окончательной неудачи. „Чего же хочу я еще?“ спрашивалъ онъ себя, а сердце все ныло. Онъ однажды подарилъ ей кольцо съ вырѣзаннымъ на камнѣ сфинксомъ.

— Что это?—спросила она:—сфинксъ?

— Да,—отвѣтилъ онъ:—и этотъ сфинксъ—вы.

— Я?—спросила она, и медленно подняла на него свой загадочный взглядъ.—Знаете ли, что это очень лестно?—прибавила она съ незначительною усмѣшкой, а глаза глядѣли все такъ же странно.

Тяжело было Павлу Петровичу даже тогда, когда княгиня Р. его любила; но когда она охладѣла къ нему, а это случилось довольно скоро, онъ чуть съ ума не сошелъ. Онъ терзался и ревновалъ, не давалъ ей покою, таскался за ней повсюду; ей надоѣло его неотвязное преслѣдованіе, и она уѣхала за границу. Онъ вышелъ въ отставку, несмотря на просьбы пріятелей, на увѣщанія начальниковъ, и отправился вслѣдъ за княгиней; года четыре провелъ онъ въ чужихъ краяхъ, то гоняясь за нею, то съ намѣреніемъ теряя ее изъ виду; онъ стыдился самого себя, онъ негодовалъ на свое малодушіе... но ничто не помогало. Ея образъ, этотъ непонятный, почти безсмысленный, но обаятельный образъ слишкомъ глубоко внѣд-

рился въ его душу. Въ Баденѣ онъ какъ-то опять сошелся съ нею попрежнему; казалось, никогда еще она такъ страстно его не любила... но черезъ мѣсяцъ все уже было кончено: огонь вспыхнулъ въ послѣдній разъ, и угасъ навсегда. Предчувствуя неизбѣжную разлуку, онъ хотѣлъ, по крайней мѣрѣ, остаться ея другомъ, какъ будто дружба съ такою женщиной была возможна... Она тихонько выѣхала изъ Бадена, и съ тѣхъ поръ постоянно избѣгала Кирсанова. Онъ вернулся въ Россію, попытался зажить старою жизнью, но уже не могъ попасть въ прежнюю колею. Какъ отравленный, бродилъ онъ съ мѣста на мѣсто; онъ еще выѣзжалъ, онъ сохранилъ всѣ привычки свѣтскаго человѣка; онъ могъ похвастаться двумя, тремя новыми побѣдами; но онъ уже не ждалъ ничего особеннаго ни отъ себя, ни отъ другихъ, и ничего не предпринималъ. Онъ состарѣлся, посѣдѣлъ; сидѣть по вечерамъ въ клубѣ, желчно скучать, равнодушно поспорить въ холостомъ обществѣ, стало для него потребностію,—знакъ, какъ извѣстно, плохой. О женитьбѣ онъ, разумѣется, и не думалъ. Десять лѣтъ прошло такимъ образомъ, безцвѣтно, безплодно и быстро, страшно быстро. Нигдѣ время такъ не бѣжитъ, какъ въ Россіи; въ тюрьмѣ, говорятъ, оно бѣжитъ еще скорѣй. Однажды, за обѣдомъ, въ клубѣ, Павелъ Петровичъ узналъ о смерти княгини Р. Она скончалась въ Парижѣ, въ состояніи близкомъ къ помѣшательству. Онъ всталъ изъ-за стола и долго ходилъ по комнатамъ клуба, останавливаясь, какъ вкопанный, близъ карточныхъ игроковъ, но не вернулся домой раньше обыкновеннаго. Черезъ нѣсколько времени онъ получилъ пакетъ, адресованный на его имя: въ немъ находилось данное имъ княгинѣ кольцо. Она провела по сфинксу крестообразную черту, и велѣла ему сказать, что крестъ—вотъ разгадка.

Это случилось въ началѣ 48-го года, въ то самое время, когда Николай Петровичъ, лишившись жены, пріѣзжалъ въ Петербургъ. Павелъ Петровичъ почти не видался съ братомъ съ тѣхъ поръ, какъ тотъ поселился въ деревнѣ; свадьба Николая Петровича совпала съ самыми первыми

цнями знакомства Павла Петровича съ княгиней. Вернувшись изъ-за границы, онъ отправился къ нему съ намѣреніемъ погостить у него мѣсяца два, полюбоваться его счастіемъ, но выжилъ у него одну только недѣлю. Различіе въ положеніи обоихъ братьевъ было слишкомъ велико. Въ 48-мъ году это различіе уменьшилось: Николай Петровичъ потерялъ жену, Павелъ Петровичъ потерялъ свои воспоминанія; послѣ смерти княгини онъ старался не думать о ней. Но у Николая оставалось чувство правильно проведенной жизни, сынъ выросталъ на его глазахъ; Павелъ, напротивъ, одинокій холостякъ, вступалъ въ то смутное, сумеречное время, время сожалѣній похожихъ на надежды, надеждъ похожихъ на сожалѣнія, когда молодость прошла, а старость еще не настала.

Это время было труднѣе для Павла Петровича, чѣмъ для всякаго другого: потерявъ свое прошедшее, онъ все потерялъ.

— Я не зову теперь тебя въ Марьино, — сказалъ ему однажды Николай Петровичъ (онъ назвалъ свою деревню этимъ именемъ въ честь жены): — ты и при покойницѣ тамъ соскучился, а теперь ты, я думаю, тамъ съ тоски пропадешь.

— Я былъ еще глупъ и суетливъ тогда,—отвѣчалъ Павелъ Петровичъ: — съ тѣхъ поръ я угомонился, если не поумнѣлъ. Теперь, напротивъ, если ты позволишь, я готовъ навсегда у тебя поселиться.

Вмѣсто отвѣта, Николай Петровичъ обнялъ его; но полгора года прошло послѣ этого разговора, прежде чѣмъ Павелъ Петровичъ рѣшился осуществить свое намѣреніе. Зато, поселившись однажды въ деревнѣ, онъ уже не покидалъ ея, даже и въ тѣ три зимы, которыя Николай Петровичъ провелъ въ Петербургѣ съ сыномъ. Онъ сталъ читать, все больше по-англійски; онъ вообще всю жизнь свою устроилъ на англійскій вкусъ, рѣдко видался съ сосѣдями и выѣзжалъ только на выборы, гдѣ онъ большею частію помалчивалъ, лишь изрѣдка дразня и пугая помѣщиковъ стараго покроя либеральными выходками и не сближаясь съ представителями новаго поколѣнія. И тѣ, и

другіе считали его гордецомъ; и тѣ, и другіе его уважали за его отличныя, аристократическія манеры, за слухи о его побѣдахъ; за то, что онъ прекрасно одѣвался и всегда останавливался въ лучшемъ номерѣ лучшей гостиницы; за то, что онъ вообще хорошо обѣдалъ, а однажды даже пообѣдалъ съ Веллингтономъ у Людовика-Филиппа; за то, что онъ всюду возилъ съ собою настоящій серебряный несессеръ и походную ванну; за то, что отъ него пахло какими-то необыкновенными, удивительно „благородными" духами; за то, что онъ мастерски игралъ въ вистъ и всегда проигрывалъ; наконецъ, его уважали также за его безукоризненную честность. Дамы находили его очаровательнымъ меланхоликомъ, но онъ не знался съ дамами...

— Вотъ, видишь ли, Евгеній, — промолвилъ Аркадій, оканчивая свой разсказъ:—какъ несправедливо ты судишь о дядѣ! Я уже не говорю о томъ, что онъ не разъ выручалъ отца изъ бѣды, отдавалъ ему всѣ свои деньги,— имѣніе, ты, можетъ-быть, не знаешь, у нихъ не раздѣлено,—но онъ всякому радъ помочь и, между прочимъ, всегда вступается за крестьянъ: правда, говоря съ ними, онъ морщится и нюхаетъ одеколонъ...

— Извѣстное дѣло: нервы,—перебилъ Базаровъ.

— Можетъ-быть, только у него сердце предоброе. И онъ далеко не глупъ. Какіе онъ мнѣ давалъ полезные совѣты... особенно... особенно насчетъ отношеній къ женщинамъ.

— Ага! На своемъ молокѣ обжегся, на чужую воду дуетъ. Знаемъ мы это!

— Ну, словомъ, — продолжалъ Аркадій: — онъ глубоко несчастливъ, повѣрь мнѣ; презирать его—грѣшно.

— Да кто его презираетъ?—возразилъ Базаровъ.—А все-таки скажу, что человѣкъ, который всю свою жизнь поставилъ на карту женской любви, и когда ему эту карту убили, раскисъ и опустился до того, что ни на что не сталъ способенъ, этакой человѣкъ — не мужчина, но сгнилецъ. Ты говоришь, что онъ несчастливъ: тебѣ лучше знать; но дурь изъ него не вся вышла. Я увѣренъ, что *онъ не шутя* воображаетъ себя дѣльнымъ человѣкомъ

потому что читаетъ Галиньяшку и разъ въ мѣсяцъ избавитъ мужика отъ экзекуціи.

— Да вспомни его воспитаніе, время, въ которомъ онъ жилъ,—замѣтилъ Аркадій.

— Воспитаніе? — подхватилъ Базаровъ. — Всякій человѣкъ самъ себя воспитать долженъ, — ну, хоть какъ я, напримѣръ... А что касается до времени, отчего я отъ него зависѣть буду? Пускай же лучше оно зависитъ отъ меня. Нѣтъ, братъ, все это распущенность, пустота! И что за таинственныя отношенія между мужчиной и женщиной? Мы, физіологи, знаемъ, какія это отношенія. Ты проштудируй-ка анатомію глаза: откуда тутъ взяться, какъ ты говоришь, загадочному взгляду? Это все романтизмъ, чепуха, гниль, художество. Пойдемъ лучше смотрѣть жука.

И оба пріятеля отправились въ комнату Базарова, въ которой уже успѣлъ установиться какой-то медицинско-хирургическій запахъ, смѣшанный съ запахомъ дешеваго табаку.

VIII.

Павелъ Петровичъ недолго присутствовалъ при бесѣдѣ брата съ управляющимъ, высокимъ и худымъ человѣкомъ, съ сладкимъ, чахоточнымъ голосомъ и плутовскими глазами, который на всѣ замѣчанія Николая Петровича отвѣчалъ: „помилуйте-съ, извѣстное дѣло-съ“, и старался представить мужиковъ пьяницами и ворами. Недавно заведенное на новый ладъ хозяйство скрипѣло какъ немазанное колесо, трещало какъ домодѣланная мебель изъ сырого дерева. Николай Петровичъ не унывалъ, но частенько вздыхалъ и задумывался: онъ чувствовалъ, что безъ денегъ дѣло не пойдетъ, а деньги у него почти всѣ перевелись. Аркадій сказалъ правду: Павелъ Петровичъ не разъ помогалъ своему брату; не разъ, видя какъ онъ бился и ломалъ себѣ голову, придумывая какъ бы извернуться, Павелъ Петровичъ медленно подходилъ къ окну и, засунувъ руки въ карманы, бормоталъ сквозь зубы: „mais je *puis vous donner* de l'argent“, и давалъ ему де-

негъ; но въ этотъ день у него самого ничего не было, и онъ предпочелъ удалиться. Хозяйственныя дрязги наводили на него тоску; притомъ ему постоянно казалось, что Николай Петровичъ, несмотря на все свое рвеніе и трудолюбіе, не такъ принимается за дѣло, какъ бы слѣдовало; хотя указать, въ чемъ собственно ошибается Николай Петровичъ, онъ не сумѣлъ бы. „Братъ не довольно практиченъ", разсуждалъ онъ самъ съ собою: „его обманываютъ". Николай Петровичъ, напротивъ, былъ высокаго мнѣніи о практичности Павла Петровича и всегда спрашивалъ его совѣта. „Я человѣкъ мягкій, слабый, вѣкъ свой провелъ въ глуши", говаривалъ онъ: „а ты не даромъ такъ много жилъ съ людьми, ты ихъ хорошо знаешь: у тебя орлиный взглядъ". Павелъ Петровичъ въ отвѣтъ на эти слова только отворачивался, но не разувѣрялъ брата.

Оставивъ Николая Петровича въ кабинетѣ, онъ отправился по коридору, отдѣлявшему переднюю часть дома отъ задней, и, поровнявшись съ низенькою дверью, остановился въ раздумьи, подергалъ себѣ усы и постучался въ нее.

— Кто тамъ? Войдите,—раздался голосъ Ѳенички.

— Это я,—проговорилъ Павелъ Петровичъ и отворилъ дверь.

Ѳеничка вскочила со стула, на которомъ она усѣлась съ своимъ ребенкомъ и, передавъ его на руки дѣвушки, которая тотчасъ же вынесла его вонъ изъ комнаты, торопливо поправила свою косынку.

— Извините, если я помѣшалъ,—началъ Павелъ Петровичъ, не глядя на нее:—мнѣ хотѣлось только попросить васъ... сегодня, кажется, въ городъ посылаютъ... велите купить для меня зеленаго чаю.

— Слушаю-съ,—отвѣчала Ѳеничка:—сколько прикажете купить?

— Да полфунта довольно будетъ, я полагаю. А у васъ здѣсь, я вижу, перемѣна, — прибавилъ онъ, бросивъ вокругъ быстрый взглядъ, который скользнулъ и по лицу Ѳенички.—Занавѣски вотъ,—промолвилъ онъ, видя, что *она его* не понимаетъ.

— Да-съ, занавѣски; Николай Петровичъ намъ ихъ пожаловалъ; да ужъ онѣ давно повѣшены.

— Да и я у васъ давно не былъ. Теперь у васъ здѣсь очень хорошо.

— По милости Николая Петровича, — шепнула Ѳеничка.

— Вамъ здѣсь лучше, чѣмъ въ прежнемъ флигелькѣ?— спросилъ Павелъ Петровичъ вѣжливо, но безъ малѣйшей улыбки.

— Конечно, лучше-съ.

— Кого теперь на ваше мѣсто помѣстили?

— Теперь тамъ прачки.

— А!

Павелъ Петровичъ умолкъ. „Теперь уйдетъ", думала Ѳеничка; но онъ не уходилъ, и она стояла передъ нимъ, какъ вкопанная, слабо перебирая пальцами.

— Отчего вы велѣли вашего маленькаго вынести?—заговорилъ наконецъ Павелъ Петровичъ.—Я люблю дѣтей: покажите-ка мнѣ его.

Ѳеничка вся покраснѣла отъ смущенія и отъ радости. Она боялась Павла Петровича: онъ почти никогда не говорилъ съ ней.

— Дуняша, — кликнула она: — принесите Митю (Ѳеничка всѣмъ въ домѣ говорила *вы*). А не то погодите; надо ему платьице надѣть.

Ѳеничка направилась къ двери.

— Да все равно,—замѣтилъ Павелъ Петровичъ.

— Я сейчасъ,—отвѣтила Ѳеничка, и проворно вышла.

Павелъ Петровичъ остался одинъ, и на этотъ разъ съ особеннымъ вниманіемъ оглянулся кругомъ. Небольшая, низенькая комнатка, въ которой онъ находился, была очень чиста и уютна. Въ ней пахло недавно выкрашеннымъ поломъ, ромашкой и мелиссой. Вдоль стѣнъ стояли стулья съ задками въ видѣ лиръ; они были куплены еще покойникомъ генераломъ въ Польшѣ, во время похода; въ одномъ углу возвышалась кроватка подъ кисейнымъ пологомъ, рядомъ съ кованнымъ сундукомъ съ круглою крышкой. Въ противоположномъ углу горѣла лампадка пе-

редъ большимъ темнымъ образомъ Николая Чудотворца; крошечное фарфоровое яичко на красной лентѣ висѣло на груди святого, прицѣпленное къ сіянію; на окнахъ банки съ прошлогоднимъ вареньемъ, тщательно завязанныя, сквозили зеленымъ свѣтомъ; на бумажныхъ ихъ крышкахъ сама Ѳеничка написала крупными буквами: „кружовникъ"; Николай Петровичъ любилъ особенно это варенье. Подъ потолкомъ, на длинномъ шнуркѣ, висѣла клѣтка съ короткохвостымъ чижомъ; онъ безпрестанно чирикалъ и прыгалъ, и клѣтка безпрестанно качалась и дрожала: конопляныя зерна, съ легкимъ стукомъ, падали на полъ. Въ простѣнкѣ, надъ небольшимъ комодомъ, висѣли довольно плохіе фотографическіе портреты Николая Петровича въ разныхъ положеніяхъ, сдѣланные заѣзжимъ художникомъ; тутъ же висѣла фотографія самой Ѳенички, совершенно не удавшаяся: какое-то безглазое лицо напряженно улыбалось въ темной рамочкѣ,—больше ничего нельзя было разобрать; а надъ Ѳеничкой—Ермоловъ, въ буркѣ, грозно хмурился на отдаленныя Кавказскія горы, изъ-подъ шелковаго башмачка для булавокъ, падавшаго ему на самый лобъ.

Прошло минутъ пять; въ сосѣдней комнатѣ слышался шелестъ и шопотъ. Павелъ Петровичъ взялъ съ комода замасленную книгу, разрозненный томъ *Стрѣльцовъ* Масальскаго, перевернулъ нѣсколько страницъ... Дверь отворилась, и вошла Ѳеничка съ Митей на рукахъ. Она надѣла на него красную рубашечку съ галуномъ на воротѣ, причесала его волосики и утерла лицо: онъ дышалъ тяжело, порывался всѣмъ тѣломъ и подергивалъ ручонками, какъ это дѣлаютъ всѣ здоровыя дѣти; но щегольская рубашечка видимо на него подѣйствовала: выраженіе удовольствія отражалось на всей его пухлой фигуркѣ. Ѳеничка и свои волосы привела въ порядокъ, и косынку надѣла получше; но она могла бы остаться, какъ была. И въ самомъ дѣлѣ, есть ли на свѣтѣ что-нибудь плѣнительнѣе молодой, красивой матери съ здоровымъ ребенкомъ на рукахъ?

— *Экой* бутузъ,—снисходительно проговорилъ Павелъ

Петровичъ, и пощекоталъ двойной подбородокъ Мити концомъ длиннаго ногтя на указательномъ пальцѣ; ребенокъ уставился на чижа, и засмѣялся.

— Это дядя, — промолвила Ѳеничка, склоняя къ нему свое лицо и слегка его встряхивая, между тѣмъ какъ Дуняша тихонько ставила на окно зажженную курительную свѣчку, подложивши подъ нее грошъ.

— Сколько, бишь, ему мѣсяцевъ? — спросилъ Павелъ Петровичъ.

— Шесть мѣсяцевъ; скоро вотъ седьмой пойдетъ, одиннадцатаго числа.

— Не восьмой ли, Ѳедосья Николаевна?—не безъ робости вмѣшалась Дуняша.

— Нѣтъ, седьмой; какъ можно! — Ребенокъ опять засмѣялся, уставился на сундукъ, и вдругъ схватилъ свою мать всею пятерней за носъ и за губы. — Баловникъ,—проговорила Ѳеничка, не отодвигая лица отъ его пальцевъ.

— Онъ похожъ на брата, — замѣтилъ Павелъ Петровичъ.

„На кого жъ ему и походить?“ подумала Ѳеничка.

— Да,—продолжалъ, какъ бы говоря съ самимъ собой, Павелъ Петровичъ:—несомнѣнное сходство.

Онъ внимательно, почти печально посмотрѣлъ на Ѳеничку.

— Это дядя,—повторила она, уже шопотомъ.

— А! Павелъ! вотъ гдѣ ты! — раздался вдругъ голосъ Николая Петровича.

Павелъ Петровичъ торопливо обернулся и нахмурился; но братъ его такъ радостно, съ такою благодарностью глядѣлъ на него, что онъ не могъ не отвѣтить ему улыбкой.

— Славный у тебя мальчуганъ, — промолвилъ онъ и посмотрѣлъ на часы:—а я завернулъ сюда насчетъ чаю...

И принявъ равнодушное выраженіе, Павелъ Петровичъ готчасъ же вышелъ вонъ изъ комнаты.

— Самъ собою зашелъ? — спросилъ Ѳеничку Николай Петровичъ.

— Сами-съ; постучались и вошли.

— Ну, а Аркаша больше у тебя не былъ?

— Не былъ. Не перейти ли мнѣ во флигель, Николай Петровичъ?

— Это зачѣмъ?

— Я думаю, не лучше ли будетъ на первое время.

— Н... нѣтъ,—произнесъ съ запинкой Николай Петровичъ и потеръ себѣ лобъ. — Надо было прежде... Здравствуй, пузырь,—проговорилъ онъ съ внезапнымъ оживленіемъ и, приблизившись къ ребенку, поцѣловалъ его въ щеку; потомъ онъ нагнулся немного и приложилъ губы къ Ѳеничкиной рукѣ, бѣлѣвшей какъ молоко на красной рубашечкѣ Мити.

— Николай Петровичъ! что вы это?—пролепетала она и опустила глаза, потомъ тихонько подняла ихъ... Прелестно было выраженіе ея глазъ, когда она глядѣла какъ бы исподлобья, да посмѣивалась ласково и немножко глупо.

Николай Петровичъ познакомился съ Ѳеничкой слѣдующимъ образомъ. Однажды, года три тому назадъ, ему пришлось ночевать на постояломъ дворѣ въ отдаленномъ уѣздномъ городѣ. Его пріятно поразила чистота отведенной ему комнаты, свѣжесть постельнаго бѣлья: ужъ не нѣмка ли здѣсь хозяйка? пришло ему на мысль; но хозяйкой оказалась русская, женщина лѣтъ пятидесяти, опрятно одѣтая, съ благообразнымъ умнымъ лицомъ и степенною рѣчью. Онъ разговорился съ нею за чаемъ; очень она ему понравилась. Николай Петровичъ въ то время только что переселился въ новую свою усадьбу и, не желая держать при себѣ крѣпостныхъ людей, искалъ наемныхъ; хозяйка, съ своей стороны, жаловалась на малое число проѣзжающихъ въ городѣ, на тяжелыя времена; онъ предложилъ ей поступить къ нему въ домъ, въ качествѣ экономки; она согласилась. Мужъ у ней давно умеръ, оставилъ ей одну только дочь, Ѳеничку. Недѣли черезъ двѣ, Арина Савишна (такъ звали новую экономку), прибыла вмѣстѣ съ дочерью въ Марьино, и поселилась во флигелькѣ. Выборъ Николая Петровича ока-

лся удачнымъ. Арина завела порядокъ въ домѣ. О Ѳеничкѣ, которой тогда минулъ уже семнадцатый годъ, никто не говорилъ, и рѣдкій ее видѣлъ: она жила тихонько, скромненько, и только по воскресеньямъ Николай Петровичъ замѣчалъ въ приходской церкви, гдѣ-нибудь въ сторонкѣ, тонкій профиль ея бѣленькаго лица. Такъ прошло болѣе года.

Въ одно утро Арина явилась къ нему въ кабинетъ, и по обыкновенію, низко поклонившись, спросила его, не можетъ ли онъ помочь ея дочкѣ, которой искра изъ печки попала въ глазъ. Николай Петровичъ, какъ всѣ домосѣды, занимался лѣченіемъ и даже выписалъ гомеопатическую аптечку. Онъ тотчасъ велѣлъ Аринѣ привести больную. Узнавъ, что баринъ ее зоветъ, Ѳеничка очень перетрусилась, однако пошла за матерью. Николай Петровичъ, подвелъ ее къ окну и взялъ ее обѣими руками за голову. Разсмотрѣвъ хорошенько ея покраснѣвшій и воспаленный глазъ, онъ прописалъ ей примочку, которую тутъ же самъ составилъ и, разорвавъ на части свой платокъ, показалъ ей какъ надо примачивать. Ѳеничка выслушала его и хотѣла выйти. „Поцѣлуй же ручку у барина, глупенькая“, сказала ей Арина. Николай Петровичъ не далъ ей своей руки и, сконфузившись, самъ поцѣловалъ ее въ наклоненную голову, въ проборъ. Ѳеничкинъ глазъ скоро выздоровѣлъ, но впечатлѣніе, произведенное ею на Николая Петровича, прошло не скоро. Ему все мерещилось это чистое, нѣжное, боязливо приподнятое лицо; онъ чувствовалъ подъ ладонями рукъ своихъ эти мягкіе волосы, видѣлъ эти невинныя, слегка раскрытыя губы, изъ-за которыхъ влажно блистали на солнцѣ жемчужные зубки. Онъ началъ съ большимъ вниманіемъ глядѣть на нее въ церкви, старался заговаривать съ нею. Сначала она его дичилась, и однажды, передъ вечеромъ, встрѣтивъ его на узкой тропинкѣ, проложенной пѣшеходами черезъ ржаное поле, зашла въ высокую, густую рожь, поросшую полынью и васильками, чтобы только не попасться ему на глаза. Онъ увидалъ ея головку сквозь золотую сѣтку колосьевъ, откуда она высматривала, какъ звѣрокъ, и ласково крикнулъ ей:

— Здравствуй, Ѳеничка! Я не кусаюсь.

— Здравствуйте,—прошептала она, не выходя изъ своей засады.

Понемногу она стала привыкать къ нему, но все еще робѣла въ его присутствіи, какъ вдругъ ея мать Арина умерла отъ холеры. Куда было дѣваться Ѳеничкѣ? Она наслѣдовала отъ своей матери любовь къ порядку, разсудительность и степенность; но она была такъ молода, такъ одинока; Николай Петровичъ былъ самъ такой добрый и скромный... Остальное досказывать нечего...

— Такъ-таки братъ къ тебѣ и вошелъ?—спрашивалъ ее Николай Петровичъ.—Постучался и вошелъ?

— Да-съ.

— Ну, это хорошо. Дай-ка мнѣ покачать Митю.

И Николай Петровичъ началъ его подбрасывать почти подъ самый потолокъ, къ великому удовольствію малютки и къ немалому безпокойству матери, которая, при всякомъ его взлетѣ, протягивала руки къ обнажавшимся его ножкамъ.

А Павелъ Петровичъ вернулся въ свой изящный кабинетъ, оклеенный по стѣнамъ красивыми обоями дикаго цвѣта, съ развѣшаннымъ оружіемъ на пестромъ персидскомъ коврѣ, съ орѣховою мебелью, обитой темно-зеленымъ трипомъ, съ библіотекой renaissance изъ стараго чернаго дуба, съ бронзовыми статуэтками на великолѣпномъ письменномъ столѣ, съ каминомъ... Онъ бросился на диванъ, заложилъ руки за голову и остался неподвиженъ, почти съ отчаяньемъ глядя въ потолокъ. Захотѣлъ ли онъ скрыть отъ самыхъ стѣнъ, что у него происходило на лицѣ, по другой ли какой причинѣ, только онъ всталъ, отстегнулъ тяжелыя занавѣски оконъ, и опять бросился на диванъ.

IX.

Въ тотъ же день и Базаровъ познакомился съ Ѳеничкой. Онъ вмѣстѣ съ Аркадіемъ ходилъ по саду и толковалъ ему, почему иныя деревца, особенно дубки, не принялись.

— Надо серебристыхъ тополей побольше здѣсь сажать да елокъ, да пожалуй липокъ, подбавивши чернозему. Вонъ бесѣдка принялась хорошо,—прибавилъ онъ:—потому что акація да сирень—ребята добрые, ухода не требуютъ. Ба! да тутъ кто-то есть.

Въ бесѣдкѣ сидѣла Ѳеничка съ Дуняшей и Митей. Базаровъ остановился, а Аркадій кивнулъ головою Ѳеничкѣ, какъ старый знакомый.

— Кто это?—спросилъ его Базаровъ, какъ только они прошли мимо.—Какая хорошенькая!

— Да ты о комъ говоришь?

— Извѣстно о комъ: одна только хорошенькая.

Аркадій, не безъ замѣшательства, объяснилъ ему въ короткихъ словахъ, кто была Ѳеничка.

— Ага!—промолвилъ Базаровъ:—у твоего отца видно губа не дура. А онъ мнѣ нравится, твой отецъ, ей-ей! Онъ молодецъ. Однако надо познакомиться,—прибавилъ онъ, и отправился назадъ къ бесѣдкѣ.

— Евгеній!—съ испугомъ крикнулъ ему во слѣдъ Аркадій:—осторожнѣй, ради Бога.

— Не волнуйся,—проговорилъ Базаровъ:—народъ мы тертый, въ городахъ живали.

Приблизясь къ Ѳеничкѣ, онъ скинулъ картузъ.

— Позвольте представиться,—началъ онъ съ вѣжливымъ поклономъ:—Аркадію Николаичу пріятель и человѣкъ смирный.

Ѳеничка приподнялась со скамейки и глядѣла на него молча.

— Какой ребенокъ чудесный!—продолжалъ Базаровъ.—Не безпокойтесь, я еще никого не сглазилъ. Что это у него щеки такія красныя? Зубки, что ли, прорѣзаются?

— Да-съ,—промолвила Ѳеничка:—четверо зубковъ у него уже прорѣзались, а теперь вотъ десны опять припухли.

— Покажите-ка... да вы не бойтесь, я докторъ.

Базаровъ взялъ на руки ребенка, который, къ удивленію и Ѳенички, и Дуняши, не оказалъ никакого сопротивленія и не испугался.

— Вижу, вижу... Ничего, все въ порядкѣ: зубастый будетъ. Если что̀ случится, скажите мнѣ. А сами вы здоровы?

— Здорова, слава Богу.

— Слава Богу—лучше всего. А вы?—прибавилъ Базаровъ: обращаясь къ Дуняшѣ.

Дуняша, дѣвушка очень строгая въ хоромахъ и хохотунья за воротами, только фыркнула ему въ отвѣтъ.

— Ну и прекрасно. Вотъ вамъ вашъ богатырь.

Ѳеничка приняла ребенка къ себѣ на руки.

— Какъ онъ у васъ тихо сидѣлъ, — промолвила она вполголоса.

— У меня всѣ дѣти тихо сидятъ, — отвѣчалъ Базаровъ: — я такую штуку знаю.

— Дѣти чувствуютъ, кто ихъ любитъ, — замѣтила Дуняша.

— Это точно, — подтвердила Ѳеничка. — Вотъ и Митя, къ иному ни за что̀ на руки не пойдетъ.

— А ко мнѣ пойдетъ? — спросилъ Аркадій, который, постоявъ нѣкоторое время въ отдаленіи, приблизился къ бесѣдкѣ.

Онъ поманилъ къ себѣ Митю, но Митя откинулъ голову назадъ и запищалъ, что̀ очень смутило Ѳеничку.

— Въ другой разъ, — когда привыкнуть успѣетъ, — снисходительно промолвилъ Аркадій, и оба пріятеля удалились.

— Какъ, бишь, ее зовутъ?—спросилъ Базаровъ.

— Ѳеничкой... Ѳедосьей,—отвѣтилъ Аркадій.

— А по батюшкѣ... Это тоже нужно знать.

— Николаевной.

— *Bene.* Мнѣ нравится въ ней то, что она не слишкомъ конфузится. Иной, пожалуй, это-то и осудилъ бы въ ней. Что̀ за вздоръ? чего конфузиться? Она мать—ну, и права.

— Она-то права,—замѣтилъ Аркадій:—но вотъ отецъ мой...

— *И онъ* правъ,—перебилъ Базаровъ.

— *Ну, нѣтъ, я* не нахожу.

— Видно, лишній наслѣдничекъ намъ не понутру!

— Какъ тебѣ не стыдно предполагать во мнѣ такія мысли!—съ жаромъ подхватилъ Аркадій.—Я не съ этой точки зрѣнія почитаю отца неправымъ; я нахожу, что онъ долженъ бы жениться на ней.

— Эге-ге!—спокойно проговорилъ Базаровъ.—Вотъ мы какіе великодушные! Ты придаешь еще значеніе браку; я этого отъ тебя не ожидалъ.

Пріятели сдѣлали нѣсколько шаговъ въ молчаньи.

— Видѣлъ я всѣ заведенія твоего отца,—началъ опять Базаровъ.—Скотъ плохой, и лошади разбитыя. Строенія тоже подгуляли, и работники смотрятъ отъявленными лѣнивцами; а управляющій либо дуракъ, либо плутъ, я еще не разобралъ хорошенько.

— Строгъ же ты сегодня, Евгеній Васильевичъ.

— И добрые мужички надуютъ твоего отца всенепремѣнно. Знаешь поговорку: „русскій мужикъ Бога слопаетъ“.

— Я начинаю соглашаться съ дядей,—замѣтилъ Аркадій:—ты рѣшительно дурного мнѣнія о русскихъ.

— Эка важность! Русскій человѣкъ только тѣмъ и хорошъ, что онъ самъ о себѣ прескверного мнѣнія. Важно то, что дважды два четыре, а остальное все пустяки.

— И природа пустяки?—проговорилъ Аркадій, задумчиво глядя вдаль на пестрыя поля, красиво и мягко освѣщенныя уже невысокимъ солнцемъ.

— И природа пустяки, въ томъ значеніи, въ какомъ ты ее понимаешь. Природа не храмъ, а мастерская, и человѣкъ въ ней работникъ.

Медлительные звуки віолончели долетѣли до нихъ изъ дома въ это самое мгновеніе. Кто-то игралъ съ чувствомъ, хотя и неопытною рукою, *Ожиданіе* Шуберта, и медомъ разливалась по воздуху сладостная мелодія.

— Это что?—произнесъ съ изумленіемъ Базаровъ.

— Это отецъ.

— Твой отецъ играетъ на віолончели?

— Да.

— Да сколько твоему отцу лѣтъ?

— Сорокъ-четыре.

Базаровъ вдругъ расхохотался.

— Чему же ты смѣешься?

— Помилуй! въ сорокъ-четыре года человѣкъ, pater familias, въ ...мъ уѣздѣ—играетъ на віолончели!

Базаровъ продолжалъ хохотать; но Аркадій, какъ ни благоговѣлъ передъ своимъ учителемъ, на этотъ разъ даже не улыбнулся.

X.

Прошло около двухъ недѣль. Жизнь въ Марьинѣ текла своимъ порядкомъ: Аркадій сибаритствовалъ, Базаровъ работалъ. Всѣ въ домѣ привыкли къ нему, къ его небрежнымъ манерамъ, къ его немногосложнымъ и отрывочнымъ рѣчамъ. Ѳеничка, въ особенности, до того съ нимъ освоилась, что однажды ночью велѣла разбудить его: съ Митей сдѣлались судороги; и онъ пришелъ, по обыкновенію полушутя, полузѣвая, просидѣлъ у ней часа два и помогъ ребенку. Зато Павелъ Петровичъ всѣми силами души своей возненавидѣлъ Базарова: онъ считалъ его гордецомъ, нахаломъ, циникомъ, плебеемъ; онъ подозрѣвалъ, что Базаровъ не уважаетъ его, что онъ едва ли не презираетъ его—его, Павла Кирсанова! Николай Петровичъ побаивался молодого „нигилиста“ и сомнѣвался въ пользѣ его вліянія на Аркадія; но онъ охотно его слушалъ, охотно присутствовалъ при его физическихъ и химическихъ опытахъ. Базаровъ привезъ съ собой микроскопъ, и по цѣлымъ часамъ съ нимъ возился. Слуги также привязались къ нему, хотя онъ надъ ними подтрунивалъ: они чувствовали, что онъ все-таки свой братъ, не баринъ. Дуняша охотно съ нимъ хихикала и искоса, значительно посматривала на него, пробѣгая мимо „перепелочкой“; Петръ, человѣкъ до крайности самолюбивый и глупый, вѣчно съ напряженными морщинами на лбу, человѣкъ, котораго все достоинство состояло въ томъ, что онъ глядѣлъ учтиво, читалъ по складамъ и часто чистилъ щеточкой свой сюртучокъ — и тотъ ухмылялся и свѣтлѣлъ, *какъ только* Базаровъ обращалъ на него вниманіе; дворо-

вые мальчишки бѣгали за „дохтуромъ“, какъ собачонки. Одинъ старикъ Прокофьичъ не любилъ его, съ угрюмымъ видомъ подавалъ ему за столомъ кушанья, называлъ его „живодёромъ“ и „прощелыгой“ и увѣрялъ, что онъ съ своими бакенбардами—настоящая свинья въ кустѣ. Прокофьичъ, по-своему, былъ аристократъ не хуже Павла Петровича.

Наступили лучшіе дни въ году—первые дни іюня. Погода стояла прекрасная; правда, издали, грозилась опять холера, но жители ...ой губерніи успѣли уже привыкнуть къ ея посѣщеніямъ. Базаровъ вставалъ очень рано и отправлялся версты за двѣ, за три, не гулять—онъ прогулокъ безъ цѣли терпѣть не могъ — а собирать травы, насѣкомыхъ. Иногда онъ бралъ съ собой Аркадія. На возвратномъ пути у нихъ обыкновенно завязывался споръ, и Аркадій обыкновенно оставался побѣжденнымъ, хотя говорилъ больше своего товарища.

Однажды они какъ-то долго замѣшкались; Николай Петровичъ вышелъ къ нимъ навстрѣчу въ садъ и, поровнявшись съ бесѣдкой, вдругъ услышалъ быстрые шаги и голоса обоихъ молодыхъ людей. Они шли по ту сторону бесѣдки и не могли его видѣть.

— Ты отца недостаточно знаешь,—говорилъ Аркадій.

Николай Петровичъ притаился.

— Твой отецъ добрый малый,—промолвилъ Базаровъ:— но онъ человѣкъ отставной, его пѣсенка спѣта.

Николай Петровичъ приникъ ухомъ... Аркадій ничего не отвѣчалъ.

„Отставной человѣкъ“ постоялъ минуты двѣ неподвижно и медленно поплелся домой.

— Третьяго дня, я смотрю, онъ Пушкина читаетъ,— продолжалъ между тѣмъ Базаровъ.—Растолкуй ему, пожалуйста, что это никуда не годится. Вѣдь онъ не мальчикъ: пора бросить эту ерунду. И охота же быть романтикомъ въ нынѣшнее время! Дай ему что-нибудь дѣльное почитать.

— Что бы ему дать?—спросилъ Аркадій.

— Да, я думаю, Бюхнерово „Stoff und Kraft“ на первый случай.

— Я самъ такъ думаю,—замѣтилъ одобрительно Аркадій.—„Stoff und Kraft“ написано популярнымъ языкомъ...

— Вотъ какъ, мы съ тобой,—говорилъ въ тотъ же день послѣ обѣда Николай Петровичъ своему брату, сидя у него въ кабинетѣ:—въ отставные люди попали, пѣсенка наша спѣта. Что жъ? Можетъ-быть, Базаровъ и правъ; но мнѣ, признаюсь, одно больно: я надѣялся именно теперь тѣсно и дружески сойтись съ Аркадіемъ, а выходитъ, что я остался назади, онъ ушелъ впередъ, и понять мы другъ друга не можемъ.

— Да почему онъ ушелъ впередъ? И чѣмъ онъ отъ насъ такъ ужъ очень отличается?—съ нетерпѣнемъ воскликнулъ Павелъ Петровичъ.—Это все ему въ голову синьоръ этотъ вбилъ, нигилистъ этотъ. Ненавижу я этого лѣкаришку; по-моему, онъ просто шарлатанъ; я увѣренъ, что со всѣми своими лягушками онъ и въ физикѣ недалеко ушелъ.

— Нѣтъ, братъ, ты этого не говори: Базаровъ уменъ и знающъ.

— И самолюбіе какое противное,—перебилъ опять Павелъ Петровичъ.

— Да,—замѣтилъ Николай Петровичъ:—онъ самолюбивъ. Но безъ этого, видно, нельзя; только вотъ чего я въ толкъ не возьму. Кажется, я все дѣлаю, чтобы не отстать отъ вѣка: крестьянъ устроилъ, ферму завелъ, такъ что даже меня во всей губерніи *краснымъ* величаютъ; читаю, учусь, вообще стараюсь стать въ уровень съ современными требованіями,—а они говорятъ, что пѣсенка моя спѣта. Да что, братъ, я самъ начинаю думать, что она точно спѣта.

— Это почему?

— А вотъ почему. Сегодня я сижу да читаю Пушкина... Помнится, *Цыгане* мнѣ попались... Вдругъ Аркадій подходитъ ко мнѣ и, молча, съ этакимъ ласковымъ сожалѣніемъ на лицѣ, тихонько, какъ у ребенка, отнялъ у меня книгу и положилъ передо мною другую, нѣмецкую... улыбнулся и ушелъ, и Пушкина унесъ.

— *Вотъ какъ!* Какую же онъ книгу тебѣ далъ?

— Вотъ эту.

И Николай Петровичъ вынулъ изъ задняго кармана сюртука пресловутую брошюру Бюхнера, девятаго изданія.

Павелъ Петровичъ повертѣлъ ее въ рукахъ.

— Гм!—промычалъ онъ. — Аркадій Николаевичъ заботится о твоемъ воспитаніи. Что жъ, ты пробовалъ читать?

— Пробовалъ.

— Ну и что̀ же?

— Либо я глупъ, либо это все—вздоръ. Должно-быть, я глупъ.

— Да ты по-нѣмецки не забылъ? — спросилъ Павелъ Петровичъ.

— Я по-нѣмецки понимаю.

Павелъ Петровичъ опять повертѣлъ книгу въ рукахъ и исподлобья взглянулъ на брата. Оба помолчали.

— Да, кстати, — началъ Николай Петровичъ, видимо желая перемѣнить разговоръ.—Я получилъ письмо отъ Колязина.

— Отъ Матвѣя Ильича?

— Отъ него. Онъ пріѣхалъ въ*** ревизовать губернію. Онъ теперь въ тузы вышелъ и пишетъ мнѣ, что желаетъ, по-родственному, повидаться съ нами и приглашаетъ насъ съ тобой и съ Аркадіемъ въ городъ.

— Ты поѣдешь?—спросилъ Павелъ Петровичъ.

— Нѣтъ; а ты?

— И я не поѣду. Очень нужно тащиться за пятьдесятъ верстъ киселя ѣсть. Mathieu хочетъ показаться намъ во всей своей славѣ; чортъ съ нимъ! будетъ съ него губернскаго ѳиміама, обойдется безъ нашего. И велика важность, тайный совѣтникъ! Если бъ я продолжалъ служить, тянуть эту глупую лямку, я бы теперь былъ генералъ-адъютантомъ. Притомъ же, мы съ тобой отставные люди.

— Да, братъ; видно, пора гробъ заказывать и ручки складывать крестомъ на груди, — замѣтилъ со вздохомъ Николай Петровичъ.

— Ну, я такъ скоро не сдамся, — пробормоталъ его братъ.—У насъ еще будетъ схватка съ этимъ лѣкаремъ, я это предчувствую.

Схватка произошла въ тотъ же день за вечернимъ чаемъ. Павелъ Петровичъ сошелъ въ гостиную уже готовый къ бою, раздраженный и рѣшительный. Онъ ждалъ только предлога, чтобы накинуться на врага, но предлогъ долго не представлялся. Базаровъ вообще говорилъ мало въ присутствіи „старичковъ Кирсановыхъ" (такъ онъ называлъ обоихъ братьевъ), а въ тотъ вечеръ онъ чувствовалъ себя не въ духѣ и молча выпивалъ чашку за чашкой. Павелъ Петровичъ весь горѣлъ нетерпѣніемъ; его желанія сбылись наконецъ.

Рѣчь зашла объ одномъ изъ сосѣднихъ помѣщиковъ. „Дрянь, аристократишко", равнодушно замѣтилъ Базаровъ, который встрѣчался съ нимъ въ Петербургѣ.

— Позвольте васъ спросить, — началъ Павелъ Петровичъ, и губы его задрожали:—по вашимъ понятіямъ слова: „дрянь" и „аристократъ" одно и то же означаютъ?

— Я сказалъ: „аристократишко",—проговорилъ Базаровъ, лѣниво отхлебывая глотокъ чаю.

— Точно такъ-съ; но я полагаю, что вы такого же мнѣнія объ аристократахъ, какъ и объ аристократишкахъ. Я считаю долгомъ объявить вамъ, что я этого мнѣнія не раздѣляю. Смѣю сказать, меня всѣ знаютъ за человѣка либеральнаго и любящаго прогрессъ; но именно потому я уважаю аристократовъ — настоящихъ. Вспомните, милостивый государь (при этихъ словахъ Базаровъ поднялъ глаза на Павла Петровича), вспомните, милостивый государь,—повторилъ онъ съ ожесточеніемъ:—англійскихъ аристократовъ. Они не уступаютъ іоты отъ правъ своихъ, и потому они уважаютъ права другихъ; они требуютъ исполненія обязанностей въ отношеніи къ нимъ, и потому они сами исполняютъ *свои* обязанности. Аристократія дала свободу Англіи и поддерживаетъ ее.

— Слыхали мы эту пѣсню много разъ,—возразилъ Базаровъ:—но что вы хотите этимъ доказать?

— *Я этимъ* хочу доказать, милостивый государь (Па-

велъ Петровичъ, когда сердился, съ намѣреніемъ говорилъ: „эфтимъ“ и „эфто“, хотя очень хорошо зналъ, что подобныхъ словъ грамматика не допускаетъ. Въ этой причудѣ сказывался остатокъ преданій Александровскаго времени. Тогдашніе тузы, въ рѣдкихъ случаяхъ, когда говорили на родномъ языкѣ, употребляли, одни — *эфто*, другіе—*эхто*: мы, молъ, коренные русаки, и въ то же время мы вельможи, которымъ позволяется пренебрегать школьными правилами) — я *эфтимъ* хочу доказать, что безъ чувства собственнаго достоинства, безъ уваженія къ самому себѣ, — а въ аристократѣ эти чувства развиты,— нѣтъ никакого прочнаго основанія общественному... bien public... общественному зданію. Личность, милостивый государь, — вотъ главное; человѣческая личность должна быть крѣпка, какъ скала, ибо на ней все строится. Я очень хорошо знаю, напримѣръ, что вы изволите находить смѣшными мои привычки, мой туалетъ, мою опрятность, наконецъ, но это все проистекаетъ изъ чувства самоуваженія, изъ чувства долга, да-съ, да-съ, долга. Я живу въ деревнѣ, въ глуши, но я не роняю себя, я уважаю въ себѣ человѣка.

— Позвольте, Павелъ Петровичъ, — промолвилъ Базаровъ: — вы вотъ уважаете себя и сидите сложа руки; какая жъ отъ этого польза для bien public? Вы бы не уважали себя и то же бы дѣлали.

Павелъ Петровичъ поблѣднѣлъ.

— Это совершенно другой вопросъ. Мнѣ вовсе не приходится объяснять вамъ теперь, почему я сижу сложа руки, какъ вы изволите выражаться. Я хочу только сказать, что аристократизмъ — принципъ, а безъ принциповъ жить въ наше время могутъ одни безнравственные или пустые люди. Я говорилъ это Аркадію на другой день его пріѣзда и повторяю теперь вамъ. Не такъ ли, Николай?

Николай Петровичъ кивнулъ головой.

— Аристократизмъ, либерализмъ, прогрессъ, принципы,— говорилъ между тѣмъ Базаровъ: — подумаешь, сколько иностранныхъ... и безполезныхъ словъ! Русскому человѣку они даромъ не нужны.

— Ну, я такъ скоро не сдамся, — пробормоталъ его братъ.—У насъ еще будетъ схватка съ этимъ лѣкаремъ, я это предчувствую.

Схватка произошла въ тотъ же день за вечернимъ чаемъ. Павелъ Петровичъ сошелъ въ гостиную уже готовый къ бою, раздраженный и рѣшительный. Онъ ждалъ только предлога, чтобы накинуться на врага, но предлогъ долго не представлялся. Базаровъ вообще говорилъ мало въ присутствіи „старичковъ Кирсановыхъ" (такъ онъ называлъ обоихъ братьевъ), а въ тотъ вечеръ онъ чувствовалъ себя не въ духѣ и молча выпивалъ чашку за чашкой. Павелъ Петровичъ весь горѣлъ нетерпѣніемъ; его желанія сбылись наконецъ.

Рѣчь зашла объ одномъ изъ сосѣднихъ помѣщиковъ. „Дрянь, аристократишко", равнодушно замѣтилъ Базаровъ, который встрѣчался съ нимъ въ Петербургѣ.

— Позвольте васъ спросить, — началъ Павелъ Петровичъ, и губы его задрожали:—по вашимъ понятіямъ слова: „дрянь" и „аристократъ" одно и то же означаютъ?

— Я сказалъ: „аристократишко",—проговорилъ Базаровъ, лѣниво отхлебывая глотокъ чаю.

— Точно такъ-съ; но я полагаю, что вы такого же мнѣнія объ аристократахъ, какъ и объ аристократишкахъ. Я считаю долгомъ объявить вамъ, что я этого мнѣнія не раздѣляю. Смѣю сказать, меня всѣ знаютъ за человѣка либеральнаго и любящаго прогрессъ; но именно потому я уважаю аристократовъ — настоящихъ. Вспомните, милостивый государь (при этихъ словахъ Базаровъ поднялъ глаза на Павла Петровича), вспомните, милостивый государь,—повторилъ онъ съ ожесточеніемъ:—англійскихъ аристократовъ. Они не уступаютъ іоты отъ правъ своихъ, и потому они уважаютъ права другихъ; они требуютъ исполненія обязанностей въ отношеніи къ нимъ, и потому они сами исполняютъ *свои* обязанности. Аристократія дала свободу Англіи и поддерживаетъ ее.

— Слыхали мы эту пѣсню много разъ,—возразилъ Ба*заровъ:—но* что̀ вы хотите этимъ доказать?

— *Я эфтимъ* хочу доказать, милостивый государь (Па-

велъ Петровичъ, когда сердился, съ намѣреніемъ говорилъ: „эфтимъ“ и „эфто“, хотя очень хорошо зналъ, что подобныхъ словъ грамматика не допускаетъ. Въ этой причудѣ сказывался остатокъ преданій Александровскаго времени. Тогдашніе тузы, въ рѣдкихъ случаяхъ, когда говорили на родномъ языкѣ, употребляли, одни — *эфто*, другіе—*эхто*: мы, молъ, коренные русаки, и въ то же время мы вельможи, которымъ позволяется пренебрегать школьными правилами) — я *эфтимъ* хочу доказать, что безъ чувства собственнаго достоинства, безъ уваженія къ самому себѣ, — а въ аристократѣ эти чувства развиты,— нѣтъ никакого прочнаго основанія общественному... bien public... общественному зданію. Личность, милостивый государь, — вотъ главное; человѣческая личность должна быть крѣпка, какъ скала, ибо на ней все строится. Я очень хорошо знаю, напримѣръ, что вы изволите находить смѣшными мои привычки, мой туалетъ, мою опрятность, наконецъ, но это все проистекаетъ изъ чувства самоуваженія, изъ чувства долга, да-съ, да-съ, долга. Я живу въ деревнѣ, въ глуши, но я не роняю себя, я уважаю въ себѣ человѣка.

— Позвольте, Павелъ Петровичъ, — промолвилъ Базаровъ: — вы вотъ уважаете себя и сидите сложа руки; какая жъ отъ этого польза для bien public? Вы бы не уважали себя и то же бы дѣлали.

Павелъ Петровичъ поблѣднѣлъ.

— Это совершенно другой вопросъ. Мнѣ вовсе не приходится объяснять вамъ теперь, почему я сижу сложа руки, какъ вы изволите выражаться. Я хочу только сказать, что аристократизмъ — принципъ, а безъ принциповъ жить въ наше время могутъ одни безнравственные или пустые люди. Я говорилъ это Аркадію на другой день его пріѣзда и повторяю теперь вамъ. Не такъ ли, Николай?

Николай Петровичъ кивнулъ головой.

— Аристократизмъ, либерализмъ, прогрессъ, принципы,— говорилъ между тѣмъ Базаровъ: — подумаешь, сколько иностранныхъ... и безполезныхъ словъ! Русскому человѣку они даромъ не нужны.

— Что̀ же ему нужно по-вашему! Послушать васъ, такъ мы находимся внѣ человѣчества, внѣ его законовъ. Помилуйте—логика исторіи требуетъ...

— Да на что̀ намъ эта логика? Мы и безъ нея обходимся.

— Какъ такъ?

— Да такъ же. Вы, я надѣсь, не нуждаетесь въ логикѣ для того, чтобы положить себѣ кусокъ хлѣба въ ротъ, когда вы голодны. Куда намъ до этихъ отвлеченностей!

Павелъ Петровичъ взмахнулъ руками.

— Я васъ не понимаю послѣ этого. Вы оскорбляете русскій народъ. Я не понимаю, какъ можно не признавать принсиповъ, правилъ? Въ силу чего же вы дѣйствуете?

— Я уже говорилъ вамъ, дядюшка, что мы не признаёмъ авторитетовъ,—вмѣшался Аркадій.

— Мы дѣйствуемъ въ силу того, что̀ мы признаёмъ полезнымъ,—промолвилъ Базаровъ. — Въ теперешнее время полезнѣе всего отрицаніе—мы отрицаемъ.

— Все?

— Все.

— Какъ? не только искусство, поэзію... но и... страшно вымолвить...

— Все,—съ невыразимымъ спокойствіемъ повторилъ Базаровъ.

Павелъ Петровичъ уставился на него. Онъ этого не ожидалъ, а Аркадій даже покраснѣлъ отъ удовольствія.

— Однако, позвольте, — заговорилъ Николай Петровичъ.—Вы все отрицаете, или, выражаясь точнѣе, вы все разрушаете... Да вѣдь надобно же и строить.

— Это уже не наше дѣло... Сперва нужно мѣсто расчистить.

— Современное состояніе народа этого требуетъ, — съ важностью прибавилъ Аркадій: — мы должны исполнять эти требованія, мы не имѣемъ права предаваться удовлетворенію личнаго эгоизма.

Эта послѣдняя фраза, видимо, не понравилась База-

рову; отъ нея вѣяло философіей, то-есть, романтизмомъ, ибо Базаровъ и философію называлъ романтизмомъ, но онъ не почелъ за нужное опровергать своего молодого ученика.

— Нѣтъ, нѣтъ!—воскликнулъ съ внезапнымъ порывомъ Павелъ Петровичъ:— я не хочу вѣрить, что вы, господа, точно знаете русскій народъ, что вы представители его потребностей, его стремленій! Нѣтъ, русскій народъ не такой, какимъ вы его воображаете. Онъ свято чтитъ преданія, онъ — патріархальный, онъ не можетъ жить безъ вѣры...

— Я не стану противъ этого спорить,—перебилъ Базаровъ:—я даже готовъ согласиться, что *въ этомъ* вы правы.

— А если я правъ...

— И все-таки это ничего не доказываетъ.

— Именно ничего не доказываетъ, — повторилъ Аркадій съ увѣренностью опытнаго шахматнаго игрока, который предвидѣлъ опытный, повидимому, ходъ противника, и потому нисколько не смутился.

— Какъ ничего не доказываетъ? — пробормоталъ изумленный Павелъ Петровичъ.—Стало-быть, вы идете противъ своего народа?

— А хоть бы и такъ? — воскликнулъ Базаровъ. — Народъ полагаетъ, что когда громъ гремитъ, это Илья пророкъ въ колесницѣ по небу разъѣзжаетъ. Что̀ жъ? Мнѣ соглашаться съ нимъ? Да притомъ—онъ русскій, а развѣ я самъ не русскій?

— Нѣтъ, вы не русскій послѣ всего, что̀ вы сейчасъ сказали! Я васъ за русскаго признать не могу.

— Мой дѣдъ землю пахалъ,—съ надменною гордостію отвѣчалъ Базаровъ. — Спросите любого изъ вашихъ же мужиковъ, въ комъ изъ насъ,—въ васъ или во мнѣ,—онъ скорѣе признаетъ соотечественника. Вы и говорить-то съ нимъ не умѣете.

— А вы говорите съ нимъ и презираете его въ то же время.

— Что жъ, коли онъ заслуживаетъ презрѣнія? Вы порицаете мое направленіе, а кто вамъ сказалъ, что оно во

мнѣ случайно, что оно не вызвано тѣмъ самымъ народнымъ духомъ, во имя котораго вы такъ ратуете?

— Какъ же! Очень нужны нигилисты!

— Нужны ли они, или нѣтъ — не намъ рѣшать. Вѣдь и вы считаете себя не безполезнымъ.

— Господа, господа, пожалуйста, безъ личностей!—воскликнулъ Николай Петровичъ и приподнялся.

Павелъ Петровичъ улыбнулся и, положивъ руку на плечо брату, заставилъ его снова сѣсть.

— Не безпокойся,—промолвилъ онъ.—Я не позабудусь, именно вслѣдствіе того чувства достоинства, надъ которымъ такъ жестоко трунитъ господинъ... господинъ докторъ. Позвольте, — продолжалъ онъ, обращаясь снова къ Базарову:—вы, можетъ-быть, думаете, что ваше ученіе новость? Напрасно вы это воображаете. Матеріализмъ, который вы проповѣдуете, былъ уже не разъ въ ходу и всегда оказывался несостоятельнымъ...

— Опять иностранное слово!—перебилъ Базаровъ. Онъ начиналъ злиться, и лицо его приняло какой-то мѣдный и грубый цвѣтъ. — Во-первыхъ, мы ничего не проповѣдуемъ; это не въ нашихъ привычкахъ...

— Что̀ же вы дѣлаете?

— А вотъ что̀ мы дѣлаемъ. Прежде, въ недавнее еще время, мы говорили, что чиновники наши берутъ взятки, что у насъ нѣтъ ни дорогъ, ни торговли, ни правильнаго суда...

— Ну да, да, вы обличители,—такъ, кажется, это называется. Со многими изъ вашихъ обличеній и я соглашаюсь, но...

— А потомъ мы догадались, что болтать, все только болтать о нашихъ язвахъ не сто̀итъ труда, что это ведетъ только къ пошлости и доктринерству; мы увидали, что и умники наши, такъ-называемые передовые люди и обличители никуда не годятся, что мы занимаемся вздоромъ, толкуемъ о какомъ-то искусствѣ, безсознательномъ творчествѣ, о парламентаризмѣ, объ адвокатурѣ, и чортъ знаетъ о чемъ, когда дѣло идетъ о насущномъ хлѣбѣ, *когда грубѣйшее* суевѣріе насъ душитъ, когда всѣ наши

акціонерныя общества лопаются единственно отъ того, что оказывается недостатокъ въ честныхъ людяхъ, когда самая свобода, о которой хлопочетъ правительство, едва ли пойдетъ намъ въ прокъ, потому что мужикъ нашъ радъ самого себя обокрасть, чтобы только напиться дурману въ кабакѣ.

— Такъ,—перебилъ Павелъ Петровичъ: — такъ: вы во всемъ этомъ убѣдились и рѣшились сами ни за что̀ серьезно не приниматься.

— И рѣшились ни за что̀ не приниматься, — угрюмо повторилъ Базаровъ.

Ему вдругъ стало досадно на самого себя, зачѣмъ онъ такъ распространился передъ этимъ бариномъ.

— А только ругаться?

— И ругаться.

— И это называется нигилизмомъ?

— И это называется нигилизмомъ, — повторилъ опять Базаровъ, на этотъ разъ съ особенною дерзостью.

Павелъ Петровичъ слегка прищурился.

— Такъ вотъ какъ!—промолвилъ онъ странно спокойнымъ голосомъ.—Нигилизмъ всему горю помочь долженъ, и вы, вы наши избавители и герои. Но за что̀ же вы другихъ-то, хоть бы тѣхъ же обличителей, честите? Не такъ же ли вы болтаете, какъ и всѣ?

— Чѣмъ другимъ, а этимъ грѣхомъ не грѣшны,—произнесъ сквозь зубы Базаровъ.

— Такъ что жъ? вы дѣйствуете, что ли? Собираетесь дѣйствовать?

Базаровъ ничего не отвѣчалъ. Павелъ Петровичъ такъ и дрогнулъ, но тотчасъ же овладѣлъ собою.

— Гм!.. Дѣйствовать, ломать...—продолжалъ онъ. — Но какъ же это ломать, не зная даже почему?

— Мы ломаемъ, потому что мы сила,—замѣтилъ Аркадій.

Павелъ Петровичъ посмотрѣлъ на своего племянника и усмѣхнулся.

— Да, сила — такъ и не даетъ отчета, — проговорилъ Аркадій и выпрямился.

— Несчастный!—возопилъ Павелъ Петровичъ, онъ рѣ-

шительно не былъ въ состояніи крѣпиться долѣе: — хоть бы ты подумалъ, *что* въ Россіи ты поддерживаешь твоею пошлою сентенціей! Нѣтъ, это можетъ ангела изъ терпѣнія вывести! Сила! И въ дикомъ калмыкѣ, и въ монголѣ есть сила—да на что намъ она?—Намъ дорога цивилизація, да-съ, да-съ, милостивый государь; намъ дороги ея плоды. И не говорите мнѣ, что эти плоды ничтожны: послѣдній пачкунъ, *un barbouilleur*, таперъ, которому даютъ пять копеекъ за вечеръ, и тѣ полезнѣе васъ, потому что они представители цивилизаціи, а не грубой монгольской силы! Вы воображаете себя передовыми людьми, а вамъ только въ калмыцкой кибиткѣ сидѣть! Сила! Да вспомните, наконецъ, господа сильные, что васъ всего четыре человѣка съ половиною, а тѣхъ—милліоны, которые не позволятъ вамъ попирать ногами свои священнѣйшія вѣрованія, которые раздавятъ васъ!

— Коли раздавятъ, туда и дорога,—промолвилъ Базаровъ. — Только бабушка еще на-двое сказала. Насъ не такъ мало, какъ вы полагаете.

— Какъ? Вы не шутя думаете сладить, сладить съ цѣлымъ народомъ?

— Отъ копеечной свѣчи, вы знаете, Москва сгорѣла, — отвѣтилъ Базаровъ.

— Такъ, такъ. Сперва гордость почти сатанинская, потомъ глумленіе. Вотъ, вотъ чѣмъ увлекается молодежь, вотъ чему покоряются неопытныя сердца мальчишекъ! Вотъ, поглядите, одинъ изъ нихъ рядомъ съ вами сидитъ, вѣдь онъ чуть не молится на васъ, полюбуйтесь. (Аркадій отворотился и нахмурился.) И эта зараза уже далеко распространилась. Мнѣ сказывали, что въ Римѣ наши художники въ Ватиканъ ни ногой. Рафаэля считаютъ чуть не дуракомъ, потому что это, молъ, авторитетъ; а сами безсильны и безплодны до гадости, а у самихъ фантазія дальше „Дѣвушки у фонтана“ не хватаетъ, хоть ты что! И написана-то дѣвушка прескверно. По-вашему они молодцы, не правда ли?

— По-моему, — возразилъ Базаровъ: — Рафаэль гроша *мѣднаго не* стоитъ; да и они не лучше его.

— Браво, браво! Слушай, Аркадій... вотъ какъ должны современные молодые люди выражаться! И какъ, подумаешь, имъ не идти за вами! Прежде молодымъ людямъ приходилось учиться; не хотѣлось имъ прослыть за невѣждъ, такъ они поневолѣ трудились. А теперь имъ стоитъ сказать: все на свѣтѣ вздоръ!—и дѣло въ шляпѣ. Молодые люди обрадовались. И въ самомъ дѣлѣ, прежде они просто были болваны, а теперь они вдругъ стали нигилисты.

— Вотъ и измѣнило вамъ хваленое чувство собственнаго достоинства, — флегматически замѣтилъ Базаровъ, между тѣмъ какъ Аркадій весь вспыхнулъ и засверкалъ глазами. — Споръ нашъ зашелъ слишкомъ далеко... Кажется, лучше его прекратить. А я тогда буду готовъ согласиться съ вами,— прибавилъ онъ, вставая: — когда вы представите мнѣ хоть одно постановленіе въ современномъ нашемъ быту, въ семейномъ или общественномъ, которое бы не вызывало полнаго и безпощаднаго отрицанія.

— Я вамъ милліоны такихъ постановленій представлю,— воскликнулъ Павелъ Петровичъ:—милліоны! Да вотъ, хоть община, напримѣръ.

Холодная усмѣшка скривила губы Базарова.

— Ну, насчетъ общины,—промолвилъ онъ:—поговорите лучше съ вашимъ братцемъ. Онъ теперь, кажется, извѣдалъ на дѣлѣ что́ такое община; круговая порука, трезвость и тому подобныя штучки.

— Семья, наконецъ, семья, такъ какъ она существуетъ у нашихъ крестьянъ!—закричалъ Павелъ Петровичъ.

— И этотъ вопросъ, я полагаю, лучше для васъ же самихъ не разбирать въ подробности. Вы, чай, слыхали о снохачахъ? Послушайте меня, Павелъ Петровичъ, дайте себѣ денька два сроку, сразу вы едва ли что-нибудь найдете. Переберите всѣ наши сословія, да подумайте хорошенько надъ каждымъ, а мы пока съ Аркадіемъ будемъ...

— Надо всѣмъ глумиться,—подхватилъ Павелъ Петровичъ.

— Нѣтъ, лягушекъ рѣзать. Пойдемъ, Аркадій; до свиданія, господа!

Оба пріятеля вышли. Братья остались наединѣ и сперва только посматривали другъ на друга.

— Вотъ,—началъ, наконецъ, Павелъ Петровичъ:—вотъ вамъ нынѣшняя молодежь! Вотъ они—наши наслѣдники!

— Наслѣдники,—повторилъ съ унылымъ вздохомъ Николай Петровичъ. Онъ въ теченіе всего спора сидѣлъ, какъ на угольяхъ, и только украдкой болѣзненно взглядывалъ на Аркадія.—Знаешь, что̀ я вспомнилъ, братъ? Однажды я съ покойницей матушкой поссорился: она кричала, не хотѣла меня слушать... Я, наконецъ, сказалъ ей, что вы, молъ, меня понять не можете; мы, молъ, принадлежимъ къ двумъ различнымъ поколѣніямъ. Она ужасно обидѣлась, а я подумалъ: что̀ дѣлать? Пилюля горька—а проглотить ее нужно. Вотъ теперь настала наша очередь, и наши наслѣдники могутъ сказать намъ: вы, молъ, не нашего поколѣнія, глотайте пилюлю.

— Ты уже черезчуръ благодушенъ и скроменъ,—возразилъ Павелъ Петровичъ:—я, напротивъ, увѣренъ, что мы съ тобой гораздо правѣе этихъ господчиковъ, хотя выражаемся, можетъ-быть, нѣсколько устарѣлымъ языкомъ, *vieilli*, и не имѣемъ той дерзкой самонадѣянности... И такая надутая эта нынѣшняя молодежь! Спросишь иного: какого вина вы хотите, краснаго или бѣлаго? „Я имѣю привычку предпочитать красное!“ отвѣчаетъ онъ басомъ и съ такимъ важнымъ лицомъ, какъ будто вся вселенная глядитъ на него въ это мгновеніе...

— Вамъ больше чаю не угодно?—промолвила Ѳеничка, просунувъ голову въ дверь: она не рѣшалась войти въ гостиную, пока въ ней раздавались голоса споривших.

— Нѣтъ, ты можешь велѣть самоваръ принять,—отвѣчалъ Николай Петровичъ, и поднялся къ ней навстрѣчу. Павелъ Петровичъ отрывисто сказалъ ему: *bon soir*, и ушелъ къ себѣ въ кабинетъ.

XI.

Полчаса спустя, Николай Петровичъ отправился въ садъ, въ свою любимую бесѣдку. На него нашли грустныя думы. Впервые онъ ясно созналъ свое разъединеніе

съ сыномъ; онъ предчувствовалъ, что съ каждымъ днемъ оно будетъ становиться все больше и больше. Стало-быть, напрасно онъ, бывало, зимою въ Петербургѣ, по цѣлымъ днямъ просиживалъ надъ новѣйшими сочиненіями; напрасно прислушивался къ разговорамъ молодыхъ людей; напрасно радовался, когда ему удавалось вставить и свое слово въ ихъ кипучія рѣчи. „Братъ говоритъ, что мы правы", думалъ онъ: „и отложивъ всякое самолюбіе въ сторону, мнѣ самому кажется, что они дальше отъ истины, нежели мы, а въ то же время я чувствую, что за ними есть что-то, чего мы не имѣемъ, какое-то преимущество надъ нами... Молодость? Нѣтъ: не одна только молодость. Не въ томъ ли состоитъ это преимущество, что въ нихъ меньше слѣдовъ барства, чѣмъ въ насъ?"

Николай Петровичъ потупилъ голову и провелъ рукой по лицу.

„Но отвергать поэзію?" подумалъ онъ опять: „не сочувствовать художеству, природѣ"...

И онъ посмотрѣлъ кругомъ, какъ бы желая понять, какъ можно не сочувствовать природѣ. Уже вечерѣло, солнце скрылось за небольшую осиновую рощу, лежавшую въ полверстѣ отъ сада: тѣнь отъ нея безъ конца тянулась черезъ неподвижныя поля. Мужичокъ ѣхалъ рысцой на бѣлой лошадкѣ по темной, узкой дорожкѣ вдоль самой рощи: онъ весь былъ ясно виденъ, весь, до заплаты на плечѣ, даромъ что ѣхалъ въ тѣни; пріятно-отчетливо мелькали ноги лошадки. Солнечные лучи съ своей стороны забирались въ рощу и, пробиваясь сквозь чащу, обливали стволы осинъ такимъ теплымъ свѣтомъ, что они становились похожи на стволы сосенъ, а листва ихъ почти синѣла и надъ нею поднималось блѣдно-голубое небо, чуть обрумяненное зарей. Ласточки летали высоко; вѣтеръ совсѣмъ замеръ; запоздалыя пчелы лѣниво и сонливо жужжали въ цвѣтахъ сирени; мошки толклись столбомъ надъ одинокою, далеко протянутою вѣткою. „Какъ хорошо, Боже мой!" подумалъ Николай Петровичъ, и любимые стихи пришли было ему на уста: онъ вспомнилъ Аркадія, *Stoff und Kraft*—и умолкъ, но продолжалъ сидѣть, продолжалъ

предаваться горестной и отрадной игрѣ одинокихъ думъ. Онъ любилъ помечтать; деревенская жизнь развила въ немъ эту способность. Давно ли онъ такъ же мечталъ, поджидая сына на постояломъ дворикѣ, а съ тѣхъ поръ уже произошла перемѣна, уже опредѣлились, тогда еще неясныя, отношенія... и какъ! Представилась ему опять покойница жена, но не такою, какую онъ ее зналъ въ теченіе многихъ лѣтъ, не домовитою, доброю хозяйкою, а молодою дѣвушкой, съ тонкимъ станомъ, невинно-пытливымъ взглядомъ и туго закрученною косой надъ дѣтскою шейкой. Вспомнилъ онъ, какъ онъ увидалъ ее въ первый разъ. Онъ былъ тогда еще студентомъ. Онъ встрѣтилъ ее на лѣстницѣ квартиры, въ которой онъ жилъ, и, нечаянно толкнувъ ее, обернулся, хотѣлъ извиниться, и только могъ пробормотать: „pardon, monsieur", а она наклонила голову, усмѣхнулась, и вдругъ какъ будто испугалась и побѣжала, а на поворотѣ лѣстницы быстро взглянула на него, приняла серьезный видъ и покраснѣла. А потомъ, первыя робкія посѣщенія, полу-слова, полу-улыбки, и недоумѣніе, и грусть, и порывы, и, наконецъ, эта задыхающаяся радость... Куда это все умчалось? Она стала его женой, онъ былъ счастливъ, какъ немногіе на землѣ... „Но," думалъ онъ: „тѣ сладостныя, первыя мгновенія, отчего бы не жить имъ вѣчною, неумирающею жизнью?"

Онъ не старался уяснить самому себѣ свою мысль, но онъ чувствовалъ, что ему хотѣлось удержать то блаженное время чѣмъ-нибудь болѣе сильнымъ, нежели память, ему хотѣлось вновь осязать близость своей Маріи, ощутить ея теплоту и дыханіе, и ему уже чудилось, какъ будто надъ нимъ...

— Николай Петровичъ, — раздался вблизи его голосъ Ѳенички:—гдѣ вы?

Онъ вздрогнулъ. Ему не стало ни больно, ни совѣстно... Онъ не допускалъ даже возможности сравненія между женой и Ѳеничкой, но онъ пожалѣлъ о томъ, что она вздумала его отыскивать. Ея голосъ разомъ напомнилъ ему: его сѣдые волосы, его старость, его настоящее...

Волшебный міръ, въ который онъ уже вступалъ, кото-

торый уже возникалъ изъ туманныхъ волнъ прошедшаго, шевельнулся—и исчезъ.

— Я здѣсь, — отвѣчалъ онъ: — я приду, ступай. „Вотъ они, слѣды-то барства“, мелькнуло у него въ головѣ. Ѳеничка молча заглянула къ нему въ бесѣдку и скрылась; а онъ съ изумленіемъ замѣтилъ, что ночь успѣла наступить съ тѣхъ поръ, какъ онъ замечтался. Все потемнѣло и затихло кругомъ, и лицо Ѳенички скользнуло передъ нимъ такое блѣдное и маленькое. Онъ приподнялся и хотѣлъ возвратиться домой; но размягченное сердце не могло успокоиться въ его груди, и онъ сталъ медленно ходить по саду, то задумчиво глядя себѣ подъ ноги, то поднимая глаза къ небу, гдѣ уже роились и перемигивались звѣзды. Онъ ходилъ много, почти до усталости, а тревога въ немъ, какая-то ищущая, неопредѣленная, печальная тревога, все не унималась. О, какъ Базаровъ посмѣялся бы надъ нимъ, если бъ узналъ, что̀ въ немъ тогда происходило! Самъ Аркадій осудилъ бы его. У него, у сорокачетырехлѣтняго человѣка, агронома и хозяина, навертывались слезы, безпричинныя слезы; это было во-сто̀ разъ хуже віолончели.

Николай Петровичъ продолжалъ ходить, и не могъ рѣшиться войти въ домъ, въ это мирное и уютное гнѣздо, которое такъ привѣтно глядѣло на него всѣми своими освѣщенными окнами; онъ не въ силахъ былъ разстаться съ темнотой, съ садомъ, съ ощущеніемъ свѣжаго воздуха на лицѣ, и съ этою грустью, съ этою тревогой...

На поворотѣ дорожки встрѣтился ему Павелъ Петровичъ.

— Что̀ съ тобой? — спросилъ онъ Николая Петровича: — ты блѣденъ, какъ привидѣніе; ты нездоровъ; отчего ты не ложишься?

Николай Петровичъ объяснилъ ему въ короткихъ словахъ свое душевное состояніе, и удалился. Павелъ Петровичъ дошелъ до конца сада, и тоже задумался, и тоже поднялъ глаза къ небу. Но въ его прекрасныхъ, темныхъ глазахъ не отразилось ничего, кромѣ свѣта звѣздъ. Онъ не былъ рожденъ романтикомъ, и не умѣла мечтать его

щегольски-сухая и страстная, на французскій ладъ мизантропическая душа...

— Знаешь ли что?—говорилъ въ ту же ночь Базаровъ Аркадію. — Мнѣ въ голову пришла великолѣпная мысль. Твой отецъ сказывалъ сегодня, что онъ получилъ приглашеніе отъ этого вашего знатнаго родственника. Твой отецъ не поѣдетъ; махнемъ-ка мы съ тобой въ ***; вѣдь этотъ господинъ и тебя зоветъ. Вишь какая сдѣлалась здѣсь погода; а мы прокатимся, городъ посмотримъ. Поболтаемся дней пять-шесть, и баста!

— А оттуда ты вернешься сюда?

— Нѣтъ, надо къ отцу проѣхать. Ты знаешь, онъ отъ *** въ тридцати верстахъ. Я его давно не видалъ, и мать тоже; надо стариковъ потѣшить. Они у меня люди хорошіе, особенно отецъ: презабавный. Я же у нихъ одинъ.

— И долго ты у нихъ пробудешь?

— Не думаю. Чай, скучно будетъ.

— А къ намъ на возвратномъ пути заѣдешь?

— Не знаю... посмотрю. Ну, такъ, что ли? Мы отправимся!

— Пожалуй,—лѣниво замѣтилъ Аркадій.

Онъ въ душѣ очень обрадовался предложенію своего пріятеля, но почелъ обязанностью скрыть свое чувство. Не даромъ же онъ былъ нигилистъ.

На другой день онъ уѣхалъ съ Базаровымъ въ ***. Молодежь въ Марьинѣ пожалѣла объ ихъ отъѣздѣ; Дуняша даже всплакнула... но старичкамъ вздохнулось легко.

XII.

Городъ ***, куда отправились наши пріятели, состоялъ въ вѣдѣніи губернатора изъ молодыхъ, прогрессиста и деспота, какъ это сплошь да рядомъ случается на Руси. Онъ, въ теченіе перваго года своего управленія, успѣлъ перессориться не только съ губернскимъ предводителемъ, отставнымъ гвардіи штабсъ-ротмистромъ, коннымъ заводчикомъ и хлѣбосоломъ, но и съ собственными чиновниками. Возникшія по этому поводу распри приняли, наконецъ, *такіе размѣры*, что министерство въ Петербургѣ нашло

необходимымъ послать довѣренное лицо съ порученіемъ разобрать все на мѣстѣ. Выборъ начальства палъ на Матвѣя Ильича Колязина, сына того Колязина, подъ попечительствомъ котораго находились нѣкогда братья Кирсановы. Онъ былъ тоже изъ „молодыхъ", то-есть, ему недавно минуло сорокъ лѣтъ, но онъ уже мѣтилъ въ государственные люди и на каждой сторонѣ груди носилъ по звѣздѣ. Одна, правда, была иностранная, изъ плохенькихъ. Подобно губернатору, котораго онъ пріѣхалъ судить, онъ считался прогрессистомъ и, будучи уже тузомъ, не походилъ на бо́льшую часть тузовъ. Онъ имѣлъ о себѣ самое высокое мнѣніе; тщеславіе его не знало границъ, но онъ держался просто, глядѣлъ одобрительно, слушалъ снисходительно, и такъ добродушно смѣялся, что на первыхъ порахъ могъ даже прослыть за „чуднаго малаго". Въ важныхъ случаяхъ онъ умѣлъ однако, какъ говорится, задать пыли. „Энергія необходима", говаривалъ онъ тогда: „l'énergie est la première qualité d'un homme d'état"; а со всѣмъ тѣмъ онъ обыкновенно оставался въ дуракахъ, и всякій нѣсколько опытный чиновникъ садился на него верхомъ. Матвѣй Ильичъ отзывался съ большимъ уваженіемъ о Гизо, и старался внушить всѣмъ и каждому, что онъ не принадлежитъ къ числу рутинёровъ и отсталыхъ бюрократовъ, что онъ не оставляетъ безъ вниманія ни одного важнаго проявленія общественной жизни... Всѣ подобныя слова были ему хорошо извѣстны. Онъ даже слѣдилъ, правда съ небрежною величавостью, за развитіемъ современной литературы: такъ взрослый человѣкъ, встрѣтивъ на улицѣ процессію мальчишекъ, иногда присоединяется къ ней. Въ сущности Матвѣй Ильичъ недалеко ушелъ отъ тѣхъ государственныхъ мужей Александровскаго времени, которые, готовясь идти на вечеръ къ г-жѣ Свѣчиной, жившей тогда въ Петербургѣ, прочитывали поутру страницу изъ Конильяка; только пріемы у него были другіе, болѣе современные. Онъ былъ ловкій придворный, большой хитрецъ, и больше ничего; въ дѣлахъ толку не зналъ, ума не имѣлъ, а *умѣлъ* вести свои собственныя дѣла:

тутъ ужъ никто не могъ его осѣдлать, а вѣдь эт главное.

Матвѣй Ильичъ принялъ Аркадія съ свойственным просвѣщенному сановнику добродушіемъ, скажемъ бо лѣе, съ игривостію. Онъ, однако, изумился, когда узнал что приглашенные имъ родственники остались въ де ревнѣ. „Чудакъ былъ твой папа всегда", замѣтилъ он побрасывая кистями своего великолѣпнаго бархатнаг шлафрока, и вдругъ, обратясь къ молодому чиновник въ благонамѣреннѣйше-застегнутомъ вицъ-мундирѣ, во кликнулъ съ озабоченнымъ видомъ: „чего?" Молодой че ловѣкъ, у котораго отъ продолжительнаго молчанія слип лись губы, приподнялся и съ недоумѣніемъ посмотрѣл на своего начальника. Но, озадачивъ подчиненнаго, Мат вѣй Ильичъ уже не обращалъ на него вниманія. Сано ники наши вообще любятъ озадачивать подчиненныхъ способы, къ которымъ они прибѣгаютъ для достижені этой цѣли, довольно разнообразны. Слѣдующій способъ между прочимъ, въ большомъ употребленіи, „is quite a favourite", какъ говорятъ англичане: сановникъ вдруг перестаетъ понимать самыя простыя слова, глухоту на себя напускаетъ. Онъ спроситъ напримѣръ: какой сего дня день?

Ему почтительнѣйше докладываютъ: „пятница сегодня ваше с...с...с...ство".

— А? что? Что такое? Что вы говорите?—напряжен повторяетъ сановникъ.

— Сегодня пятница, ваше с...с...ство.

— Какъ? Что? Что такое пятница? какая пятница?

— Пятница, ваше с...ссс...ссс...ство, день въ недѣлѣ.

— Ну-у, ты учить меня вздумалъ?

Матвѣй Ильичъ все-таки былъ сановникъ, хоть и сч тался либераломъ.

— Я совѣтую тебѣ, другъ мой, съѣздить съ визито къ губернатору,—сказалъ онъ Аркадію:—ты понимаеш я тебѣ это совѣтую не потому, чтобъ я придерживал старинныхъ понятій о необходимости ѣздить къ вл стямъ на поклонъ, а просто потому, что губернаторъ-

порядочный человѣкъ; притомъ же ты, вѣроятно, желаешь познакомиться съ здѣшнимъ обществомъ... Вѣдь ты не медвѣдь, надѣюсь? А онъ послѣзавтра даетъ большой балъ.

— Вы будете на этомъ балѣ?—спросилъ Аркадій.

— Онъ для меня его даетъ, — проговорилъ Матвѣй Ильичъ почти съ сожалѣніемъ. — Ты танцуешь?

— Танцую, только плохо.

— Это напрасно. Здѣсь есть хорошенькія, да и молодому человѣку стыдно не танцовать. Опять-таки я это говорю не въ силу старинныхъ понятій; я вовсе не полагаю, что умъ долженъ находиться въ ногахъ, но байронизмъ смѣшонъ, il a fait son temps.

— Да я, дядюшка, вовсе не изъ байронизма, не...

— Я познакомлю тебя съ здѣшними барынями, я беру тебя подъ свое крылышко,—перебилъ Матвѣй Ильичъ, и самодовольно засмѣялся.—Тебѣ тепло будетъ, а?

Слуга вошелъ и доложилъ о пріѣздѣ предсѣдателя казенной палаты, сладкоглазаго старика съ сморщенными губами, который чрезвычайно любилъ природу, особенно въ лѣтній день, когда по его словамъ: „каждая пчелочка съ каждаго цвѣточка беретъ взяточку...“ Аркадій удалился.

Онъ засталъ Базарова въ трактирѣ, гдѣ они остановились, и долго его уговаривалъ пойти къ губернатору. „Нечего дѣлать!“ сказалъ, наконецъ, Базаровъ: „взялся за гужъ—не говори, что не дюжъ. Пріѣхали смотрѣть помѣщиковъ, давай ихъ смотрѣть!“ Губернаторъ принялъ молодыхъ людей привѣтливо, но не посадилъ ихъ и самъ не сѣлъ. Онъ вѣчно суетился и спѣшилъ; съ утра надѣвалъ тѣсный вицъ-мундиръ и чрезвычайно тугой галстукъ, не доѣдалъ и не допивалъ, все распоряжался. Его въ губерніи прозвали Бурдалу, намекая тѣмъ не на извѣстнаго французскаго проповѣдника, а на бурду. Онъ пригласилъ Кирсанова и Базарова къ себѣ на балъ, и черезъ двѣ минуты пригласилъ ихъ вторично, считая ихъ уже братьями и называя ихъ Кайсаровыми.

Они шли къ себѣ домой отъ губернатора, какъ вдругъ,

изъ проѣзжающихъ мимо дрожекъ, выскочилъ человѣкъ небольшого роста, въ славянофильской венгеркѣ, и съ крикомъ: „Евгеній Васильичъ!“ бросился къ Базарову.

— А! это вы, герръ Ситниковъ, — проговорилъ Базаровъ, продолжая шагать по тротуару: — какими судьбами?

— Вообразите, совершенно случайно, — отвѣчалъ тотъ, и, обернувшись къ дрожкамъ, махнулъ разъ пять рукой и закричалъ: — ступай за нами, ступай! — У моего отца здѣсь дѣло, — продолжалъ онъ, перепрыгивая черезъ канавку:—ну, такъ онъ меня просилъ... Я сегодня узналъ о вашемъ пріѣздѣ и уже былъ у васъ... (Дѣйствительно, пріятели, возвратясь къ себѣ въ номеръ, нашли тамъ карточку съ загнутыми углами и съ именемъ Ситникова, на одной сторонѣ по-французски, на другой—славянскою вязью.) Я надѣюсь, вы не отъ губернатора?

— Не надѣйтесь, мы прямо отъ него.

— А! въ такомъ случаѣ и я къ нему пойду... Евгеній Васильичъ, познакомьте меня съ вашимъ... съ ними...

— Ситниковъ, Кирсановъ,—проворчалъ, не останавливаясь, Базаровъ.

— Мнѣ очень лестно, — началъ Ситниковъ, выступая бокомъ, ухмыляясь и поспѣшно стаскивая свои уже черезчуръ элегантныя перчатки. — Я очень много слышалъ... Я старинный знакомый Евгенія Васильича, и могу сказать—его ученикъ. Я ему обязанъ моимъ перерожденіемъ...

Аркадій посмотрѣлъ на базаровскаго ученика. Тревожное и тупое выраженіе сказывалось въ маленькихъ, впрочемъ пріятныхъ чертахъ его прилизаннаго лица; небольшіе, словно вдавленные глаза глядѣли пристально и безпокойно, и смѣялся онъ безпокойно: какимъ-то короткимъ, деревяннымъ смѣхомъ.

— Повѣрите ли,—продолжалъ онъ:—что когда при мнѣ Евгеній Васильевичъ въ первый разъ сказалъ, что не должно признавать авторитетовъ, я почувствовалъ такой *восторгъ*... словно прозрѣлъ! Вотъ, подумалъ я, наконецъ *нашелъ я* человѣка! Кстати, Евгеній Васильевичъ, вамъ

непремѣнно надобно сходить къ одной здѣшней дамѣ, которая совершенно въ состояніи понять васъ и для которой ваше посѣщеніе будетъ настоящимъ праздникомъ; вы, я думаю, слыхали о ней?

— Кто такая?—произнесъ нехотя Базаровъ.

— Кукшина, Eudoxie, Евдоксія Кукшина. Это — замѣчательная натура, émancipée въ истинномъ смыслѣ слова, передовая женщина. Знаете ли что? Пойдемте теперь къ ней всѣ вмѣстѣ. Она живетъ отсюда въ двухъ шагахъ. Мы тамъ позавтракаемъ. Вѣдь вы еще не завтракали?

— Нѣтъ еще.

— Ну, и прекрасно. Она, вы понимаете, разъѣхалась съ мужемъ, ни отъ кого не зависитъ.

— Хорошенькая она?—перебилъ Базаровъ.

— Н... нѣтъ, этого нельзя сказать.

— Такъ для какого же дьявола вы насъ къ ней зовете?

— Ну, шутникъ, шутникъ... Она намъ бутылку шампанскаго поставитъ.

— Вотъ какъ! Сейчасъ виденъ практическій человѣкъ. Кстати, вашъ батюшка все по откупамъ?

— По откупамъ,—торопливо проговорилъ Ситниковъ и визгливо засмѣялся.—Что жъ? идетъ?

— Не знаю, право.

— Ты хотѣлъ людей смотрѣть, ступай,—замѣтилъ вполголоса Аркадій.

— А вы-то что жъ, г. Кирсановъ,—подхватилъ Ситниковъ.—Пожалуйте и вы, безъ васъ нельзя.

— Да какъ же это мы всѣ разомъ нагрянемъ?

— Ничего. Кукшина—человѣкъ чудный.

— Бутылка шампанскаго будетъ?—спросилъ Базаровъ.

— Три!—воскликнулъ Ситниковъ.—За это я ручаюсь.

— Чѣмъ?

— Собственною головою.

— Лучше бы мошною батюшки. А впрочемъ, пойдемъ.

XIII.

Небольшой дворянскій домикъ на московскій манеръ, въ которомъ проживала Авдотья Никитишна или Евдоксія

Кукшина, находился въ одной изъ ново-выгорѣвшихъ улицъ города ***; извѣстно, что наши губернскіе города горятъ, черезъ каждыя пять лѣтъ. У дверей, надъ криво прибитою визитною карточкой, виднѣлась ручка колокольчика, и въ передней встрѣтила пришедшихъ какая-то, не то служанка, не то компаньонка въ чепцѣ, — явные признаки прогрессивныхъ стремленій хозяйки. Ситниковъ спросилъ, дома ли Авдотья Никитишна?

— Это вы, Victor?—раздался тонкій голосъ изъ сосѣдней комнаты.—Войдите.

Женщина въ чепцѣ тотчасъ исчезла.

— Я не одинъ,—промолвилъ Ситниковъ, лихо скидывая свою венгерку, подъ которою оказалось нѣчто въ родѣ поддевки или пальто-сака, и бросая бойкій взглядъ Аркадію и Базарову.

— Все равно,—отвѣчалъ голосъ.—Entrez!

Молодые люди вошли. Комната, въ которой они очутились, походила скорѣе на рабочій кабинетъ, чѣмъ на гостиную. Бумаги, письма, толстые нумера русскихъ журналовъ, большею частью неразрѣзанные, валялись по запыленнымъ столамъ; вездѣ бѣлѣли разбросанные окурки папиросъ. На кожаномъ диванѣ полулежала дама, еще молодая, бѣлокурая, нѣсколько растрепанная, въ шелковомъ, не совсѣмъ опрятномъ, платьѣ, съ крупными браслетами на коротенькихъ рукахъ и кружевною косынкой на головѣ. Она встала съ дивана и, небрежно натягивая себѣ на плечи бархатную шубку на пожелтѣломъ горностаевомъ мѣху, лѣниво промолвила:

— Здравствуйте, Victor,—и пожала Ситникову руку.

— Базаровъ, Кирсановъ,— проговорилъ онъ отрывисто, въ подражаніе Базарову.

— Милости просимъ,—отвѣчала Кукшина, и, уставивъ на Базарова свои круглые глаза, между которыми сиротливо краснѣлъ крошечный вздернутый носикъ, прибавила:—я васъ знаю,—и пожала ему руку тоже.

Базаровъ поморщился. Въ маленькой и невзрачной фигуркѣ эманципированной женщины не было ничего безобразнаго; но выраженіе ея лица непріятно дѣйствовало

на зрителя. Невольно хотѣлось спросить у ней: „Что ты, голодна? Или скучаешь? Или робѣешь? Чего ты пружишься?“ И у ней, какъ у Ситникова, вѣчно скребло на душѣ. Она говорила и двигалась очень развязно и въ то же время неловко: она, очевидно, сама себя считала за добродушное и простое существо, и, между тѣмъ, что бы она ни дѣлала, вамъ постоянно казалось, что она именно это-то и не хотѣла сдѣлать; все у ней выходило, какъ дѣти говорятъ—нарочно, то есть не просто, не естественно.

— Да, да, я знаю васъ, Базаровъ,—повторила она. (За ней водилась привычка, свойственная многимъ провинціальнымъ и московскимъ дамамъ — съ перваго дня знакомства звать мужчинъ по фамиліи.)—Хотите сигару?

— Сигарку сигаркой,—подхватилъ Ситниковъ, который успѣлъ развалиться въ креслахъ и задрать ногу кверху:— а дайте-ка намъ позавтракать. Мы голодны ужасно; да велите намъ воздвигнуть бутылочку шампанскаго.

— Сибаритъ, — промолвила Евдоксія, и засмѣялась. Когда она смѣялась, ея верхняя десна обнажалась надъ губами.)—Не правда ли, Базаровъ, онъ сибаритъ?

— Я люблю комфортъ жизни,—произнесъ съ важностію Ситниковъ.—Это не мѣшаетъ мнѣ быть либераломъ.

— Нѣтъ, это мѣшаетъ, мѣшаетъ!—воскликнула Евдоксія, и приказала, однако, своей прислужницѣ распорядиться и насчетъ завтрака, и насчетъ шампанскаго. — Какъ вы объ этомъ думаете?—прибавила она, обращаясь къ Базарову.—Я увѣрена, вы раздѣляете мое мнѣніе.

— Ну, нѣтъ,—возразилъ Базаровъ:—кусокъ мяса лучше куска хлѣба, даже съ химической точки зрѣнія.

— А вы занимаетесь химіей? Это моя страсть. Я даже сама выдумала одну мастику.

— Мастику? вы?

— Да, я. И знаете ли съ какою цѣлью? Куклы дѣлать, головки, чтобы не ломались. Я вѣдь тоже практическая. Но все еще не готово. Нужно еще Либиха почитать. Кстати, читали вы статью Кислякова о женскомъ трудѣ въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“? Прочтите, пожалуйста.

Вѣдь васъ интересуетъ женскій вопросъ? И школы то
Чѣмъ вашъ пріятель занимается? Какъ его зовутъ?

Госпожа Кукшина *роняла* свои вопросы одинъ за д
гимъ съ изнѣженной небрежностію, не дожидаясь от
товъ; избалованныя дѣти такъ говорятъ со своими ня
ками.

— Меня зовутъ Аркадій Николаичъ Кирсановъ,— п
говорилъ Аркадій:—и я ничѣмъ не занимаюсь.

Евдоксія захохотала.

— Вотъ это мило? Что̀, вы не курите? Викторъ,
знаете, я на васъ сердита.

— За что̀?

— Вы, говорятъ, опять стали хвалить Жоржъ Сан
Отсталая женщина и больше ничего! Какъ можно ср
нить ее съ Эмерсономъ! Она никакихъ идей не имѣетъ
о воспитаніи, ни о физіологіи, ни о чемъ. Она, я увѣре
и не слыхивала объ эмбріологіи, а въ наше время—ка
вы хотите безъ этого? (Евдоксія даже руки разставил
Ахъ, какую удивительную статью по этому поводу на
салъ Елисѣвичъ! Это геніальный господинъ! (Евдок
постоянно употребляла слово „господинъ“ вмѣсто „че
вѣкъ“.) Базаровъ, сядьте возлѣ меня на диванъ. Вы, м
жетъ-быть, не знаете, я ужасно васъ боюсь.

— Это почему? Позвольте полюбопытствовать.

— Вы опасный господинъ: вы такой критикъ. А
Боже мой! мнѣ смѣшно, я говорю, какъ какая-нибу
степная помѣщица. Впрочемъ, я дѣйствительно помѣщи
Я сама имѣніемъ управляю и, представьте, у меня с
роста Ероѳей — удивительный типъ, точно Патфайнде
Купера: что-то такое въ немъ непосредственное! Я окон
тельно поселилась здѣсь; несносный городъ, не правда
Но что дѣлать?

— Городъ какъ городъ, — хладнокровно замѣтилъ Б
заровъ.

— Все такіе мелкіе интересы, вотъ что ужасно! П
жде я по зимамъ жила въ Москвѣ... но теперь тамъ о
таетъ мой благовѣрный, мосьё Кукшинъ. Да и Мос
теперь... ужъ я не знаю—тоже ужъ не то. Я думаю съ

дить за границу; я въ прошломъ году уже совсѣмъ-было собралась.

— Въ Парижъ, разумѣется?—спросилъ Базаровъ.

— Въ Парижъ и Гейдельбергъ.

— Зачѣмъ въ Гейдельбергъ?

— Помилуйте, тамъ Бунзенъ!

На это Базаровъ ничего не нашелся отвѣтить.

— Pierre Сапожниковъ... вы его знаете?

— Нѣтъ, не знаю.

— Помилуйте, Pierre Сапожниковъ... онъ еще всегда у Лидіи Хостатовой бываетъ.

— Я и ея не знаю.

— Ну, вотъ онъ взялся меня проводить. Слава Богу, я свободна, у меня нѣтъ дѣтей... Что это я сказала: *слава Богу!* Впрочемъ, это все равно.

Евдоксія свернула папироску своими побурѣвшими отъ табаку пальцами, провела по ней языкомъ, пососала ее и закурила. Вошла прислужница съ подносомъ.

— А, вотъ и завтракъ! Хотите закусить? Викторъ, откупорьте бутылку; это по вашей части.

— По моей, по моей,—пробормоталъ Ситниковъ, и опять визгливо засмѣялся.

— Есть здѣсь хорошенькія женщины?—спросилъ Базаровъ, допивая третью рюмку.

— Есть, — отвѣчала Евдоксія: — да всѣ онѣ такія пустыя. Напримѣръ, mon amie Одинцова — недурна. Жаль, что репутація у нея какая-то... Впрочемъ, это бы ничего, но никакой свободы воззрѣнія, никакой ширины, ничего... этого. Всю систему воспитанія надобно перемѣнить. Я объ этомъ уже думала; наши женщины очень дурно воспитаны:

— Ничего вы съ ними не сдѣлаете,—подхватилъ Ситниковъ. — Ихъ слѣдуетъ презирать, и я ихъ презираю, вполнѣ и совершенно! (Возможность презирать и выражать свое презрѣніе была самымъ пріятнымъ ощущеніемъ для Ситникова; онъ въ особенности нападалъ на женщинъ, не подозрѣвая того, что ему предстояло нѣсколько мѣсяцевъ спустя пресмыкаться передъ своей женой, потому только

что она была урожденная княжна Дурдолеосова.) Ни одна изъ нихъ не была бы въ состояніи понять нашу бесѣду; ни одна изъ нихъ не стоитъ того, чтобы мы, серьезные мужчины, говорили о ней!

— Да имъ совсѣмъ не нужно понимать нашу бесѣду,— промолвилъ Базаровъ.

— О комъ вы говорите?—вмѣшалась Евдоксія.

— О хорошенькихъ женщинахъ.

— Какъ? Вы, стало-быть, раздѣляете мнѣніе Прудона!

Базаровъ надменно выпрямился.

— Я ничьихъ мнѣній не раздѣляю: я имѣю свои.

— Долой авторитеты!—закричалъ Ситниковъ, обрадовавшись случаю рѣзко выразиться въ присутствіи человѣка, передъ которымъ раболѣпствовалъ.

— Но самъ Маколей,—начала-было Кукшина.

— Долой Маколея!—загремѣлъ Ситниковъ.—Вы заступаетесь за этихъ бабенокъ?

— Не за бабенокъ, а за права женщинъ, которыя я поклялась защищать до послѣдней капли крови.

— Долой!—Но тутъ Ситниковъ остановился.—Да я ихъ не отрицаю,—промолвилъ онъ.

— Нѣтъ, я вижу, вы славянофилъ!

— Нѣтъ, я не славянофилъ, хотя, конечно...

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! Вы славянофилъ. Вы послѣдователь *Домостроя*. Вамъ бы плетку въ руки!

— Плетка дѣло доброе,—замѣтилъ Базаровъ:—только мы вотъ добрались до послѣдней капли...

— Чего?—перебила Евдоксія.

— Шампанскаго, почтеннѣйшая Авдотья Никитишна, шампанскаго—не вашей крови.

— Я не могу слышать равнодушно, когда нападаютъ на женщинъ,—продолжала Евдоксія.—Это ужасно, ужасно. Вмѣсто того, чтобы нападать на нихъ, прочтите лучше книгу Мишле: *De l'amour*. Это чудо! Господа, будемте говорить о любви,—прибавила Евдоксія, томно уронивъ руку на смятую подушку дивана.

Наступило внезапное молчаніе.

— *Нѣтъ*, зачѣмъ говорить о любви,—промолвилъ Ба-

аровъ: — а вотъ вы упомянули объ Одинцовой... Такъ, кажется, вы ее назвали? Кто эта барыня?

— Прелесть, прелесть!—запищалъ Ситниковъ.—Я васъ представлю. Умница, богачка, вдова. Къ сожалѣнію, она еще недовольно развита: ей бы надо съ нашею Евдоксіей поближе познакомиться. Пью ваше здоровье, Eudoxie! Чокнемтесь! „Et toc, et toc, et tin-tin-tin. Et toc, et toc, et tin-tin-tin!!..“

— Victor, вы шалунъ.

Завтракъ продолжался долго. За первою бутылкой шампанскаго послѣдовала другая, третья и даже четвертая... Евдоксія болтала безъ умолку; Ситниковъ ей вторилъ. Много толковали они о томъ, что̀ такое бракъ—предразсудокъ или преступленіе, и какіе родятся люди — одинаковые или нѣтъ? и въ чемъ собственно состоитъ индивидуальность? Дѣло дошло, наконецъ, до того, что Евдоксія, вся красная отъ выпитаго вина, и стуча плоскими ногтями по клавишамъ разстроеннаго фортепіано, принялась пѣть сиплымъ голосомъ сперва цыганскія пѣсни, потомъ романсъ Сеймуръ-Шиффа: „Дремлетъ сонная Гранада“, а Ситниковъ повязалъ голову шарфомъ и представлялъ замиравшаго любовника, при словахъ:

„И уста твои съ моими
Въ поцѣлуй горячій слить“.

Аркадій не вытерпѣлъ, наконецъ.

— Господа, ужъ это что-то на Бедламъ похоже стало,— замѣтилъ онъ вслухъ.

Базаровъ, который лишь изрѣдка вставлялъ въ разговоръ насмѣшливое слово—онъ занимался больше шампанскимъ— громко зѣвнулъ, всталъ, и, не прощаясь съ хозяйкой, вышелъ вонъ вмѣстѣ съ Аркадіемъ. Ситниковъ вскочилъ вслѣдъ за ними.

— Ну что, ну что? — спрашивалъ онъ, подобострастно забѣгая то справа, то слѣва:—вѣдь я говорилъ вамъ: замѣчательная личность! Вотъ какихъ бы намъ женщинъ побольше! Она, въ своемъ родѣ, высоко-нравственное явленіе.

— А это заведеніе *твоего* отца тоже нравственное явле-

ніе?—промолвилъ Базаровъ, ткнувъ пальцемъ на кабакъ, мимо котораго они въ это мгновеніе проходили.

Ситниковъ опять засмѣялся съ визгомъ. Онъ очень стыдился своего происхожденія, и не зналъ: чувствовать ли ему себя польщеннымъ или обиженнымъ отъ неожиданнаго *тыканья* Базарова.

XIV.

Нѣсколько дней спустя состоялся балъ у губернатора. Матвѣй Ильичъ былъ настоящимъ „героемъ праздника“; губернскій предводитель объявилъ всѣмъ и каждому, что онъ пріѣхалъ собственно изъ уваженія къ нему, а губернаторъ даже и на балѣ, даже оставаясь неподвижнымъ, продолжалъ „распоряжаться“. Мягкость въ обращеніи Матвѣя Ильича могла равняться только съ его величавостью. Онъ ласкалъ всѣхъ — однихъ съ оттѣнкомъ гадливости, другихъ съ оттѣнкомъ уваженія; разсыпался „en vrai chevalier français“ передъ дамами и безпрестанно смѣялся крупнымъ, звучнымъ и одинокимъ смѣхомъ, какъ оно и слѣдуетъ сановнику. Онъ потрепалъ по спинѣ Аркадія и громко назвалъ его „племянничкомъ“, удостоилъ Базарова, облеченнаго въ староватый фракъ,— разсѣяннаго, но снисходительнаго взгляда вскользь, черезъ щеку, и неяснаго, но привѣтливаго мычанья, въ которомъ только и можно было разобрать, что „я...“ да „ссьма“; подалъ палецъ Ситникову и улыбнулся ему, но уже отвернувъ голову; даже самой Кукшиной, явившейся на балъ безо всякой кринолины и въ грязныхъ перчаткахъ, но съ райскою птицею въ волосахъ, даже Кукшиной онъ сказалъ „enchanté“. Народу было пропасть, и въ кавалерахъ не было недостатка; штатскіе болѣе тѣснились вдоль стѣнъ, но военные танцовали усердно, особенно одинъ изъ нихъ, который прожилъ недѣль шесть въ Парижѣ, гдѣ онъ выучился разнымъ залихватскимъ восклицаньямъ въ родѣ: „zut“, „Ah fichtrrre“, „pst, pst, mon bibi“ и т. п. Онъ произносилъ ихъ въ совершенствѣ, съ настоящимъ парижскимъ *шикомъ*, и въ то же время *говорилъ:* „si j'aurais“ вмѣсто „si j'avais“, „absolument“

въ смыслѣ: „непремѣнно“, словомъ, выражался на томъ великорусско-французскомъ нарѣчіи, надъ которымъ такъ смѣются французы, когда они не имѣютъ нужды увѣрять нашу братью, что мы говоримъ на ихъ языкѣ, какъ ангелы, „comme des anges“.

Аркадій танцовалъ плохо, какъ мы уже знаемъ, а Базаровъ вовсе не танцовалъ: они оба помѣстились въ уголкѣ: къ нимъ присоединился Ситниковъ. Изобразивъ на лицѣ своемъ презрительную насмѣшку и отпуская ядовитыя замѣчанія, онъ дерзко поглядывалъ кругомъ и, казалось, чувствовалъ истинное наслажденіе. Вдругъ лицо его измѣнилось и, обернувшись къ Аркадію, онъ, какъ бы съ смущеніемъ, проговорилъ: „Одинцова пріѣхала“.

Аркадій оглянулся и увидалъ женщину высокаго роста въ черномъ платьѣ, остановившуюся въ дверяхъ залы. Она поразила его достоинствомъ своей осанки. Обнаженныя ея руки красиво лежали вдоль стройнаго стана; красиво падали съ блестящихъ волосъ на покатыя плечи легкія вѣтки фуксій; спокойно и умно, именно спокойно, не задумчиво, глядѣли свѣтлые глаза изъ-подъ немного нависшаго бѣлаго лба, и губы улыбались едва замѣтною улыбкою. Какою-то ласковой и мягкой силой вѣяло отъ ея лица.

— Вы съ ней знакомы?—спросилъ Аркадій Ситникова.

— Коротко. Хотите я васъ представлю?

— Пожалуй... послѣ этой кадрили.

Базаровъ тоже обратилъ вниманіе на Одинцову.

— Это что за фигура?—проговорилъ онъ.—На остальныхъ бабъ не похожа.

Дождавшись конца кадрили, Ситниковъ провелъ Аркадія къ Одинцовой; но едва ли онъ былъ коротко съ ней знакомъ: и самъ онъ запутался въ рѣчахъ своихъ, и она глядѣла на него съ нѣкоторымъ изумленіемъ. Однако лицо ея приняло радушное выраженіе, когда она услышала фамилію Аркадія. Она спросила его, не сынъ ли онъ Николая Петровича?

— Точно такъ.

— Я видѣла вашего батюшку два раза; и много слы-

шала о немъ,—продолжала она:—я очень рада съ вами познакомиться.

Въ это мгновеніе подлетѣлъ къ ней какой-то адъютантъ и пригласилъ ее на кадриль. Она согласилась.

— Вы развѣ танцуете?—почтительно спросилъ Аркадій.

— Танцую. А вы почему думаете, что я не танцую? Или я вамъ кажусь слишкомъ стара?

— Помилуйте, какъ можно... Но въ такомъ случаѣ позвольте мнѣ пригласить васъ на мазурку.

Одинцова снисходительно усмѣхнулась.

— Извольте,—сказала она и посмотрѣла на Аркадія, не то чтобы свысока, а такъ, какъ замужнія сестры смотрятъ на очень молоденькихъ братьевъ.

Одинцова была немного старше Аркадія, ей пошелъ двадцать девятый годъ, но въ ея присутствіи онъ чувствовалъ себя школьникомъ, студентикомъ, точно разница лѣтъ между ними была гораздо значительнѣе. Матвѣй Ильичъ приблизился къ ней съ величественнымъ видомъ и подобострастными рѣчами. Аркадій отошелъ въ сторону, но продолжалъ наблюдать за нею: онъ не спускалъ съ нея глазъ и во время кадрили. Она такъ же непринужденно разговаривала съ своимъ танцоромъ, какъ и съ сановникомъ; тихо поводила головой и глазами, и раза два тихо засмѣялась. Носъ у ней былъ немного толстъ, какъ почти у всѣхъ русскихъ, и цвѣтъ кожи не былъ совершенно чистъ; со всѣмъ тѣмъ Аркадій рѣшилъ, что онъ еще никогда не встрѣчалъ такой прелестной женщины. Звукъ ея голоса не выходилъ у него изъ ушей; самыя складки ея платья, казалось, ложились у ней иначе, чѣмъ у другихъ, стройнѣе и шире, и движенія ея были особенно плавны и естественны въ одно и то же время.

Аркадій ощущалъ на сердцѣ нѣкоторую робость, когда, при первыхъ звукахъ мазурки, онъ усаживался возлѣ своей дамы и, готовясь вступить въ разговоръ, только проводилъ рукой по волосамъ и не находилъ единаго слова. Но онъ робѣлъ и волновался не долго; спокойствіе Одинцовой сообщилось и ему: четверти часа не прошло, *какъ ужъ* онъ свободно разсказывалъ о своемъ отцѣ,

дядѣ, о жизни въ Петербургѣ и въ деревнѣ. Одинцова слушала его съ вѣжливымъ участіемъ, слегка раскрывая и закрывая вѣеръ; болтовня его прерывалась, когда ее выбирали кавалеры; Ситниковъ, между прочимъ, пригласилъ ее два раза. Она возвращалась, садилась снова, брала вѣеръ, и даже грудь ея не дышала быстрѣе, а Аркадій опять принимался болтать, весь проникнутый счастіемъ находиться въ ея близости, говорить съ ней, глядя въ ея глаза, въ ея прекрасный лобъ, во все ея милое, важное и умное лицо. Сама она говорила мало, но знаніе жизни сказывалось въ ея словахъ; по инымъ ея замѣчаніямъ Аркадій заключилъ, что эта молодая женщина уже успѣла перечувствовать и передумать многое...

— Съ кѣмъ вы это стояли?—спросила она его:—когда г-нъ Ситниковъ подвелъ васъ ко мнѣ?

— А вы его замѣтили? — спросилъ въ свою очередь Аркадій.—Не правда ли, какое у него славное лицо? Это нѣкто Базаровъ, мой пріятель.

Аркадій принялся говорить о „своемъ пріятелѣ".

Онъ говорилъ о немъ такъ подробно и съ такимъ восторгомъ, что Одинцова обернулась къ нему и внимательно на него посмотрѣла. Между тѣмъ мазурка приближалась къ концу. Аркадію стало жалко разставаться съ своей дамой: онъ такъ хорошо провелъ съ ней около часа! Правда, онъ въ теченіе всего этого времени постоянно чувствовалъ, какъ будто она къ нему снисходила, какъ будто ему слѣдовало быть ей благодарнымъ... но молодыя сердца не тяготятся этимъ чувствомъ.

Музыка умолкла.

— Merci, — промолвила Одинцова, вставая. — Вы обѣщали мнѣ посѣтить меня, привезите жъ съ собой и вашего пріятеля. Мнѣ будетъ очень любопытно видѣть человѣка, который имѣетъ смѣлость ни во что не вѣрить.

Губернаторъ подошелъ къ Одинцовой, объявилъ, что ужинъ готовъ, и съ озабоченнымъ лицомъ подалъ ей руку. Уходя, она обернулась, чтобы въ послѣдній разъ улыбнуться и кивнуть Аркадію. Онъ низко поклонился, посмотрѣлъ ей вслѣдъ (какъ строенъ показался ему ея станъ,

облитый сѣроватымъ блескомъ чернаго шелка!) и подумавъ: „въ это мгновенье она уже забыла о моемъ существованіи“, — почувствовалъ на душѣ какое-то изящное смиреніе...

— Ну что?—спросилъ Базаровъ Аркадія, какъ только тотъ вернулся къ нему въ уголокъ. — Получилъ удовольствіе? Мнѣ сейчасъ сказывалъ одинъ баринъ, что эта госпожа—ой-ой-ой; да баринъ-то, кажется, дуракъ. Ну, и по-твоему, что́ она, точно—ой-ой-ой?

— Я этого опредѣленья не совсѣмъ понимаю, — отвѣчалъ Аркадій.

— Вотъ еще! Какой невинный!

— Въ такомъ случаѣ я не понимаю твоего барина. Одинцова очень мила—безспорно, но она такъ холодно и строго себя держитъ, что...

— Въ тихомъ омутѣ... ты знаешь! — подхватилъ Базаровъ. — Ты говоришь, она холодна. Въ этомъ-то самый вкусъ и есть. Вѣдь ты любишь мороженое?

— Можетъ-быть,—пробормоталъ Аркадій: —я объ этомъ судить не могу. Она желаетъ съ тобой познакомиться, и просила меня, чтобъ я привезъ тебя къ ней.

— Воображаю, какъ ты меня расписывалъ! Впрочемъ, ты поступилъ хорошо. Вези меня. Кто бы она ни была—просто ли губернская львица, или „эманципе́“ въ родѣ Кукшиной, только у ней такія плечи, какихъ я не видывалъ давно.

Аркадія покоробило отъ цинизма Базарова, но — какъ это часто случается — онъ упрекнулъ своего пріятеля не за то именно, что̀ ему въ немъ не понравилось...

— Отчего ты не хочешь допустить свободы мысли въ женщинахъ?—проговорилъ онъ вполголоса.

— Оттого, братецъ, что, по моимъ замѣчаніямъ, свободно мыслятъ между женщинами только уроды.

Разговоръ на этомъ прекратился. Оба молодыхъ человѣка уѣхали тотчасъ послѣ ужина. Кукшина нервически злобно, но не безъ робости, засмѣялась имъ во слѣдъ: ея самолюбіе было глубоко уязвлено тѣмъ, что ни тотъ, ни другой не обратилъ на нее вниманія. Она оставалась

ɔзже всѣхъ на балѣ, и въ четвертомъ часу ночи про-
ɜнцовала польку-мазурку съ Ситниковымъ па парижскій
анеръ. Этимъ поучительнымъ зрѣлищемъ и завершился
убернаторскій праздникъ.

XV.

— Посмотримъ, къ какому разряду млекопитающихъ
ринадлежитъ сія особа, — говорилъ на слѣдующій день
ркадію Базаровъ, поднимаясь вмѣстѣ съ нимъ по лѣст-
ицѣ гостиницы, въ которой остановилась Одинцова. —
ɜувствуетъ мой носъ, что тутъ что-то не ладно.

— Я тебѣ удивляюсь! — воскликнулъ Аркадій. — Какъ?
ы, ты, Базаровъ, придерживаешься той узкой морали,
оторую...

— Экой ты чудакъ! — небрежно перебилъ Базаровъ. —
азвѣ ты не знаешь, что на нашемъ нарѣчіи и для на-
ɜего брата „не ладно“ значитъ „ладно“? Пожива есть,
начитъ. Не самъ ли ты сегодня говорилъ, что она странно
ышла замужъ, хотя, по мнѣнію моему, выдти за богатаго
тарика—дѣло ничуть не странное, а, напротивъ, благо-
ɔазумное. Я городскимъ толкамъ не вѣрю; но люблю ду-
ɜать, какъ говоритъ нашъ образованный губернаторъ, что
ɔни справедливы.

Аркадій ничего не отвѣчалъ и постучался въ дверь но-
мера. Молодой слуга въ ливреѣ ввелъ обоихъ пріятелей
въ большую комнату, меблированную дурно, какъ всѣ ком-
наты русскихъ гостиницъ, но уставленную цвѣтами. Скоро
появилась сама Одинцова въ простомъ утреннемъ платьѣ.
Она казалась еще моложе при свѣтѣ весенняго солнца.
Аркадій представилъ ей Базарова, и съ тайнымъ удивле-
ніемъ замѣтилъ, что онъ какъ будто сконфузился, между
тѣмъ какъ Одинцова оставалась совершенно спокойною,
по-вчерашнему. Базаровъ самъ почувствовалъ, что сконф-
фузился, и ему стало досадно. „Вотъ тебѣ разъ! — бабы
испугался!“ подумалъ онъ, и, развалясь въ креслѣ, не
уже Ситникова, заговорилъ преувеличенно развязно, а
Одинцова не спускала съ него своихъ ясныхъ глазъ.

Анна Сергѣевна Одинцова родилась отъ Сергѣя Нико-

лаевича Локтева, извѣстнаго красавца, аффериста и игрока, который, продержавшись и прошумѣвъ лѣтъ пятнадцать въ Петербургѣ и Москвѣ, кончилъ тѣмъ, что проигрался въ прахъ и принужденъ былъ поселиться въ деревнѣ, гдѣ, впрочемъ, скоро умеръ, оставивъ крошечное состояніе двумъ своимъ дочерямъ, Аннѣ — двадцати и Катеринѣ — двѣнадцати лѣтъ. Мать ихъ, изъ обѣднѣвшаго рода князей Х.....ъ, скончалась въ Петербургѣ, когда мужъ ея находился еще въ полной силѣ. Положеніе Анны, послѣ смерти отца, было очень тяжело. Блестящее воспитаніе, полученное ею въ Петербургѣ, не подготовило ее къ перенесенію заботъ по хозяйству и по дому, — къ глухому деревенскому житью. Она не знала никого рѣшительно въ цѣломъ околоткѣ, и посовѣтоваться ей было не съ кѣмъ. Отецъ ея старался избѣгать сношеній съ сосѣдями: онъ ихъ презиралъ, и они его презирали, каждый по-своему. Она, однако, не потеряла головы и немедленно выписала къ себѣ сестру своей матери, княжну Авдотью Степановну Х.....ю, злую и чванную старуху, которая, поселившись у племянницы въ домѣ, забрала себѣ всѣ лучшія комнаты, ворчала и брюзжала съ утра до вечера, и даже по саду гуляла не иначе, какъ въ сопровожденіи единственнаго своего крѣпостного человѣка, угрюмаго лакея въ изношенной гороховой ливреѣ съ голубымъ позументомъ и въ треуголкѣ. Анна терпѣливо выносила всѣ причуды тетки, исподволь занималась воспитаніемъ сестры и, казалось, уже примирилась съ мыслію увянуть въ глуши... Но судьба судила ей другое. Ее случайно увидѣлъ нѣкто Одинцовъ, очень богатый человѣкъ, лѣтъ сорока-шести, чудакъ, ипохондрикъ, пухлый, тяжелый и кислый, впрочемъ не глупый и не злой; влюбился въ нее и предложилъ ей руку. Она согласилась быть его женой, — а онъ пожилъ съ ней лѣтъ шесть и, умирая, упрочилъ за ней все свое состояніе. Анна Сергѣевна около года послѣ его смерти не выѣзжала изъ деревни; потомъ отправилась вмѣстѣ съ сестрой за границу, но побывала только въ Германіи; соскучилась и вернулась на жительство въ свое любезное Никольское, отстоявшее верстъ сорокъ отъ

города ***. Тамъ у ней былъ великолѣпный, отлично-убранный домъ, прекрасный садъ съ оранжереями: покойный Одинцовъ ни въ чемъ себѣ не отказывалъ. Въ городъ Анна Сергѣевна являлась очень рѣдко, большею частью по дѣламъ и то не надолго. Ея не любили въ губерніи, ужасно кричали по поводу ея брака съ Одинцовымъ, разсказывали про нее всевозможныя небылицы, увѣряли, что она помогала отцу въ его шуллерскихъ продѣлкахъ, что и за границу она ѣздила недаромъ, а изъ необходимости скрыть несчастныя послѣдствія... „Вы понимаете чего?“ договаривали негодующіе разсказчики. — „Прошла черезъ огонь и воду“, говорили о ней; а извѣстный губернскій острякъ обыкновенно прибавлялъ: „и черезъ мѣдныя трубы“. Всѣ эти толки доходили до нея; но она пропускала ихъ мимо ушей: характеръ у нея былъ свободный и довольно рѣшительный.

Одинцова сидѣла, прислонясь къ спинкѣ креселъ и, положивъ руку на руку, слушала Базарова. Онъ говорилъ, противъ обыкновенія, довольно много и явно старался занять свою собесѣдницу, что̀ опять удивило Аркадія. Онъ не могъ рѣшить, достигалъ ли Базаровъ своей цѣли. По лицу Анны Сергѣевны трудно было догадаться, какія она испытывала впечатлѣнія: оно сохраняло одно и то же выраженіе, привѣтливое, тонкое; ея прекрасные глаза свѣтились вниманіемъ, но вниманіемъ безмятежнымъ. Ломаніе Базарова, въ первыя минуты посѣщенія, непріятно подѣйствовало на нее, какъ дурной запахъ или рѣзкій звукъ; но она тотчасъ же поняла, что онъ чувствовалъ смущеніе, и это ей даже польстило. Одно пошлое ее отталкивало, а въ пошлости никто бы не упрекнулъ Базарова. Аркадію пришлось въ тотъ день не переставать удивляться. Онъ ожидалъ, что Базаровъ заговоритъ съ Одинцовой, какъ съ женщиной умной, о своихъ убѣжденіяхъ и воззрѣніяхъ: она же сама изъявила желаніе послушать человѣка, „который имѣетъ смѣлость ничему не вѣрить“, но вмѣсто того Базаровъ толковалъ о медицинѣ, о гомеопатіи, о ботаникѣ. Оказалось, что Одинцова не *теряла* времени въ уединеніи: она прочла

нѣсколько хорошихъ книгъ и выражалась правильнымъ русскимъ языкомъ. Она навела рѣчь на музыку, но замѣтивъ, что Базаровъ не признаетъ искусства, потихоньку возвратилась къ ботаникѣ, хотя Аркадій и пустился-было толковать о значеніи народныхъ мелодій. Одинцова продолжала обращаться съ нимъ какъ съ младшимъ братомъ: казалось, она цѣнила въ немъ доброту и простодушіе молодости — и только. Часа три слишкомъ длилась бесѣда неторопливая, разнообразная и живая.

Пріятели наконецъ поднялись и стали прощаться. Анна Сергѣевна ласково поглядѣла на нихъ, протянула обоимъ свою красивую, бѣлую руку и, подумавъ немного, съ нерѣшительною, но хорошею улыбкой проговорила:

— Если вы, господа, не боитесь скуки, пріѣзжайте ко мнѣ въ Никольское.

— Помилуйте, Анна Сергѣевна, — воскликнулъ Аркадій:—я за особенное счастье почту...

— А вы, мсьё Базаровъ?

Базаровъ только поклонился,—и Аркадію въ послѣдній разъ пришлось удивиться: онъ замѣтилъ, что пріятель его покраснѣлъ.

— Ну?—говорилъ онъ ему на улицѣ:—ты все того же мнѣнія, что она—ой-ой-ой?

— А кто ее знаетъ! Вишь, какъ она себя заморозила!—возразилъ Базаровъ и, помолчавъ немного, прибавилъ:—герцогиня, владѣтельная особа. Ей бы только шлейфъ сзади носить, да корону на головѣ.

— Наши герцогини такъ по-русски не говорятъ, — замѣтилъ Аркадій.

— Въ передѣлѣ была, братецъ ты мой, нашего хлѣба покушала.

— А все-таки она прелесть,—промолвилъ Аркадій.

— Этакое богатое тѣло!—продолжалъ Базаровъ:—хоть сейчасъ въ анатомическій театръ.

— Перестань ради Бога, Евгеній! это ни на что не похоже.

— Ну, не сердись, нѣженка. Сказано—первый сортъ. Надо будетъ поѣхать къ ней.

— Когда?

— Да хоть послѣзавтра. Что̀ намъ здѣсь дѣлать-то! Шампанское съ Кукшиной пить? Родственника твоего, либеральнаго сановника, слушать?.. Послѣзавтра же и махнемъ. Кстати — и моего отца усадьбишка оттуда не далеко. Вѣдь это Никольское по *** дорогѣ.

— Да.

— Optime. Нечего мѣшкать; мѣшкаютъ одни дураки— да умники. Я тебѣ говорю: богатое тѣло!

Три дня спустя, оба пріятеля катили по дорогѣ въ Никольское. День стоялъ свѣтлый и не слишкомъ жаркій, и ямскія сытыя лошадки дружно бѣжали, слегка помахивая своими закрученными и заплетенными хвостами. Аркадій глядѣлъ на дорогу и улыбался, самъ не зная чему.

— Поздравь меня, — воскликнулъ вдругъ Базаровъ: — сегодня 22-е іюня, день моего ангела. Посмотримъ, какъ-то онъ обо мнѣ печется. Сегодня меня дома ждутъ, — прибавилъ онъ, понизивъ голосъ... — Ну, подождутъ, что за важность!

XVI.

Усадьба, въ которой жила Анна Сергѣевна, стояла на пологомъ, открытомъ холмѣ, въ недальнемъ разстояніи отъ желтой каменной церкви съ зеленою крышей, бѣлыми колоннами и живописью al fresco надъ главнымъ входомъ, представлявшею „Воскресеніе Христово“ въ „итальянскомъ“ вкусѣ. Особенно замѣчателенъ своими округленными контурами былъ распростертый на первомъ планѣ смуглый воинъ въ шишакѣ. За церковью тянулось въ два ряда длинное село съ кое-гдѣ мелькающими трубами надъ соломенными крышами. Господскій домъ былъ построенъ въ одномъ стилѣ съ церковью, въ томъ стилѣ, который извѣстенъ у насъ подъ именемъ Александровскаго; домъ этотъ былъ также выкрашенъ желтою краской, и крышу имѣлъ зеленую, и

бѣлыя колонны, и фронтонъ съ гербомъ. Губернскій архитекторъ воздвигнулъ оба зданія съ одобренія покойнаго Одинцова, не терпѣвшаго никакихъ пустыхъ и самопроизвольныхъ, какъ онъ выражался, нововведеній. Къ дому съ обѣихъ сторонъ прилегали темныя деревья стариннаго сада, аллея стриженныхъ ёлокъ вела къ подъѣзду.

Пріятелей нашихъ встрѣтили въ передней два рослые лакея въ ливреѣ; одинъ изъ нихъ тотчасъ побѣжалъ за дворецкимъ. Дворецкій, толстый человѣкъ въ черномъ фракѣ, немедленно явился и направилъ гостей по устланной коврами лѣстницѣ въ особую комнату, гдѣ уже стояли двѣ кровати со всѣми принадлежностями туалета. Въ домѣ видимо царствовалъ порядокъ: все было чисто, всюду нахло какимъ-то приличнымъ запахомъ, точно въ министерскихъ пріемныхъ.

— Анна Сергѣевна просятъ васъ пожаловать къ нимъ черезъ полчаса,—доложилъ дворецкій:—не будетъ ли отъ васъ, покамѣстъ, какихъ приказаній?

— Никакихъ приказаній не будетъ, почтеннѣйшій,— отвѣтилъ Базаровъ:—развѣ рюмку водочки соблаговолите поднести.

— Слушаю-съ,—промолвилъ дворецкій не безъ недоумѣнья, и удалился, скрипя сапогами.

— Какой гранжанръ!—замѣтилъ Базаровъ:—кажется, это такъ по-вашему называется? Герцогиня, да и полно.

— Хороша герцогиня,—возразилъ Аркадій:—съ перваго раза пригласила къ себѣ такихъ сильныхъ аристократовъ, каковы мы съ тобой.

— Особенно я, будущій лѣкарь, и лѣкарскій сынъ, и дьячковскій внукъ... Вѣдь ты знаешь, что я внукъ дьячка?..

— Какъ Сперанскій,—прибавилъ Базаровъ, послѣ небольшого молчанія и скрививъ губы.—А все-таки избаловала она себя; охъ, какъ избаловала себя эта барыня! Ужъ не фраки ли намъ надѣть?

Аркадій только плечомъ пожалъ... но и онъ чувствовалъ небольшое смущеніе.

Полчаса спустя Базаровъ съ Аркадіемъ сошли въ гостиную. Это была просторная, высокая комната, убранная довольно роскошно, но безъ особеннаго вкуса. Тяжелая, дорогая мебель стояла въ обычномъ чопорномъ порядкѣ вдоль стѣнъ, обитыхъ коричневыми обоями съ золотыми разводами; покойный Одинцовъ выписалъ ее изъ Москвы черезъ своего пріятеля и комиссіонера, виннаго торговца. Надъ среднимъ диваномъ висѣлъ портретъ обрюзглаго бѣлокураго мужчины—и, казалось, недружелюбно глядѣлъ на гостей.

— Должно-быть *самъ*, — шепнулъ Базаровъ Аркадію и, сморщивъ носъ, прибавилъ:—аль удрать?

Но въ это мгновенье вошла хозяйка. На ней было легкое барежевое платье; гладко зачесанные за уши волосы придавали дѣвическое выраженіе ея чистому и свѣжему лицу.

— Благодарствуйте, что сдержали слово,—начала она:—погостите у меня: здѣсь, право, недурно. Я васъ познакомлю съ моей сестрою, она хорошо играетъ на фортепіано. Вамъ, мсьё Базаровъ, это все равно; но вы, мсьё Кирсановъ, кажется, любите музыку; кромѣ сестры у меня живетъ старушка-тетка, да сосѣдъ одинъ иногда наѣзжаетъ въ карты играть: вотъ и все наше общество. А теперь сядемъ.

Одинцова произнесла весь этотъ маленькій спичъ съ особенною отчетливостью, словно она наизусть его выучила; потомъ она обратилась къ Аркадію. Оказалось, что мать ея знавала Аркадіеву мать, и была даже повѣренною ея любви къ Николаю Петровичу. Аркадій съ жаромъ заговорилъ о покойницѣ; а Базаровъ между тѣмъ принялся разсматривать альбомы. „Какой я смирненькій сталъ“, думалъ онъ про себя.

Красивая борзая собака съ голубымъ ошейникомъ вбѣжала въ гостиную, стуча ногтями по полу, а вслѣдъ за нею вошла дѣвушка лѣтъ восемнадцати, черноволосая и смуглая, съ нѣсколько круглымъ, но пріятнымъ лицомъ, съ небольшими темными глазами. Она держала въ рукахъ корзину, наполненную цвѣтами.

— Вотъ вамъ и моя Катя, — проговорила Одинцо: указавъ на нее движеніемъ головы.

Катя слегка присѣла, помѣстилась возлѣ сестры и пр нялась разбирать цвѣты. Борзая собака, имя котор было Фифи, подошла, махая хвостомъ, поочередно обоимъ гостямъ, и ткнула каждаго изъ нихъ своимъ : лоднымъ носомъ въ руку.

— Это ты все сама нарвала?—спросила Одинцова.

— Сама,—отвѣчала Катя.

— А тетушка придетъ къ чаю?

— Придетъ.

Когда Катя говорила, она очень мило улыбалась, з стѣнчиво и откровенно, и глядѣла, какъ-то забавно-с рово, снизу вверхъ. Все въ ней было еще молодо-зеле и голосъ, и пушокъ на всемъ лицѣ, и розовыя руки с бѣловатыми кружками на ладоняхъ, и чуть-чуть сжать плечи... Она безпрестанно краснѣла и быстро перев дила духъ.

Одинцова обратилась къ Базарову.

— Вы изъ приличія разсматриваете картинки, Евгені Васильичъ, — начала она. — Васъ это не занимаетъ. По двиньтесь-ка лучше къ намъ, и давайте поспоримте с чемъ-нибудь.

Базаровъ приблизился.

— О чемъ прикажете-съ?—промолвилъ онъ.

— О чемъ хотите. Предупреждаю васъ, что я ужасна спорщица.

— Вы?

— Я. Васъ это какъ будто удивляетъ. Почему?

— Потому что, сколько я могу судить, у васъ нравъ спокойный и холодный, а для спора нужно увлеченіе.

— Какъ это вы успѣли меня узнать такъ скоро? Я, во-первыхъ, нетерпѣлива и настойчива, спросите лучш Катю; а во-вторыхъ, я очень легко увлекаюсь.

Базаровъ поглядѣлъ на Анну Сергѣевну.

— Можетъ-быть, вамъ лучше знать. Итакъ, вамъ угодн спорить, — извольте. Я разсматривалъ виды Саксонск *Швейцаріи* въ вашемъ альбомѣ, а вы мнѣ замѣтили, т

го меня занять не можетъ. Вы это сказали оттого, что е предполагаете во мнѣ художественнаго смысла, — да, о мнѣ дѣйствительно его нѣтъ; но эти виды могли меня інтересовать съ точки зрѣнія геологической, съ точки рѣнія формаціи горъ, напримѣръ.

— Извините; какъ геологъ, вы скорѣе къ книгѣ прибѣгнете, къ спеціальному сочиненію, а не къ рисунку.

— Рисунокъ наглядно представитъ мнѣ то, что̀ въ нигѣ изложено на цѣлыхъ десяти страницахъ.

Анна Сергѣевна помолчала.

— И такъ-таки у васъ ни капельки художественнаго мысла нѣтъ? — промолвила она, облокотясь на столъ, и гимъ самымъ движеніемъ приблизивъ свое лицо къ Базарову.—Какъ же вы это безъ него обходитесь?

— А на что̀ онъ нуженъ, позвольте спросить?

— Да хоть на то, чтобъ умѣть узнавать и изучать юдей.

Базаровъ усмѣхнулся.

— Во-первыхъ, на это существуетъ жизненный опытъ; і, во-вторыхъ, доложу вамъ, изучать отдѣльныя личности не сто̀итъ труда. Всѣ люди другъ на друга похожи, какъ гѣломъ, такъ и душой; у каждаго изъ насъ мозгъ, селезенка, сердце, легкія одинаково устроены; и такъ-называемыя нравственныя качества одни и тѣ же у всѣхъ: небольшія видоизмѣненія ничего не значатъ. Достаточно одного человѣческаго экземпляра, чтобы судить обо всѣхъ другихъ. Люди, что̀ деревья въ лѣсу; ни одинъ ботаникъ не станетъ заниматься каждою отдѣльною березой.

Катя, которая, не спѣша, подбирала цвѣтокъ къ цвѣтку, съ недоумѣніемъ подняла глаза на Базарова, — и, встрѣтивъ его быстрый и небрежный взглядъ, вспыхнула вся до ушей. Анна Сергѣевна покачала головой.

— Деревья въ лѣсу,—повторила она.—Стало-быть, по вашему нѣтъ разницы между глупымъ и умнымъ человѣкомъ, между добрымъ и злымъ.

— Нѣтъ, есть: какъ между больнымъ и здоровымъ. Легкія у чахоточнаго не въ томъ положеніи, какъ у насъ съ вами, хоть устроены одинаково. Мы приблизительно

знаемъ, отчего происходятъ тѣлесные недуги; а нравственныя болѣзни происходятъ отъ дурного воспитанія, отъ всякихъ пустяковъ, которыми сызмала набиваютъ людскія головы, отъ безобразнаго состоянія общества, однимъ словомъ, исправьте общество, и болѣзней не будетъ.

Базаровъ говорилъ все это съ такимъ видомъ, какъ будто въ то же время думалъ про себя: „вѣрь мнѣ, или не вѣрь, это мнѣ все едино!“ Онъ медленно проводилъ своими длинными пальцами по бакенбардамъ, а глаза его бѣгали по угламъ.

— И вы полагаете, — промолвила Анна Сергѣевна:— что, когда общество исправится, уже не будетъ ни глупыхъ, ни злыхъ людей?

— По крайней мѣрѣ, при правильномъ устройствѣ общества, совершенно будетъ все равно, глупъ ли человѣкъ или уменъ, золъ или добръ.

— Да, понимаю; у всѣхъ будетъ одна и та же селезенка.

— Именно такъ-съ, сударыня.

Одинцова обратилась къ Аркадію.

— А ваше какое мнѣніе, Аркадій Николаевичъ?

— Я согласенъ съ Евгеніемъ,—отвѣчалъ онъ.

Катя поглядѣла на него исподлобья.

— Вы меня удивляете, господа, — промолвила Одинцова: — но мы еще съ вами потолкуемъ. А теперь, я слышу, тетушка идетъ чай пить; мы должны пощадить ея уши.

Тетушка Анны Сергѣевны, княжна Х.....ая, худенькая и маленькая женщина съ сжатымъ въ кулачокъ лицомъ и неподвижными злыми глазами подъ сѣдою накладкой, вошла и, едва поклонившись гостямъ, опустилась въ широкое бархатное кресло, на которое никто, кромѣ ея, не имѣлъ права садиться. Катя поставила ей скамейку подъ ноги; старуха не поблагодарила ее, даже не взглянула на нее, только пошевелила руками подъ желтою шалью, покрывавшею почти все ея тщедушное тѣло. Княжна любила желтый цвѣтъ: у ней и на чепцѣ были ярко-желтыя ленты.

— Какъ вы почивали, тетушка? — спросила Одинцова, возвысивъ голосъ.

— Опять эта собака здѣсь, — проворчала въ отвѣтъ старуха, и замѣтивъ, что Фифи сдѣлала два нерѣшительные шага въ ея направленіи, воскликнула: — брысь, брысь!

Катя позвала Фифи и отворила ей дверь.

Фифи радостно бросилась вонъ, въ надеждѣ, что ее поведутъ гулять, но, оставшись одна за дверью, начала скрестись и повизгивать. Княжна нахмурилась, Катя хотѣла-было выйти...

— Я думаю, чай готовъ?—промолвила Одинцова.—Господа, пойдемте; тетушка, пожалуйте чай кушать.

Княжна молча встала съ кресла, и первая вышла изъ гостиной. Всѣ отправились вслѣдъ за ней въ столовую. Казачокъ въ ливреѣ съ шумомъ отодвинулъ отъ стола обложенное подушками, также завѣтное, кресло, въ которое опустилась княжна; Катя, разливавшая чай, первой ей подала чашку съ раскрашеннымъ гербомъ. Старуха положила себѣ меду въ чашку (она находила, что пить чай съ сахаромъ и грѣшно, и дорого, хотя сама не тратила копейки ни на что), и вдругъ спросила хриплымъ голосомъ:

— А что пишетъ *кнесь* Иванъ?

Ей никто не отвѣчалъ. Базаровъ и Аркадій скоро догадались, что на нее не обращали вниманія, хотя обходились съ нею почтительно. „*Для ради* важности держатъ, потому что княжеское отродье“, подумалъ Базаровъ... Послѣ чаю Анна Сергѣевна предложила пойти гулять: но сталъ накрапывать дождикъ, и все общество, за исключеніемъ княжны, вернулось въ гостиную. Пріѣхалъ сосѣдъ, любитель карточной игры, по имени Порфирій Платонычъ, толстенькій, сѣденькій человѣкъ съ коротенькими, точно выточенными ножками, очень вѣжливый и смѣшливый. Анна Сергѣевна, которая разговаривала все больше съ Базаровымъ, спросила его—не хочетъ ли онъ сразиться съ ними по-старомодному въ преферансъ. Базаровъ согласился, говоря, что ему надобно за-

ранѣе приготовится къ предстоящей ему должности уѣзднаго лѣкаря.

— Берегитесь, — замѣтила Анна Сергѣевна: — мы съ Порфиріемъ Платонычемъ васъ разобьемъ. А ты, Катя,— прибавила она:---сыграй что-нибудь Аркадію Николаевичу; онъ любитъ музыку, мы кстати послушаемъ.

Катя неохотно приблизилась къ фортепіано; и Аркадій, хотя точно любилъ музыку, неохотно пошелъ за ней: ему казалось, что Одинцова его отсылаетъ,—а у него на сердцѣ, какъ у всякаго молодого человѣка въ его годы, уже накипало какое-то смутное и томительное ощущеніе, похожее на предчувствіе любви. Катя подняла крышку фортепіано и, не глядя на Аркадія, промолвила вполголоса:

— Что̀ же вамъ сыграть?

— Что̀ хотите,—равнодушно отвѣтилъ Аркадій.

— Вы какую музыку больше любите?—повторила Катя, не перемѣняя положенія.

— Классическую, — тѣмъ же голосомъ отвѣтилъ Аркадій.

— Моцарта любите?

— Моцарта люблю.

Катя достала це-мольную сонату-фантазію Моцарта. Она играла очень хорошо, хотя немного строго и сухо. Не отводя глазъ отъ нотъ и крѣпко стиснувъ губы, сидѣла она неподвижно и прямо, и только къ концу сонаты лицо ея разгорѣлось, и маленькая прядь развившихся волосъ упала на темную бровь.

Аркадія въ особенности поразила послѣдняя часть сонаты, та часть, въ которой посреди плѣнительной веселости безпечнаго напѣва, внезапно возникаютъ порывы такой горестной, почти трагической скорби... Но мысли, возбужденныя въ немъ звуками Моцарта, относились не къ Катѣ. Глядя на нее, онъ только подумалъ: „А вѣдь не дурно играетъ эта барышня, и сама она не дурна“.

Кончивъ сонату, Катя, не принимая рукъ съ клавишей, *спросила:* „довольно?“ Аркадій объявилъ, что не смѣетъ

утруждать ее болѣе, и заговорилъ съ ней о Моцартѣ; спросилъ ее—сама ли она выбрала эту сонату или кто ей ее отрекомендовалъ? Но Катя отвѣчала ему односложно: она *спряталась*, ушла въ себя. Когда это съ ней случалось, она нескоро выходила наружу; самое лицо ея принимало тогда выраженіе упрямое, почти тупое. Она была не то что робка, а недовѣрчива и немного запугана воспитавшею ее сестрой, чего, разумѣется, та и не подозрѣвала. Аркадій кончилъ тѣмъ, что, подозвавъ возвратившуюся Фифи, сталъ для контенансу, съ благосклонною улыбкой, гладить ее по головѣ. Катя опять взялась за свои цвѣты.

А Базаровъ, между тѣмъ, ремизился да ремизился. Анна Сергѣевна играла мастерски въ карты, Порфирій Платонычъ тоже могъ постоять за себя. Базаровъ остался въ проигрышѣ, хотя незначительномъ, но все-таки не совсѣмъ для него пріятномъ. За ужиномъ Анна Сергѣевна снова завела рѣчь о ботаникѣ.

— Пойдемте гулять завтра поутру,—сказала она ему:— я хочу узнать отъ васъ латинскія названія полевыхъ растеній и ихъ свойства.

— На что̀ вамъ латинскія названія?—спросилъ Базаровъ.

— Во всемъ нуженъ порядокъ,—отвѣчала она.

— Что за чудесная женщина Анна Сергѣевна!—воскликнулъ Аркадій, оставшись наединѣ съ своимъ другомъ въ отведенной имъ комнатѣ.

— Да,—отвѣчалъ Базаровъ:—баба съ мозгомъ. Ну, и видала же она виды.

— Въ какомъ смыслѣ ты это говоришь, Евгеній Васильичъ?

— Въ хорошемъ смыслѣ, въ хорошемъ, батюшка вы мой, Аркадій Николаичъ! Я увѣренъ, что она и своимъ имѣніемъ отлично распоряжается. Но чудо—не она, а ея сестра.

— Какъ? эта смугленькая?

— Да, эта смугленькая. Это вотъ свѣжо, и нетронуто, и пугливо, и молчаливо, и все что̀ хочешь. Вотъ кѣмъ

можно заняться. Изъ этой еще что вздумаешь, то и сдѣлаешь; а та—тертый калачъ.

Аркадій ничего не отвѣчалъ Базарову, и каждый изъ нихъ легъ спать съ особенными мыслями въ головѣ.

И Анна Сергѣевна въ тотъ вечеръ думала о своихъ гостяхъ. Базаровъ ей понравился—отсутствіемъ кокетства и самою рѣзкостью сужденій. Она видѣла въ немъ что-то новое, съ чѣмъ ей не случалось встрѣтиться, а она была любопытна.

Анна Сергѣевна была довольно странное существо. Не имѣя никакихъ предразсудковъ, не имѣя даже никакихъ сильныхъ вѣрованій, она ни передъ чѣмъ не уступала и никуда не шла. Она многое ясно видѣла, многое ее занимало, и ничто не удовлетворяло ее вполнѣ; да она едва ли и желала полнаго удовлетворенія. Ея умъ былъ пытливъ и равнодушенъ въ одно и то же время: ея сомнѣнія не утихали никогда до забывчивости, и никогда не дорастали до тревоги. Не будь она богата и независима, она, быть-можетъ, бросилась бы въ битву, узнала бы страсть... Но ей жилось легко, хотя она и скучала подчасъ, и она продолжала провожать день за днемъ, не спѣша и лишь изрѣдка волнуясь. Радужныя краски загорались иногда и у ней передъ глазами, но она отдыхала, когда онѣ угасали, и не жалѣла о нихъ. Воображеніе ея уносилось даже за предѣлы того, что по законамъ обыкновенной морали считается дозволеннымъ; но и тогда кровь ея попрежнему тихо катилась въ ея обаятельно-стройномъ и спокойномъ тѣлѣ. Бывало, выйдя изъ благовонной ванны, вся теплая и разнѣженная, она замечтается о ничтожности жизни, объ ея горѣ, трудѣ и злѣ... Душа ея наполнится внезапною смѣлостію, закипитъ благороднымъ стремленіемъ; но сквозной вѣтеръ подуетъ изъ полузакрытаго окна, и Анна Сергѣевна вся сожмется, и жалуется, и почти сердится, и только одно ей нужно въ это мгновеніе: чтобы не дулъ на нее этотъ гадкій вѣтеръ.

Какъ всѣ женщины, которымъ не удалось полюбить, она хотѣла чего-то, сама не зная, чего именно. Собственно *ей ничего* не хотѣлось, хотя ей казалось, что ей хотѣ-

лось всего. Покойнаго Одинцова она едва выносила (она вышла за него по расчету, хотя она, вѣроятно, не согласилась бы сдѣлаться его женой, если бъ она не считала его за добраго человѣка) и получила тайное отвращеніе ко всѣмъ мужчинамъ, которыхъ представляла себѣ не иначе, какъ неопрятными, тяжелыми и вялыми, безсильно докучливыми существами. Разъ она гдѣ-то за границей встрѣтила молодого, красиваго шведа съ рыцарскимъ выраженіемъ лица, съ честными, голубыми глазами подъ открытымъ лбомъ; онъ произвелъ на нее сильное впечатлѣніе, но это не помѣшало ей вернуться въ Россію.

„Странный человѣкъ этотъ лѣкарь?“ думала она, лежа въ своей великолѣпной постели, на кружевныхъ подушкахъ, подъ легкимъ шелковымъ одѣяломъ... Анна Сергѣевна наслѣдовала отъ отца частицу его наклонности къ роскоши. Она очень любила своего грѣшнаго, но добраго отца, а онъ обожалъ ее, дружелюбно шутилъ съ ней, какъ съ ровней, и довѣрялся ей вполнѣ, совѣтовался съ ней. Мать свою она едва помнила.

„Странный этотъ лѣкарь!“ повторила она про себя. Она потянулась, улыбнулась, закинула руки за голову, потомъ пробѣжала глазами страницы двѣ глупаго французскаго романа, выронила книжку — и заснула, вся чистая и холодная, въ чистомъ и душистомъ бѣльѣ.

На слѣдующее утро Анна Сергѣевна, тотчасъ послѣ завтрака, отправилась ботанизировать съ Базаровымъ и возвратилась передъ самымъ обѣдомъ; Аркадій никуда не отлучался и провелъ около часа съ Катей. Ему не было скучно съ нею, она сама вызвалась повторить ему вчерашнюю сонату; но когда Одинцова возвратилась, наконецъ, когда онъ увидалъ ее — сердце въ немъ мгновенно сжалось... Она шла по саду нѣсколько усталою походкой; щеки ея алѣли и глаза свѣтились ярче обыкновеннаго подъ соломенною круглою шляпой. Она вертѣла въ пальцахъ тонкій стебелекъ полевого цвѣтка, легкая мантилья спустилась ей на локти, и широкія, сѣрыя ленты шляпы прильнули къ ея груди. Базаровъ шелъ сзади ея, самоувѣренно и небрежно, какъ всегда, но выраженіе его

лица, хотя веселое и даже ласковое, не понравилось Аркадію. Пробормотавъ сквозь зубы: „здравствуй!“—Базаровъ отправился къ себѣ въ комнату, а Одинцова разсѣянно пожала Аркадію руку и тоже прошла мимо его.

„Здравствуй“, подумалъ Аркадій... „Развѣ мы не видѣлись сегодня?“

XVII.

Время (дѣло извѣстное) летитъ иногда птицей, иногда ползетъ червякомъ; но человѣку бываетъ особенно хорошо тогда, когда онъ даже не замѣчаетъ—скоро ли, тихо ли оно проходитъ. Аркадій и Базаровъ именно такимъ образомъ провели дней пятнадцать у Одинцовой. Этому отчасти способствовалъ порядокъ, который она завела у себя въ домѣ и въ жизни. Она строго его придерживалась и заставляла другихъ ему покоряться. Все въ теченіе дня совершалось въ извѣстную пору. Утромъ, ровно въ восемь часовъ, все общество собиралось къ чаю; отъ чая до завтрака всякій дѣлалъ что̀ хотѣлъ, сама хозяйка занималась съ приказчикомъ (имѣніе было на оброкѣ), съ дворецкими, съ главною ключницей. Передъ обѣдомъ общество опять сходилось для бесѣды или для чтенія; вечеръ посвящался прогулкѣ, картамъ, музыкѣ; въ половинѣ одиннадцатаго Анна Сергѣевна уходила къ себѣ въ комнату, отдавала приказанія на слѣдующій день и ложилась спать. Базарову не нравилась эта размѣренная, нѣсколько торжественная правильность ежедневной жизни; „какъ по рельсамъ катишься“, увѣрялъ онъ: ливрейные лакеи, чинные дворецкіе оскорбляли его демократическое чувство. Онъ находилъ, что ужъ если на то пошло, такъ обѣдать слѣдовало по-англійски, во фракахъ и въ бѣлыхъ галстукахъ. Онъ однажды объяснился объ этомъ съ Анной Сергѣевной. Она такъ себя держала, что каждый человѣкъ, не обинуясь, высказывалъ передъ ней свои мнѣнія. Она выслушала его и промолвила: „съ вашей точки зрѣнія вы правы—и, можетъ-быть, въ этомъ случаѣ, я—барыня; но въ деревнѣ нельзя жить безпорядочно, скука одолѣетъ“,— и продолжала дѣлать по-своему. Базаровъ ворчалъ, но и

ему, и Аркадію, оттого и жилось такъ легко у Одинцовой, что все въ ея домѣ „катилось какъ по рельсамъ“. Со всѣмъ тѣмъ, въ обоихъ молодыхъ людяхъ, съ первыхъ же дней ихъ пребыванія въ Никольскомъ, произошла перемѣна. Въ Базаровѣ, къ которому Анна Сергѣевна очевидно благоволила, хотя рѣдко съ нимъ соглашалась, стала проявляться небывалая прежде тревога: онъ легко раздражался, говорилъ нехотя, глядѣлъ сердито и не могъ усидѣть на мѣстѣ, словно что̀ его подмывало; а Аркадій, который окончательно самъ съ собой рѣшилъ, что влюбленъ въ Одинцову, началъ предаваться тихому унынію. Впрочемъ, это уныніе не мѣшало ему сблизиться съ Катей; оно даже помогло ему войти съ нею въ ласковыя, пріятельскія отношенія. „Меня *она* не цѣнитъ! Пусть!.. А вотъ доброе существо меня не отвергаетъ“, думалъ онъ, и сердце его снова вкушало сладость великодушныхъ ощущеній. Катя смутно понимала, что онъ искалъ какого-то утѣшенія въ ея обществѣ, и не отказывала ни ему, ни себѣ въ невинномъ удовольствіи полустыдливой, полудовѣрчивой дружбы. Въ присутствіи Анны Сергѣевны они не разговаривали между собою: Катя всегда сжималась подъ зоркимъ взглядомъ сестры, а Аркадій, какъ оно и слѣдуетъ влюбленному человѣку, вблизи своего предмета уже не могъ обращать вниманія ни на что другое; но хорошо ему было съ одной Катей. Онъ чувствовалъ, что не въ силахъ занять Одинцову; онъ робѣлъ и терялся, когда оставался съ ней наединѣ; и она не знала, что̀ ему сказать: онъ былъ слишкомъ для нея молодъ. Напротивъ, съ Катей Аркадій былъ какъ дома; онъ обращался съ ней снисходительно, не мѣшалъ ей высказывать впечатлѣнія, возбужденныя въ ней музыкой, чтеніемъ повѣстей, стиховъ и прочими пустяками, самъ не замѣчая или не сознавая, что эти *пустяки* и его занимали. Съ своей стороны, Катя не мѣшала ему грустить. Аркадію было хорошо съ Катей, Одинцовой — съ Базаровымъ, а потому обыкновенно случалось такъ: обѣ барочки, побывъ немного мѣстѣ, расходились каждая въ свою сторону, особенно во время прогулокъ. Катя *обожала* природу, и Аркадій ее

любилъ, хоть и не смѣлъ признаться въ этомъ; Одинцова была къ ней довольно равнодушна, такъ же какъ и Базаровъ. Почти постоянное разъединеніе нашихъ пріятелей не осталось безъ послѣдствій: отношенія между ними стали мѣняться. Базаровъ пересталъ говорить съ Аркадіемъ объ Одинцовой, пересталъ даже бранить ея „аристократическія замашки"; правда, Катю онъ хвалилъ попрежнему и только совѣтовалъ умѣрять въ ней сентиментальныя наклонности, но похвалы его были торопливы, совѣты сухи, и вообще онъ съ Аркадіемъ бесѣдовалъ гораздо меньше прежняго... онъ какъ будто избѣгалъ, какъ будто стыдился его...

Аркадій все это замѣчалъ, но хранилъ про себя свои замѣчанія.

Настоящею причиной всей этой „новизны" было чувство, внушенное Базарову Одинцовой, чувство, которое его мучило и бѣсило, и отъ котораго онъ тотчасъ отказался бы съ презрительнымъ хохотомъ и циническою бранью, если бы кто-нибудь, хотя отдаленно, намекнулъ ему на возможность того, что въ немъ происходило. Базаровъ былъ великій охотникъ до женщинъ и до женской красоты, но любовь въ смыслѣ идеальномъ или, какъ онъ выражался, романтическомъ, называлъ белибердой, непростительною дурью, считалъ рыцарскія чувства чѣмъ-то въ родѣ уродства или болѣзни, и не однажды выражалъ свое удивленіе, почему не посадили въ желтый домъ Тогенбурга со всѣми миннезенгерами и трубадурами?— „Нравится тебѣ женщина", говаривалъ онъ: „старайся добиться толку; а нельзя—ну, не надо, отвернись—земля не клиномъ сошлась". Одинцова ему нравилась: распространенные слухи о ней, свобода и независимость ея мыслей, ея несомнѣнное расположеніе къ нему—все, казалось, говорило въ его пользу; но онъ скоро понялъ, что съ ней „не добьешься толку", а отвернуться отъ нея онъ, къ изумленію своему, не имѣлъ силъ. Кровь его загоралась, какъ только онъ вспоминалъ о ней; онъ легко сладилъ бы съ своею кровью, но что-то другое въ него *вселилось*, чего онъ никакъ не допускалъ, надъ чѣмъ

всегда трунилъ, что возмущало всю его гордость. Въ разговорахъ съ Анной Сергѣевной онъ еще больше прежняго высказывалъ свое равнодушное презрѣніе ко всему романтическому; а оставшись наединѣ, онъ съ негодованіемъ сознавалъ романтика въ самомъ себѣ. Тогда онъ отправлялся въ лѣсъ и ходилъ по немъ большими шагами, ломая попадавшіяся вѣтки, и браня вполголоса и ее, и себя; или забирался на сѣновалъ, въ сарай, и упрямо закрывая глаза, заставлялъ себя спать, что́ ему, разумѣется, не всегда удавалось. Вдругъ ему представится, что эти цѣломудренныя руки когда-нибудь обовьются вокругъ его шеи, что эти гордыя губы отвѣтятъ на его поцѣлуи, что эти умные глаза съ нѣжностію—да, съ нѣжностію остановятся на его глазахъ, и голова его закружится и онъ забудется на мигъ, пока опять не вспыхнетъ въ немъ негодованіе. Онъ ловилъ самого себя на всякаго рода „постыдныхъ“ мысляхъ, точно бѣсъ его дразнилъ. Ему казалось иногда, что и въ Одинцовой происходитъ перемѣна, что въ выраженіи ея лица проявлялось что-то особенное, что, можетъ-быть... Но тутъ онъ обыкновенно топалъ ногою или скрежеталъ зубами и грозилъ себѣ кулакомъ.

А между тѣмъ Базаровъ не совсѣмъ ошибался. Онъ поразилъ воображеніе Одинцовой; онъ занималъ ее, она много о немъ думала. Въ его отсутствіи она не скучала, не ждала его, но его появленіе тотчасъ ее оживляло; она охотно оставалась съ нимъ наединѣ и охотно съ нимъ разговаривала, даже тогда, когда онъ ее сердилъ или оскорблялъ ея вкусъ, ея изящныя привычки. Она какъ будто хотѣла и его испытать, и себя извѣдать.

Однажды онъ, гуляя съ ней по саду, внезапно промолвилъ угрюмымъ голосомъ, что намѣренъ скоро уѣхать въ деревню къ отцу... Она поблѣднѣла, словно ее что̀ въ сердце кольнуло, да такъ кольнуло, что она удивилась и долго потомъ размышляла о томъ, что̀ бы это значило. Базаровъ объявилъ ей о своемъ отъѣздѣ не съ мыслію испытать ее, посмотрѣть, что̀ изъ этого выйдетъ: онъ никогда не „сочинялъ“. Утромъ того дня онъ видѣлся

съ отцовскимъ приказчикомъ, бывшимъ своимъ дядькой Тимоѳеичемъ. Этотъ Тимоѳеичъ, потертый и проворный старичокъ, съ выцвѣтшими желтыми волосами, вывѣтреннымъ краснымъ лицомъ и крошечными слезинками въ съёженныхъ глазахъ, неожиданно предсталъ передъ Базаровымъ въ своей коротенькой чуйкѣ изъ толстаго сѣро-синеватаго сукна, подпоясанный ременнымъ обрывочкомъ и въ дегтярныхъ сапогахъ.

— А, старина, здравствуй!—воскликнулъ Базаровъ.

— Здравствуйте, батюшка Евгеній Васильичъ,—началъ старичокъ и радостно улыбнулся, отчего все лицо его вдругъ покрылось морщинами.

— Зачѣмъ пожаловалъ? За мной, что ль, прислали?

— Помилуйте, батюшка, какъ можно!—залепеталъ Тимоѳеичъ (онъ вспомнилъ строгій наказъ, полученный отъ барина, при отъѣздѣ). — Въ городъ по господскимъ дѣламъ ѣхали, да про вашу милость услыхали, такъ вотъ и завернули по пути, то-есть—посмотрѣть на вашу милость... а то какъ же можно безпокоить!

— Ну, не ври, — перебилъ его Базаровъ. — Въ городъ тебѣ развѣ здѣсь дорога?

Тимоѳеичъ помялся и ничего не отвѣчалъ.

— Отецъ здоровъ?

— Слава Богу-съ.

— И мать?

— И Арина Васильевна, слава Тебѣ Господи.

— Ждутъ меня небось!

Старичокъ склонилъ на-бокъ свою крошечную головку.

— Ахъ, Евгеній Васильевичъ, какъ не ждать-то-съ! Вѣрите ли Богу, сердце изныло на родителей на вашихъ глядючи.

— Ну, хорошо, хорошо! не расписывай. Скажи имъ, что скоро буду.

— Слушаю-съ,—со вздохомъ отвѣчалъ Тимоѳеичъ.

Выйдя изъ дома, онъ обѣими руками нахлобучилъ себѣ картузъ на голову, взобрался на убогія бѣговыя дрожки, оставленныя имъ у воротъ, и поплелся рысцой, только *не въ* направленіи города.

Вечеромъ того же дня Одинцова сидѣла у себя въ комнатѣ съ Базаровымъ, а Аркадій расхаживалъ по залѣ и слушалъ игру Кати. Княжна ушла къ себѣ наверхъ; она вообще терпѣть не могла гостей, и въ особенности этихъ „новыхъ оголтѣлыхъ", какъ она ихъ называла. Въ парадныхъ комнатахъ она только дулась; зато у себя, передъ своею горничной, она разражалась иногда такою бранью, что чепецъ прыгалъ у ней на головѣ вмѣстѣ съ накладкой. Одинцова все это знала.

— Какъ же это вы ѣхать собираетесь,—начала она:— а обѣщаніе ваше?

Базаровъ встрепенулся.

— Какое-съ?

— Вы забыли? Вы хотѣли дать мнѣ нѣсколько уроковъ химіи.

— Что̀ дѣлать-съ! Отецъ меня ждетъ; нельзя мнѣ больше мѣшкать. Впрочемъ, вы можете прочесть: Pelouse et Fremy, „Notions générales de Chimie"; книга хорошая и написана ясно. Вы въ ней найдете все, что̀ нужно.

— А помните: вы меня увѣряли, что книга не можетъ замѣнить... я забыла какъ вы выразились, но вы знаете что̀ я хочу сказать... помните?

— Что̀ дѣлать-съ!—повторилъ Базаровъ.

— Зачѣмъ ѣхать? — проговорила Одинцова, понизивъ голосъ.

Онъ взглянулъ на нее. Она закинула голову на спинку креселъ и скрестила на груди руки, обнаженныя до локтей. Она казалась блѣднѣй при свѣтѣ одинокой лампы, завѣшенной вырѣзною бумажною сѣткой. Широкое бѣлое платье покрывало ее всю своими мягкими складками; едва виднѣлись кончики ея ногъ, тоже скрещенныхъ.

— А зачѣмъ оставаться?—отвѣчалъ Базаровъ.

Одинцова слегка повернула голову.

— Какъ зачѣмъ? развѣ вамъ у меня не весело? Или вы думаете, что объ васъ здѣсь жалѣть не будутъ?

— Я въ этомъ убѣжденъ.

Одинцова помолчала.

— Напрасно вы это думаете. Впрочемъ, я вамъ не

вѣрю. Вы не могли сказать это серьезно.—Базаровъ продолжалъ сидѣть неподвижно.—Евгеній Васильевичъ, что же вы молчите?

— Да что̀ мнѣ сказать вамъ? О людяхъ вообще жалѣть не сто̀итъ, а обо мнѣ подавно.

— Это почему?

— Я человѣкъ положительный, неинтересный. Говорить не умѣю.

— Вы напрашиваетесь на любезность, Евгеній Васильевичъ.

— Это не въ моихъ привычкахъ. Развѣ вы не знаете сами, что изящная сторона жизни мнѣ недоступна, та сторона, которою вы такъ дорожите?

Одинцова покусала уголъ носового платка.

— Думайте, что̀ хотите, но мнѣ будетъ скучно, когда вы уѣдете.

— Аркадій останется,—замѣтилъ Базаровъ.

Одинцова слегка пожала плечомъ.

— Мнѣ будетъ скучно,—повторила она.

— Въ самомъ дѣлѣ? Во всякомъ случаѣ, долго вы скучать не будете.

— Отчего вы такъ полагаете?

— Оттого, что вы сами мнѣ сказали, что скучаете только тогда, когда вашъ порядокъ нарушается. Вы такъ непогрѣшительно-правильно устроили вашу жизнь, что въ ней не можетъ быть мѣста ни скукѣ, ни тоскѣ... никакимъ тяжелымъ чувствамъ.

— И вы находите, что я непогрѣшительна... то-есть, что я такъ правильно устроила свою жизнь?

— Еще бы! Да вотъ напримѣръ: черезъ нѣсколько минутъ пробьетъ десять часовъ, и я уже напередъ знаю, что вы прогоните меня.

— Нѣтъ, не прогоню, Евгеній Васильичъ. Вы можете остаться. Отворите это окно... мнѣ что-то душно.

Базаровъ всталъ и толкнулъ окно. Оно разомъ со стукомъ распахнулось... Онъ не ожидалъ, что оно такъ легко отворялось; притомъ его руки дрожали. Темная, мягкая ночь глянула въ комнату съ своимъ почти чернымъ не-

бомъ, слабо шумѣвшими деревьями и свѣжимъ запахомъ вольнаго, чистаго воздуха.

— Спустите штору и сядьте,—промолвила Одинцова:— мнѣ хочется поболтать съ вами передъ вашимъ отъѣздомъ. Разскажите мнѣ что-нибудь о самомъ себѣ; вы никогда о себѣ не говорите.

— Я стараюсь бесѣдовать съ вами о предметахъ полезныхъ, Анна Сергѣевна.

— Вы очень скромны... Но мнѣ хотѣлось бы узнать что-нибудь о васъ, о вашемъ семействѣ, о вашемъ отцѣ, для котораго вы насъ покидаете.

„Зачѣмъ она говоритъ такія слова?“ подумалъ Базаровъ.

— Все это нисколько не занимательно,—произнесъ онъ вслухъ:—особенно для васъ; мы люди темные...

— А я, по-вашему, аристократка?

Базаровъ поднялъ глаза на Одинцову.

— Да,—промолвилъ онъ преувеличенно-рѣзко.

Она усмѣхнулась.

— Я вижу, вы меня знаете мало, хотя вы и увѣряете, что всѣ люди другъ на друга похожи, и что ихъ изучать не стоитъ. Я вамъ когда-нибудь разскажу свою жизнь... но вы мнѣ прежде разскажете свою.

— Я васъ знаю мало,—повторилъ Базаровъ.—Можетъ-быть, вы правы; можетъ-быть, точно, всякій человѣкъ— загадка. Да хотя вы, напримѣръ, вы чуждаетесь общества, вы имъ тяготитесь, — и пригласили къ себѣ на жительство двухъ студентовъ. Зачѣмъ вы, съ вашимъ умомъ, съ вашей красотою, живете въ деревнѣ?

— Какъ? Какъ вы это сказали?—съ живостью подхватила Одинцова.—Съ моей... красотой?

Базаровъ нахмурился.

— Это все равно,—пробормоталъ онъ:—я хотѣлъ сказать, что не понимаю хорошенько, зачѣмъ вы поселились въ деревнѣ?

— Вы этого не понимаете... Однако, вы объясняете это себѣ какъ-нибудь?

— Да... я полагаю, что вы постоянно остаетесь на

одномъ мѣстѣ потому, что вы себя избаловали, потому что вы очень любите комфортъ, удобства, а ко всему остальному очень равнодушны.

Одинцова опять усмѣхнулась.

— Вы рѣшительно не хотите вѣрить, что я способна увлекаться?

Базаровъ исподлобья взглянулъ на нее.

— Любопытствомъ—пожалуй; но не иначе.

— Въ самомъ дѣлѣ? Ну, теперь я понимаю, почему мы сошлись съ вами; вѣдь и вы такой же, какъ я.

— Мы сошлись...—глухо промолвилъ Базаровъ.

— Да!.. вѣдь я забыла, что вы хотите уѣхать.

Базаровъ всталъ. Лампа тускло горѣла посреди потемнѣвшей, благовонной, уединенной комнаты; сквозь изрѣдка колыхавшуюся штору вливалась раздражительная свѣжесть ночи, слышалось ея таинственное шептаніе. Одинцова не шевелилась ни однимъ членомъ, но тайное волненіе охватывало ее понемногу... Оно сообщилось Базарову. Онъ вдругъ почувствовалъ себя наединѣ съ молодою, прекрасною женщиной...

— Куда вы?—медленно проговорила она.

Онъ ничего не отвѣчалъ и опустился на стулъ.

— Итакъ, вы считаете меня спокойнымъ, изнѣженнымъ, избалованнымъ существомъ,—продолжала она тѣмъ же голосомъ, не спуская глазъ съ окна. — А я такъ знаю о себѣ, что я несчастлива.

— Вы несчастливы! Отчего? Неужели вы можете придавать какое-нибудь значеніе дряннымъ сплетнямъ?

Одинцова нахмурилась. Ей стало досадно, что онъ такъ ее понялъ.

— Меня эти сплетни даже не смѣшатъ, Евгеній Васильевичъ, и я слишкомъ горда, чтобы позволить имъ меня безпокоить. Я несчастлива оттого... что нѣтъ во мнѣ желанія, охоты жить. Вы недовѣрчиво на меня смотрите, вы думаете: это говоритъ „аристократка“, которая вся въ кружевахъ и сидитъ на бархатномъ креслѣ. Я и не скрываюсь: я люблю то, что̀ вы называете комфортомъ, *и въ* то же время я мало желаю жить. Примите это про-

тиворѣчіе какъ знаете. Впрочемъ, это все въ вашихъ глазахъ романтизмъ.

Базаровъ покачалъ головою.

— Вы здоровы, независимы, богаты; чего же еще? Чего вы хотите?

— Чего я хочу,—повторила Одинцова, и вздохнула.— Я очень устала, я стара, мнѣ кажется, я очень давно живу. Да, я стара,—прибавила она, тихонько натягивая концы мантильи на свои обнаженныя руки. Ея глаза встрѣтились съ глазами Базарова, и она чуть-чуть покраснѣла. — Позади меня уже такъ много воспоминаній: жизнь въ Петербургѣ, богатство, потомъ бѣдность, потомъ смерть отца, замужество, потомъ заграничная поѣздка, какъ слѣдуетъ... Воспоминаній много, а вспомнить нечего, и впереди, передо мною — длинная, длинная дорога, а цѣли нѣтъ... Мнѣ и не хочется идти.

— Вы такъ разочарованы?—спросилъ Базаровъ.

— Нѣтъ,—промолвила съ разстановкой Одинцова:—но я не удовлетворена. Кажется, если бъ я могла сильно привязаться къ чему-нибудь...

— Вамъ хочется полюбить,—перебилъ ее Базаровъ:—а полюбить вы не можете: вотъ въ чемъ ваше несчастіе.

Одинцова принялась разсматривать рукава своей мантильи.

— Развѣ я не могу полюбить?—промолвила она.

— Едва ли! Только я напрасно назвалъ это несчастіемъ. Напротивъ, тотъ скорѣе достоинъ сожалѣнія, съ кѣмъ эта штука случается.

— Случается, что?

— Полюбить.

— А вы почемъ это знаете?

— По наслышкѣ,—сердито отвѣчалъ Базаровъ.

„Ты кокетничаешь“, подумалъ онъ: „ты скучаешь и дразнишь меня отъ нечего дѣлать, а мнѣ...“ Сердце у него, дѣйствительно, такъ и рвалось.

— Притомъ, вы, можетъ-быть, слишкомъ требовательны, — промолвилъ онъ, наклонившись всѣмъ тѣломъ впередъ и играя бахромою кресла.

— Можетъ-быть. По-моему, или все, или ничего. Жизнь за жизнь. Взялъ мою, отдай свою, и тогда уже безъ сожалѣнія и безъ возврата. А то лучше и не надо.

— Что жъ?—замѣтилъ Базаровъ:—это условіе справедливое, и я удивляюсь, какъ вы до сихъ поръ... не нашли, чего желали.

— А вы думаете, легко отдаться вполнѣ чему бы то ни было?

— Не легко, если станешь размышлять да выжидать, да самому себѣ придавать цѣну, дорожить собою, то-есть; а не размышляя, отдаться очень легко.

— Какъ же собою не дорожить? Если я не имѣю никакой цѣны, кому же нужна моя преданность?

— Это уже не мое дѣло; это дѣло другого разбирать, какая моя цѣна. Главное, надо умѣть отдаться.

Одинцова отдѣлилась отъ спинки кресла.

— Вы говорите такъ, — начала она: — какъ будто все это испытали.

— Къ слову пришлось, Анна Сергѣевна: это все, вы знаете, не по моей части.

— Но вы бы сумѣли отдаться?

— Не знаю, хвастаться не хочу.

Одинцова ничего не сказала, и Базаровъ умолкъ. Звуки фортепіано долетѣли до нихъ изъ гостиной.

— Что̀ это Катя такъ поздно играетъ,—замѣтила Одинцова.

Базаровъ поднялся.

— Да, теперь точно поздно, вамъ пора почивать.

— Погодите, куда же вы спѣшите... мнѣ нужно сказать вамъ одно слово.

— Какое?

— Погодите,—шепнула Одинцова.

Ея глаза остановились на Базаровѣ; казалось, она внимательно его разсматривала.

Онъ прошелся по комнатѣ, потомъ вдругъ приблизился къ ней, торопливо сказалъ „прощайте“, стиснулъ ей руку такъ, что она чуть не вскрикнула, и вышелъ вонъ. Она *поднесла* свои склеившіеся пальцы къ губамъ, подула на

нихъ, и внезапно, порывисто поднявшись съ кресла, направилась быстрыми шагами къ двери, какъ бы желая вернуть Базарова... Горничная вошла въ комнату съ графиномъ на серебряномъ подносѣ. Одинцова остановилась, велѣла ей уйти и сѣла опять, и опять задумалась. Коса ея развилась и темной змѣей упала къ ней на плечо. Лампа еще долго горѣла въ комнатѣ Анны Сергѣевны, и долго она оставалась неподвижною, лишь изрѣдка проводя пальцами по своимъ рукамъ, которыя слегка покусывалъ ночной холодъ.

А Базаровъ, часа два спустя, вернулся къ себѣ въ спальню съ мокрыми отъ росы сапогами, взъерошенный и угрюмый. Онъ засталъ Аркадія за письменнымъ столомъ съ книгой въ рукахъ, въ застегнутомъ доверху сюртукѣ.

— Ты еще не ложился?—проговорилъ онъ какъ бы съ досадой.

— Ты долго сидѣлъ сегодня съ Анной Сергѣевной,— промолвилъ Аркадій, не отвѣчая на его вопросъ.

— Да, я съ ней сидѣлъ все время, пока вы съ Катериной Сергѣевной играли на фортепіано.

— Я не игралъ... — началъ-было Аркадій, и умолкъ. Онъ чувствовалъ, что слезы приступали къ его глазамъ, а ему не хотѣлось заплакать передъ своимъ насмѣшливымъ другомъ.

XVIII.

На слѣдующій день, когда Одинцова явилась къ чаю, Базаровъ долго сидѣлъ нагнувшись надъ своею чашкою, да вдругъ взглянулъ на нее... Она обернулась къ нему, какъ будто онъ ее толкнулъ, и ему показалось, что лицо ея слегка поблѣднѣло за ночь. Она скоро ушла къ себѣ въ комнату и появилась только къ завтраку. Съ утра погода стояла дождливая, не было возможности гулять. Все общество собралось въ гостиную. Аркадій досталъ послѣдній нумеръ журнала, и началъ читать. Княжна, по обыкновенію своему, сперва выразила на лицѣ своемъ удивленіе, точно онъ затѣвалъ нѣчто неприличное, потомъ

злобно уставилась на него; но онъ не обратилъ на нее вниманія.

— Евгеній Васильевичъ, — проговорила Анна Сергѣевна:—пойдемте ко мнѣ... Я хочу у васъ спросить... Вы назвали вчера одно руководство...

Она встала и направилась къ дверямъ. Княжна посмотрѣла вокругъ съ такимъ выраженіемъ, какъ бы желала сказать: „посмотрите, посмотрите, какъ я изумляюсь!“ и опять уставилась на Аркадія, но онъ возвысилъ голосъ и, переглянувшись съ Катей, возлѣ которой сидѣлъ, продолжалъ чтеніе.

Одинцова скорыми шагами дошла до своего кабинета. Базаровъ проворно слѣдовалъ за нею, не поднимая глазъ и только ловя слухомъ тонкій свистъ и шелестъ скользившаго передъ нимъ шелковаго платья. Одинцова опустилась на то же самое кресло, на которомъ сидѣла накапунѣ, и Базаровъ занялъ вчерашнее свое мѣсто.

— Такъ какъ же называется эта книга?— начала она послѣ небольшого молчанія.

— Pelouse et Frémy, „Notions générales“...— отвѣчалъ Базаровъ. — Впрочемъ, можно вамъ также порекомендовать — Ganot, „Traité élémentaire de physique expérimentale“. Въ этомъ сочиненіи рисунки отчетливѣе и вообще этотъ учебникъ...

Одинцова протянула руку.

— Евгеній Васильичъ, извините меня, но я позвала васъ сюда не съ тѣмъ, чтобы разсуждать объ учебникахъ. Мнѣ хотѣлось возобновить нашъ вчерашній разговоръ. Вы ушли такъ внезапно... Вамъ не будетъ скучно?

— Я къ вашимъ услугамъ, Анна Сергѣевна. Но о чемъ, бишь, бесѣдовали мы вчера съ вами?

Одинцова бросила косвенный взглядъ на Базарова.

— Мы говорили съ вами, кажется, о счастіи. Я вамъ разсказывала о самой себѣ. Кстати вотъ, я упомянула слово „счастіе“. Скажите, отчего, даже когда мы наслаждаемся, напримѣръ, музыкой, хорошимъ вечеромъ, разговоромъ съ симпатическими людьми, отчего все это

кажется скорѣе намекомъ на какое-то безмѣрное, гдѣ-то существующее счастіе, чѣмъ дѣйствительнымъ счастіемъ, то-есть такимъ, которымъ мы сами обладаемъ? Отчего это? Или вы, можетъ-быть, ничего подобнаго не ощущаете?

— Вы знаете поговорку: „тамъ хорошо, гдѣ насъ нѣтъ“,— возразилъ Базаровъ:—притомъ же вы сами сказали вчера, что вы не удовлетворены. А мнѣ въ голову, точно, такія мысли не приходятъ.

— Можетъ-быть, онѣ кажутся вамъ смѣшными?

— Нѣтъ, но онѣ мнѣ не приходятъ въ голову.

— Въ самомъ дѣлѣ? Знаете, я бы очень желала знать, о чемъ *вы* думаете?

— Какъ? я васъ не понимаю.

— Послушайте, я давно хотѣла объясниться съ вами. Вамъ нечего говорить,—вамъ это самимъ извѣстно,—что вы человѣкъ не изъ числа обыкновенныхъ:—вы еще молоды — вся жизнь передъ вами. Къ чему вы себя готовите? какая будущность ожидаетъ васъ? я хочу сказать— какой цѣли вы хотите достигнуть, куда вы идете, что̀ у васъ на душѣ? словомъ, кто вы, что̀ вы?

— Вы меня удивляете, Анна Сергѣевна. Вамъ извѣстно, что я занимаюсь естественными науками, а кто я...

— Да, кто вы?

— Я уже докладывалъ вамъ, что я будущій уѣздный лѣкарь.

Анна Сергѣевна сдѣлала нетерпѣливое движеніе.

— Зачѣмъ вы это говорите? Вы этому сами не вѣрите. Аркадій могъ бы мнѣ отвѣчать такъ, а не вы.

— Да чѣмъ же Аркадій...

— Перестаньте! Возможно ли, чтобы вы удовольствовались такою скромною дѣятельностью, и не сами ли вы всегда утверждаете, что для васъ медицина не существуетъ. Вы—съ вашимъ самолюбіемъ — уѣздный лѣкарь! Вы мнѣ отвѣчаете такъ, чтобъ отдѣлаться отъ меня, потому что вы не имѣете никакого довѣрія ко мнѣ. А знаете ли, Евгеній Васильичъ, что я умѣла бы понять васъ: я сама была бѣдна и самолюбива, какъ вы, я про-

злобно уставилась на него; но онъ не обратилъ на нее вниманія.

— Евгеній Васильевичъ, — проговорила Анна Сергѣевна:—пойдемте ко мнѣ... Я хочу у васъ спросить... Вы назвали вчера одно руководство...

Она встала и направилась къ дверямъ. Княжна посмотрѣла вокругъ съ такимъ выраженіемъ, какъ бы желала сказать: „посмотрите, посмотрите, какъ я изумляюсь!“ и опять уставилась на Аркадія, но онъ возвысилъ голосъ и, переглянувшись съ Катей, возлѣ которой сидѣлъ, продолжалъ чтеніе.

Одинцова скорыми шагами дошла до своего кабинета. Базаровъ проворно слѣдовалъ за нею, не поднимая глазъ и только ловя слухомъ тонкій свистъ и шелестъ скользившаго передъ нимъ шелковаго платья. Одинцова опустилась на то же самое кресло, на которомъ сидѣла наканунѣ, и Базаровъ занялъ вчерашнее свое мѣсто.

— Такъ какъ же называется эта книга?—начала она послѣ небольшого молчанія.

— Pelouse et Frémy, „Notions générales“...—отвѣчалъ Базаровъ. — Впрочемъ, можно вамъ также порекомендовать — Ganot, „Traité élémentaire de physique expérimentale“. Въ этомъ сочиненіи рисунки отчетливѣе и вообще этотъ учебникъ...

Одинцова протянула руку.

— Евгеній Васильичъ, извините меня, но я позвала васъ сюда не съ тѣмъ, чтобы разсуждать объ учебникахъ. Мнѣ хотѣлось возобновить нашъ вчерашній разговоръ. Вы ушли такъ внезапно... Вамъ не будетъ скучно?

— Я къ вашимъ услугамъ, Анна Сергѣевна. Но о чемъ, бишь, бесѣдовали мы вчера съ вами?

Одинцова бросила косвенный взглядъ на Базарова.

— Мы говорили съ вами, кажется, о счастіи. Я вамъ разсказывала о самой себѣ. Кстати вотъ, я упомянула слово „счастіе“. Скажите, отчего, даже когда мы наслаждаемся, напримѣръ, музыкой, хорошимъ вечеромъ, *разговоромъ* съ симпатическими людьми, отчего все это

кажется скорѣе намекомъ на какое-то безмѣрное, гдѣ-то существующее счастіе, чѣмъ дѣйствительнымъ счастіемъ, то-есть такимъ, которымъ мы сами обладаемъ? Отчего это? Или вы, можетъ-быть, ничего подобнаго не ощущаете?

— Вы знаете поговорку: „тамъ хорошо, гдѣ насъ нѣтъ“,— возразилъ Базаровъ:—притомъ же вы сами сказали вчера, что вы не удовлетворены. А мнѣ въ голову, точно, такія мысли не приходятъ.

— Можетъ-быть, онѣ кажутся вамъ смѣшными?

— Нѣтъ, но онѣ мнѣ не приходятъ въ голову.

— Въ самомъ дѣлѣ? Знаете, я бы очень желала знать, о чемъ *вы* думаете?

— Какъ? я васъ не понимаю.

— Послушайте, я давно хотѣла объясниться съ вами. Вамъ нечего говорить,—вамъ это самимъ извѣстно,—что вы человѣкъ не изъ числа обыкновенныхъ:—вы еще молоды — вся жизнь передъ вами. Къ чему вы себя готовите? какая будущность ожидаетъ васъ? я хочу сказать— какой цѣли вы хотите достигнуть, куда вы идете, что̀ у васъ на душѣ? словомъ, кто вы, что̀ вы?

— Вы меня удивляете, Анна Сергѣевна. Вамъ извѣстно, что я занимаюсь естественными науками, а кто я...

— Да, кто вы?

— Я уже докладывалъ вамъ, что я будущій уѣздный лѣкарь.

Анна Сергѣевна сдѣлала нетерпѣливое движеніе.

— Зачѣмъ вы это говорите? Вы этому сами не вѣрите. Аркадій могъ бы мнѣ отвѣчать такъ, а не вы.

— Да чѣмъ же Аркадій...

— Перестаньте! Возможно ли, чтобы вы удовольствовались такою скромною дѣятельностью, и не сами ли вы всегда утверждаете, что для васъ медицина не существуетъ. Вы—съ вашимъ самолюбіемъ — уѣздный лѣкарь! Вы мнѣ отвѣчаете такъ, чтобъ отдѣлаться отъ меня, потому что вы не имѣете никакого довѣрія ко мнѣ. А знаете ли, Евгеній Васильичъ, что я умѣла бы понять васъ: я сама была бѣдна и самолюбива, какъ вы, я про-

шла, можетъ-быть, черезъ такія же испытанія, какъ и вы.

— Все это прекрасно, Анна Сергѣевна, но вы меня извините... я вообще не привыкъ высказываться; и между вами и мною такое разстояніе...

— Какое разстояніе? — Вы опять мнѣ скажете, что я аристократка? Полноте, Евгеній Васильичъ; я вамъ, кажется, доказала...

— Да и кромѣ того,—перебилъ Базаровъ:—что за охота говорить и думать о будущемъ, которое большею частью не отъ насъ зависитъ? Выйдетъ случай что-нибудь сдѣлать—прекрасно, а не выйдетъ — по крайней мѣрѣ тѣмъ будешь доволенъ, что заранѣе напрасно не болталъ.

— Вы называете дружескую бесѣду болтовней... Или, можетъ-быть, вы меня, какъ женщину, не считаете достойною вашего довѣрія? — Вѣдь вы насъ всѣхъ презираете.

— Васъ я не презираю, Анна Сергѣевна, и вы это знаете.

— Нѣтъ, я ничего не знаю... но положимъ: я понимаю ваше нежеланіе говорить о будущей вашей дѣятельности; но то, что̀ въ васъ теперь происходитъ...

— Происходитъ!—повторилъ Базаровъ:—точно я государство какое, или общество! Во всякомъ случаѣ, это вовсе не любопытно; и притомъ развѣ человѣкъ всегда можетъ громко сказать все, что̀ въ немъ „происходитъ"?

— А я не вижу, почему нельзя высказать все, что̀ имѣешь на душѣ.

— *Вы* можете?—спросилъ Базаровъ.

— Могу,—отвѣчала Анна Сергѣевна послѣ небольшого колебанія.

Базаровъ наклонилъ голову.

— Вы счастливѣе меня.

Анна Сергѣевна вопросительно посмотрѣла на него.

— Какъ хотите,—продолжала она: — а мнѣ все-таки что-то говоритъ, что мы сошлись не даромъ, что мы будемъ хорошими друзьями. Я увѣрена, что ваша эта, какъ бы сказать, ваша напряженность, сдержанность исчезнетъ *наконецъ*?

— А вы замѣтили во мнѣ сдержанность... какъ вы еще выразились... напряженность?

— Да.

Базаровъ всталъ и подошелъ къ окну.

— И вы желали бы знать причину этой сдержанности, вы желали бы знать, что̀ во мнѣ происходитъ?

— Да,—повторила Одинцова, съ какимъ-то, ей еще непонятнымъ, испугомъ.

— И вы не разсердитесь?

— Нѣтъ.

— Нѣтъ? — Базаровъ стоялъ къ ней спиною. — Такъ знайте же, что я люблю васъ глупо, безумно... Вотъ чего вы добились.

Одинцова протянула впередъ обѣ руки, а Базаровъ уперся лбомъ въ стекло окна. Онъ задыхался; все тѣло его видимо трепетало. Но это было не трепетаніе юношеской робости, не сладкій ужасъ перваго признанія овладѣлъ имъ: это страсть въ немъ билась, сильная и тяжелая — страсть, похожая на злобу и, быть-можетъ, сродни ей. Одинцовой стало и страшно, и жалко его.

— Евгеній Васильичъ,—проговорила она, и невольная нѣжность зазвенѣла въ ея голосѣ.

Онъ быстро обернулся, бросилъ на нее пожирающій взоръ,—и, схвативъ ея обѣ руки, внезапно привлекъ ее къ себѣ на грудь.

Она не тотчасъ освободилась изъ его объятій; но мгновенье спустя, она уже стояла далеко въ углу, и глядѣла оттуда на Базарова. Онъ рванулся къ ней...

— Вы меня не поняли,—прошептала она съ торопливымъ испугомъ. Казалось, шагни онъ еще разъ, она бы вскрикнула... Базаровъ закусилъ губы и вышелъ.

Полчаса спустя, служанка подала Аннѣ Сергѣевнѣ записку отъ Базарова; она состояла изъ одной только строчки: „долженъ ли я сегодня уѣхать — или могу остаться до завтра?“ — „Зачѣмъ уѣзжать? Я васъ не понимала— вы меня не поняли“, отвѣтила ему Анна Сергѣевна, а сама подумала: „я и себя не понимала“.

Она до обѣда не показывалась, и все ходила взадъ и

впередъ по своей комнатѣ, заложивъ руки назадъ, изрѣдка останавливаясь то передъ окномъ, то передъ зеркаломъ, и медленно проводила платкомъ по шеѣ, на которой ей все чудилось горячее пятно. Она спрашивала себя, что̀ заставляло ее „добиваться“, по выраженію Базарова, его откровенности, и не подозрѣвала ли она чего-нибудь... „Я виновата“, промолвила она вслухъ: „но я это не могла предвидѣть“. Она задумывалась и краснѣла, вспоминая почти звѣрское лицо Базарова, когда онъ бросился къ ней...

„Или?“ произнесла она вдругъ, и остановилась, и тряхнула кудрями... Она увидала себя въ зеркалѣ; ея назадъ закинутая голова съ таинственною улыбкой на полу-закрытыхъ, полу-раскрытыхъ глазахъ и губахъ, казалось, говорила ей въ этотъ мигъ что-то такое, отъ чего она сама смутилась...

„Нѣтъ“, рѣшила она наконецъ: „Богъ знаетъ, куда бы это повело, этимъ нельзя шутить, спокойствіе все-таки лучше всего на свѣтѣ“.

Ея спокойствіе не было потрясено; но она опечалилась, и даже всплакнула разъ, сама не зная отчего, только не отъ нанесеннаго оскорбленія. Она не чувствовала себя оскорбленною: она скорѣе чувствовала себя виноватою. Подъ вліяніемъ различныхъ смутныхъ чувствъ, сознанія уходящей жизни, желанія новизны, она заставила себя дойти до извѣстной черты, заставила себя заглянуть за нее—и увидала за ней даже не бездну, а пустоту... или безобразіе.

XIX.

Какъ ни владѣла собою Одинцова, какъ ни стояла выше всякихъ предразсудковъ, но и ей было неловко, когда она явилась въ столовую, къ обѣду. Впрочемъ, онъ прошелъ довольно благополучно. Порфирій Платонычъ пріѣхалъ, разсказалъ разные анекдоты; онъ только что вернулся изъ города. Между прочимъ, онъ сообщилъ, что губернаторъ, Бурдалу, приказалъ своимъ чиновникамъ по *особымъ* порученіямъ носить шпоры, на случай, если онъ

пошлетъ ихъ куда-нибудь, для скорости, верхомъ. Аркадій вполголоса разсуждалъ съ Катей и дипломатически прислуживался княжнѣ. Базаровъ упорно и угрюмо молчалъ. Одинцова раза два—прямо, не украдкой посмотрѣла на его лицо, строгое и желчное, съ опущенными глазами, съ отпечаткомъ презрительной рѣшимости въ каждой чертѣ, и подумала: „нѣтъ... нѣтъ... нѣтъ...“ Послѣ обѣда она со всѣмъ обществомъ отправилась въ садъ и, видя, что Базаровъ желаетъ заговорить съ нею, сдѣлала нѣсколько шаговъ въ сторону и остановилась. Онъ приблизился къ ней, но и тутъ не поднялъ глазъ и глухо проговорилъ:

— Я долженъ извиниться передъ вами, Анна Сергѣевна. Вы не можете не гнѣваться на меня.

— Нѣтъ, я на васъ не сержусь, Евгеній Васильичъ,— отвѣчала Одинцова:—но я огорчена.

— Тѣмъ хуже. Во всякомъ случаѣ, я довольно наказанъ. Мое положеніе, съ этимъ вы вѣроятно согласитесь, гораздо глупее. Вы мнѣ написали: зачѣмъ уѣзжать? А я не могу и не хочу остаться. Завтра меня здѣсь не будетъ.

— Евгеній Васильичъ, зачѣмъ вы...

— Зачѣмъ я уѣзжаю?

— Нѣтъ, я не то хотѣла сказать.

— Прошедшаго не воротишь, Анна Сергѣевна... а рано или поздно это должно было случиться. Слѣдовательно, мнѣ надобно уѣхать. Я понимаю только одно условіе, при которомъ я бы могъ остаться; но этому условію не бывать никогда. Вѣдь вы, извините мою дерзость, не любите меня и не полюбите никогда?

Глаза Базарова сверкнули на мгновенье изъ-подъ темныхъ его бровей.

Анна Сергѣевна не отвѣчала ему. „Я боюсь этого человѣка“, мелькнуло у ней въ головѣ.

— Прощайте-съ,—проговорилъ Базаровъ, какъ бы угадавъ ея мысль, и направился къ дому.

Анна Сергѣевна тихонько пошла вслѣдъ за нимъ, и подозвавъ Катю, взяла ее подъ руку. Она не разставалась съ ней до самаго вечера. Въ карты она играть не стала,

и все больше посмѣивалась, что̀ вовсе не шло къ ея поблѣднѣвшему и смущенному лицу. Аркадій недоумѣвал и наблюдалъ за нею, какъ молодые люди наблюдаютъ, то-есть постоянно вопрошалъ самого себя: что̀, молъ, это значитъ? Базаровъ заперся у себя въ комнатѣ; къ чаю онъ, однако, вернулся. Аннѣ Сергѣевнѣ хотѣлось сказать ему какое-нибудь доброе слово, но она не знала, какъ заговорить съ нимъ...

Неожиданный случай вывелъ ее изъ затрудненія: дворецкій доложилъ о пріѣздѣ Ситникова.

Трудно передать словами, какою перепелкой влетѣлъ въ комнату молодой прогрессистъ. Рѣшившись, съ свойственною ему назойливостью, поѣхать въ деревню къ женщинѣ, которую онъ едва зналъ, которая никогда его не приглашала, но у которой, по собраннымъ свѣдѣніямъ, гостили такіе умные и близкіе ему люди, онъ все-таки робѣлъ до мозга костей и вмѣсто того, чтобы произнести заранѣе затверженныя извиненія и привѣтствія, пробормоталъ какую-то дрянь, что Евдоксія, дескать, Кукшина прислала его узнать о здоровьѣ Анны Сергѣевны, и что Аркадій Николаевичъ, тоже, ему всегда отзывается съ величайшею похвалой... На этомъ словѣ онъ запнулся и потерялся до того, что сѣлъ на собственную шляпу. Однако, такъ какъ никто его не прогналъ, и Анна Сергѣевна даже представила его теткѣ и сестрѣ, онъ скоро оправился и затрещалъ на славу. Появленіе пошлости бываетъ часто полезно въ жизни: оно ослабляетъ слишкомъ высоко настроенныя струны, отрезвляетъ самоувѣренныя или самозабывчивыя чувства, напоминая имъ свое близкое родство съ ними. Съ прибытіемъ Ситникова все стало какъ-то тупѣе—и проще; всѣ даже поужинали плотнѣй и разошлись спать получасомъ раньше обыкновеннаго.

— Я могу тебѣ теперь повторить,—говорилъ, лежа на постели, Аркадій Базарову, который тоже раздѣлся:—то, что̀ ты мнѣ сказалъ однажды: „Отчего ты такъ грустенъ? вѣрно исполнилъ какой-нибудь священный долгъ?“

Между обоими молодыми людьми съ нѣкоторыхъ поръ установилось какое-то лжеразвязное подтруниваніе, что

всегда служитъ признакомъ тайнаго неудовольствія или не высказанныхъ подозрѣній.

— Я завтра къ батькѣ уѣзжаю,—проговорилъ Базаровъ.

Аркадій приподнялся и оперся на локоть. Онъ и удивился, и почему-то обрадовался.

— А!—промолвилъ онъ.—И ты отъ этого грустенъ?

Базаровъ зѣвнулъ.

— Много будешь знать, состарѣешься.

— А какъ же Анна Сергѣевна?—продолжалъ Аркадій.

— Что̀ такое Анна Сергѣевна?

— Я хочу сказать: развѣ она тебя отпуститъ?

— Я у ней не нанимался.

Аркадій задумался, а Базаровъ легъ и повернулся лицомъ къ стѣнѣ.

Прошло нѣсколько минутъ въ молчаніи.

— Евгеній!—воскликнулъ вдругъ Аркадій.

— Ну?

— Я завтра съ тобой уѣду тоже.

Базаровъ ничего не отвѣчалъ.

— Только я домой поѣду,—продолжалъ Аркадій.—Мы вмѣстѣ отправимся до Хохловскихъ выселковъ, а тамъ ты возьмешь у Ѳедота лошадей. Я бы съ удовольствіемъ познакомился съ твоими, да я боюсь и ихъ стѣснить, и тебя. Вѣдь ты потомъ опять пріѣдешь къ намъ?

— Я у васъ свои вещи оставилъ,—отозвался Базаровъ, не оборачиваясь.

„Зачѣмъ же онъ меня не спрашиваетъ, почему я ѣду? и такъ же внезапно, какъ и онъ?“ подумалъ Аркадій. „Въ самомъ дѣлѣ, зачѣмъ я ѣду, и зачѣмъ онъ ѣдетъ?“ продолжалъ онъ свои размышленія. Онъ не могъ отвѣчать удовлетворительно на собственный вопросъ, а сердце его наполнялось чѣмъ-то ѣдкимъ. Онъ чувствовалъ, что тяжело ему будетъ разстаться съ этою жизнью, къ которой онъ такъ привыкъ; но и оставаться одному было какъ-то странно. „Что-то у нихъ произошло“, разсуждалъ онъ самъ съ собою: „зачѣмъ же я буду торчать передъ нею послѣ отъѣзда? я ей окончательно надоѣмъ; я и послѣднее потеряю“. Онъ началъ представлять себѣ Анну Сер-

гѣевну, потомъ другія черты понемногу проступили сквозь красивый обликъ молодой вдовы.

„Жаль и Кати!“ шепнулъ Аркадій въ подушку, на которую уже капнула слеза... Онъ вдругъ вскинулъ волосами и громко промолвилъ:

— На какого чорта этотъ глупецъ Ситниковъ пожаловалъ?

Базаровъ сперва пошевелился на постели, а потомъ произнесъ слѣдующее:

— Ты, братъ, глупъ еще, я вижу. Ситниковы намъ необходимы. Мнѣ, пойми ты это — мнѣ нужны подобные олухи. Не богамъ же, въ самомъ дѣлѣ, горшки обжигать!..

„Эге, ге!..“ подумалъ про себя Аркадій, и тутъ только открылась ему на мигъ вся бездонная пропасть базаровскаго самолюбія. „Мы, стало-быть, съ тобой боги? то-есть— ты богъ, а олухъ ужъ не я ли?“

— Да,—повторилъ угрюмо Базаровъ:—ты еще глупъ.

Одинцова не изъявила особеннаго удивленія, когда, на другой день, Аркадій сказалъ ей, что уѣзжаетъ съ Базаровымъ; она казалась разсѣянною и усталою. Катя молча и серьезно посмотрѣла на него, княжна даже перекрестилась подъ своею шалью, такъ-что онъ не могъ этого не замѣтить, зато Ситниковъ совершенно переполошился. Онъ только что сошелъ къ завтраку въ новомъ щегольскомъ, на этотъ разъ не славянофильскомъ, нарядѣ; наканунѣ онъ удивилъ приставленнаго къ нему человѣка множествомъ навезеннаго имъ бѣлья, и вдругъ его товарищи его покидаютъ!—Онъ немножко посѣменилъ ногами, пометался, какъ гонный заяцъ на опушкѣ лѣса,—и внезапно, почти съ испугомъ, почти съ крикомъ объявилъ, что и онъ намѣренъ уѣхать. Одинцова не стала его удерживать.

— У меня очень покойная коляска,—прибавилъ несчастный молодой человѣкъ, обращаясь къ Аркадію:—я могу васъ подвезти, а Евгеній Васильичъ можетъ взять вашъ тарантасъ, такъ оно даже удобнѣе будетъ.

— Да помилуйте, вамъ совсѣмъ не по дорогѣ, и до меня *далеко.*

— Это ничего, ничего; времени у меня много, притомъ у меня на той сторонѣ дѣла есть.

— По откупамъ? — спросилъ Аркадій, уже слишкомъ презрительно.

Но Ситниковъ находился въ такомъ отчаяніи, что, противъ обыкновенія, даже не засмѣялся.

— Я васъ увѣряю, коляска чрезвычайно покойная, — пробормоталъ онъ:—и всѣмъ мѣсто будетъ.

— Не огорчайте мсьё Ситникова отказомъ,—промолвила Анна Сергѣевна...

Аркадій взглянулъ на нее и значительно наклонилъ голову.

Гости уѣхали послѣ завтрака. Прощаясь съ Базаровымъ, Одинцова протянула ему руку и сказала:

— Мы еще увидимся, не правда ли?

— Какъ прикажете,—отвѣтилъ Базаровъ.

— Въ такомъ случаѣ, мы увидимся.

Аркадій первый вышелъ на крыльцо: онъ взобрался въ ситниковскую коляску. Его почтительно подсаживалъ дворецкій, а онъ бы съ удовольствіемъ его побилъ или расплакался. Базаровъ помѣстился въ тарантасѣ.—Добравшись до Хохловскихъ выселковъ, Аркадій подождалъ, пока Ѳедотъ, содержатель постоялаго двора, запрягъ лошадей, и, подойдя къ тарантасу, съ прежней улыбкой сказалъ Базарову:

— Евгеній, возьми меня съ собой; я хочу къ тебѣ поѣхать.

— Садись,—произнесъ сквозь зубы Базаровъ.

Ситниковъ, который расхаживалъ, бойко посвистывая, вокругъ колесъ своего экипажа, только ротъ разинулъ, услышавъ эти слова, а Аркадій хладнокровно вынулъ свои вещи изъ его коляски, сѣлъ возлѣ Базарова—и, учтиво поклонившись своему бывшему спутнику, крикнулъ: „Трогай!“ Тарантасъ покатилъ и скоро исчезъ изъ вида... Ситниковъ, окончательно сконфуженный, посмотрѣлъ на своего кучера, но тотъ игралъ кнутикомъ надъ хвостомъ пристяжной. Тогда Ситниковъ вскочилъ въ коляску—и, загремѣвъ на двухъ проходившихъ мужиковъ: „надѣньте шапки, дураки!“—потащился въ городъ, куда прибылъ

очень поздно, и гдѣ, на слѣдующій день, у Кукшиной, сильно досталось двумъ „противнымъ гордецамъ и невѣжамъ“.

Садясь въ тарантасъ къ Базарову, Аркадій крѣпко стиснулъ ему руку и долго ничего не говорилъ. Казалось, Базаровъ понялъ и оцѣнилъ и это пожатіе, и это молчаніе. Предшествовавшую ночь онъ всю не спалъ, и не курилъ, и почти ничего не ѣлъ уже нѣсколько дней. Сумрачно и рѣзко выдавался его похудалый профиль изъ-подъ нахлобученной фуражки.

— Что̀, братъ,—проговорилъ онъ наконецъ:—дай-ка сигарку... Да посмотри, чай, желтый у меня языкъ?

— Желтый,—отвѣчалъ Аркадій.

— Ну да... вотъ и сигарка не вкусна. — Расклеилась машина.

— Ты, дѣйствительно, измѣнился въ это послѣднее время,—замѣтилъ Аркадій.

— Ничего! поправимся. Одно скучно, — мать у меня такая сердобольная: коли брюха не отрастилъ, да не ѣшь десять разъ на день, она и убивается. Ну, отецъ ничего, тотъ самъ былъ вездѣ, и въ ситѣ, и въ рѣшетѣ. Нѣтъ, нельзя курить,—прибавилъ онъ, и швырнулъ сигарку въ пыль дороги.

— До твоего имѣнія двадцать пять верстъ?—спросилъ Аркадій.

— Двадцать пять. Да вотъ спроси у этого мудреца.

Онъ указалъ на сидѣвшаго на козлахъ мужика, Ѳедотова работника.

Но мудрецъ отвѣчалъ, что: „хтошь е знаетъ — вёрсты тутотка не мѣряныя“, и продолжалъ вполголоса бранить коренную за то, что она „головизной лягаетъ“, то-есть дергаетъ головой.

— Да, да,—заговорилъ Базаровъ:—урокъ вамъ, юный другъ мой, поучительный нѣкій примѣръ. Чортъ знаетъ, что за вздоръ! Каждый человѣкъ на ниточкѣ виситъ, бездна ежеминутно подъ нимъ развернуться можетъ, а онъ еще самъ придумываетъ себѣ всякія непріятности, *портитъ* свою жизнь.

— Ты на что̀ намекаешь?—спросилъ Аркадій.

— Я ни на что̀ не намекаю, я прямо говорю, что мы оба съ тобою очень глупо себя вели. Что̀ тутъ толковать! Но я уже въ клиникѣ замѣтилъ: кто злится на свою боль—тотъ непремѣнно ее побѣдитъ.

— Я тебя не совсѣмъ понимаю,—промолвилъ Аркадій:— кажется, тебѣ не на что было пожаловаться.

— А коли ты не совсѣмъ меня понимаешь, такъ я тебѣ доложу слѣдующее: по-моему — лучше камни бить на мостовой, чѣмъ позволить женщинѣ завладѣть хотя бы кончикомъ пальца. Это все...—Базаровъ чуть-было не произнесъ своего любимаго слова „романтизмъ"—да удержался, и сказалъ:—вздоръ.—Ты мнѣ теперь не повѣришь, но я тебѣ говорю: мы вотъ съ тобой попали въ женское общество, и намъ было пріятно; но бросить подобное общество—все равно, что въ жаркій день холодною водой катиться. —Мужчинѣ некогда заниматься такими пустяками; мужчина долженъ быть свирѣпъ, гласитъ отличная испанская поговорка. Вѣдь вотъ ты,—прибавилъ онъ, обращаясь къ сидѣвшему на козлахъ мужику: — ты, умница, есть у тебя жена?

Мужикъ показалъ обоимъ пріятелямъ свое плоское и подслѣповатое лицо.

— Жена-то? Есть. Какъ не быть женѣ?

— Ты ее бьешь?

— Жену-то? Всяко случается. Безъ причины не бьемъ.

— И прекрасно. Ну, а она тебя бьетъ?

Мужикъ задергалъ вожжами.

— Эко слово ты сказалъ, баринъ. Тебѣ бы все шутить...—Онъ видимо обидѣлся.

— Слышишь, Аркадій Николаевичъ! А насъ съ вами прибили... вотъ оно что̀ значитъ быть образованными людьми.

Аркадій принужденно засмѣялся, а Базаровъ отвернулся и во всю дорогу уже не разѣвалъ рта.

Двадцать пять верстъ показались Аркадію за цѣлыхъ пятьдесятъ. Но вотъ на скатѣ пологаго холма открылась, наконецъ небольшая деревушка, гдѣ жили родители Ба-

зарова. Рядомъ съ нею, въ молодой березовой рощицѣ, виднѣлся дворянскій домикъ подъ соломенною крышей. У первой избы стояли два мужика въ шапкахъ и бранились. „Большая ты свинья,“ говорилъ одинъ другому: „а хуже малаго поросенка“.—„А твоя жена—колдунья“, возражалъ другой.

— По непринужденности обращенія,—замѣтилъ Аркадію Базаровъ: — и по игривости оборотовъ рѣчи, ты можешь судить, что мужики у моего отца не слишкомъ притѣснены. Да вотъ и онъ самъ выходитъ на крыльцо своего жилища. Услыхалъ, знать, колокольчикъ. Онъ, онъ—узнаю его фигуру. Эге, ге! какъ онъ однако посѣдѣлъ, бѣдняга!

XX.

Базаровъ высунулся изъ тарантаса, а Аркадій вытянулъ голову изъ-за спины своего товарища, и увидалъ на крылечкѣ господскаго домика высокаго, худощаваго человѣка, съ взъерошенными волосами и тонкимъ орлинымъ носомъ, одѣтаго въ старый военный сюртукъ нараспашку. Онъ стоялъ, растопыривъ ноги, курилъ длинную трубку и щурился отъ солнца.

Лошади остановились.

— Наконецъ пожаловалъ,—проговорилъ отецъ Базарова, все продолжая курить, хотя чубукъ такъ и прыгалъ у него между пальцами. — Ну вылѣзай, вылѣзай, почелокаемся.

Онъ сталъ обнимать сына... „Енюша, Енюша“, раздался трепещущій женскій голосъ. Дверь распахнулась, и на порогѣ показалась кругленькая, низенькая старушка, въ бѣломъ чепцѣ и короткой пестрой кофточкѣ. Она ахнула, пошатнулась и навѣрно бы упала, если бы Базаровъ не поддержалъ ея. Пухлыя ея ручки мгновенно обвились вокругъ его шеи, голова прижалась къ его груди и все замолкло. Только слышались ея прерывистыя всхлипыванья.

Старикъ Базаровъ глубоко дышалъ и щурился пуще прежняго.

— Ну, полно, полно, Ариша! перестань,—заговорилъ онъ, помѣнявшись взглядомъ съ Аркадіемъ, который стоялъ неподвижно у тарантаса, между тѣмъ какъ мужикъ на козлахъ даже отвернулся:—это совсѣмъ не нужно! пожалуйста перестань.

— Ахъ, Василій Иванычъ,—пролепетала старушка: — въ кои-то вѣки батюшку-то моего, голубчика-то, Енюшеньку...—и, не разжимая рукъ, она отодвинула отъ Базарова свое мокрое отъ слезъ, мятое и умиленное лицо, посмотрѣла на него какими-то блаженными и смѣшными глазами, и опять къ нему припала.

— Ну, да, конечно, это все въ натурѣ вещей,—промолвилъ Василій Иванычъ:—только лучше ужъ въ комнату пойдемъ. Съ Евгеніемъ вотъ гость пріѣхалъ. Извините,— прибавилъ онъ, обращаясь къ Аркадію, и шаркнулъ слегка ногой:—вы понимаете, женская слабость; ну и сердце матери...

А у самого и губы, и брови дергало, и подбородокъ трясся... но онъ видимо желалъ побѣдить себя и казаться чуть не равнодушнымъ. Аркадій наклонился.

— Пойдемте, матушка, въ самомъ дѣлѣ,—промолвилъ Базаровъ и повелъ въ домъ ослабѣвшую старушку. Усадивъ ее въ покойное кресло, онъ еще разъ наскоро обнялся съ отцомъ и представилъ ему Аркадія.

— Душевно радъ знакомству, — проговорилъ Василій Ивановичъ:—только ужъ вы не взыщите: у меня здѣсь все по простотѣ, на военную ногу. Арина Власьевна, успокойся, сдѣлай одолженіе: что за малодушіе? Господинъ гость долженъ осудить тебя.

— Батюшка,—сквозь слезы проговорила старушка: — имени и отчества не имѣю чести знать...

— Аркадій Николаичъ,—съ важностію, вполголоса, подсказалъ Василій Иванычъ.

— Извините меня, глупую.—Старушка высморкалась и, нагиная голову то направо, то налѣво, тщательно утерла одинъ глазъ послѣ другого.—Извините вы меня. Вѣдь я такъ и думала, что умру, не дождусь моего го....о....о.... голубчика.

— А вотъ и дождались, сударыня,—подхватилъ Василій Ивановичъ.—Танюшка,—обратился онъ къ босоногой дѣвочкѣ лѣтъ тринадцати, въ ярко-красномъ ситцевомъ платьѣ, пугливо выглядывавшей изъ-за двери: — принеси барынѣ стаканъ воды—на подносѣ, слышь?—а васъ, господа,—прибавилъ онъ съ какою-то старомодною игривостью: — позвольте попросить въ кабинетъ къ отставному ветерану.

— Хоть еще разочекъ дай обнять тебя, Енюшечка,— простонала Арина Власьевна. Базаровъ нагнулся къ ней.—Да какой же ты красавчикъ сталъ!

— Ну, красавчикъ не красавчикъ,—замѣтилъ Василій Ивановичъ:—а мужчина, какъ говорится: *оммфе*. А теперь, я надѣюсь, Арина Власьевна, что, насытивъ свое материнское сердце, ты позаботишься о насыщеніи своихъ дорогихъ гостей, потому что, тебѣ извѣстно, соловья баснями кормить не слѣдуетъ.

Старушка привстала съ креселъ.—Сію минуту, Василій Иванычъ, столъ накрытъ будетъ, сама въ кухню сбѣгаю и самоваръ поставить велю, все будетъ, все. Вѣдь три года его не видала, не кормила, не поила, легко ли?

— Ну, смотри же, хозяюшка, хлопочи, не осрамись; а васъ, господа, прошу за мной пожаловать. Вотъ и Тимоѳеичъ явился къ тебѣ на поклонъ, Евгеній. И онъ, чай, обрадовался, старый барбосъ. Что? вѣдь обрадовался, старый барбосъ? Милости просимъ за мной.

И Василій Ивановичъ суетливо пошелъ впередъ, шаркая и шлепая стоптанными туфлями.

Весь его домикъ состоялъ изъ шести крошечныхъ комнатъ. Одна изъ нихъ, та, куда онъ привелъ нашихъ пріятелей, называлась кабинетомъ. Толстоногій столъ, заваленный почернѣвшими отъ старинной пыли, словно прокопченными бумагами, занималъ весь промежутокъ между двумя окнами; по стѣнамъ висѣли турецкія ружья, нагайки, сабля, двѣ ландкарты, какіе-то анатомическіе рисунки, портретъ Гуфеланда, вензель изъ волосъ въ черной рамкѣ и дипломъ подъ стекломъ; кожаный, кое-гдѣ продавленный и разорванный, диванъ помѣщался между

двумя громадными шкапами изъ корельской березы; на полкахъ въ безпорядкѣ тѣснились книги, коробочки, птичьи чучелы, банки, пузырьки; въ одномъ углу стояла сломанная электрическая машина.

— Я васъ предупредилъ, любезный мой посѣтитель,— началъ Василій Иванычъ:—что мы живемъ здѣсь, такъ сказать, на бивуакахъ...

— Да перестань, что ты извиняешься?—перебилъ Базаровъ.—Кирсановъ очень хорошо знаетъ, что мы съ тобой не Крезы, и что у тебя не дворецъ. Куда мы его помѣстимъ, вотъ вопросъ?

— Помилуй, Евгеній; тамъ у меня во флигелькѣ отличная комната: имъ тамъ очень хорошо будетъ.

— Такъ у тебя и флигелекъ завелся?

— Какъ же-съ; гдѣ баня-съ, —вмѣшался Тимоѳеичъ.

— То-есть рядомъ съ баней,—поспѣшно присовокупилъ Василій Ивановичъ.— Теперь же лѣто... Я сейчасъ сбѣгаю туда, распоряжусь; а ты бы, Тимоѳеичъ, пока ихъ вещи внесъ. Тебѣ, Евгеній, я, разумѣется, предоставлю мой кабинетъ. Suum cuique.

— Вотъ тебѣ на! Презабавный старикашка и добрѣйшій,—прибавилъ Базаровъ, какъ только Василій Ивановичъ вышелъ. — Такой же чудакъ, какъ твой, только въ другомъ родѣ. Много ужъ очень болтаетъ.

— И мать твоя, кажется, прекрасная женщина,—замѣтилъ Аркадій.

— Да, она у меня безъ хитрости. Обѣдъ намъ, посмотри, какой задастъ.

— Сегодня васъ не ждали, батюшка, говядинки не привезли,—промолвилъ Тимоѳеичъ, который только-что втащилъ базаровскій чемоданъ.

— И безъ говядинки обойдемся, на нѣтъ и суда нѣтъ. Бѣдность, говорятъ, не порокъ.

— Сколько у твоего отца душъ?—спросилъ вдругъ Аркадій.

— Имѣніе не его, а матери; душъ, помнится, пятнадцать.

— И всѣ двадцать двѣ,—съ неудовольствіемъ замѣтилъ Тимоѳеичъ.

Послышалось шлепанье туфель, и снова появился Василій Ивановичъ.

— Черезъ нѣсколько минутъ ваша комната будетъ готова принять васъ, — воскликнулъ онъ съ торжественностію:—Аркадій... Николаичъ? такъ, кажется, вы изволите величаться? А вотъ вамъ и прислуга, — прибавилъ онъ, указывая на вошедшаго съ нимъ коротко-остриженнаго мальчика въ синемъ, на локтяхъ прорванномъ, кафтанѣ и въ чужихъ сапогахъ. — Зовутъ его Ѳедькой. Опять-таки повторяю, хоть сынъ и запрещаетъ, не взыщите. Впрочемъ, трубку набивать онъ умѣетъ. Вѣдь вы курите?

— Я курю больше сигары,—отвѣтилъ Аркадій.

— И весьма благоразумно поступаете. Я самъ отдаю преферансъ сигаркамъ, но въ нашихъ уединенныхъ краяхъ доставать ихъ чрезвычайно затруднительно.

— Да полно тебѣ Лазаря пѣть,—перебилъ опять Базаровъ.—Сядь лучше вотъ тутъ на диванъ, да дай на себя посмотрѣть.

Василій Ивановичъ засмѣялся и сѣлъ. Онъ очень походилъ лицомъ на своего сына, только лобъ у него былъ ниже и ýже, и ротъ немного шире, и онъ безпрестанно двигался, поводилъ плечами, точно платье ему подъ мышками рѣзало, моргалъ, покашливалъ и шевелилъ пальцами, между тѣмъ какъ сынъ его отличался какою-то небрежною неподвижностью.

— Лазаря пѣть!—повторилъ Василій Ивановичъ.—Ты, Евгеній, не думай, что я хочу, такъ сказать, разжалобить гостя: вотъ, молъ, мы въ какомъ захолустьѣ живемъ. Я, напротивъ, того мнѣнія, что для человѣка мыслящаго нѣтъ захолустья. По крайней мѣрѣ, я стараюсь, по возможности, не зарасти, какъ говорится, мохомъ, не отстать отъ вѣка.

Василій Ивановичъ вытащилъ изъ кармана новый желтый фуляръ, который успѣлъ захватить, бѣгая въ Аркадіеву комнату, и продолжалъ, помахивая имъ по воздуху:

— Я уже не говорю о томъ, что я, напримѣръ, не безъ чувствительныхъ для себя пожертвованій, посадилъ

мужиковъ на оброкъ и отдалъ имъ свою землю изъ-полу. Я считалъ это своимъ долгомъ, самое благоразуміе въ этомъ случаѣ повелѣваетъ, хотя другіе владѣльцы даже не помышляютъ объ этомъ: я говорю о наукахъ, объ образованіи.

— Да; вотъ я вижу у тебя—„Другъ здравія“ на 1855 годъ,—замѣтилъ Базаровъ.

— Мнѣ его по знакомству старый товарищъ высылаетъ, — поспѣшно проговорилъ Василій Ивановичъ: — но мы, напримѣръ, и о френологіи имѣемъ понятіе,—прибавилъ онъ, обращаясь, впрочемъ, болѣе къ Аркадію и указывая на стоявшую на шкапѣ небольшую гипсовую голову, разбитую на нумерованные четыреугольники:—намъ и Шенлейнъ не остался безызвѣстенъ—и Радемахеръ.

— А въ Радемахера еще вѣрятъ въ *** губерніи?— спросилъ Базаровъ.

Василій Ивановичъ закашлялъ.

— Въ губерніи... Конечно, вамъ, господа, лучше знать; гдѣ жъ намъ за вами угоняться? Вѣдь вы намъ на смѣну пришли. И въ мое время какой-нибудь гуморалистъ Гоффманъ, какой-нибудь Броунъ съ его витализмомъ — казались очень смѣшны, а вѣдь тоже гремѣли когда-то. Кто-нибудь новый замѣнилъ у васъ Радемахера, вы ему поклоняетесь, а черезъ двадцать лѣтъ, пожалуй, и надъ тѣмъ смѣяться будутъ.

— Скажу тебѣ въ утѣшеніе,—промолвилъ Базаровъ:— что мы теперь вообще надъ медициной смѣемся и ни передъ кѣмъ не преклоняемся.

— Какъ же это такъ? Вѣдь ты докторомъ хочешь быть?

— Хочу, да одно другому не мѣшаетъ.

Василій Ивановичъ потыкалъ третьимъ пальцемъ въ трубку, гдѣ еще оставалось немного горячей золы.

— Ну, можетъ-быть, можетъ-быть — спорить не стану. Вѣдь я что? — Отставной штабъ-лѣкарь, *волату*, теперь вотъ въ агрономы попалъ.—Я у вашего дѣвушки въ бригадѣ служилъ,—обратился онъ опять къ Аркадію:—да-съ, да-съ;—много я на своемъ вѣку видалъ видовъ. И въ какихъ только обществахъ не бывалъ, съ кѣмъ не важ-

вался!—Я, тотъ самый я, котораго вы изволите видѣть теперь передъ собою, я у князя Витгенштейна и Жуковскаго пульсъ щупалъ! Тѣхъ-то, въ южной-то арміи, по четырнадцатому, вы понимаете (и тутъ Василій Ивановичъ значительно сжалъ губы), всѣхъ зналъ наперечетъ. Ну, да вѣдь мое дѣло—сторона; знай свой ланцетъ, и баста! А дѣдушка вашъ очень почтенный былъ человѣкъ, настоящій военный.

— Сознайся, дубина была порядочная,—лѣниво промолвилъ Базаровъ.

— Ахъ, Евгеній, какъ это ты выражаешься! помилосердуй... Конечно, генералъ Кирсановъ не принадлежалъ къ числу...

— Ну, брось его,—перебилъ Базаровъ.—Я, какъ подъѣзжалъ сюда, порадовался на твою березовую рощицу, славно вытянулась.

Василій Ивановичъ оживился.

— А ты посмотри, садикъ у меня теперь какой! Самъ каждое деревцо сажалъ. И фрукты есть, и ягоды, и всякія медицинскія травы. Ужъ какъ вы тамъ ни хитрите, господа молодые, а все-таки старикъ Парацельсій святую правду изрекъ: in herbis, verbis et lapidibus... Вѣдь я, ты знаешь, отъ практики отказался, а раза два въ недѣлю приходится стариной тряхнуть. Идутъ за совѣтомъ—нельзя же гнать въ шею. Случается, бѣдные прибѣгаютъ къ помощи. Да и докторовъ здѣсь совсѣмъ нѣтъ. Одинъ здѣшній сосѣдъ, представь, отставной майоръ, тоже лѣчитъ. Я спрашиваю о немъ: учился ли онъ медицинѣ? Говорятъ мнѣ: нѣтъ, онъ не учился, онъ больше изъ филантропіи... Ха-ха, изъ филантропіи! а? каково! ха-ха! ха-ха!

— Ѳедька! набей мнѣ трубку! — сурово проговорилъ Базаровъ!

— А то здѣсь другой докторъ пріѣзжаетъ къ больному,—продолжалъ съ какимъ-то отчаяніемъ Василій Ивановичъ: — а больной уже ad patres; человѣкъ и не пускаетъ доктора, говоритъ: теперь больше не надо. Тотъ этого не ожидалъ, сконфузился и спрашиваетъ: „что, баринъ, передъ смертью икалъ?“ — „Икали-съ“. — „И много

икалъ?“—„Много“. — „А, ну — это хорошо“—да и верть назадъ. Ха-ха-ха!

Старикъ одинъ засмѣялся; Аркадій выразилъ улыбку на своемъ лицѣ. Базаровъ только затянулся. Бесѣда продолжалась такимъ образомъ около часа; Аркадій успѣлъ сходить въ свою комнату, которая оказалась предбанникомъ, но очень уютнымъ и чистымъ. Наконецъ, вошла Танюша и доложила, что обѣдъ готовъ.

Василій Ивановичъ первый поднялся.

— Пойдемте, господа! Извините великодушно, коли наскучилъ. Авось хозяйка моя удовлетворитъ васъ болѣе моего.

Обѣдъ, хотя наскоро сготовленный, вышелъ очень хорошій, даже обильный; только вино немного, какъ говорится, подгуляло: почти черный хересъ, купленный Тимоѳеичемъ въ городѣ у знакомаго купца, отзывался не то мѣдью, не то канифолью; и мухи тоже мѣшали. Въ обыкновенное время дворовый мальчикъ отгонялъ ихъ большою зеленой вѣткой; но на этотъ разъ Василій Ивановичъ услалъ его изъ боязни осужденія со стороны юнаго поколѣнія. Арина Власьевна успѣла принарядиться; надѣла высокій чепецъ съ шелковыми лентами и голубую шаль съ разводами. Она опять всплакнула, какъ только увидѣла своего Енюшу, но мужу не пришлось ее усовѣщивать: она сама поскорѣй утерла свои слезы, чтобы не закапать шаль. Ѣли одни молодые люди: хозяева давно пообѣдали. Прислуживалъ Ѳедька, видимо обремененный необычными сапогами, да помогала ему женщина съ мужественнымъ лицомъ и кривая, по имени Анфисушка, исполнявшая должности ключницы, птичницы и прачки. Василій Ивановичъ во все время обѣда расхаживалъ по комнатѣ и съ совершенно счастливымъ и даже блаженнымъ видомъ говорилъ о тяжкихъ опасеніяхъ, внушаемыхъ ему Наполеоновскою политикой и запутанностью итальянскаго вопроса. Арина Власьевна не замѣчала Аркадія, не потчивала его; подперши кулачкомъ свое круглое лицо, которому одутловатыя, вишневаго цвѣта, губки и родинки на щекахъ и надъ бровями придавали выраженіе очень добродушное, она не

сутки — и не ложилась вовсе, если у Василія Ивановича заболѣвала голова; не прочла ни одной книги, кромѣ „Алексиса, или Хижины въ лѣсу“, писала одно, много два письма въ годъ, а въ хозяйствѣ, сушеньи и вареньи знала толкъ, хотя своими руками ни до чего не прикасалась и вообще неохотно двигалась съ мѣста. Арина Власьевна была очень добра и, по-своему, вовсе не глупа. Она знала, что есть на свѣтѣ господа, которые должны приказывать, и простой народъ, который долженъ служить, — а потому не гнушалась ни подобострастіемъ, ни земными поклонами; но съ подчиненными обходилась ласково и кротко, ни одного нищаго не пропускала безъ подачки и никогда никого не осуждала, хотя и сплетничала подчасъ. Въ молодости она была очень миловидна, играла на клавикордахъ и изъяснялась немного по-французски; но въ теченіе многолѣтнихъ странствій съ своимъ мужемъ, за котораго она вышла противъ воли, расплылась и позабыла музыку и французскій языкъ. Сына своего она любила и боялась несказанно; управленіе имѣніемъ предоставила Василію Ивановичу—и уже не входила ни во что: она охала, отмахивалась платкомъ и отъ испуга подымала брови все выше и выше, какъ только ея старикъ начиналъ толковать о предстоявшихъ преобразованіяхъ и о своихъ планахъ. Она была мнительна, постоянно ждала какого-то большого несчастья и тотчасъ плакала, какъ только вспоминала о чемъ-нибудь печальномъ... Подобныя женщины теперь уже переводятся. Богъ знаетъ— слѣдуетъ ли радоваться этому!

XXI.

Вставъ съ постели, Аркадій раскрылъ окно,—и первый предметъ, бросившійся ему въ глаза, былъ Василій Ивановичъ. Въ бухарскомъ шлафрокѣ, подпоясанный носовымъ платкомъ, старикъ усердно рылся въ огородѣ. Онъ замѣтилъ своего молодого гостя и, опершись на лопатку, воскликнулъ:

— Здравія желаемъ! Какъ почивать изволили?

— *Прекрасно*,—отвѣчалъ Аркадій.

— А я здѣсь, какъ видите, какъ нѣкій Цинциннатъ, грядку подъ позднюю рѣпу отбиваю. Теперь настало такое время, — да и слава Богу! — что каждый долженъ собственными руками пропитаніе себѣ доставать; на другихъ нечего надѣяться: надо трудиться самому. И выходитъ, что Жанъ Жакъ Руссо правъ. Полчаса тому назадъ, сударь вы мой, вы бы увидали меня въ совершенно другой позиціи. Одной бабѣ, которая жаловалась на гнетку—это по-ихнему, а по-нашему—дизентерію, — я... какъ бы выразиться лучше... я вливалъ опіумъ; а другой я зубъ вырвалъ. Этой я предложилъ эѳиризацію... только она не согласилась. Все это я дѣлаю gratis—*анаматёръ*. Впрочемъ, мнѣ не въ диво: я вѣдь плебей, homo novus—не изъ столбовыхъ, не то, что моя благовѣрная... А не угодно ли пожаловать сюда въ тѣнь, вдохнуть передъ чаемъ утреннюю свѣжесть?

Аркадій вышелъ къ нему.

— Добро пожаловать еще разъ! — промолвилъ Василій Ивановичъ, прикладывая по-военному руку къ засаленной ермолкѣ, прикрывавшей его голову. — Вы, я знаю, привыкли къ роскоши, къ удовольствіямъ, но и великіе міра сего не гнушаются провести короткое время подъ кровомъ хижины.

— Помилуйте,—возопилъ Аркадій:—какой же я великій міра сего? И къ роскоши я не привыкъ.

— Позвольте, позвольте,—возразилъ съ любезной ужимкой Василій Ивановичъ. — Я хоть теперь и сданъ въ архивъ, а тоже потерся въ свѣтѣ — узнаю птицу по полету. Я тоже психологъ по-своему и физіогномистъ. Не имѣй я этого, смѣю сказать, дара—давно бы я пропалъ; затерли бы меня, маленькаго человѣка. Скажу вамъ безъ комплиментовъ: дружба, которую я замѣчаю между вами и моимъ сыномъ, меня искренно радуетъ. Я сейчасъ видѣлся съ нимъ; онъ, по обыкновенію своему, вѣроятно вамъ извѣстному, вскочилъ очень рано и побѣжалъ по окрестностямъ. Позвольте полюбопытствовать, — вы давно съ моимъ Евгеніемъ знакомы?

— Съ нынѣшней зимы.

— Такъ-съ. И позвольте васъ еще спросить, — но не присѣсть ли намъ? — Позвольте васъ спросить, какъ отцу, со всею откровенностью: какого вы мнѣнія о моемъ Евгеніи?

— Вашъ сынъ — одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ людей, съ которыми я когда-либо встрѣчался, — съ живостью отвѣтилъ Аркадій.

Глаза Василія Ивановича внезапно раскрылись и щеки его слабо вспыхнули. Лопата вывалилась изъ его рукъ.

— И такъ, вы полагаете,—началъ онъ...

— Я увѣренъ, — подхватилъ Аркадій: — что сына вашего ждетъ великая будущность, что онъ прославитъ ваше имя. Я убѣдился въ этомъ съ первой нашей встрѣчи.

— Какъ... какъ это было?—едва проговорилъ Василій Ивановичъ. Восторженная улыбка раздвинула его широкія губы, и уже не сходила съ нихъ.

— Вы хотите знать, какъ мы встрѣтились?

— Да... и вообще...

Аркадій началъ разсказывать и говорить о Базаровѣ еще съ бо̀льшимъ жаромъ, съ бо̀льшимъ увлеченіемъ, чѣмъ въ тотъ вечеръ, когда онъ танцовалъ мазурку съ Одинцовой.

Василій Ивановичъ его слушалъ, слушалъ, сморкался, каталъ платокъ въ обѣихъ рукахъ, кашлялъ, ерошилъ свои волосы—и наконецъ не вытерпѣлъ: нагнулся къ Аркадію и поцѣловалъ его въ плечо.

— Вы меня совершенно осчастливили, — промолвилъ онъ, не переставая улыбаться:—я—долженъ вамъ сказать, что я... боготворю моего сына; о моей старухѣ я уже не говорю: извѣстно—мать!—но я не смѣю при немъ выказывать свои чувства, потому что онъ этого не любитъ. Онъ врагъ всѣхъ изліяній; многіе его даже осуждаютъ за такую твердость его нрава и видятъ въ ней признакъ гордости или безчувствія; но подобныхъ ему людей не приходится мѣрить обыкновеннымъ аршиномъ, не правда ли? Да вотъ, напримѣръ: другой на его мѣстѣ тянулъ бы да тянулъ съ своихъ родителей; а у насъ, повѣрите ли? онъ *отроду лишней* копейки не взялъ, ей-Богу!

— Онъ безкорыстный, честный человѣкъ, — замѣтилъ Аркадій.

— Именно, безкорыстный. А я, Аркадій Николаичъ, не только боготворю его, я горжусь имъ, и все мое честолюбіе состоитъ въ томъ, чтобы современемъ въ его біографіи стояли слѣдующія слова: „сынъ простого штабъ-лѣкаря, который, однако, рано умѣлъ разгадать его и ничего не жалѣлъ для его воспитанія“...

Голосъ старика перервался.

Аркадій стиснулъ ему руку.

— Какъ вы думаете, — спросилъ Василій Ивановичъ послѣ нѣкотораго молчанія: — вѣдь онъ не на медицинскомъ поприщѣ достигнетъ той извѣстности, которую вы ему пророчите?

— Разумѣется, не на медицинскомъ, хотя онъ и въ этомъ отношеніи будетъ изъ первыхъ ученыхъ.

— На какомъ же, Аркадій Николаичъ?

— Это трудно сказать теперь, но онъ будетъ знаменитъ.

— Онъ будетъ знаменитъ! — повторилъ старикъ и погрузился въ думу.

— Арина Власьевна приказали просить чай кушать, — проговорила Анфисушка, проходя мимо съ огромнымъ блюдомъ спѣлой малины.

Василій Ивановичъ встрепенулся.

— А холодныя сливки къ малинѣ будутъ?

— Будутъ-съ.

— Да холодныя, смотри! Не церемоньтесь, Аркадій Николаичъ, — берите больше. Что жъ это, Евгеній не идетъ?

— Я здѣсь, — раздался голосъ Базарова изъ Аркадіевой комнаты.

Василій Ивановичъ быстро обернулся.

— Ага! ты захотѣлъ посѣтить своего пріятеля; но ты опоздалъ amice, и мы имѣли уже съ нимъ продолжительную бесѣду. Теперь надо идти чай пить: мать зоветъ. Кстати, мнѣ нужно съ тобой поговорить.

— О чемъ?

— Здѣсь есть мужичокъ, онъ страдаетъ иктеромъ...

— То-есть желтухой?

— Да, хроническимъ и очень упорнымъ иктеромъ. Я прописывалъ ему золототысячникъ и звѣробой, морковь заставлялъ ѣсть, давалъ соду; но это все *паллiативныя* средства; надо что-нибудь порѣшительнѣй. Ты хоть и смѣешься надъ медициной, а я увѣренъ, можешь подать мнѣ дѣльный совѣтъ. Но объ этомъ рѣчь впереди. А теперь пойдемъ чай пить.

Василiй Ивановичъ живо вскочилъ со скамейки и запѣлъ изъ „Роберта“:

„Законъ, законъ, законъ себѣ поставимъ
На ра... на ра... на радости пожить!“

— Замѣчательная живучесть!—проговорилъ, отходя отъ окна, Базаровъ.

Насталъ полдень. Солнце жгло изъ-за тонкой завѣсы сплошныхъ, бѣловатыхъ облаковъ. Все молчало: одни пѣтухи задорно перекликались на деревнѣ, возбуждая въ каждомъ, кто ихъ слышалъ, странное ощущенiе дремоты и скуки; да гдѣ-то высоко въ верхушкѣ деревьевъ звенѣлъ плаксивымъ призывомъ немолчный пискъ молодого ястребка. Аркадiй и Базаровъ лежали въ тѣни небольшого стога сѣна, подостлавши подъ себя охапки двѣ шумливо-сухой, но еще зеленой и душистой травы.

— Та осина,—заговорилъ Базаровъ:—напоминаетъ мнѣ мое дѣтство; она растетъ на краю ямы, оставшейся отъ кирпичнаго сарая, и я въ то время былъ увѣренъ, что эта яма и осина обладали особеннымъ талисманомъ: я никогда не скучалъ возлѣ нихъ. Я не понималъ тогда, что я не скучалъ оттого, что былъ ребенкомъ. Ну, теперь я взрослый, талисманъ не дѣйствуетъ.

— Сколько ты времени провелъ здѣсь всего? — спросилъ Аркадiй.

— Года два сряду; потомъ мы наѣзжали. Мы вели бродячую жизнь; больше все по городамъ шлялись.

— А домъ этотъ давно стоитъ?

— Давно. Его еще дѣдъ построилъ, отецъ моей матери.

— Кто онъ былъ, твой дѣдъ?

— Чортъ его знаетъ. Секундъ-майоръ какой-то. При

Суворовѣ служилъ, и все разсказывалъ о переходѣ черезъ Альпы. Вралъ, должно-быть.

— То-то у васъ въ гостиной портретъ Суворова виситъ. А я люблю такіе домики, какъ вашъ, старенькіе да тепленькіе; и запахъ въ нихъ какой-то особенный.

— Лампаднымъ масломъ отзываетъ да донникомъ,— произнесъ, зѣвая, Базаровъ. — А что̀ мухъ въ этихъ милыхъ домикахъ... Фа!

— Скажи,—началъ Аркадій послѣ небольшого молчанія:—тебя въ дѣтствѣ не притѣсняли?

— Ты видишь, какіе у меня родители. — Народъ не строгій.

— Ты ихъ любишь, Евгеній?

— Люблю, Аркадій!

— Они тебя такъ любятъ!

Базаровъ помолчалъ.

— Знаешь ли ты, о чемъ я думаю?—промолвилъ онъ, наконецъ, закидывая руки за голову.

— Не знаю. О чемъ?

— Я думаю: хорошо моимъ родителямъ жить на свѣтѣ! Отецъ въ шестьдесятъ лѣтъ хлопочетъ, толкуетъ о „палліативныхъ“ средствахъ, лѣчитъ людей, великодушничаетъ съ крестьянами,—кутитъ, однимъ словомъ; и матери моей хорошо: день ея до того напичканъ всякими занятіями, ахами да охами, что ей и опомниться некогда; а я...

— А ты?

— А я думаю: я вотъ лежу здѣсь подъ стогомъ... Узенькое мѣстечко, которое я занимаю, до того крохотно въ сравненіи съ остальнымъ пространствомъ, гдѣ меня нѣтъ и гдѣ дѣла до меня нѣтъ; и часть времени, которую мнѣ удастся прожить, такъ ничтожна передъ вѣчностью, гдѣ меня не было и не будетъ... А въ этомъ атомѣ, въ этой математической точкѣ, кровь обращается, мозгъ работаетъ, чего-то хочетъ тоже... Что̀ за безобразіе! Что̀ за пустяки!

— Позволь тебѣ замѣтить: то, что̀ ты говоришь, примѣняется вообще ко всѣмъ людямъ...

— Ты правъ,—подхватилъ Базаровъ.—Я хотѣлъ сказать, что они вотъ, мои родители то-есть, заняты и не безпокоятся о собственномъ ничтожествѣ, оно имъ не смердитъ... а я... чувствую только скуку да злость.

— Злость? почему же злость?

— Почему? Какъ почему? Да развѣ ты забылъ?

— Я помню все, но все-таки я не признаю за тобою права злиться. Ты несчастливъ, я согласенъ, но...

— Э! да ты, я вижу, Аркадій Николаевичъ, понимаешь любовь, какъ всѣ новѣйшіе молодые люди: цыпъ, цыпъ, цыпъ, курочка, а какъ только курочка начинаетъ приближаться, давай Богъ ноги!—Я не таковъ. Но довольно объ этомъ. Чему помочь нельзя, о томъ и говорить стыдно. — Онъ повернулся на бокъ. — Эге! вонъ молодецъ муравей тащитъ полумертвую муху. Тащи ее, братъ, тащи! Не смотри на то, что она упирается, пользуйся тѣмъ, что ты, въ качествѣ животнаго, имѣешь право не признавать чувства состраданія, не то̀, что нашъ братъ, самоломанный!

— Не ты бы говорилъ, Евгеній!—Когда ты себя ломалъ?

Базаровъ поднялъ голову.

— Я только этимъ и горжусь. Самъ себя не сломалъ, такъ и бабенка меня не сломаетъ. Аминь! Кончено! Сло̀ва объ этомъ больше отъ меня не услышишь.

Оба пріятеля полежали нѣкоторое время въ молчаніи.

— Да, — началъ Базаровъ: — странное существо человѣкъ. Какъ посмотришь этакъ сбоку да издали на глухую жизнь, какую ведутъ здѣсь „отцы“, кажется: чего лучше? Ѣшь, пей, и знай, что поступаешь самымъ правильнымъ, самымъ разумнымъ манеромъ. Анъ нѣтъ; тоска одолѣетъ. Хочется съ людьми возиться, хоть ругать ихъ, да возиться съ ними.

— Надо бы такъ устроить жизнь, чтобы каждое мгновеніе въ ней было значительно, — произнесъ задумчиво Аркадій.

— Кто говоритъ! Значительное, хоть и ложно бываетъ, да сладко, но и съ значительнымъ помириться можно... а вотъ—дрязги, дрязги... это бѣда.

— Дрязги не существуютъ для человѣка, если онъ только не захочетъ ихъ признать.

— Гм... это ты сказалъ *противоположное общее мѣсто.*

— Что?—Что̀ ты называешь этимъ именемъ?

— А вотъ что̀: сказать, напримѣръ, что просвѣщеніе полезно, это общее мѣсто; а сказать, что просвѣщеніе вредно, это противоположное общее мѣсто. Оно какъ будто щеголеватѣе, а въ сущности одно и то же.

— Да правда-то гдѣ, на какой сторонѣ?

— Гдѣ? Я тебѣ отвѣчу, какъ эхо: гдѣ?

— Ты въ меланхолическомъ настроеніи сегодня, Евгеній.

— Въ самомъ дѣлѣ? Солнце меня, должно-быть, распарило, да и малины нельзя такъ много ѣсть.

— Въ такомъ случаѣ не худо вздремнуть, — замѣтилъ Аркадій.

— Пожалуй; только ты не смотри на меня: всякаго человѣка лицо глупо, когда онъ спитъ.

— А тебѣ не все равно, что̀ о тебѣ думаютъ?

— Не знаю что̀ тебѣ сказать. Настоящій человѣкъ объ этомъ не долженъ заботиться; настоящій человѣкъ тотъ, о которомъ думать нечего, а котораго надобно слушаться или ненавидѣть.

— Странно! я никого не ненавижу, — промолвилъ, подумавши, Аркадій.

— А я такъ многихъ. Ты нѣжная душа, размазня, гдѣ тебѣ ненавидѣть!.. Ты робѣешь, мало на себя надѣешься...

— А ты,—перебилъ Аркадій:—на себя надѣешься? Ты высокаго мнѣнія о самомъ себѣ?

Базаровъ помолчалъ.

— Когда я встрѣчу человѣка, который не спасовалъ бы передо мною, — проговорилъ онъ съ разстановкой: — тогда я измѣню свое мнѣніе о самомъ себѣ. Ненавидѣть! Да вотъ, напримѣръ, ты сегодня сказалъ, проходя мимо избы нашего старосты Филиппа,—она такая славная, бѣлая, — вотъ, сказалъ ты, Россія тогда достигнетъ совершенства, когда у послѣдняго мужика будетъ такое же

помѣщеніе, и всякій изъ насъ долженъ этому способствовать... А я и возненавидѣлъ этого послѣдняго мужика, Филиппа или Сидора, для котораго я долженъ изъ кожи лѣзть, и который мнѣ даже спасибо не скажетъ... да и на что мнѣ его спасибо? Ну, будетъ онъ жить въ бѣлой избѣ, а изъ меня лопухъ расти будетъ;—ну, а дальше?

— Полно, Евгеній... послушать тебя сегодня, поневолѣ согласишься съ тѣми, которые упрекаютъ насъ въ отсутствіи принципа.

— Ты говоришь, какъ твой дядя. Принциповъ вообще нѣтъ — ты объ этомъ не догадался до сихъ поръ! а есть ощущенія. Все отъ нихъ зависитъ.

— Какъ такъ?

— Да такъ же. Напримѣръ, я: я придерживаюсь отрицательнаго направленія—въ силу ощущенія. Мнѣ пріятно отрицать, мой мозгъ такъ устроенъ—и баста! Отчего мнѣ нравится химія? Отчего ты любишь яблоки? — тоже въ силу ощущенія. Это все едино. Глубже этого люди никогда не проникнутъ. Не всякій тебѣ это скажетъ, да и я въ другой разъ тебѣ этого не скажу.

— Что жъ? и честность—ощущеніе?

— Еще бы!

— Евгеній!—началъ печальнымъ голосомъ Аркадій.

— А? что? не по вкусу?—перебилъ Базаровъ.—Нѣтъ, братъ! Рѣшился все косить — валяй и себя по ногамъ!.. Однако, мы довольно философствовали. „Природа навѣваетъ молчаніе сна“, сказалъ Пушкинъ.

— Никогда онъ ничего подобнаго не сказалъ,—промолвилъ Аркадій.

— Ну, не сказалъ, такъ могъ и долженъ былъ сказать, въ качествѣ поэта. Кстати, онъ, должно-быть, въ военной службѣ служилъ.

— Пушкинъ никогда не былъ военнымъ!

— Помилуй, у него на каждой страницѣ:—На бой, на бой! за честь Россіи!

— Что ты это за небылицы выдумываешь! Вѣдь это клевета, наконецъ.

— Клевета? Эка важность! Вотъ вздумалъ какимъ сло-

вомъ испугать! Какую клевету ни взведи на человѣка, онъ, въ сущности, заслуживаетъ въ двадцать разъ хуже того.

— Давай лучше спать! — съ досадой проговорилъ Аркадій.

— Съ величайшимъ удовольствіемъ, — отвѣтилъ Базаровъ.

Но ни тому, ни другому не спалось. Какое-то почти враждебное чувство охватывало сердца обоихъ молодыхъ людей. Минутъ пять спустя, они открыли глаза и переглянулись молча.

— Посмотри, — сказалъ вдругъ Аркадій: — сухой, кленовый листъ оторвался и падаетъ на землю; его движенія совершенно сходны съ полетомъ бабочки. Не странно ли? Самое печальное и мертвое — сходно съ самымъ веселымъ и живымъ.

— О, другъ мой, Аркадій Николаичъ! — воскликнулъ Базаровъ: — объ одномъ прошу тебя: не говори красиво.

— Я говорю, какъ умѣю... Да и наконецъ это деспотизмъ. Мнѣ пришла мысль въ голову; отчего ея не высказать?

— Такъ; но почему же и мнѣ не высказать своей мысли? Я нахожу, что говорить красиво — неприлично.

— Что̀ же прилично? Ругаться?

— Э-э! да ты, я вижу, точно, намѣренъ пойти по стопамъ дядюшки. Ка́къ бы этотъ идіотъ порадовался, если бъ услышалъ тебя!

— Какъ ты назвалъ Павла Петровича?

— Я его назвалъ, какъ слѣдуетъ, — идіотомъ.

— Это, однако, нестерпимо! — воскликнулъ Аркадій.

— Ага! родственное чувство заговорило, — спокойно проговорилъ Базаровъ. — Я замѣтилъ: оно очень упорно держится въ людяхъ. Отъ всего готовъ отказаться человѣкъ, со всякимъ предразсудкомъ разстанется; но сознаться, что, напримѣръ, братъ, который чужіе платки крадетъ, воръ, — это свыше его силъ. Да и въ самомъ дѣлѣ: *мой* братъ, *мой* — и не геній... возможно ли это?

— Во мнѣ простое чувство справедливости заговорило,

а вовсе не родственное,—возразилъ запальчиво Аркадій.— Но такъ какъ ты этого чувства не понимаешь, у тебя нѣтъ этого *ощущенія*, то ты и не можешь судить о немъ.

— Другими словами: Аркадій Кирсановъ слишкомъ возвышенъ для моего пониманія, преклоняюсь и умолкаю.

— Полно, пожалуйста, Евгеній; мы, наконецъ, поссоримся.

— Ахъ, Аркадій! сдѣлай одолженіе, поссоримся разъ хорошенько—до положенія ризъ, до истребленія.

— Но вѣдь этакъ, пожалуй, мы кончимъ тѣмъ...

— Что̀ подеремся?—подхватилъ Базаровъ.—Что жъ? Здѣсь, на сѣнѣ, въ такой идиллической обстановкѣ, вдали отъ свѣта и людскихъ взоровъ—ничего. Но ты со мной не сладишь. Я тебя сейчасъ схвачу за горло...

Базаровъ растопырилъ свои длинные и жесткіе пальцы... Аркадій повернулся и приготовился, какъ бы шутя, сопротивляться... Но лицо его друга показалось ему такимъ зловѣщимъ, такая нешуточная угроза почудилась ему въ кривой усмѣшкѣ его губъ, въ загорѣвшихся глазахъ,—что онъ почувствовалъ невольную робость...

— А! вотъ вы куда забрались!—раздался въ это мгновеніе голосъ Василія Ивановича, и старый штабъ-лѣкарь предсталъ передъ молодыми людьми, облеченный въ домодѣланный полотняный пиджакъ и съ соломенною, тоже домодѣланною, шляпой на головѣ.—Я васъ искалъ, искалъ... Но вы отличное выбрали мѣсто и прекрасному предаетесь занятію. Лежа на „землѣ", глядѣть въ „небо"... Знаете ли—въ этомъ есть какое-то особенное значеніе!

— Я гляжу въ небо только тогда, когда хочу чихнуть,— проворчалъ Базаровъ и, обратившись къ Аркадію, прибавилъ вполголоса:—жаль, что помѣшалъ.

— Ну, полно,—шепнулъ Аркадій и пожалъ украдкой своему другу руку.—Но никакая дружба долго не выдержитъ такихъ столкновеній.

— Смотрю я на васъ, мои юные собесѣдники,—говорилъ между тѣмъ Василій Ивановичъ, покачивая головой и опираясь скрещенными руками на какую-то хитро перекрученную палку собственнаго издѣлія, съ фигурой

турка вмѣсто набалдашника:—смотрю, и не могу не любоваться. Сколько въ васъ силы, молодости самой цвѣтущей, способностей, талантовъ! Просто... Касторъ и Поллуксъ!

— Вонъ куда — въ миѳологію метнулъ! — промолвилъ Базаровъ. — Сейчасъ видно, что въ свое время сильный былъ латинистъ! Вѣдь ты, помнится, серебряной медали за сочиненіе удостоился,—а?

— Діоскуры, Діоскуры!—повторилъ Василій Ивановичъ.

— Однако, полно, отецъ,—не нѣжничай.

— Въ кои-то вѣки разикъ можно,—пробормоталъ старикъ.—Впрочемъ, я васъ, господа, отыскалъ не съ тѣмъ, чтобы говорить вамъ комплименты; но съ тѣмъ, чтобы, во-первыхъ, доложить вамъ, что мы скоро обѣдать будемъ; а во-вторыхъ—мнѣ хотѣлось предварить тебя, Евгеній... Ты умный человѣкъ, ты знаешь людей, и женщинъ знаешь, и слѣдовательно извинишь... Твоя матушка молебенъ отслужить хотѣла, по случаю твоего пріѣзда. Ты не воображай, что я зову тебя присутствовать на этомъ молебнѣ: ужъ онъ конченъ; но отецъ Алексѣй...

— Попъ?

— Ну да, священникъ; онъ у насъ... кушать будетъ.. Я этого не ожидалъ и даже не совѣтовалъ... но какъ-то такъ вышло... онъ меня не понялъ... Ну, и Арина Власьевна... Притомъ же, онъ у насъ очень хорошій и разсудительный человѣкъ.

— Вѣдь онъ моей порціи за обѣдомъ не съѣстъ? — спросилъ Базаровъ.

Василій Ивановичъ засмѣялся.

— Помилуй, что̀ ты!

— А больше я ничего не требую. Я со всякимъ человѣкомъ готовъ за столъ сѣсть.

Василій Ивановичъ поправилъ свою шляпу.

— Я былъ напередъ увѣренъ,—промолвилъ онъ:—что ты выше всякихъ предразсудковъ. На что̀ вотъ я — старикъ, шестьдесятъ-второй годъ живу, а и я ихъ не имѣю. Василій Ивановичъ не смѣлъ сознаться, что онъ самъ пожелалъ молебна... Набоженъ онъ былъ не менѣе своей

жены.) А отцу Алексѣю очень хотѣлось съ тобой познакомиться. Онъ тебѣ понравится, ты увидишь. Онъ и въ карточки не прочь поиграть, и даже... но это между нами... трубочку куритъ.

— Что же? Мы послѣ обѣда засядемъ въ ералашъ, и я его обыграю.

— Хе-хе-хе, посмотримъ! Бабушка на-двое сказала.

— А что̀? развѣ стариной тряхнешь? — промолвилъ съ особеннымъ удареніемъ Базаровъ.

Бронзовыя щеки Василія Ивановича смутно покраснѣли.

— Какъ тебѣ не стыдно, Евгеній... Что̀ было, то прошло. Ну, да я готовъ вотъ передъ *ними* признаться, имѣлъ я эту страсть въ молодости — точно; да и поплатился же я за нее!—Однако, какъ жарко. Позвольте подсѣсть къ вамъ. Вѣдь я не мѣшаю?

— Нисколько,—отвѣтилъ Аркадій.

Василій Ивановичъ кряхтя опустился на сѣно.

— Напоминаетъ мнѣ ваше теперешнее ложе, государи мои,—началъ онъ:—мою военную, бивуачную жизнь, перевязочные пункты, тоже гдѣ-нибудь этакъ возлѣ стога, и то еще славу Богу. — Онъ вздохнулъ. — Много, много испыталъ я на своемъ вѣку. Вотъ напримѣръ, если позволите, я вамъ разскажу любопытный эпизодъ чумы въ Бессарабіи.

— За который ты получилъ Владиміра? — подхватилъ Базаровъ. — Знаемъ, знаемъ... Кстати, отчего ты его не носишь?

— Вѣдь я тебѣ говорилъ, что я не имѣю предразсудковъ,—пробормоталъ Василій Ивановичъ (онъ только наканунѣ велѣлъ спороть красную ленточку съ сюртука), и принялся разсказывать эпизодъ чумы. — А вѣдь онъ заснулъ, — шепнулъ онъ вдругъ Аркадію, указывая на Базарова и добродушно подмигнувъ. — Евгеній! вставай, — прибавилъ онъ громко.—Пойдемъ обѣдать...

Отецъ Алексѣй, мужчина видный и полный, съ густыми, тщательно расчесанными волосами, съ вышитымъ поясомъ на лиловой шелковой рясѣ, оказался человѣкомъ *очень ловкимъ* и находчивымъ. Онъ первый поспѣшилъ

пожать руку Аркадію и Базарову, какъ бы понимая заранѣе, что они не нуждаются въ его благословеніи, и вообще держалъ себя непринужденно. И себя онъ не выдалъ, и другихъ не задѣлъ; кстати посмѣялся надъ семинарскою латынью, и заступился за своего архіерея; двѣ рюмки вина выпилъ, а отъ третьей отказался; принялъ отъ Аркадія сигару, но курить ее не сталъ, говоря, что повезетъ ее домой. Не совсѣмъ пріятно было въ немъ только то, что онъ то-и-дѣло медленно и осторожно заносилъ руку, чтобы ловить мухъ у себя на лицѣ, и при этомъ иногда давилъ ихъ. Онъ сѣлъ за зеленый столъ съ умѣреннымъ изъявленіемъ удовольствія и кончилъ тѣмъ, что обыгралъ Базарова на 2 руб. 50 к. ассигнаціями: въ домѣ Арины Власьевны и понятія не имѣли о счетѣ на серебро... Она попрежнему сидѣла возлѣ сына (въ карты она не играла), попрежнему подпирая щеку кулачкомъ, и вставала только затѣмъ, чтобы велѣть подать какое-нибудь новое яство. Она боялась ласкать Базарова, и онъ не ободрялъ ея, не вызывалъ ея на ласки; притомъ же и Василій Ивановичъ присовѣтовалъ ей не очень его „безпокоить". — „Молодые люди до этого не охотники", твердилъ онъ ей; (нечего говорить, каковъ былъ въ тотъ день обѣдъ: Тимоѳеичъ собственною персоной скакалъ на утренней зарѣ за какою-то особенною черкасскою говядиной; староста ѣздилъ въ другую сторону за налимами, ершами и раками; за одни грибы бабы получили 42 копейки мѣдью); но глаза Арины Власьевны, неотступно обращенные на Базарова, выражали не одну преданность и нѣжность: въ нихъ виднѣлась и грусть, смѣшанная съ любопытствомъ и страхомъ, виднѣлся какой-то смиренный укоръ.

Впрочемъ, Базарову было не до того, чтобы разбирать, что̀ именно выражали глаза его матери; онъ рѣдко обращался къ ней, и то съ коротенькимъ вопросомъ. Разъ онъ попросилъ у ней руку „на счастье"; она тихонько положила свою мягкую ручку на его жесткую и широкую ладонь.

— Что̀,—спросила она, погодя немного:—не помогло?

— Еще хуже пошло, — отвѣчалъ онъ съ небрежною усмѣшкой.

— Очинно они уже рискуютъ, — какъ бы съ сожалѣніемъ произнесъ отецъ Алексѣй, и погладилъ свою красивую бороду.

— Наполеоновское правило, батюшка, наполеоновское,— подхватилъ Василій Ивановичъ,—и пошелъ съ туза.

— Оно же и довело его до острова святыя Елены, — промолвилъ отецъ Алексѣй, и покрылъ его туза козыремъ.

— Не желаешь ли смородинной воды, Енюшечка? — спросила Арина Власьевна.

Базаровъ только плечами пожалъ.

— Нѣтъ!—говорилъ онъ на слѣдующій день Аркадію:— уѣду отсюда завтра. Скучно; работать хочется, а здѣсь нельзя. Отправлюсь опять къ вамъ въ деревню; я же тамъ всѣ свои препараты оставилъ. У васъ, по крайней мѣрѣ, запереться можно. А то здѣсь отецъ мнѣ твердитъ: „мой кабинетъ къ твоимъ услугамъ—никто тебѣ мѣшать не будетъ“, а самъ отъ меня ни на шагъ. Да и совѣстно какъ-то отъ него запираться. Ну и мать тоже. Я слышу, какъ она вздыхаетъ за стѣной, а выйдешь къ ней — и сказать ей нечего.

— Очень она огорчится,—промолвилъ Аркадій:—да и онъ тоже.

— Я къ нимъ еще вернусь.

— Когда?

— Да вотъ какъ въ Петербургъ поѣду.

— Мнѣ твою мать особенно жалко.

— Что такъ? Ягодами, что ли, она тебѣ угодила?

Аркадій опустилъ глаза.

— Ты матери своей не знаешь, Евгеній. Она не только отличная женщина, она очень умна, право. Сегодня утромъ она со мной съ полчаса бесѣдовала, и такъ дѣльно, интересно.

— Вѣрно обо мнѣ все распространялась?

— Не о тебѣ одномъ была рѣчь.

— Можетъ-быть; тебѣ со стороны виднѣй. Коли мо-

жетъ женщина получасовую бесѣду поддержать, это ужъ знакъ хорошій. А я все-таки уѣду.

— Тебѣ не легко будетъ сообщить имъ это извѣстіе. Они все разсуждаютъ о томъ, что̀ мы черезъ двѣ недѣли дѣлать будемъ.

— Не легко. Чортъ меня дернулъ сегодня подразнить отца: онъ на-дняхъ велѣлъ высѣчь одного своего оброчнаго мужика—и очень хорошо сдѣлалъ; да, да, не гляди на меня съ такимъ ужасомъ, — очень хорошо сдѣлалъ, потому что воръ и пьяница онъ страшнѣйшій; только отецъ никакъ не ожидалъ, что я объ этомъ, какъ говорится, извѣстенъ сталъ. Онъ очень сконфузился, а теперь мнѣ придется вдобавокъ его огорчить... Ничего! До свадьбы заживетъ!

Базаровъ сказалъ: „ничего!“ но цѣлый день прошелъ, прежде чѣмъ онъ рѣшился увѣдомить Василія Ивановича о своемъ намѣреніи. Наконецъ, уже прощаясь съ нимъ въ кабинетѣ, онъ проговорилъ съ натянутымъ зѣвкомъ:

— Да... чуть-было не забылъ тебѣ сказать... Вели-ка завтра нашихъ лошадей къ Ѳедоту выслать на подставу.

Василій Ивановичъ изумился.

— Развѣ г-нъ Кирсановъ отъ насъ уѣзжаетъ?

— Да; и я съ нимъ уѣзжаю.

Василій Ивановичъ перевернулся на мѣстѣ.

— Ты уѣзжаешь?

— Да... мнѣ нужно. Распорядись, пожалуйста, насчетъ лошадей.

— Хорошо...—залепеталъ старикъ:—на подставу... хорошо... только... только... Какъ же это?

— Мнѣ нужно съѣздить къ нему на короткое время. Я потомъ опять сюда вернусь.

— Да! На короткое время... Хорошо. — Василій Ивановичъ вынулъ платокъ и, сморкаясь, наклонился чуть не до земли.—Что жъ? это... все будетъ. Я было думалъ, что ты у насъ... подольше. Три дня... Это, это, послѣ трехъ лѣтъ, маловато; маловато, Евгеній!

— Да я жъ тебѣ говорю, что я скоро вернусь. Мнѣ необходимо.

— Необходимо... Что жъ? Прежде всего надо долгъ исполнять... Такъ выслать лошадей? Хорошо. Мы, конечно, съ Ариной этого не ожидали. Она вотъ цвѣтовъ выпросила у сосѣдки, хотѣла комнату тебѣ убрать. (Василій Ивановичъ уже не упомянулъ о томъ, что каждое утро, чуть свѣтъ, стоя о босу ногу въ туфляхъ, онъ совѣщался съ Тимоѳеичемъ и, доставая дрожащими пальцами одну изорванную ассигнацію за другою, поручалъ ему разныя закупки, особенно налегая на съѣстные припасы и на красное вино, которое, сколько можно было замѣтить, очень понравилось молодымъ людямъ.) Главное—свобода;—это мое правило... не надо стѣснять... не...

Онъ вдругъ умолкъ и направился къ двери.

— Мы скоро увидимся, отецъ, право.

Но Василій Ивановичъ, не оборачиваясь, только рукой махнулъ и вышелъ. Возвратясь въ спальню, онъ засталъ свою жену въ постели и началъ молиться шопотомъ, чтобы ея не разбудить. Однако она проснулась.

— Это ты, Василій Ивановичъ?—спросила она.

— Я, матушка!

— Ты отъ Енюши? Знаешь ли, я боюсь: покойно ли ему спать на диванѣ? Я Анфисушкѣ велѣла положить ему твой походный матрасикъ и новыя подушки; я бы нашъ пуховикъ ему дала, да онъ, помнится, не любитъ мягко спать.

— Ничего, матушка, не безпокойся. Ему хорошо. Господи, помилуй насъ грѣшныхъ,—продолжалъ онъ вполголоса свою молитву. Василій Ивановичъ пожалѣлъ свою старушку; онъ не захотѣлъ сказать ей на ночь, какое горе ее ожидало.

Базаровъ съ Аркадіемъ уѣхали на другой день. Съ утра уже все пріуныло въ домѣ; у Анфисушки посуда изъ рукъ валилась; даже Ѳедька недоумѣвалъ, и кончилъ тѣмъ, что снялъ сапоги. Василій Ивановичъ суетился, больше чѣмъ когда-либо: онъ видимо храбрился, громко говорилъ и стучалъ ногами, но лицо его осунулось, и взгляды постоянно скользили мимо сына. Арина Власьевна тихо плакала; она совсѣмъ бы растерялась и не совладѣла бы съ собой, если

бы мужъ рано утромъ цѣлые два часа ея не уговаривалъ. Когда же Базаровъ, послѣ неоднократныхъ обѣщаній вернуться никакъ не позже мѣсяца, вырвался наконецъ изъ удерживавшихъ его объятій, и сѣлъ въ тарантасъ, когда лошади тронулись, и колокольчикъ зазвенѣлъ, и колеса завертѣлись,—и вотъ уже глядѣть вслѣдъ было не зачѣмъ, и пыль улеглась, и Тимоѳеичъ, весь сгорбленный и шатаясь на ходу, поплелся назадъ въ свою каморку, когда старички остались одни въ своемъ, тоже такъ будто внезапно съежившемся и подряхлѣвшемъ домѣ: Василій Ивановичъ, еще за нѣсколько мгновеній молодцовато махавшій платкомъ на крыльцѣ, опустился на стулъ и уронилъ голову на грудь. „Бросилъ, бросилъ насъ", залепеталъ онъ: „бросилъ; скучно ему стало съ нами. Одинъ, какъ перстъ теперь, одинъ!" повторилъ онъ нѣсколько разъ, и каждый разъ выносилъ впередъ свою руку съ отдѣленнымъ указательнымъ пальцемъ. Тогда Арина Власьевна приблизилась къ нему и, прислонивъ свою сѣдую голову къ его сѣдой головѣ, сказала: „Что̀ дѣлать, Вася! Сынъ—отрѣзанный ломоть. Онъ, что̀ соколъ: захотѣлъ — прилетѣлъ, захотѣлъ—улетѣлъ; а мы съ тобой какъ опенки на дуплѣ, сидимъ рядкомъ, и ни съ мѣста. Только я останусь для тебя навѣкъ неизмѣнно, какъ и ты для меня".

Василій Ивановичъ принялъ отъ лица руки и обнялъ свою жену, свою подругу, такъ крѣпко, какъ и въ молодости ея не обнималъ: она утѣшила его въ его печали.

XXII.

Молча, лишь изрѣдка мѣняясь незначительными словами, доѣхали наши пріятели до Ѳедота. Базаровъ былъ не совсѣмъ собою доволенъ. Аркадій былъ недоволенъ имъ. Къ тому же онъ чувствовалъ на сердцѣ ту безпричинную грусть, которая знакома только однимъ очень молодымъ людямъ. Кучеръ перепрягъ лошадей и, взобравшись на козлы, спросилъ: направо, аль налѣво?

Аркадій дрогнулъ. Дорога направо вела въ городъ, а оттуда домой; дорога налѣво вела къ Одинцовой.

Онъ взглянулъ на Базарова.

— Евгеній,—спросилъ онъ:—налѣво?

Базаровъ отвернулся.

— Это что̀ за глупость?—пробормоталъ онъ.

— Я знаю, что глупость,—отвѣтилъ Аркадій.—Да что за бѣда? Развѣ намъ въ первый разъ?

Базаровъ надвинулъ картузъ себѣ на лобъ.

— Ка̀къ знаешь,—проговорилъ онъ наконецъ.

— Пошелъ налѣво,—крикнулъ Аркадій.

Тарантасъ покатилъ въ направленіи къ Никольскому. Но рѣшившись на *глупость*, пріятели еще упорнѣе прежняго молчали, и даже казались сердитыми.

Уже потому, ка̀къ ихъ встрѣтилъ дворецкій на крыльцѣ Одинцовскаго дома, пріятели могли догадаться, что они поступили неблагоразумно, поддавшись внезапно пришедшей имъ фантазіи. Ихъ очевидно не ожидали. Они просидѣли довольно долго и съ довольно-глупыми физіономіями въ гостиной. Одинцова вышла къ нимъ наконецъ. Она привѣтствовала ихъ съ обыкновенною своей любезностью, но удивилась ихъ скорому возвращенію и, сколько можно было судить по медлительности ея движеній и рѣчей, не слишкомъ ему обрадовалась. Они поспѣшили объявить, что заѣхали только по дорогѣ, и часа черезъ четыре отправятся дальше, въ городъ. Она ограничилась легкимъ восклицаніемъ, попросила Аркадія поклониться отцу отъ ея имени, и послала за своею теткой. Княжна явилась вся заспанная, что̀ придавало еще болѣе злобы выраженію ея сморщеннаго, стараго лица. Катѣ нездоровилось, она не выходила изъ своей комнаты. Аркадій вдругъ почувствовалъ, что онъ по крайней мѣрѣ столько же желалъ видѣть Катю, сколько и самоё Анну Сергѣевну. Четыре часа прошло въ незначительныхъ толкахъ о томъ, о семъ; Анна Сергѣевна и слушала, и говорила безъ улыбки. Только при самомъ прощаніи прежнее дружелюбіе какъ будто шевельнулось въ ея душѣ.

— На меня теперь нашла хандра,—сказала она:—но вы не обращайте на это вниманія и пріѣзжайте опять, я вамъ это обоимъ говорю, черезъ нѣсколько времени.

И Базаровъ, и Аркадій отвѣтили ей безмолвнымъ по-

клономъ, сѣли въ экипажъ и, уже нигдѣ не останавливаясь, отправились домой, въ Марьино, куда и прибыли благополучно на слѣдующій день вечеромъ. Въ продолженіе всей дороги ни тотъ, ни другой не упомянулъ даже имени Одинцовой; Базаровъ, въ особенности, почти не раскрывалъ рта, и все глядѣлъ въ сторону, прочь отъ дороги, съ какимъ-то ожесточеннымъ напряженіемъ.

Въ Марьинѣ имъ всѣ чрезвычайно обрадовались. Продолжительное отсутствіе сына начинало безпокоить Николая Петровича: онъ вскрикнулъ, заболталъ ногами и подпрыгнулъ на диванѣ, когда Ѳеничка вбѣжала къ нему съ сіяющими глазами и объявила о пріѣздѣ „молодыхъ господъ"; самъ Павелъ Петровичъ почувствовалъ нѣкоторое пріятное волненіе и снисходительно улыбался, потрясая руки возвратившихся странниковъ. Пошли толки, разспросы; говорилъ больше Аркадій, особенно за ужиномъ, который продолжался далеко за полночь. Николай Петровичъ велѣлъ подать нѣсколько бутылокъ портера, только что привезеннаго изъ Москвы, и самъ раскутился до того, что щеки у него сдѣлались малиновыя, и онъ все смѣялся какимъ-то не то дѣтскимъ, не то нервическимъ смѣхомъ. Всеобщее одушевленіе распространилось и на прислугу. Дуняша бѣгала взадъ и впередъ какъ угорѣлая, и то и дѣло хлопала дверями; а Петръ даже въ третьемъ часу ночи все еще пытался сыграть на гитарѣ вальсъ-казакъ. Струны жалобно и пріятно звучали въ неподвижномъ воздухѣ; но за исключеніемъ небольшой первоначальной фіоритуры ничего не выходило у образованнаго камердинера: природа отказала ему въ музыкальной способности, какъ и во всѣхъ другихъ.

А между тѣмъ жизнь не слишкомъ красиво складывалась въ Марьинѣ, и бѣдному Николаю Петровичу приходилось плохо. Хлопоты по фермѣ росли съ каждымъ днемъ — хлопоты безотрадныя, безтолковыя. Возня съ наемными работниками становилась невыносимою. Одни требовали расчета или прибавки, другіе уходили, забравши задатокъ; лошади заболѣвали; сбруя горѣла какъ на огнѣ; работы исполнялись небрежно; выписанная изъ Москвы

молотильная машина оказалась негодною по своей тяжести; другую съ перваго разу испортили; половина скотнаго двора сгорѣла, оттого что слѣпая старуха изъ дворовыхъ въ вѣтряную погоду пошла съ головешкой окуривать свою корову... правда, по увѣренію той же старухи, вся бѣда произошла оттого, что барину вздумалось заводить какіе-то небывалые сыры и молочные скопы. Управляющій вдругъ облѣнился и даже началъ толстѣть, какъ толстѣетъ всякій русскій человѣкъ, попавшій на „вольные хлѣба". Завидя издали Николая Петровича, онъ, чтобы заявить свое рвеніе, бросалъ щепкой въ пробѣгавшаго мимо поросенка или грозился полунагому мальчишкѣ, а впрочемъ больше все спалъ. Посаженные на оброкъ мужики не взносили денегъ въ срокъ, крали лѣсъ; почти каждую ночь сторожа ловили, а иногда съ бою забирали крестьянскихъ лошадей на лугахъ „фермы". Николай Петровичъ опредѣлилъ-было денежный штрафъ за потраву, но дѣло обыкновенно кончалось тѣмъ, что, постоявъ день или два на господскомъ кормѣ, лошади возвращались къ своимъ владѣльцамъ. Къ довершенію всего, мужики начали между собою ссориться: братья требовали раздѣла, жены ихъ не могли ужиться въ одномъ домѣ; внезапно закипала драка, и все вдругъ поднималось на ноги, какъ по командѣ, все сбѣгалось передъ крылечко конторы, лѣзло къ барину, часто съ избитыми рожами, въ пьяномъ видѣ, и требовало суда и расправы; возникалъ шумъ, вопль, бабій хныкающій визгъ вперемежку съ мужскою бранью. Нужно было разбирать враждующія стороны, кричать самому до хрипоты, зная напередъ, что къ правильному рѣшенію все-таки придти невозможно. Не хватало рукъ для жатвы: сосѣдній однодворецъ, съ самымъ благообразнымъ лицомъ, порядился доставить жнецовъ по два рубля съ десятины и надулъ самымъ безсовѣстнымъ образомъ; свои бабы заламывали цѣны неслыханныя, а хлѣбъ между тѣмъ осыпался, а тутъ съ косьбой не совладѣли, а тутъ Опекунскій Совѣтъ грозится и требуетъ немедленной и безнедоимочной уплаты *процентовъ*...

— Силъ моихъ нѣтъ!—не разъ съ отчаяніемъ восклицалъ Николай Петровичъ. — Самому драться невозможно, посылать за становымъ — не позволяютъ принципы, а безъ страха наказанія ничего не подѣлаешь!

— Du calme, du calme, — замѣчалъ на это Павелъ Петровичъ, а самъ мурлыкалъ, хмурился и подергивалъ усы.

Базаровъ держался въ отдаленіи отъ этихъ „дрязговъ", да ему, какъ гостю, не приходилось и вмѣшиваться въ чужія дѣла. На другой день послѣ пріѣзда въ Марьино, онъ принялся за своихъ лягушекъ, за инфузоріи, за химическіе составы, и все возился съ ними. Аркадій, напротивъ, почелъ своею обязанностію если не помогать отцу, то по крайней мѣрѣ показать видъ, что онъ готовъ ему помочь. Онъ терпѣливо его выслушивалъ и однажды подалъ какой-то совѣтъ, не для того чтобы ему послѣдовали, а чтобы заявить свое участіе. Хозяйничанье не возбуждало въ немъ отвращенія: онъ даже съ удовольствіемъ мечталъ объ агрономической дѣятельности, но у него въ ту пору другія мысли зароились въ головѣ. Аркадій, къ собственному изумленію, безпрестанно думалъ о Никольскомъ; прежде онъ бы только плечами пожалъ, если бы кто-нибудь сказалъ ему, что онъ можетъ соскучиться подъ однимъ кровомъ съ Базаровымъ, и еще подъ какимъ!—подъ родительскимъ кровомъ; а ему точно было скучно, и тянуло его вонъ. Онъ вздумалъ гулять до усталости, но и это не помогло. Разговаривая однажды съ отцомъ, онъ узналъ, что у Николая Петровича находилось нѣсколько писемъ, довольно интересныхъ, писанныхъ нѣкогда матерью Одинцовой къ покойной его женѣ, и не отсталъ отъ него до тѣхъ поръ, пока не получилъ этихъ писемъ, за которыми Николай Петровичъ принужденъ былъ рыться въ двадцати различныхъ ящикахъ и сундукахъ. Вступивъ въ обладаніе этими полуистлѣвшими бумажками, Аркадій какъ будто успокоился, точно онъ увидѣлъ передъ собою цѣль, къ которой ему слѣдовало идти. „Я вамъ это обоимъ говорю", безпрестанно шепталъ онъ,—сама прибавила! „Поѣду, поѣду, чортъ возьми!" Но

онъ вспомнилъ послѣднее посѣщеніе, холодный пріемъ и прежнюю неловкость, и робость овладѣвала имъ. „Авось" молодости, тайное желаніе извѣдать свое счастіе, испытать свои силы въ одиночку, безъ чьего бы то ни было покровительства — одолѣли наконецъ. Десяти дней не прошло со времени его возвращенія въ Марьино, какъ уже онъ опять, подъ предлогомъ изученія механизма воскресныхъ школъ, скакалъ въ городъ, а оттуда въ Никольское. Безпрерывно погоняя ямщика, несся онъ туда, какъ молодой офицеръ на сраженье: и страшно ему было, и весело, нетерпѣніе его душило. „Главное — не надо думать", твердилъ онъ самому себѣ. Ямщикъ ему попался лихой; онъ останавливался передъ каждымъ кабакомъ, приговаривая: „чкнуть?" или: „аль чкнуть?" но за то, *чкнувши*, не жалѣлъ лошадей. Вотъ, наконецъ, показалась высокая крыша знакомаго дома... „Что́ я дѣлаю?" мелькнуло вдругъ въ головѣ Аркадія. „Да, вѣдь не вернуться же!" Тройка дружно мчалась; ямщикъ гикалъ и свисталъ. Вотъ уже мостикъ загремѣлъ подъ копытами и колесами, вотъ уже надвинулась аллея стриженныхъ елокъ... Розовое женское платье мелькнуло въ темной зелени, молодое лицо выглянуло изъ-подъ легкой бахромы зонтика... Онъ узналъ Катю, и она его узнала. Аркадій приказалъ ямщику остановить разскакавшихся лошадей, выпрыгнулъ изъ экипажа и подошелъ къ ней. „Это вы!" промолвила она, и понемножку вся покраснѣла: „пойдемте къ сестрѣ, она тутъ, въ саду; ей будетъ пріятно васъ видѣть".

Катя повела Аркадія въ садъ. Встрѣча съ нею показалась ему особенно счастливымъ предзнаменованіемъ; онъ обрадовался ей, словно родной. Все такъ отлично устроилось: ни дворецкаго, ни доклада. На поворотѣ дорожки онъ увидѣлъ Анну Сергѣевну. Она стояла къ нему спиной. Услышавъ шаги, она тихонько обернулась.

Аркадій смутился-было снова, но первыя слова, ею произнесенныя, успокоили его тотчасъ. „Здравствуйте, бѣглецъ!" — проговорила она своимъ ровнымъ, ласковымъ голосомъ, и пошла къ нему навстрѣчу, улыба-

лась и щурясь отъ солнца и вѣтра: „гдѣ ты его нашла, Катя?“

— Я вамъ, Анна Сергѣевна,—началъ онъ: — привезъ нѣчто такое, чего вы никакъ не ожидаете...

— Вы себя привезли; это лучше всего.

XXIII.

Проводивъ Аркадія съ насмѣшливымъ сожалѣніемъ и давъ ему понять, что онъ нисколько не обманывается насчетъ настоящей цѣли его поѣздки, Базаровъ уединился окончательно: на него нашла лихорадка работы. Съ Павломъ Петровичемъ онъ уже не спорилъ, тѣмъ болѣе, что тотъ въ его присутствіи принималъ черезчуръ аристократическій видъ и выражалъ свои мнѣнія болѣе звуками, чѣмъ словами. Только однажды Павелъ Петровичъ пустился-было въ состязаніе съ *нигилистомъ* по поводу моднаго въ то время вопроса о правахъ остзейскихъ дворянъ, но самъ вдругъ остановился, промолвивъ съ холодною вѣжливостью:—впрочемъ, мы другъ друга понять не можемъ; я, по крайней мѣрѣ, не имѣю чести васъ понимать.

— Еще бы!—воскликнулъ Базаровъ.—Человѣкъ все въ состояніи понять — и какъ трепещетъ эфиръ, и что́ на солнцѣ происходитъ; а какъ другой человѣкъ можетъ иначе сморкаться, чѣмъ онъ самъ сморкается, этого онъ понять не въ состояніи.

— Что́, это остроумно?—проговорилъ вопросительно Павелъ Петровичъ, и отошелъ въ сторону.

Впрочемъ, онъ иногда просилъ позволенія присутствовать при опытахъ Базарова, а разъ даже приблизилъ свое раздушенное и вымытое отличнымъ снадобьемъ лицо къ микроскопу, для того чтобы посмотрѣть, какъ прозрачная инфузорія глотала зеленую пылинку и хлопотливо пережевывала ее какими-то очень проворными кулачками, находившимися у ней въ горлѣ. Гораздо чаще своего брата посѣщалъ Базарова Николай Петровичъ; онъ бы каждый день приходилъ, какъ онъ выражался, „учиться“, если бы хлопоты по хозяйству не отвлекали его. Онъ не стѣснялъ молодого естествоиспытателя: садился гдѣ-нибудь въ уго-

локъ комнаты и глядѣлъ внимательно, изрѣдка позволяя себѣ осторожный вопросъ. Во время обѣдовъ и ужиновъ, онъ старался направлять рѣчь на физику, геологію или химію, такъ какъ всѣ другіе предметы, даже хозяйственные, не говоря уже о политическихъ, могли повести если не къ столкновеніямъ, то ко взаимному неудовольствію. Николай Петровичъ догадывался, что ненависть его брата къ Базарову нисколько не уменьшилась. Неважный случай, между многими другими, подтвердилъ его догадки. Холера стала появляться кой-гдѣ по окрестностямъ и даже „выдернула“ двухъ людей изъ самого Марьина. Ночью съ Павломъ Петровичемъ случился довольно сильный припадокъ. Онъ промучился до утра, но не прибѣгъ къ искусству Базарова — и увидѣвшись съ нимъ на слѣдующій день, на его вопросъ:—„зачѣмъ онъ не послалъ за нимъ?“— отвѣчалъ, весь еще блѣдный, но уже тщательно расчесанный и выбритый:—„вѣдь вы, помнится, сами говорили, что не вѣрите въ медицину?“—Такъ проходили дни. Базаровъ работалъ упорно и угрюмо... а между тѣмъ въ домѣ Николая Петровича находилось существо, съ которымъ онъ не то чтобы отводилъ душу, а охотно бесѣдовалъ... Это существо была Ѳеничка.

Онъ встрѣчался съ ней большею частью по утрамъ рано, въ саду или на дворѣ; въ комнату къ ней онъ не захаживалъ, и она всего разъ подошла къ его двери, чтобы спросить его—купать ли ей Митю или нѣтъ? Она не только довѣрялась ему, не только его не боялась, она при немъ держалась вольнѣе и развязнѣе, чѣмъ при самомъ Николаѣ Петровичѣ. Трудно сказать, отчего это происходило; можетъ-быть оттого, что она безсознательно чувствовала въ Базаровѣ отсутствіе всего дворянскаго, всего того высшаго, что̀ и привлекаетъ, и пугаетъ. Въ ея глазахъ онъ и докторъ былъ отличный, и человѣкъ простой. Не стѣсняясь его присутствіемъ, она возилась съ своимъ ребенкомъ, и однажды, когда у ней вдругъ закружилась и заболѣла голова — изъ его рукъ приняла ложку лѣкарства. При Николаѣ Петровичѣ она какъ *будто* чуждалась Базарова: она это дѣлала не изъ хит-

рости, а изъ какого-то чувства приличія. Павла Петровича она боялась больше чѣмъ когда-либо; онъ съ нѣкоторыхъ поръ сталъ наблюдать за нею, и неожиданно появлялся, словно изъ земли вырасталъ за ея спиною въ своемъ *сьютѣ*, съ неподвижнымъ зоркимъ лицомъ и руками въ карманахъ. — „Такъ тебя холодомъ и обдастъ", жаловалась Ѳеничка Дуняшѣ, а та въ отвѣтъ ей вздыхала и думала о другомъ „безчувственномъ" человѣкѣ. Базаровъ, самъ того не подозрѣвая, сдѣлался *жестокимъ тираномъ* ея души.

Ѳеничкѣ нравился Базаровъ; но и она ему нравилась. Даже лицо его измѣнялось, когда онъ съ ней разговаривалъ: оно принимало выраженіе ясное, почти доброе, и къ обычной его небрежности примѣшивалась какая-то шутливая внимательность. Ѳеничка хорошѣла съ каждымъ днемъ. Бываетъ эпоха въ жизни молодыхъ женщинъ, когда онѣ вдругъ начинаютъ расцвѣтать и распускаться, какъ лѣтнія розы; такая эпоха наступила для Ѳенички. Все къ тому способствовало, даже іюльскій зной, который стоялъ тогда. Одѣтая въ легкое, бѣлое платье, она сама казалась бѣлѣе и легче: загаръ не приставалъ къ ней, а жара̀, отъ которой она не могла уберечься, слегка румянила ея щеки да уши, и вливая тихую лѣнь во все ея тѣло, отражалась дремотною томностью въ ея хорошенькихъ глазкахъ. Она почти не могла работать, руки у ней такъ и скользили на колѣни. Она едва ходила, и все охала да жаловалась съ забавнымъ безсиліемъ.

— Ты бы чаще купалась,—говорилъ ей Николай Петровичъ.

Онъ устроилъ большую, полотномъ покрытую, купальню въ томъ изъ своихъ прудовъ, который еще не совсѣмъ ушелъ.

— Охъ, Николай Петровичъ! Да пока до пруда дойдешь—умрешь, и назадъ пойдешь — умрешь. Вѣдь тѣни-то въ саду нѣту.

— Это точно, что тѣни нѣту,—отвѣчалъ Николай Петровичъ, и потиралъ себѣ брови.

Однажды, часу въ седьмомъ утра, Базаровъ, возвраща-

ясь съ прогулки, засталъ въ давно-отцвѣтшей, но еще густой и зеленой сиреневой бесѣдкѣ Ѳеничку. Она сидѣла на скамейкѣ, накинувъ по обыкновенію бѣлый платокъ на голову; подлѣ нея лежалъ цѣлый пукъ еще мокрыхъ отъ росы красныхъ и бѣлыхъ розъ. Онъ поздоровался съ нею.

— А! Евгеній Васильичъ!—проговорила она, и приподняла немного край платка, чтобы взглянуть на него, причемъ ея рука обнажилась до локтя.

— Что̀ вы это тутъ дѣлаете?—промолвилъ Базаровъ, садясь возлѣ нея.—Букетъ вяжете?

— Да; на столъ къ завтраку. Николай Петровичъ это любитъ.

— Но до завтрака еще далеко. Экая пропасть цвѣтовъ!

— Я ихъ теперь нарвала, а то станетъ жарко, и выйти нельзя. Только теперь и дышишь. Совсѣмъ я разслабѣла отъ этого жару. Ужъ я боюсь, не заболѣю ли я?

— Это что за фантазія! Дайте-ка вашъ пульсъ пощупать.—Базаровъ взялъ ея руку, отыскалъ ровно бившуюся жилку, и даже не сталъ считать ея ударовъ.—Сто лѣтъ проживете,—промолвилъ онъ, выпуская ея руку.

— Ахъ, сохрани Богъ! воскликнула она.

— А что̀? Развѣ вамъ не хочется долго пожить!

— Да вѣдь сто лѣтъ! У насъ бабушка была восьмидесяти-пяти лѣтъ—такъ ужъ что же это была за мученица! Черная, глухая, горбатая, все кашляла; себѣ только въ тягость. Какая ужъ это жизнь!

— Такъ лучше быть молодою?

— А то какъ же?

— Да чѣмъ же оно лучше? Скажите мнѣ!

— Какъ чѣмъ? Да вотъ я теперь, молодая, все могу сдѣлать,—и пойду, и приду, и принесу, и никого мнѣ просить не нужно... Чего лучше?

— А вотъ мнѣ все равно: молодъ ли я или старъ.

— Какъ это вы говорите—все равно? это невозможно, что̀ вы говорите.

— Да вы сами посудите, Ѳедосья Николаевна, на что *мнѣ моя* молодость? Живу я одинъ, бобылемъ...

— Это отъ васъ всегда зависитъ.

— То-то что не отъ меня! Хоть бы кто-нибудь надо мною сжалился.

Ѳеничка сбоку посмотрѣла на Базарова, но ничего не сказала.—Это что̀ у васъ за книга?—спросила она, погодя немного.

— Эта-то? Это ученая книга, мудреная.

— А вы все учитесь? И не скучно вамъ? Вы ужъ и такъ, я чай, все знаете.

— Видно не все. Попробуйте-ка вы прочесть немного.

— Да я ничего тутъ не пойму. Она у васъ русская?—спросила Ѳеничка, принимая въ обѣ руки тяжело переплетенный томъ.—Какая толстая!

— Русская.

— Все равно, я ничего не пойму.

— Да я и не съ тѣмъ, чтобы вы поняли. Мнѣ хочется посмотрѣть на васъ, какъ вы читать будете. У васъ, когда вы читаете, кончикъ носика очень мило двигается.

Ѳеничка, которая принялась-было разбирать вполголоса попавшуюся ей статью „о креозотѣ“, засмѣялась и бросила книгу... она скользнула со скамейки на землю.

— Я люблю тоже, когда вы смѣетесь, — промолвилъ Базаровъ.

— Полноте!

— Я люблю, когда вы говорите. Точно ручеекъ журчитъ.

Ѳеничка отворотила голову.—Какой вы!—промолвила она, перебирая пальцами по цвѣтамъ.—И что̀ вамъ меня слушать? Вы съ такими умными дамами разговоръ имѣли.

— Эхъ, Ѳедосья Николаевна! повѣрьте мнѣ: всѣ умныя дамы на свѣтѣ не сто̀ятъ вашего локотка.

— Ну, вотъ еще что̀ выдумали!—шепнула Ѳеничка, и поджала руки.

Базаровъ поднялъ съ земли книгу. — Это лѣкарская книга, зачѣмъ вы ее бросаете?

— Лѣкарская?—повторила Ѳеничка, и повернулась къ нему.—А знаете что? Вѣдь съ тѣхъ поръ, какъ вы мнѣ тѣ капельки дали, помните? ужъ какъ Митя спитъ хорошо!

Я ужъ и не придумаю, какъ мнѣ васъ благодарить; такой вы добрый, право.

— А по-настоящему надо лѣкарямъ платить,—замѣтилъ съ усмѣшкой Базаровъ.—Лѣкаря, вы сами знаете, люди корыстные.

Ѳеничка подняла на Базарова свои глаза, казавшіеся еще темнѣе отъ бѣловатаго отблеска, падавшаго на верхнюю часть ея лица. Она не знала—шутитъ ли онъ, или нѣтъ.

— Если вамъ угодно, мы съ удовольствіемъ... Надо будетъ у Николая Петровича спросить...

— Да вы думаете, я денегъ хочу?—перебилъ ее Базаровъ.—Нѣтъ, мнѣ отъ васъ не деньги нужны.

— Что́ же?—проговорила Ѳеничка.

— Что?—повторилъ Базаровъ.—Угадайте.

— Что я за отгадчица!

— Такъ я вамъ скажу; мнѣ нужно... одну изъ этихъ розъ.

Ѳеничка опять засмѣялась и даже руками всплеснула, до того ей показалось забавнымъ желаніе Базарова. Она смѣялась, и въ то же время чувствовала себя польщенною. Базаровъ пристально смотрѣлъ на нее.

— Извольте, извольте,—промолвила она наконецъ, и, нагнувшись къ скамейкѣ, принялась перебирать розы.—Какую вамъ, красную или бѣлую?

— Красную, и не слишкомъ большую.

Она выпрямилась.

— Вотъ возьмите,—сказала она, но тотчасъ же отдернула протянутую руку, и, закусивъ губы, глянула на входъ бесѣдки, потомъ приникла ухомъ.

— Что такое?—спросилъ Базаровъ.—Николай Петровичъ?

— Нѣтъ... Они въ поле уѣхали... да я и не боюсь ихъ... а вотъ Павелъ Петровичъ... Мнѣ показалось...

— Что̀?

— Мнѣ показалось, что *они* тутъ ходятъ. Нѣтъ... никого нѣтъ. Возьмите.—Ѳеничка отдала Базарову розу.

— Съ какой стати вы Павла Петровича боитесь?

— Они меня все пугаютъ. Говорить — не говорятъ, а такъ смотрятъ мудрено. Да вѣдь и вы его не любите. Помните, прежде вы все съ нимъ спорили. Я и не знаю, о чемъ у васъ споръ идетъ, а вижу, что вы его и такъ вертите, и такъ...

Ѳеничка показала руками какъ, по ея мнѣнію, Базаровъ вертѣлъ Павла Петровича.

Базаровъ улыбнулся.

— А если бъ онъ меня побѣждать сталъ, — спросилъ онъ:—вы бы за меня заступились?

— Гдѣ жъ мнѣ за васъ заступаться? да нѣтъ, съ вами не сладишь.

— Вы думаете? А я знаю руку, которая захочетъ, и пальцемъ меня сшибетъ.

— Какая такая рука?

— А вы, небось, не знаете? Понюхайте, какъ славно пахнетъ роза, что̀ вы мнѣ дали.

Ѳеничка вытянула шейку и приблизила лицо къ цвѣтку... Платокъ скатился съ ея головы на плеча; показалась мягкая масса черныхъ, блестящихъ, слегка растрепанныхъ волосъ.

— Постойте, я хочу понюхать съ вами, — промолвилъ Базаровъ, нагнулся, и крѣпко поцѣловалъ ее въ раскрытыя губы.

Она дрогнула, уперлась обѣими руками въ его грудь, но уперлась слабо, и онъ могъ возобновить и продлить свой поцѣлуй.

Сухой кашель раздался за сиренями. Ѳеничка мгновенно отодвинулась на другой конецъ скамейки. Павелъ Петровичъ показался, слегка поклонился и, проговоривъ съ какою-то злобною унылостью: „вы здѣсь“—удалился. Ѳеничка тотчасъ подобрала всѣ розы и вышла вонъ изъ бесѣдки.—„Грѣшно вамъ, Евгеній Васильевичъ“, шепнула она, уходя. Неподдѣльный упрекъ слышался въ ея шопотѣ.

Базаровъ вспомнилъ другую недавнюю сцену, и совѣстно ему стало, и презрительно досадно. Но онъ тотчасъ же встряхнулъ головой, иронически поздравилъ себя „съ фор-

мальнымъ поступленіемъ въ селадоны", и отправился къ себѣ въ комнату.

А Павелъ Петровичъ вышелъ изъ саду, и медленно шагая, добрался до лѣса. Онъ остался тамъ довольно долго, и когда онъ вернулся къ завтраку, Николай Петровичъ заботливо спросилъ у него, здоровъ ли онъ? до того лицо его потемнѣло.

— Ты знаешь, я иногда страдаю разлитіемъ желчи,— спокойно отвѣчалъ ему Павелъ Петровичъ.

XXIV.

Часа два спустя, онъ стучался въ дверь къ Базарову.

— Я долженъ извиниться, что мѣшаю вамъ въ вашихъ ученыхъ занятіяхъ,—началъ онъ, усаживаясь на стулѣ у окна и опираясь обѣими руками на красивую трость съ набалдашникомъ изъ слоновой кости (онъ обыкновенно хаживалъ безъ трости):—но я принужденъ просить васъ удѣлить мнѣ пять минутъ вашего времени... не болѣе.

— Все мое время къ вашимъ услугамъ,—отвѣтилъ Базаровъ, у котораго что-то пробѣжало по лицу, какъ только Павелъ Петровичъ переступилъ порогъ двери.

— Съ меня пяти минутъ довольно. Я пришелъ предложить вамъ одинъ вопросъ.

— Вопросъ? О чемъ это?

— А вотъ извольте выслушать. Въ началѣ вашего пребыванія въ домѣ моего брата, когда я еще не отказывалъ себѣ въ удовольствіи бесѣдовать съ вами, мнѣ случалось слышать ваши сужденія о многихъ предметахъ; но, сколько мнѣ помнится, ни между нами, ни въ моемъ присутствіи, рѣчь никогда не заходила о поединкахъ, о дуэли вообще. Позвольте узнать, какое ваше мнѣніе объ этомъ предметѣ?

Базаровъ, который всталъ-было навстрѣчу Павлу Петровичу, присѣлъ на край стола и скрестилъ руки.

— Вотъ мое мнѣніе,—сказалъ онъ:—съ теоретической точки зрѣнія дуэль — нелѣпость; ну, а съ практической точки зрѣнія—это дѣло другое.

— То-есть, вы хотите сказать, если я только васъ понялъ, что какое бы ни было ваше теоретическое воз-

зрѣніе на дуэль, на практикѣ вы бы не позволили оскорбить себя, не потребовавъ удовлетворенія.

— Вы вполнѣ отгадали мою мысль.

— Очень хорошо-съ. Мнѣ очень пріятно это слышать отъ васъ. Ваши слова выводятъ меня изъ неизвѣстности...

— Изъ нерѣшимости, хотите вы сказать.

— Это все равно-съ; я выражаюсь такъ, чтобы меня поняли; я... не семинарская крыса. Ваши слова избавляютъ меня отъ нѣкоторой печальной необходимости. Я рѣшился драться съ вами.

Базаровъ вытаращилъ глаза.

— Со мной?

— Непремѣнно съ вами.

— Да за что? помилуйте.

— Я бы могъ объяснить вамъ причину,—началъ Павелъ Петровичъ.—Но я предпочитаю умолчать о ней. Вы на мой вкусъ здѣсь лишній; я васъ терпѣть не могу, я васъ презираю, и если вамъ этого не довольно...

Глаза Павла Петровича засверкали... Они вспыхнули и у Базарова.

— Очень хорошо-съ,—проговорилъ онъ.—Дальнѣйшихъ объясненій не нужно. Вамъ пришла фантазія испытать на мнѣ свой рыцарскій духъ. Я бы могъ отказать вамъ въ этомъ удовольствіи, да ужъ куда ни шло!

— Чувствительно вамъ обязанъ,—отвѣтилъ Павелъ Петровичъ:—и могу теперь надѣяться, что вы примете мой вызовъ, не заставивъ меня прибѣгнуть къ насильственнымъ мѣрамъ.

— То-есть, говоря безъ аллегорій, къ этой палкѣ?—хладнокровно замѣтилъ Базаровъ.—Это совершенно справедливо. Вамъ нисколько не нужно оскорблять меня. Оно же и не совсѣмъ безопасно. Вы можете остаться джентльменомъ... Принимаю вашъ вызовъ тоже по-джентльменски.

— Прекрасно, — промолвилъ Павелъ Петровичъ, и поставилъ трость въ уголъ.—Мы сейчасъ скажемъ нѣсколько словъ объ условіяхъ нашей дуэли; но я сперва желалъ бы узнать, считаете ли вы нужнымъ прибѣгнуть къ формальности небольшой ссоры, которая могла бы служить предлогомъ моему вызову?

— Нѣтъ, лучше безъ формальностей.

— Я самъ такъ думаю. Полагаю также неумѣстнымъ вникать въ настоящія причины нашего столкновенія. Мы другъ друга терпѣть не можемъ. Чего больше?

— Чего же больше?—повторилъ иронически Базаровъ.

— Что же касается до самыхъ условій поединка, то такъ какъ у насъ секундантовъ не будетъ,—ибо гдѣ жъ ихъ взять?

— Именно, гдѣ ихъ взять?

— То я имѣю честь предложить вамъ слѣдующее: драться завтра рано, положимъ, въ шесть часовъ, за рощей, на пистолетахъ; барьеръ въ десяти шагахъ...

— Въ десяти шагахъ? это такъ; мы на это разстояніе ненавидимъ другъ друга.

— Можно и восемь,—замѣтилъ Павелъ Петровичъ.

— Можно; отчего же?

— Стрѣлять два раза; а на всякій случай каждому положить себѣ въ карманъ письмецо, въ которомъ онъ самъ обвинитъ себя въ своей кончинѣ.

— Вотъ съ этимъ я не совсѣмъ согласенъ,—промолвилъ Базаровъ. — Немножко на французскій романъ сбивается, неправдоподобно что-то.

— Быть-можетъ. Однако, согласитесь, что непріятно подвергнуться подозрѣнію въ убійствѣ?

— Соглашаюсь. Но есть средство избѣгнуть этого грустнаго нареканія. Секундантовъ у насъ не будетъ, но можетъ быть свидѣтель.

— Кто именно, позвольте узнать?

— Да Петръ.

— Какой Петръ?

— Камердинеръ вашего брата. Онъ человѣкъ, стоящій на высотѣ современнаго образованія, и исполнитъ свою роль со всѣмъ необходимымъ въ подобныхъ случаяхъ *комильфо*.

— Мнѣ кажется, вы шутите, милостивый государь.

— Нисколько. Обсудивши мое предложеніе, вы убѣдитесь, что оно исполнено здраваго смысла и простоты. *Шила* въ мѣшкѣ не утаишь, а Петра я берусь подгото-

нить надлежащимъ образомъ и привести на мѣсто побоища.

— Вы продолжаете шутить, — произнесъ, вставая со стула, Павелъ Петровичъ. — Но послѣ любезной готовности, оказанной вами, я не имѣю права быть на васъ въ претензіи... И такъ, все устроено... Кстати, пистолетовъ у васъ нѣтъ?

— Откуда будутъ у меня пистолеты, Павелъ Петровичъ? Я не воинъ.

— Въ такомъ случаѣ, предлагаю вамъ мои. Вы можете быть увѣрены, что вотъ уже пять лѣтъ, какъ я не стрѣлялъ изъ нихъ.

— Это очень утѣшительное извѣстіе.

Павелъ Петровичъ досталъ свою трость...

— За симъ, милостивый государь, мнѣ остается только благодарить васъ и возвратить васъ вашимъ занятіямъ. Честь имѣю кланяться.

— До пріятнаго свиданія, милостивый государь мой, — промолвилъ Базаровъ, провожая гостя.

Павелъ Петровичъ вышелъ, а Базаровъ постоялъ передъ дверью и вдругъ воскликнулъ: „Фу ты, чортъ! какъ красиво, и какъ глупо! Экую мы комедію отломали! Ученыя собаки такъ на заднихъ лапахъ танцуютъ. А отказать было невозможно; вѣдь онъ меня, чего добраго, ударилъ бы и тогда... (Базаровъ поблѣднѣлъ при одной этой мысли; вся его гордость такъ и поднялась на дыбы.) Тогда пришлось бы задушить его, какъ котенка“. Онъ возвратился къ своему микроскопу, но сердце у него расшевелилось, и спокойствіе, необходимое для наблюденій, исчезло. „Онъ насъ увидѣлъ сегодня“, думалъ онъ: „но неужели жъ это онъ за брата такъ вступился? Да и что за важность, поцѣлуй? Тутъ что-нибудь другое есть. Ба! да не влюбленъ ли онъ самъ? Разумѣется, влюбленъ; это ясно какъ день. Какой перелетъ, подумаешь!.. Скверно!“ Рѣшилъ онъ, наконецъ: „скверно, съ какой стороны ни посмотри. Во-первыхъ, надо будетъ подставлять лобъ, и въ всякомъ случаѣ уѣхать; а тутъ Аркадій... и эта божья коровка, Николай Петровичъ. Скверно, скверно“.

День прошелъ какъ-то особенно тихо и вяло. Ѳеничка словно на свѣтѣ не бывало; она сидѣла въ своей комнаткѣ, какъ мышенокъ въ норкѣ. Николай Петровичъ имѣлъ видъ озабоченный. Ему донесли, что въ его пшеницѣ, на которую онъ особенно надѣялся, показалась головня. Павелъ Петровичъ подавлялъ всѣхъ, даже Прокофьича, своею леденящею вѣжливостью. Базаровъ началъ было письмо къ отцу, да разорвалъ его и бросилъ подъ столъ. „Умру“, подумалъ онъ:—„узнаютъ: да я не умру. Нѣтъ, я еще долго на свѣтѣ маячить буду“. Онъ велѣлъ Петру придти къ нему на слѣдующій день чуть свѣтъ для важнаго дѣла; Петръ вообразилъ, что онъ хочетъ взять его съ собой въ Петербургъ. Базаровъ легъ поздно, и всю ночь его мучили безпорядочные сны... Одинцова кружилась передъ нимъ, она же была его мать, за ней ходила кошечка съ черными усиками, и эта кошечка была Ѳеничка; а Павелъ Петровичъ представлялся ему большимъ лѣсомъ, съ которымъ онъ все-таки долженъ былъ драться. Петръ разбудилъ его въ четыре часа; онъ тотчасъ одѣлся и вышелъ съ нимъ.

Утро было славное, свѣжее; маленькія, пестрыя тучки стояли барашками на блѣдно-ясной лазури; мелкая роса высыпала на листьяхъ и травахъ, блистала серебромъ на паутинкахъ; влажная, темная земля, казалось, еще хранила румяный слѣдъ зари; со всего неба сыпались пѣсни жаворонковъ. Базаровъ дошелъ до рощи, присѣлъ въ тѣни на опушку, и только тогда открылъ Петру, какой онъ ждалъ отъ него услуги. Образованный лакей перепугался на-смерть; но Базаровъ успокоилъ его увѣреніемъ, что ему другого нечего будетъ дѣлать, какъ только стоять въ отдаленіи да глядѣть, и что отвѣтственности онъ не подвергается никакой.—„А между тѣмъ“, прибавилъ онъ:—„подумай, какая предстоитъ тебѣ важная роль!“ Петръ развелъ руками, потупился и, весь зеленый, прислонился къ березѣ.

Дорога изъ Марьина огибала лѣсокъ; легкая пыль лежала на ней, еще не тронутая со вчерашняго дня ни колесомъ, ни ногою. Базаровъ невольно посматривалъ вдоль

ой дороги, рвалъ и кусалъ траву, а самъ все твердилъ
ро себя: „Экая глупость!“ Утренній холодокъ заставилъ
го раза два вздрогнуть... Петръ унылъ взглянулъ на него,
о Базаровъ только усмѣхнулся: онъ не трусилъ.

Раздался топотъ конскихъ ногъ по дорогѣ... Мужикъ
оказался изъ-за деревьевъ. Онъ гналъ двухъ спутанныхъ
ошадей передъ собою и, проходя мимо Базарова, посмо-
рѣлъ на него какъ-то странно, не ломая шапки, что̀, ви-
имо, смутило Петра, какъ недоброе предзнаменованіе.
Вотъ этотъ тоже рано всталъ“, подумалъ Базаровъ:—„да
о крайней мѣрѣ за дѣломъ; а мы?“

— Кажись, они идутъ-съ,—шепнулъ вдругъ Петръ.

Базаровъ поднялъ голову и увидалъ Павла Петровича.
дѣтый въ легкій клѣтчатый пиджакъ и бѣлые, какъ
нѣгъ, панталоны, онъ быстро шелъ по дорогѣ; подъ мыш-
ой онъ несъ ящикъ, завернутый въ зеленое сукно.

— Извините, я, кажется, заставилъ васъ ждать,—про-
олвилъ онъ, кланяясь сперва Базарову, потомъ Петру,
ъ которомъ онъ въ это мгновеніе уважалъ нѣчто въ
одѣ секунданта. — Я не хотѣлъ будить моего камерди-
ера.

— Ничего-съ,—отвѣтилъ Базаровъ: — мы сами только-
то пришли.

— А! тѣмъ лучше!—Павелъ Петровичъ оглянулся кру-
омъ.—Никого не видать, никто не помѣшаетъ... Мы мо-
жемъ приступить?

— Приступимъ.

— Новыхъ объясненій вы, я полагаю, не требуете?

— Не требую.

— Угодно вамъ заряжать? — спросилъ Павелъ Петро-
вичъ, вынимая изъ ящика пистолеты.

— Нѣтъ; заряжайте вы, а я шаги отмѣривать стану.
оги у меня длиннѣе, — прибавилъ Базаровъ съ усмѣш-
ой.—Разъ, два, три...

— Евгеній Васильевичъ, — съ трудомъ пролепеталъ
етръ (онъ дрожалъ, какъ въ лихорадкѣ): — воля ваша,
отойду.

— Четыре... пять... Отойди, братецъ, отойди; можешь

День прошелъ какъ-то особенно тихо и вяло. Ѳени словно на свѣтѣ не бывало; она сидѣла въ своей н наткѣ, какъ мышенокъ въ норкѣ. Николай Петров имѣлъ видъ озабоченный. Ему донесли, что въ его п ницѣ, на которую онъ особенно надѣялся, показалась ловня. Павелъ Петровичъ подавлялъ всѣхъ, даже І кофьича, своею леденящею вѣжливостью. Базаровъ нача было письмо къ отцу, да разорвалъ его и бросилъ п столъ. „Умру“, подумалъ онъ:—„узнаютъ: да я не у Нѣтъ, я еще долго на свѣтѣ маячить буду“. Онъ вел Петру придти къ нему на слѣдующій день чуть свѣ для важнаго дѣла; Петръ вообразилъ, что онъ хоч взять его съ собой въ Петербургъ. Базаровъ легъ позд и всю ночь его мучили безпорядочные сны... Одинц кружилась передъ нимъ, она же была его мать, за н ходила кошечка съ черными усиками, и эта коше была Ѳеничка; а Павелъ Петровичъ представлялся с большимъ лѣсомъ, съ которымъ онъ все-таки долж былъ драться. Петръ разбудилъ его въ четыре часа; с тотчасъ одѣлся и вышелъ съ нимъ.

Утро было славное, свѣжее; маленькія, пестрыя ту стояли барашками на блѣдно-ясной лазури; мелкая р высыпала на листьяхъ и травахъ, блистала серебромъ паутинкахъ; влажная, темная земля, казалось, еще х нила румяный слѣдъ зари; со всего неба сыпались пѣ жаворонковъ. Базаровъ дошелъ до рощи, присѣлъ въ т на опушку, и только тогда открылъ Петру, какой ждалъ отъ него услуги. Образованный лакей перепуга на-смерть; но Базаровъ успокоилъ его увѣреніемъ, ему другого нечего будетъ дѣлать, какъ только стоять отдаленіи да глядѣть, и что отвѣтственности онъ не вергается никакой.—„А между тѣмъ“, прибавилъ он „подумай, какая предстоитъ тебѣ важная роль!“ Пе развелъ руками, потупился и, весь зеленый, прислони къ березѣ.

Дорога изъ Марьина огибала лѣсокъ; легкая пыль жала на ней, еще не тронутая со вчерашняго дня ни *лесомъ*, ни ногою. Базаровъ невольно посматривалъ вд

юй дороги, рвалъ и кусалъ траву, а самъ все твердилъ про себя: „Экая глупость!“ Утренній холодокъ заставилъ его раза два вздрогнуть... Петръ унылъ взглянулъ на него, но Базаровъ только усмѣхнулся: онъ не трусилъ.

Раздался топотъ конскихъ ногъ по дорогѣ... Мужикъ показался изъ-за деревьевъ. Онъ гналъ двухъ спутанныхъ лошадей передъ собою и, проходя мимо Базарова, посмотрѣлъ на него какъ-то странно, не ломая шапки, что̀, видимо, смутило Петра, какъ недоброе предзнаменованіе. „Вотъ этотъ тоже рано всталъ“, подумалъ Базаровъ:—„да то крайней мѣрѣ за дѣломъ; а мы?“

— Кажись, они идутъ-съ,—шепнулъ вдругъ Петръ.

Базаровъ поднялъ голову и увидалъ Павла Петровича. Одѣтый въ легкій клѣтчатый пиджакъ и бѣлые, какъ снѣгъ, панталоны, онъ быстро шелъ по дорогѣ; подъ мышкой онъ несъ ящикъ, завернутый въ зеленое сукно.

— Извините, я, кажется, заставилъ васъ ждать,—проговорилъ онъ, кланяясь сперва Базарову, потомъ Петру, въ которомъ онъ въ это мгновеніе уважалъ нѣчто въ родѣ секунданта. — Я не хотѣлъ будить моего камердинера.

— Ничего-съ,—отвѣтилъ Базаровъ: — мы сами только-что пришли.

— А! тѣмъ лучше!—Павелъ Петровичъ оглянулся кругомъ.—Никого не видать, никто не помѣшаетъ... Мы можемъ приступить?

— Приступимъ.

— Новыхъ объясненій вы, я полагаю, не требуете?

— Не требую.

— Угодно вамъ заряжать? — спросилъ Павелъ Петровичъ, вынимая изъ ящика пистолеты.

— Нѣтъ; заряжайте вы, а я шаги отмѣривать стану. Ноги у меня длиннѣе, — прибавилъ Базаровъ съ усмѣшкой.—Разъ, два, три...

— Евгеній Васильевичъ, — съ трудомъ пролепеталъ Петръ (онъ дрожалъ, какъ въ лихорадкѣ): — воля ваша, я отойду.

— Четыре... пять... Отойди, братецъ, отойди; можешь

даже за дерево стать и уши заткнуть, только глаз закрывай; а повалится кто—бѣги подымать. Шесть... се восемь...—Базаровъ остановился.—Довольно?—промол онъ, обращаясь къ Павлу Петровичу:—или еще два н накинуть?

— Какъ угодно, — проговорилъ тотъ, заколачивая рую пулю.

— Ну, накинемъ еще два шага. — Базаровъ про носкомъ сапога черту по землѣ. — Вотъ и барьеръ. кстати: на сколько шаговъ каждому изъ насъ отъ бар отойти? Это тоже важный вопросъ. Вчера объ этом было дискуссіи.

— Я полагаю, на десять, — отвѣтилъ Павелъ Пе вичъ, подавая Базарову оба пистолета. — Соблаговол выбрать.

— Соблаговоляю. А согласитесь, Павелъ Петрови что поединокъ нашъ необычаенъ до смѣшного. Вы по трите только на физіономію нашего секунданта.

— Вамъ все желательно шутить, — отвѣтилъ Пав Петровичъ.—Я не отрицаю странности нашего поеди но я считаю долгомъ предупредить васъ, что я намѣр драться серьезно. A bon entendeur, salut!

— О, я не сомнѣваюсь въ томъ, что мы рѣшил истреблять другъ друга; но почему же не посмѣятьс не соединить utile dulci? Такъ-то: вы мнѣ по-французс а я вамъ по-латыни.

— Я буду драться серьезно, — повторилъ Павелъ тровичъ, и отправился на свое мѣсто. Базаровъ, съ с стороны, отсчиталъ десять шаговъ отъ барьера и ост вился.

— Вы готовы?—спросилъ Павелъ Петровичъ.

— Совершенно.

— Можемъ сходиться.

Базаровъ тихонько двинулся впередъ, и Павелъ Пе вичъ пошелъ на него, заложивъ лѣвую руку въ карм и постепенно поднимая дуло пистолета... „Онъ мнѣ пр въ носъ цѣлитъ“, подумалъ Базаровъ: „и какъ щур старательно, разбойникъ! Однако это непріятное ощу

ніе. Стану смотрѣть на цѣпочку его часовъ...“ Что-то рѣзко зыкнуло около самаго уха Базарова, и въ то же мгновенье раздался выстрѣлъ. — „Слышалъ, стало-быть ничего“, успѣло мелькнуть въ его головѣ. Онъ ступилъ еще разъ и, не цѣлясь, подавилъ пружинку.

Павелъ Петровичъ дрогнулъ слегка и хватился рукою за ляжку. Струйка крови потекла по его бѣлымъ панталонамъ.

Базаровъ бросилъ пистолетъ въ сторону и приблизился къ своему противнику.

— Вы ранены?—промолвилъ онъ.

— Вы имѣли право подозвать меня къ барьеру,—проговорилъ Павелъ Петровичъ,—а это пустяки. По условію, каждый имѣетъ еще по одному выстрѣлу.

— Ну, извините, это до другого раза, — отвѣчалъ Базаровъ и обхватилъ Павла Петровича, который начиналъ блѣднѣть.—Теперь я уже не дуэлистъ, а докторъ, и прежде всего долженъ осмотрѣть вашу рану. Петръ! поди сюда, Петръ! куда ты спрятался?

— Все это вздоръ... Я не нуждаюсь ни въ чьей помощи,—промолвилъ съ разстановкой Павелъ Петровичъ:— и... надо... опять... — Онъ хотѣлъ-было дернуть себя за усъ, но рука его ослабѣла, глаза закатились, и онъ лишился чувствъ.

— Вотъ новость! Обморокъ! Съ чего бы! — невольно воскликнулъ Базаровъ, опуская Павла Петровича на траву. — Посмотримъ, что за штука? — Онъ вынулъ платокъ, отеръ кровь, пощупалъ вокругъ раны... „Кость цѣла“, бормоталъ онъ сквозь зубы: „пуля прошла неглубоко насквозь, одинъ мускулъ, vastus externus, задѣтъ. Хоть пляши черезъ три недѣли!.. А, обморокъ! Охъ, ужъ эти мнѣ нервные люди! Вишь, кожа-то какая тонкая“.

— Убиты-съ?—прошелестилъ за его спиной трепетный голосъ Петра.

Базаровъ оглянулся.

— Ступай за водой поскорѣе, братецъ, а онъ насъ съ тобой переживетъ.

Но усовершенствованный слуга, казалось, не понималъ

его словъ и не двигался съ мѣста. Павелъ Петровичъ медленно открылъ глаза. „Кончается!“ шепнулъ Петръ и началъ креститься.

— Вы правы... Экая глупая физіономія! — проговорилъ съ насильственною улыбкой раненый джентльменъ.

— Да ступай же за водой, чортъ! — крикнулъ Базаровъ.

— Не нужно... Это былъ минутный vertige... Помогите мнѣ сѣсть... вотъ такъ... Эту царапину стòитъ только чѣмъ-нибудь прихватить, и я дойду домой пѣшкомъ, а не то можно дрожки за мной прислать. Дуэль, если вамъ угодно, не возобновляется. Вы поступили благородно... сегодня, сегодня—замѣтьте.

— О прошломъ вспоминать не зачѣмъ,—возразилъ Базаровъ: — а что касается до будущаго, то о немъ тоже не стòитъ голову ломать, потому что я намѣренъ немедленно улизнуть. Дайте, я вамъ перевяжу теперь ногу; рана ваша—не опасная, а все лучше остановить кровь. Но сперва необходимо этого смертнаго привести въ чувство.

Базаровъ встряхнулъ Петра за воротъ и послалъ его за дрожками.

— Смотри, брата не испугай, — сказалъ ему Павелъ Петровичъ:—не вздумай ему докладывать.

Петръ помчался; а пока онъ бѣгалъ за дрожками, оба противника сидѣли на землѣ и молчали. Павелъ Петровичъ старался не глядѣть на Базарова; помириться съ нимъ онъ все-таки не хотѣлъ; онъ стыдился своей заносчивости, своей неудачи, стыдился всего затѣяннаго имъ дѣла, хотя и чувствовалъ, что болѣе благопріятнымъ образомъ оно кончиться не могло. „Не будетъ по крайней мѣрѣ здѣсь торчать“, успокоивалъ онъ себя: „и на томъ спасибо“. Молчаніе длилось, тяжелое и неловкое. Обоимъ было не хорошо. Каждый изъ нихъ сознавалъ, что другой его понимаетъ. Друзьямъ это сознаніе пріятно, и весьма непріятно недругамъ, особенно когда нельзя ни объясниться, ни разойтись.

— Не туго ли я завязалъ вамъ ногу?—спросилъ наконецъ Базаровъ.

— Нѣтъ, ничего, прекрасно,—отвѣчалъ Павелъ Петровичъ и, погодя немного, прибавилъ:—брата не обманешь, надо будетъ сказать ему, что мы повздорили изъ-за политики.

— Очень хорошо,—промолвилъ Базаровъ.—Вы можете сказать, что я бранилъ всѣхъ англомановъ.

— И прекрасно. Какъ вы полагаете, что̀ думаетъ теперь о насъ этотъ человѣкъ?—продолжалъ Павелъ Петровичъ, указывая на того самаго мужика, который за нѣсколько минутъ до дуэли прогналъ мимо Базарова спутанныхъ лошадей и, возвращаясь назадъ по дорогѣ, „забочилъ“ и снялъ шапку при видѣ „господъ“.

— Кто жъ его знаетъ! — отвѣтилъ Базаровъ: — всего вѣроятнѣе, что ничего не думаетъ. — Русскій мужикъ — это тотъ самый таинственный незнакомецъ, о которомъ нѣкогда такъ много толковала госпожа Ратклиффъ. Кто его пойметъ! Онъ самъ себя не понимаетъ.

— А! вотъ вы какъ!—началъ было Павелъ Петровичъ и вдругъ воскликнулъ: — посмотрите, что̀ вашъ глупецъ Петръ надѣлалъ! Вѣдь братъ сюда скачетъ!

Базаровъ обернулся и увидалъ блѣдное лицо Николая Петровича, сидѣвшаго на дрожкахъ. Онъ соскочилъ съ нихъ, прежде нежели онѣ остановились, и бросился къ брату.

— Что̀ это значитъ? — проговорилъ онъ взволнованнымъ голосомъ: — Евгеній Васильичъ, помилуйте, что̀ это такое?

— Ничего, — отвѣчалъ Павелъ Петровичъ: — напрасно тебя потревожили. Мы немножко повздорили съ господиномъ Базаровымъ, и я за это немножко поплатился.

— Да изъ-за чего все вышло, ради Бога?

— Какъ тебѣ сказать? Господинъ Базаровъ непочтительно отозвался о сэръ Робертѣ Пилѣ. Спѣшу прибавить, что во всемъ этомъ виноватъ одинъ я, а господинъ Базаровъ велъ себя отлично. Я его вызвалъ.

— Да у тебя кровь, помилуй!

— А ты полагалъ, у меня вода въ жилахъ? Но мнѣ это кровопусканіе даже полезно. Не правда ли, докторъ?

Помоги мнѣ сѣсть на дрожки, и не предавайся меланхоліи. Завтра я буду здоровъ. Вотъ такъ; прекрасно. Трогай, кучеръ.

Николай Петровичъ пошелъ за дрожками; Базаровъ остался-было назади...

— Я долженъ васъ просить заняться братомъ, — сказалъ ему Николай Петровичъ: — пока намъ изъ города привезутъ другого врача.

Базаровъ молча наклонилъ голову.

Часъ спустя, Павелъ Петровичъ уже лежалъ въ постели съ искусно забинтованною ногой. Весь домъ переполошился: Ѳеничкѣ сдѣлалось дурно. Николай Петровичъ втихомолку ломалъ себѣ руки, а Павелъ Петровичъ смѣялся, шутилъ, особенно съ Базаровымъ; надѣлъ тонкую батистовую рубашку, щегольскую утреннюю курточку и феску, не позволилъ опускать шторы оконъ, и забавно жаловался на необходимость воздержаться отъ пищи.

Къ ночи съ нимъ однако сдѣлался жаръ; голова у него заболѣла. Явился докторъ изъ города. (Николай Петровичъ не послушался брата, да и самъ Базаровъ этого не желалъ; онъ цѣлый день сидѣлъ у себя въ комнатѣ, весь желтый и злой, и только на самое короткое время забѣгалъ къ больному; раза два ему случилось встрѣтиться съ Ѳеничкой, но она съ ужасомъ отъ него отскакивала.) Новый докторъ посовѣтовалъ прохладительныя питья, а впрочемъ подтвердилъ увѣренія Базарова, что опасности не предвидится никакой. Николай Петровичъ сказалъ ему, что братъ самъ себя поранилъ по неосторожности, на что докторъ отвѣчалъ: „гм“! — но, получивъ тутъ же въ руку 25 рублей серебромъ, промолвилъ:

— Скажите! это часто случается, точно.

Никто въ домѣ не ложился и не раздѣвался. Николай Петровичъ то и дѣло входилъ на цыпочкахъ къ брату, и на цыпочкахъ выходилъ отъ него: тотъ забывался, слегка охалъ, говорилъ ему по-французски: „couchez-vous“ — и просилъ пить. Николай Петровичъ заставилъ разъ Ѳеничку поднести ему стаканъ лимонаду; Павелъ Петровичъ посмотрѣлъ на нее пристально, и выпилъ ста-

канъ до дна. Къ утру жаръ немного усилился, показался легкій бредъ. Сперва Павелъ Петровичъ произносилъ несвязныя слова; потомъ онъ вдругъ открылъ глаза и, увидавъ возлѣ своей постели брата, заботливо наклонившагося надъ нимъ, промолвилъ:

— А не правда ли, Николай, въ Ѳеничкѣ есть что-то общее съ Нелли?

— Съ какою Нелли, Паша?

— Какъ это ты спрашиваешь? Съ княгинею Р.... Особенно въ верхней части лица. C'est de la même famille.

Николай Петровичъ ничего не отвѣчалъ, а самъ про себя подивился живучести старыхъ чувствъ въ человѣкѣ.

„Вотъ когда всплыло", подумалъ онъ.

— Ахъ, какъ я люблю это пустое существо! — простоналъ Павелъ Петровичъ, тоскливо закидывая руки за голову.—Я не потерплю, чтобы какой-нибудь наглецъ посмѣлъ коснуться...—лепеталъ онъ нѣсколько мгновеній спустя.

Николай Петровичъ только вздохнулъ; онъ и не подозрѣвалъ, къ кому относились эти слова.

Базаровъ явился къ нему на другой день, часовъ въ восемь. Онъ успѣлъ уже уложиться и выпустить на волю всѣхъ своихъ лягушекъ, насѣкомыхъ и птицъ.

— Вы пришли со мной проститься?—проговорилъ Николай Петровичъ, поднимаясь ему навстрѣчу.

— Точно такъ-съ.

— Я васъ понимаю, и одобряю васъ вполнѣ. Мой бѣдный братъ, конечно, виноватъ: за то онъ и наказанъ. Онъ мнѣ самъ сказалъ, что поставилъ васъ въ невозможность иначе дѣйствовать. Я вѣрю, что вамъ нельзя было избѣгнуть этого поединка, который... который до нѣкоторой степени объясняется однимъ лишь постояннымъ антагонизмомъ вашихъ взаимныхъ воззрѣній. (Николай Петровичъ путался въ своихъ словахъ.) Мой братъ—человѣкъ прежняго закала, вспыльчивый и упрямый... Слава Богу, что еще такъ кончилось. Я принялъ всѣ нужныя мѣры къ избѣжанію огласки...

— Я вамъ оставлю свой адресъ на случай, если выйдетъ исторія,—замѣтилъ небрежно Базаровъ.

— Я надѣюсь, что никакой исторіи не выйдетъ, Евгеній Васильичъ... Мнѣ очень жаль, что ваше пребываніе въ моемъ домѣ получило такое... такой конецъ. Мнѣ это тѣмъ огорчительнѣе, что Аркадій...

— Я, должно-быть, съ нимъ увижусь, — возразилъ Базаровъ, въ которомъ всякаго рода „объясненія“ и „изъявленія“ постоянно возбуждали нетерпѣливое чувство: — въ противномъ случаѣ, прошу васъ поклониться ему отъ меня и принять выраженіе моего сожалѣнія.

— И я прошу... — отвѣтилъ съ поклономъ Николай Петровичъ. Но Базаровъ не дождался конца его фразы и вышелъ.

Узнавъ объ отъѣздѣ Базарова, Павелъ Петровичъ пожелалъ его видѣть и пожалъ ему руку. Но Базаровъ и тутъ остался холоденъ какъ ледъ; онъ понималъ, что Павлу Петровичу хотѣлось повеликодушничать. Съ Ѳеничкой ему не удалось проститься: онъ только переглянулся съ нею изъ окна. Ея лицо показалось ему печальнымъ. „Пропадетъ, пожалуй!“ сказалъ онъ про себя... „Ну, выдерется какъ-нибудь!“ — Зато Петръ расчувствовался до того, что плакалъ у него на плечѣ, пока Базаровъ не охладилъ его вопросомъ: „Не на мокромъ ли мѣстѣ у него глаза?“ а Дуняша принуждена была убѣжать въ рощу, чтобы скрыть свое волненіе. Виновникъ всего этого горя взобрался на телѣгу, закурилъ сигару, и когда на четвертой верстѣ, при поворотѣ дороги, въ послѣдній разъ предстала его глазамъ развернутая въ одну линію Кирсановская усадьба съ своимъ новымъ господскимъ домомъ, онъ только сплюнулъ и, пробормотавъ: „барчуки проклятые“, плотнѣе завернулся въ шинель.

Павлу Петровичу скоро полегчало; но въ постели пришлось ему пролежать около недѣли. Онъ переносилъ свой, какъ онъ выражался, *плѣнъ* довольно терпѣливо, только ужъ очень возился съ туалетомъ и все приказывалъ курить о-де-колономъ. Николай Петровичъ читалъ ему журналы; Ѳеничка ему прислуживала попрежнему, приносила бульонъ, лимонадъ, яйца въ-смятку, чай; но тайный ужасъ *овладѣвалъ* ею каждый разъ, когда она входила въ его

комнату. Неожиданный поступокъ Павла Петровича запугалъ всѣхъ людей въ домѣ, а ее больше всѣхъ; одинъ Прокофьичъ не смутился и толковалъ, что и въ его время господа дирывались, „только благородные господа между собою, и этакихъ прощелыгъ они бы за грубость на конюшнѣ отодрать велѣли“.

Совѣсть почти не упрекала Ѳеничку; но мысль о настоящей причинѣ ссоры мучила ее по временамъ; да и Павелъ Петровичъ глядѣлъ на нее такъ странно... такъ, что она, даже обернувшись къ нему спиною, чувствовала на себѣ его глаза. Она похудѣла отъ непрестанной внутренней тревоги и, какъ водится, стала еще милѣй.

Однажды—дѣло было утромъ — Павелъ Петровичъ хорошо себя чувствовалъ и перешелъ съ постели на диванъ, а Николай Петровичъ, освѣдомившись объ его здоровьи, отлучился на гумно. Ѳеничка принесла чашку чаю и, поставивъ ее на столикъ, хотѣла-было удалиться. Павелъ Петровичъ ее удержалъ.

— Куда вы такъ спѣшите, Ѳедосья Николаевна, — началъ онъ:—развѣ у васъ дѣло есть?

— Нѣтъ-съ... Нужно тамъ чай разливать.

— Дуняша это безъ васъ сдѣлаетъ; посидите немножко съ больнымъ человѣкомъ. Кстати, мнѣ нужно поговорить съ вами.

Ѳеничка молча присѣла на край кресла.

— Послушайте,—промолвилъ Павелъ Петровичъ, и подергалъ свои усы:—я давно хотѣлъ у васъ спросить: вы какъ будто меня боитесь?

— Я-съ?..

— Да вы. Вы на меня никогда не смотрите, точно у васъ совѣсть не чиста.

Ѳеничка покраснѣла, но взглянула на Павла Петровича. Онъ показался ей какимъ-то страннымъ, и сердце у ней тихонько задрожало.

— Вѣдь у васъ совѣсть чиста?—спросилъ онъ ее.

— Отчего же ей не быть чистою?—шепнула она.

— Мало ли отчего! Впрочемъ, передъ кѣмъ можете вы быть виноватою? Передо мной? Это не вѣроятно. Передъ

другими лицами здѣсь въ домѣ? Это тоже дѣло несбыточное. Развѣ передъ братомъ? Но вѣдь вы его любите?

— Люблю.

— Всей душой, всѣмъ сердцемъ?

— Я Николая Петровича всѣмъ сердцемъ люблю.

— Право? Посмотри-ка на меня, Ѳеничка (онъ въ первый разъ такъ называлъ ее...). Вы знаете — большой грѣхъ лгать!

— Я не лгу, Павелъ Петровичъ. Мнѣ Николая Петровича не любить, да послѣ этого мнѣ и жить не надо.

— И ни на кого вы его не промѣняете?

— На кого-жъ могу я его промѣнять?

— Мало ли на кого! Да вотъ хоть бы на этого господина, что̀ отсюда уѣхалъ.

Ѳеничка встала. — Господи, Боже мой, Павелъ Петровичъ, за что̀ вы меня мучите? Что я вамъ сдѣлала? Какъ это можно такое говорить?..

— Ѳеничка,—промолвилъ печальнымъ голосомъ Павелъ Петровичъ:—вѣдь, я видѣлъ...

— Что̀ вы видѣли-съ?

— Да тамъ... въ бесѣдкѣ.

Ѳеничка зардѣлась вся до волосъ и до ушей.

— А чѣмъ же я тутъ виновата?—произнесла она съ трудомъ.

Павелъ Петровичъ приподнялся.

— Вы не виноваты? Нѣтъ? Нисколько?

— Я Николая Петровича одного на свѣтѣ люблю, и вѣкъ любить буду!—проговорила съ внезапною силой Ѳеничка, между тѣмъ какъ рыданья такъ и поднимали ея горло:—а что̀ вы видѣли, такъ я на страшномъ судѣ скажу, что вины моей въ томъ нѣтъ, и не было, и ужъ лучше мнѣ умереть сейчасъ, коли меня въ такомъ дѣлѣ подозрѣвать могутъ, что я передъ моимъ благодѣтелемъ, Николаемъ Петровичемъ...

Но тутъ голосъ измѣнилъ ей, и въ то же время она почувствовала, что Павелъ Петровичъ ухватилъ и стиснулъ *ея руку*... Она посмотрѣла на него, и такъ и окаменѣла.

Онъ сталъ еще блѣднѣе прежняго; глаза его блистали, и что̀ всего было удивительнѣе, тяжелая, одинокая слеза катилась по его щекѣ.

— Ѳеничка! — сказалъ онъ какимъ-то чуднымъ шопотомъ:—любите, любите моего брата! Онъ такой добрый, хорошій человѣкъ! Не измѣняйте ему ни для кого на свѣтѣ, не слушайте ничьихъ рѣчей! Подумайте, что̀ можетъ быть ужаснѣе, какъ любить и не быть любимымъ! Не покидайте никогда моего бѣднаго Николая!

Глаза высохли у Ѳенички, и страхъ ея прошелъ,—до того велико было ея изумленіе. Но что̀ сталось съ ней, когда Павелъ Петровичъ, самъ Павелъ Петровичъ прижалъ ея руку къ своимъ губамъ, и такъ и приникъ къ ней, не цѣлуя ея и только изрѣдка судорожно вздыхая...

„Господи“, подумала она: „ужъ не припадокъ ли съ нимъ?..“

А въ это мгновеніе цѣлая погибшая жизнь въ немъ трепетала.

Лѣстница заскрипѣла подъ быстрыми шагами.. Онъ оттолкнулъ ее отъ себя прочь, и откинулся головой на подушку. Дверь растворилась, — и веселый, свѣжій, румяный, появился Николай Петровичъ. Митя, такой же свѣжій и румяный какъ отецъ, подпрыгивалъ въ одной рубашечкѣ на его груди, цѣпляясь голыми ножками за большія пуговицы его деревенскаго пальто.

Ѳеничка такъ и бросилась къ нему и, обвивъ руками и его, и сына, припала головой къ его плечу. Николай Петровичъ удивился: Ѳеничка, застѣнчивая и скромная, никогда не ласкалась къ нему въ присутствіи третьяго лица.

— Что съ тобой?—промолвилъ онъ и, глянувъ на брата, передалъ ей Митю.—Ты не хуже себя чувствуешь?—спросилъ онъ, подходя къ Павлу Петровичу.

Тотъ уткнулъ лицо въ батистовый платокъ.—Нѣтъ... такъ... ничего... Напротивъ, мнѣ гораздо лучше.

— Ты напрасно поспѣшилъ перейти на диванъ. Ты куда?—прибавилъ Николай Петровичъ, оборачиваясь къ

Ѳеничкѣ; но та уже захлопнула за собою дверь.—Я-было принесъ показать тебѣ моего богатыря; онъ соскучился по своемъ дядѣ. Зачѣмъ это она унесла его? Однако, что̀ съ тобой? Произошло у васъ тутъ что-нибудь, что̀ ли?

— Братъ!—торжественно проговорилъ Павелъ Петровичъ.

Николай Петровичъ дрогнулъ. Ему стало жутко, онъ самъ не понималъ—почему.

— Братъ,—повторилъ Павелъ Петровичъ: — дай мнѣ слово исполнить одну мою просьбу.

— Какую просьбу? Говори.

— Она очень важна; отъ нея, по моимъ понятіямъ, зависитъ все счастье твоей жизни. Я все это время много размышлялъ о томъ, что̀ я хочу теперь сказать тебѣ... Братъ, исполни обязанность твою, обязанность честнаго и благороднаго человѣка, прекрати соблазнъ и дурной примѣръ, который подается тобою, лучшимъ изъ людей!

— Что̀ ты хочешь сказать, Павелъ?

— Женись на Ѳеничкѣ... Она тебя любитъ; она—мать твоего сына.

Николай Петровичъ отступилъ на шагъ и всплеснулъ руками.

— Ты это говоришь, Павелъ? ты, котораго я считалъ всегда самымъ непреклоннымъ противникомъ подобныхъ браковъ! Ты это говоришь! Но развѣ ты не знаешь, что единственно изъ уваженія къ тебѣ я не исполнилъ того, что̀ ты такъ справедливо назвалъ моимъ долгомъ!

— Напрасно жъ ты уважалъ меня въ этомъ случаѣ, — возразилъ съ унылою улыбкою Павелъ Петровичъ.—Я начинаю думать, что Базаровъ былъ правъ, когда упрекалъ меня въ аристократизмѣ. Нѣтъ, милый братъ, полно намъ ломаться и думать о свѣтѣ: мы люди уже старые и смирные; пора намъ отложить въ сторону всякую суету. Именно, какъ ты говоришь, станемъ исполнять нашъ долгъ; и посмотри, мы еще и счастье получимъ въ придачу.

Николай Петровичъ бросился обнимать своего брата.

— *Ты* мнѣ окончательно открылъ глаза,—воскликнулъ

нъ.—Я не даромъ всегда утверждалъ, что ты самый доб-
ый и умный человѣкъ въ мірѣ; а теперь я вижу, что
ы такой же благоразумный, какъ и великодушный.

— Тише, тише,—перебилъ его Павелъ Петровичъ.—Не
азбереди ногу твоего благоразумнаго брата, который подъ
ятьдесятъ лѣтъ дрался на дуэли, какъ прапорщикъ.
такъ, это дѣло рѣшеное: Ѳеничка будетъ моею... belle-
eur.

— Дорогой мой Павелъ! Но что́ скажетъ Аркадій?

— Аркадій? онъ восторжествуетъ, помилуй! Бракъ не
ь его принсипахъ, зато чувство равенства будетъ въ
емъ польщено. Да и дѣйствительно, что́ за касты au
ix-neuvième siècle?

— Ахъ, Павелъ, Павелъ! дай мнѣ еще разъ тебя по-
ѣловать. Не бойся, я осторожно.

Братья обнялись.

— Какъ ты полагаешь, не объявить ли ей твое намѣ-
ѣніе теперь же?—спросилъ Павелъ Петровичъ.

— Къ чему спѣшить?—возразилъ Николай Петровичъ.—
Развѣ у васъ былъ разговоръ?

— Разговоръ у насъ? Quelle idée!

— Ну, и прекрасно. Прежде всего выздоравливай, а
то отъ насъ не уйдетъ, надо подумать хорошенько, со-
бразить...

— Но вѣдь ты рѣшился?

— Конечно рѣшился, и благодарю тебя отъ души. Я
еперь тебя оставлю; тебѣ надо отдохнуть; всякое волне-
ie тебѣ вредно... Но мы еще потолкуемъ. Засни, душа
оя, и дай Богъ тебѣ здоровья!

„За что́ онъ меня такъ благодаритъ?“ подумалъ Павелъ
етровичъ, оставшись одинъ. — „Какъ будто это не отъ
его зависѣло! А я, какъ только онъ женится, уѣду куда-
будь подальше, въ Дрезденъ или во Флоренцію, и буду
мъ жить, пока околѣю“.

Павелъ Петровичъ помочилъ себѣ лобъ о-де-колономъ и
крылъ глаза. Освѣщенная яркимъ дневнымъ свѣтомъ,
о красивая, исхудалая голова лежала на бѣлой по-
шкѣ, какъ голова мертвеца... Да онъ и былъ мертвецъ.

XXV.

Въ Никольскомъ, въ саду, въ тѣни высокаго ясеня дѣли на дерновой скамейкѣ Катя съ Аркадіемъ; на зе возлѣ нихъ, помѣстилась Фифи, придавъ своему длин тѣлу тотъ изящный поворотъ, который у охотниковъ ветъ „русачьей полежкой“. И Аркадій, и Катя молч онъ держалъ въ рукахъ полураскрытую книгу, а она бирала изъ корзинки оставшіяся въ ней крошки бѣ хлѣба, и бросала ихъ небольшой семейкѣ воробьевъ, торые, съ свойственной имъ трусливою дерзостью, гали и чирикали у самыхъ ея ногъ. Слабый вѣтеръ, веля въ листьяхъ ясеня, тихонько двигалъ взадъ и редъ, и по темной дорожкѣ, и по желтой спинѣ Ф блѣдно-золотыя пятна свѣта; ровная тѣнь обливала А дія и Катю; только изрѣдка въ ея волосахъ зажига. яркая полоска. Они молчали оба; но именно въ томъ, о они молчали, какъ они сидѣли рядомъ, сказывалось вѣрчивое сближеніе: каждый изъ нихъ какъ будто и думалъ о своемъ сосѣдствѣ, а втайнѣ радовался его зости. И лица ихъ измѣнились съ тѣхъ поръ, какъ ихъ видѣли въ послѣдній разъ: Аркадій казался спо пѣе, Катя оживленнѣе, смѣлѣй.

— Не находите ли вы, — началъ Аркадій: — что я по-русски очень хорошо названъ: ни одно дерево т легко и *ясно* не сквозитъ въ воздухѣ, какъ онъ.

Катя подняла глаза кверху и промолвила: „да“, а кадій подумалъ: „вотъ эта не упрекаетъ меня за то, я *красиво* выражаюсь“.

— Я не люблю Гейне,—заговорила Катя, указывая зами на книгу, которую Аркадій держалъ въ рукахъ: ни когда онъ смѣется, ни когда онъ плачетъ: я его люб когда онъ задумчивъ и груститъ.

— А мнѣ нравится, когда онъ смѣется,—замѣтилъ кадій.

— Это въ васъ еще старые слѣды вашего сатир ческаго направленія... (Старые слѣды! подумалъ Аркадій если бъ Базаровъ это слышалъ!) Погодите, мы васъ п дѣлаемъ.

— Кто меня передѣлаетъ? Вы?

— Кто?—сестра; Порфирій Платоновичъ, съ которымъ вы уже не ссоритесь; тетушка, которую вы третьяго дня проводили въ церковь.

— Не могъ же я отказаться! А что̀ касается до Анны Сергѣевны, она сама, вы помните, во многомъ соглашалась съ Евгеніемъ.

— Сестра находилась тогда подъ его вліяніемъ, такъ же, какъ и вы.

— Какъ и я! Развѣ вы замѣчаете, что я уже освободился изъ-подъ его вліянія?

Катя промолчала.

— Я знаю,—продолжалъ Аркадій:—онъ вамъ никогда не нравился.

— Я не могу судить о немъ.

— Знаете ли что̀, Катерина Сергѣевна? Всякій разъ, когда я слышу этотъ отвѣтъ, я ему не вѣрю... Нѣтъ такого человѣка, о которомъ каждый изъ насъ не могъ бы судить! Это просто отговорка.

— Ну, такъ я вамъ скажу, что онъ... не то, что мнѣ не нравится, а я чувствую, что и онъ мнѣ чужой, и я ему чужая... да и вы ему чужой.

— Это почему?

— Какъ вамъ сказать... Онъ хищный, а мы съ вами ручные.

— И я ручной?

Катя кивнула головой.

Аркадій почесалъ у себя за ухомъ.

— Послушайте, Катерина Сергѣевна: вѣдь это въ сущности обидно.

— Развѣ вы хотѣли бы быть хищнымъ?

— Хищнымъ—нѣтъ, но сильнымъ, энергическимъ.

— Этого нельзя хотѣть... Вотъ вашъ пріятель этого и не хочетъ, а въ немъ это есть.

— Гм! Такъ вы полагаете, что онъ имѣлъ большое вліяніе на Анну Сергѣевну?

— Да. Но надъ ней никто долго взять верхъ не можетъ,—прибавила Катя вполголоса.

— Почему вы это думаете?

— Она очень горда... я не то хотѣла сказать... она очень дорожитъ своей независимостью.

— Кто же ею не дорожитъ?—спросилъ Аркадій, а у самого въ умѣ мелькнуло: „на что она?“ „На что она?“— мелькнуло и у Кати. Молодымъ людямъ, которые часто и дружелюбно сходятся, безпрестанно приходятъ однѣ и тѣ же мысли.

Аркадій улыбнулся и, слегка придвинувшись къ Катѣ, промолвилъ шопотомъ:

— Сознайтесь, что вы немножко *ея* боитесь.

— Кого?

— *Ея*,—значительно повторилъ Аркадій.

— А вы?—въ свою очередь спросила Катя.

— И я; замѣтьте, я сказалъ: *и* я.

Катя погрозила ему пальцемъ.

— Это меня удивляетъ,—начала она:—никогда сестра такъ не была расположена къ вамъ, какъ именно теперь; гораздо больше, чѣмъ въ первый вашъ пріѣздъ.

— Вотъ какъ!

— А вы этого не замѣтили? Васъ это не радуетъ?

Аркадій задумался.

— Чѣмъ я могъ заслужить благоволеніе Анны Сергѣевны? Ужъ не тѣмъ ли, что привезъ ей письма вашей матушки?

— И этимъ, и другія есть причины, которыхъ я не скажу.

— Это почему?

— Не скажу.

— О! я знаю: вы очень упрямы.

— Упряма.

— И наблюдательны.

Катя посмотрѣла сбоку на Аркадія.

— Можетъ-быть, васъ это сердитъ? О чемъ вы думаете?

— Я думаю о томъ, откуда могла придти вамъ эта наблюдательность, которая дѣйствительно есть въ васъ. Вы *такъ пугливы*, недовѣрчивы, всѣхъ чуждаетесь...

— Я много жила одна; поневолѣ размышлять станешь. Но развѣ я всѣхъ чуждаюсь?

Аркадій бросилъ признательный взглядъ на Катю.

— Все это прекрасно,—продолжалъ онъ:—но люди въ вашемъ положеніи, я хочу сказать, съ вашимъ состояніемъ, рѣдко владѣютъ этимъ даромъ; до нихъ, какъ до царей, истинѣ трудно дойти.

— Да вѣдь я не богатая.

Аркадій изумился и не сразу понялъ Катю. „И въ самомъ дѣлѣ, имѣніе-то все сестрино!“ пришло ему въ голову; эта мысль ему не была непріятна.

— Какъ вы это хорошо сказали!—промолвилъ онъ.

— А что?

— Сказали хорошо; просто, не стыдясь и не рисуясь. Кстати: я воображаю, въ чувствѣ человѣка, который знаетъ и говоритъ, что онъ бѣденъ, должно быть что-то особенное, какое-то своего рода тщеславіе.

— Я ничего этого не испытала, по милости сестры; я упомянула о своемъ состояніи только потому, что къ слову пришлось.

— Такъ; но сознайтесь, что и въ васъ есть частица того тщеславія, о которомъ я сейчасъ говорилъ.

— Напримѣръ?

— Напримѣръ, вѣдь вы, — извините мой вопросъ,—вы бы не пошли замужъ за богатаго человѣка?

— Если бъ я его очень любила... Нѣтъ, кажется, и тогда бы не пошла.

— А! вотъ видите! — воскликнулъ Аркадій и, погодя немного, прибавилъ:—а отчего бы вы за него не пошли?

— Оттого, что и въ пѣснѣ про неровнюшку поется.

— Вы, можетъ-быть, хотите властвовать или...

— О, нѣтъ! къ чему это? Напротивъ, я готова покоряться; только неравенство тяжело. А уважить себя и покоряться, это я понимаю; это счастье; но подчиненное существованіе... Нѣтъ, довольно и такъ.

— Довольно и такъ,—повторилъ за Катей Аркадій.— Да, да,—продолжалъ онъ:—вы не даромъ одной крови съ княжной Сергѣевной; вы такъ же самостоятельны, какъ она;

но вы болѣе скрытны. Вы, я увѣренъ, ни за что первая не выскажете своего чувства, какъ бы оно ни было сильно и свято...

— Да какъ же иначе?—спросила Катя.

— Вы одинаково умны; у васъ столько же, если не больше, характера, какъ у ней...

— Не сравнивайте меня съ сестрой, пожалуйста,—поспѣшно перебила Катя: — это для меня слишкомъ невыгодно. Вы какъ будто забыли, что сестра и красавица, и умница, и... вамъ въ особенности, Аркадій Николаичъ, не слѣдовало бы говорить такія слова, и еще съ такимъ серьезнымъ лицомъ.

— Что̀ значитъ это: вамъ въ особенности,—и изъ чего вы заключаете, что я шучу?

— Конечно, вы шутите.

— Вы думаете? А что, если я убѣжденъ въ томъ, что говорю? Если я нахожу, что я еще не довольно сильно выразился?

— Я васъ не понимаю.

— Въ самомъ дѣлѣ? Ну, теперь я вижу: я, точно, слишкомъ превозносилъ вашу наблюдательность.

— Какъ?

Аркадій ничего не отвѣтилъ и отвернулся, а Катя отыскала въ корзинкѣ еще нѣсколько крошекъ и начала бросать ихъ воробьямъ; но взмахъ ея руки былъ слишкомъ силенъ, и они улетали прочь, не успѣвши клюнуть.

— Катерина Сергѣевна!—заговорилъ вдругъ Аркадій:— вамъ это, вѣроятно, все равно; но знайте, что я васъ не только на вашу сестру, — ни на кого въ свѣтѣ не промѣняю.

Онъ всталъ и быстро удалился, какъ бы испугавшись словъ, сорвавшихся у него съ языка.

А Катя уронила обѣ руки вмѣстѣ съ корзинкой на колѣни, и, наклонивъ голову, долго смотрѣла вслѣдъ Аркадію. Понемногу, алая краска чуть-чуть выступила на ея щеки; но губы не улыбались, и темные глаза выражали недоумѣніе и какое-то другое, пока еще безымянное *чувство.*

— Ты одна? — раздался возлѣ нея голосъ Анны Сергѣевны.—Кажется, ты пошла въ садъ съ Аркадіемъ.

Катя, не спѣша, перевела свои глаза на сестру (изящно, даже изысканно одѣтая, она стояла на дорожкѣ и кончикомъ раскрытаго зонтика шевелила уши Фифи), и не спѣша промолвила:

— Я одна.

— Я это вижу,—отвѣчала та со смѣхомъ:—онъ сталобыть ушелъ къ себѣ.

— Да.

— Вы вмѣстѣ читали?

— Да.

Анна Сергѣевна взяла Катю за подбородокъ и приподняла ея лицо.

— Вы не поссорились, надѣюсь?

— Нѣтъ,—сказала Катя, и тихо отвела сестрину руку.

— Какъ ты торжественно отвѣчаешь! Я думала найти его здѣсь, и предложить ему пойти гулять со мною. Онъ самъ меня все проситъ объ этомъ. Тебѣ изъ города привезли ботинки, поди примѣрь ихъ: я уже вчера замѣтила, что твои прежнія совсѣмъ износились. Вообще, ты не довольно этимъ занимаешься, а у тебя еще такія прелестныя ножки! И руки твои хороши... только велики; такъ надо ножками брать. Но ты у меня не кокетка.

Анна Сергѣевна отправилась дальше по дорожкѣ, слегка шумя своимъ красивымъ платьемъ; Катя поднялась со скамейки и, взявъ съ собою Гейне, ушла тоже — только не примѣрять ботинки.

„Прелестныя ножки“, думала она, медленно и легко сходя по раскаленнымъ отъ солнца каменнымъ ступенямъ террасы:—„прелестныя ножки, говорите вы... Ну, онъ и будетъ у нихъ“.

Но ей тотчасъ стало стыдно, и она проворно побѣжала наверхъ.

Аркадій пошелъ по коридору къ себѣ въ комнату; дворецкій нагналъ его и доложилъ, что у него сидитъ господинъ Базаровъ.

— Евгеній! — пробормоталъ почти съ испугомъ А дій: —давно ли онъ пріѣхалъ?

— Сію минуту пожаловали, и приказали о себѣ А Сергѣевнѣ не докладывать, а прямо къ вамъ себя казали провести.

„Ужъ не несчастье ли какое у насъ дома?“ подум Аркадій и, торопливо взбѣжавъ по лѣстницѣ, ра отворилъ дверь. Видъ Базарова тотчасъ его успоко хотя болѣе опытный глазъ, вѣроятно, открылъ бы энергической попрежнему, но осунувшейся фигурѣ жданаго гостя признаки внутренняго волненія. Съ пы ною шинелью на плечахъ, съ картузомъ на головѣ, дѣлъ онъ на оконницѣ; онъ не поднялся и тогда, к Аркадій бросился съ шумными восклицаніями къ е на шею.

— Вотъ неожиданно! Какими судьбами! — тверд онъ, суетясь по комнатѣ, какъ человѣкъ, который и с воображаетъ, и желаетъ показать, что радуется. — В у насъ все въ домѣ благополучно, всѣ здоровы, правда ли?

— Все у васъ благополучно, но не всѣ здоровы,—п говорилъ Базаровъ. — А ты не тараторь, вели прине мнѣ квасу, присядь и слушай, что я тебѣ сообщу въ многихъ, но, надѣюсь, довольно сильныхъ выраженія

Аркадій притихъ, а Базаровъ разсказалъ ему с дуэль съ Павломъ Петровичемъ. Аркадій очень удиви и даже опечалился; но не почелъ нужнымъ это вы зать; онъ только спросилъ, дѣйствительно ли не опа рана его дяди? и, получивъ отвѣтъ, что она — са интересная, только не въ медицинскомъ отношеніи,—п нужденно улыбнулся, а на сердцѣ и жутко сдѣлалось какъ-то стыдно. Базаровъ какъ будто его понялъ.

— Да, братъ, — промолвилъ онъ: — вотъ что знач съ феодалами пожить. Самъ въ феодалы попадешь въ рыцарскихъ турнирахъ участвовать будешь. Ну вотъ я и отправился къ „отцамъ“,—такъ заключилъ заровъ: — и на дорогѣ завернулъ сюда... чтобы все передать, сказалъ бы я, если бъ я не почиталъ бе

лезную ложь—глупостью. Нѣтъ, я завернулъ сюда—чортъ знаетъ зачѣмъ. Видишь ли, человѣку иногда полезно взять себя за хохолъ, да выдернуть себя вонъ, какъ рѣдьку изъ гряды: это я совершилъ на-дняхъ... Но мнѣ захотѣлось взглянуть еще разъ на то, съ чѣмъ я разстался, на ту гряду, гдѣ я сидѣлъ.

— Я надѣюсь, что эти слова ко мнѣ не относятся,— возразилъ съ волненіемъ Аркадій: — я надѣюсь, что ты не думаешь разстаться *со мной*.

Базаровъ пристально, почти пронзительно, взглянулъ на него.

— Будто это такъ огорчитъ тебя? Мнѣ сдается, что *ты* уже разстался со мною. Ты такой свѣженькій да чистенькій... должно-быть твои дѣла съ Анной Сергѣевной идутъ отлично.

— Какія мои дѣла съ Анной Сергѣевной?

— Да развѣ ты не для нея сюда пріѣхалъ изъ города, птенчикъ? Кстати, какъ тамъ подвизаются воскресныя школы? Развѣ ты не влюбленъ въ нее? Или уже тебѣ пришла пора скромничать?

— Евгеній, ты знаешь, я всегда былъ откровененъ съ тобою; могу тебя увѣрить, божусь тебѣ, что ты ошибаешься.

— Гм! Новое слово,—замѣтилъ вполголоса Базаровъ.— Но тебѣ не для чего горячиться, мнѣ вѣдь это совершенно все равно. Романтикъ сказалъ бы: я чувствую, что наши дороги начинаютъ расходиться, а я просто говорю, что мы другъ другу пріѣлись.

— Евгеній...

— Душа моя, это не бѣда; то ли еще на свѣтѣ пріѣдается! А теперь, я думаю, не проститься ли намъ? Съ тѣхъ поръ, какъ я здѣсь, я препакостно себя чувствую, точно начитался писемъ Гоголя къ калужской губернаторшѣ. Кстати жъ, я не велѣлъ откладывать лошадей.

— Помилуй, это невозможно!

— А почему?

— Я уже не говорю о себѣ; но это будетъ въ высшей

степени невѣжливо передъ Анной Сергѣевной, которая непремѣнно пожелаетъ тебя видѣть.

— Ну, въ этомъ ты ошибаешься.

— А я, напротивъ, увѣренъ, что я правъ,—возразилъ Аркадій. — И къ чему ты притворяешься? Ужъ коли на то пошло, развѣ ты самъ не для нея сюда пріѣхалъ?

— Это, можетъ-быть, и справедливо, но ты все-таки ошибаешься.

Но Аркадій былъ правъ. Анна Сергѣевна пожелала повидаться съ Базаровымъ, и пригласила его къ себѣ черезъ дворецкаго. Базаровъ переодѣлся, прежде чѣмъ пошелъ къ ней: оказалось, что онъ уложилъ свое новое платье такъ, что оно было у него подъ рукою.

Одинцова его приняла не въ той комнатѣ, гдѣ онъ такъ неожиданно объяснился ей въ любви, а въ гостиной. Она любезно протянула ему кончики пальцевъ, но лицо ея выражало невольное напряженіе.

— Анна Сергѣевна,—поторопился сказать Базаровъ:— прежде всего я долженъ васъ успокоить. Передъ вами смертный, который самъ давно опомнился, и надѣется, что и другіе забыли его глупости. Я уѣзжаю надолго, и согласитесь, хоть я и не мягкое существо, но мнѣ было бы невесело унести съ собою мысль, что вы вспоминаете обо мнѣ съ отвращеніемъ.

Анна Сергѣевна глубоко вздохнула, какъ человѣкъ, только что взобравшійся на высокую гору, и лицо ея оживилось улыбкой. Она вторично протянула Базарову руку, и отвѣчала на его пожатіе.

— Кто старое помянетъ, тому глазъ вонъ, — сказала она:—тѣмъ болѣе, что, говоря по совѣсти, и я согрѣшила тогда, если не кокетствомъ, такъ чѣмъ-то другимъ. Одно слово: будемте пріятелями попрежнему. То былъ сонъ, не правда ли? А кто же сны помнитъ?

— Кто ихъ помнитъ? Да притомъ любовь... вѣдь это чувство напускное.

— Въ самомъ дѣлѣ? Мнѣ очень пріятно это слышать.

Такъ выражалась Анна Сергѣевна, и такъ выражался *Базаровъ*; они оба думали, что говорили правду. Была ли

правда, полная правда, въ ихъ словахъ? Они сами этого не знали, а авторъ и подавно. Но бесѣда у нихъ завязалась такая, какъ будто они совершенно повѣрили другъ другу.

Анна Сергѣевна спросила, между прочимъ, Базарова, что́ онъ дѣлалъ у Кирсановыхъ? Онъ чуть-было не разсказалъ ей о своей дуэли съ Павломъ Петровичемъ, но удержался при мысли, какъ бы она не подумала, что онъ интересничаетъ, и отвѣчалъ ей, что онъ все это время работалъ.

— А я, — промолвила Анна Сергѣевна:—сперва хандрила, Богъ знаетъ отчего, даже за границу собиралась, вообразите!.. Потомъ это прошло, вашъ пріятель, Аркадій Николаичъ, пріѣхалъ, и я опять попала въ свою колею, въ свою настоящую роль.

— Въ какую это роль, позвольте узнать?

— Роль тетки, наставницы, матери, какъ хотите назовите. Кстати, знаете ли, что я прежде хорошенько не понимала вашей тѣсной дружбы съ Аркадіемъ Николаичемъ; я находила его довольно незначительнымъ. Но теперь я его лучше узнала, и убѣдилась, что онъ уменъ... А главное, онъ молодъ, молодъ... не то, что́ мы съ вами, Евгеній Васильичъ.

— Онъ все такъ же робѣетъ въ вашемъ присутствіи?— спросилъ Базаровъ.

— А развѣ... — начала-было Анна Сергѣевна и, подумавъ немного, прибавила:—теперь онъ довѣрчивѣе сталъ, говоритъ со мною. Прежде онъ избѣгалъ меня. Впрочемъ, и я не искала его общества. Они большіе пріятели съ Катей.

Базарову стало досадно. „Не можетъ женщина не хитрить!“ подумалъ онъ.

— Вы говорите, онъ избѣгалъ васъ, — произнесъ онъ съ холодною усмѣшкой:—но, вѣроятно, для васъ не осталось тайной, что онъ былъ въ васъ влюбленъ?

— Какъ? и онъ?—сорвалось у Анны Сергѣевны.

— И онъ,—повторилъ Базаровъ съ смиреннымъ поклономъ. — Неужели вы этого не знали, и я вамъ сказалъ новость?

Анна Сергѣевна опустила глаза.

— Вы ошибаетесь, Евгеній Васильичъ.

— Не думаю. Но, можетъ-быть, мнѣ не слѣдовало упоминать объ этомъ. „А ты впередъ не хитри“, прибавилъ онъ про себя.

— Отчего не упоминать? Но я полагаю, что вы и тутъ придаете слишкомъ большое значеніе мгновенному впечатлѣнію. Я начинаю подозрѣвать, что вы склонны къ преувеличенію.

— Не будемте лучше говорить объ этомъ, Анна Сергѣевна.

— Отчего же? — возразила она, а сама перевела разговоръ на другую дорогу. Ей все-таки было неловко съ Базаровымъ, хотя она и ему сказала, и сама себя увѣрила, что все позабыто. Мѣняясь съ нимъ самыми простыми рѣчами, даже шутя съ нимъ, она чувствовала легкое стѣсненіе страха. Такъ люди на пароходѣ, въ морѣ, разговариваютъ и смѣются беззаботно, ни-дать, ни-взять, какъ на твердой землѣ; но случись малѣйшая остановка, появись малѣйшій признакъ чего-нибудь необычайнаго, и тотчасъ же на всѣхъ лицахъ выступитъ выраженіе особенной тревоги, свидѣтельствующее о постоянномъ сознаніи постоянной опасности.

Бесѣда Анны Сергѣевны съ Базаровымъ продолжалась недолго. Она начала задумываться, отвѣчать разсѣянно, и предложила ему наконецъ перейти въ залу, гдѣ они нашли княжну и Катю. „А гдѣ же Аркадій Николаичъ?“ спросила хозяйка и, узнавъ, что онъ не показывался уже болѣе часа, послала за нимъ. Его не скоро нашли: онъ забрался въ самую глушь сада, и опершись подбородкомъ на скрещенныя руки, сидѣлъ погруженный въ думы. Онѣ были глубоки и важны, эти думы, но не печальны. Онъ зналъ, что Анна Сергѣевна сидитъ наединѣ съ Базаровымъ, и ревности онъ не чувствовалъ, какъ бывало; напротивъ, лицо его тихо свѣтлѣло; казалось, онъ и дивился чему-то, и радовался, и рѣшался на что-то.

XXVI.

Покойный Одинцовъ не любилъ нововведеній, но допускалъ „нѣкоторую игру облагороженнаго вкуса“, и вслѣдствіе этого воздвигнулъ у себя въ саду, между теплицей и прудомъ, строеніе въ родѣ греческаго портика изъ русскаго кирпича. На задней, глухой стѣнѣ этого портика, или галлереи, были вдѣланы шесть нишъ для статуй, которыя Одинцовъ собирался выписать изъ-за границы. Эти статуи долженствовали изображать собою: Уединеніе, Молчаніе, Размышленіе, Меланхолію, Стыдливость и Чувствительность. Одну изъ нихъ, богиню Молчанія, съ пальцемъ на губахъ, привезли-было и поставили; но ей въ тотъ же день дворовые мальчишки отбили носъ, и хотя сосѣдній штукатуръ брался придѣлать ей носъ „вдвое лучше прежняго“, однако Одинцовъ велѣлъ ее принять, и она очутилась въ углу молотильнаго сарая, гдѣ стояла долгіе годы, возбуждая суевѣрный ужасъ бабъ. Передняя сторона портика давно заросла густымъ кустарникомъ: одни капители колоннъ виднѣлись надъ сплошною зеленью. Въ самомъ портикѣ, даже въ полдень, было прохладно. Анна Сергѣевна не любила посѣщать это мѣсто съ тѣхъ поръ, какъ увидала тамъ ужа; но Катя часто приходила садиться на большую каменную скамью, устроенную подъ одною изъ нишъ. Окруженная свѣжестью и тѣнью, она читала, работала, или предавалась тому ощущенію полной тишины, которое, вѣроятно, знакомо каждому, и прелесть котораго состоитъ въ едва-сознательномъ, нѣмотствующемъ подкарауливаньи широкой жизненной волны, непрерывно катящейся и кругомъ насъ, и въ насъ самихъ.

На другой день по пріѣздѣ Базарова, Катя сидѣла на своей любимой скамьѣ, и рядомъ съ нею сидѣлъ опять Аркадій. Онъ упросилъ ее пойти съ нимъ въ „портикъ“.

До завтрака оставалось около часа; росистое утро уже смѣнялось горячимъ днемъ. Лицо Аркадія сохраняло вчерашнее выраженіе, Катя имѣла видъ озабоченный. Сестра ея, тотчасъ послѣ чаю, позвала ее къ себѣ въ кабинетъ

и, предварительно приласкавъ ее, что̀ всегда немного пугало Катю, посовѣтовала ей быть осторожнѣй въ своемъ поведеніи съ Аркадіемъ, а особенно избѣгать уединенныхъ бесѣдъ съ нимъ, будто бы замѣченныхъ и теткой, и всѣмъ домомъ. Кромѣ того, уже наканунѣ вечеромъ, Анна Сергѣевна была не въ духѣ; да и сама Катя чувствовала смущеніе, точно сознавала вину за собою. Уступая просьбѣ Аркадія, она себѣ сказала, что это въ послѣдній разъ.

— Катерина Сергѣевна,—заговорилъ онъ съ какою-то застѣнчивою развязностью:—съ тѣхъ поръ, какъ я имѣю счастье жить въ одномъ домѣ съ вами, я обо многомъ съ вами бесѣдовалъ, а между тѣмъ есть одинъ очень важный для меня... вопросъ, до котораго я еще не касался. Вы замѣтили вчера, что меня здѣсь передѣлали,—прибавилъ онъ, и ловя, и избѣгая вопросительно устремленный на него взоръ Кати. — Дѣйствительно, я во многомъ измѣнился, и это вы знаете лучше всякаго другого,—вы, которой я, въ сущности, и обязанъ этой перемѣной.

— Я?.. Мнѣ?..—проговорила Катя.

— Я теперь уже не тотъ заносчивый мальчикъ, какимъ я сюда пріѣхалъ, — продолжалъ Аркадій: — не даромъ же мнѣ и минулъ двадцать третій годъ, я попрежнему желаю быть полезнымъ, желаю посвятить всѣ мои силы истинѣ; но я уже не тамъ ищу свои идеалы, гдѣ искалъ ихъ прежде; они представляются мнѣ... гораздо ближе. До сихъ поръ я не понималъ себя, я задавалъ себѣ задачи, которыя мнѣ не по силамъ... Глаза мои недавно раскрылись, благодаря одному чувству... Я выражаюсь не совсѣмъ ясно, но я надѣюсь, что вы меня поймете...

Катя ничего не отвѣчала, но перестала глядѣть на Аркадія.

— Я полагаю,—заговорилъ онъ снова, уже болѣе взволнованнымъ голосомъ, а зябликъ надъ нимъ въ листвѣ березы беззаботно распѣвалъ свою пѣсенку:—я полагаю, что обязанность всякаго честнаго человѣка быть вполнѣ откровеннымъ съ тѣми... съ тѣми людьми, которые... словомъ, съ близкими ему людьми, а потому я... я намѣренъ...

Но тутъ краснорѣчіе измѣнило Аркадію; онъ сбился, замялся и принужденъ былъ немного помолчать; Катя все не поднимала глазъ. Казалось, она и не понимала, къ чему онъ это все ведетъ, и ждала чего-то.

— Я предвижу, что удивлю васъ, — началъ Аркадій, снова собравшись съ силами:—тѣмъ болѣе, что это чувство относится нѣкоторымъ образомъ... нѣкоторымъ образомъ, замѣтьте, — до васъ. Вы меня, помнится, вчера упрекнули въ недостаткѣ серьезности,—продолжалъ Аркадій, съ видомъ человѣка, который вошелъ въ болото, чувствуетъ, что съ каждымъ шагомъ погружается больше и больше, и все-таки спѣшитъ впередъ, въ надеждѣ поскорѣе перебраться:—этотъ упрекъ часто направляется... падаетъ... на молодыхъ людей, даже когда они перестаютъ его заслуживать; и если бы во мнѣ было больше самоувѣренности... („Да помоги же мнѣ, помоги!“ съ отчаяніемъ думалъ Аркадій, но Катя попрежнему не поворачивала головы.) Если бъ я могъ надѣяться...

— Если бъ я могла быть увѣрена въ томъ, что̀ вы говорите,—раздался въ это мгновеніе ясный голосъ Анны Сергѣевны.

Аркадій тотчасъ умолкъ, а Катя поблѣднѣла. Мимо самыхъ кустовъ, заслонявшихъ портикъ, пролегала дорожка. Анна Сергѣевна шла по ней въ сопровожденіи Базарова. Катя съ Аркадіемъ не могли ихъ видѣть, но слышали каждое слово, шелестъ платья, самое дыханіе. Они сдѣлали нѣсколько шаговъ и какъ нарочно остановились прямо передъ портикомъ.

— Вотъ видите ли,—продолжала Анна Сергѣевна:—мы съ вами ошиблись; мы оба уже не первой молодости, особенно я; мы пожили, устали; мы оба,—къ чему церемониться?—умны: сначала мы заинтересовали другъ друга, любопытство было возбуждено... а потомъ...

— А потомъ я выдохся,—подхватилъ Базаровъ.

— Вы знаете, что не это было причиною нашей размолвки. Но какъ бы то ни было, мы не нуждались другъ въ другѣ, вотъ главное; въ насъ слишкомъ много было...

какъ бы это сказать... однороднаго. Мы это не сразу поняли. Напротивъ, Аркадій...

— Вы въ немъ нуждаетесь?—спросилъ Базаровъ.

— Полноте, Евгеній Васильевичъ. Вы говорите, что онъ неравнодушенъ ко мнѣ, и мнѣ самой всегда казалось, что я ему нравлюсь. Я знаю, что я гожусь ему въ тетки, но я не хочу скрывать отъ васъ, что я стала чаще думать о немъ. Въ этомъ молодомъ и свѣжемъ чувствѣ есть какая-то прелесть...

— Слово *обаяніе* употребительнѣе въ подобныхъ случаяхъ,—перебилъ Базаровъ; кипѣніе желчи слышалось въ его спокойномъ, но глухомъ голосѣ. — Аркадій что-то секретничалъ вчера со мною, и не говорилъ ни о васъ, ни о вашей сестрѣ... Это симптомъ важный.

— Онъ съ Катей совсѣмъ какъ братъ,—промолвила Анна Сергѣевна:—и это мнѣ въ немъ нравится, хотя, можетъ-быть, мнѣ бы и не слѣдовало позволять такую близость между ними.

— Это въ васъ говоритъ... сестра?—произнесъ протяжно Базаровъ.

— Разумѣется... но что же мы стоимъ? Пойдемте. Какой странный разговоръ у насъ, не правда ли? И могла ли я ожидать, что буду говорить такъ съ вами? Вы знаете, что я васъ боюсь... и въ то же время я вамъ довѣряю, потому что въ сущности вы очень добры.

— Во-первыхъ, я вовсе не добръ; а во-вторыхъ, я потерялъ для васъ всякое значеніе, и вы мнѣ говорите, что я добръ... Это все равно, что класть вѣнокъ изъ цвѣтовъ на голову мертвеца.

— Евгеній Васильичъ, мы не властны...—начала-было Анна Сергѣевна; но вѣтеръ налетѣлъ, зашумѣлъ листами и унесъ ея слова.

— Вѣдь вы свободны, — произнесъ, немного погодя, Базаровъ.

Больше ничего нельзя было разобрать; шаги удалились... все затихло.

Аркадій обратился къ Катѣ. Она сидѣла въ томъ же *положеніи*, только еще ниже опустила голову.

— Катерина Сергѣевна,—проговорилъ онъ дрожащимъ голосомъ и стиснувъ руки:—я люблю васъ навѣкъ и безвозвратно, и никого не люблю кромѣ васъ. Я хотѣлъ вамъ это сказать, узнать ваше мнѣніе и просить вашей руки, потому что я и не богатъ, и чувствую, что готовъ на всѣ жертвы... Вы не отвѣчаете? Вы мнѣ не вѣрите? Вы думаете, что я говорю легкомысленно? Но вспомните эти послѣдніе дни! Неужели вы давно не убѣдились, что все другое—поймите меня—все, все другое давно исчезло безъ слѣда? Посмотрите на меня, скажите мнѣ одно слово... Я люблю... я люблю васъ... повѣрьте же мнѣ!

Катя взглянула на Аркадія важнымъ и свѣтлымъ взглядомъ и, послѣ долгаго раздумья, едва улыбнувшись, промолвила:—Да.

Аркадій вскочилъ со скамьи.—Да! Вы сказали: да, Катерина Сергѣевна! Что̀ значитъ это слово? То ли, что я васъ люблю, что вы мнѣ вѣрите... Или... или... я не смѣю докончить...

— Да,—повторила Катя, и въ этотъ разъ онъ ее понялъ. Онъ схватилъ ея большія прекрасныя руки и, задыхаясь отъ восторга, прижалъ ихъ къ своему сердцу. Онъ едва стоялъ на ногахъ и только твердилъ: „Катя, Катя...“, а она какъ-то невинно заплакала, сама тихо смѣясь своимъ слезамъ. Кто не видалъ такихъ слезъ въ глазахъ любимаго существа, тотъ еще не испыталъ, до какой степени, замирая весь отъ благодарности и отъ стыда, можетъ быть счастливъ на землѣ человѣкъ.

На слѣдующій день, рано поутру, Анна Сергѣевна велѣла позвать Базарова къ себѣ въ кабинетъ, и съ принужденнымъ смѣхомъ подала ему сложенный листокъ почтовой бумаги. Это было письмо отъ Аркадія: онъ въ немъ просилъ руки ея сестры.

Базаровъ быстро пробѣжалъ письмо, и сдѣлалъ усиліе надъ собою, чтобы не выказать злораднаго чувства, которое мгновенно вспыхнуло у него въ груди.

— Вотъ какъ,—проговорилъ онъ:—а вы, кажется, не далѣе какъ вчера полагали, что онъ любитъ Катерину

Сергѣевну братскою любовью. Что же вы намѣрены теперь сдѣлать?

— Что̀ *вы* мнѣ посовѣтуете?—спросила Анна Сергѣевна, продолжая смѣяться.

— Да я полагаю, — отвѣтилъ Базаровъ тоже со смѣхомъ, хотя ему вовсе не было весело и нисколько не хотѣлось смѣяться, такъ же какъ и ей:—я полагаю, слѣдуетъ благословить молодыхъ людей. Партія во всѣхъ отношеніяхъ хорошая; состояніе у Кирсанова изрядное, онъ одинъ сынъ у отца, да и отецъ добрый малый, прекословить не будетъ.

Одинцова прошлась по комнатѣ. Ея лицо попеременно краснѣло и блѣднѣло.

— Вы думаете?—промолвила она.—Что жъ? я не вижу препятствій... Я рада за Катю... и за Аркадія Николаевича. Разумѣется, я подожду отвѣта отца. Я его самого къ нему пошлю. Но вотъ и выходитъ, что я была права вчера, когда я говорила вамъ, что мы оба уже старые люди... Какъ это я ничего не видала? Это меня удивляетъ!

Анна Сергѣевна опять засмѣялась, и тотчасъ же отворотилась.

— Нынѣшняя молодежь больно хитра стала, — замѣтилъ Базаровъ, и тоже засмѣялся. — Прощайте, — заговорилъ онъ опять, послѣ небольшого молчанія. — Желаю вамъ окончить это дѣло самымъ пріятнымъ образомъ; а я издали порадуюсь.

Одинцова быстро повернулась къ нему.

— Развѣ вы уѣзжаете? Отчего же вамъ *теперь* не остаться? Останьтесь... съ вами говорить весело... точно по краю пропасти ходишь. Сперва робѣешь, а потомъ откуда смѣлость возьмется. Останьтесь.

— Спасибо за предложеніе, Анна Сергѣевна, и за лестное мнѣніе о моихъ разговорныхъ талантахъ. Но я нахожу, что я ужъ и такъ слишкомъ долго вращался въ чуждой для меня сферѣ. Летучія рыбы нѣкоторое время могутъ подержаться на воздухѣ, но вскорѣ должны шлепнуться въ воду; позвольте же и мнѣ плюхнуть въ мою *стихію*.

Одинцова посмотрѣла на Базарова. Горькая усмѣшка подергивала его блѣдное лицо. „Этотъ меня любилъ!“ подумала она — и жалко ей стало его, и съ участіемъ протянула она ему руку.

Но и онъ ее понялъ.

— Нѣтъ!—сказалъ онъ, и отступилъ на шагъ назадъ.— Человѣкъ я бѣдный, но милостыни еще до сихъ поръ не принималъ. Прощайте-съ, и будьте здоровы.

— Я убѣждена, что мы не въ послѣдній разъ видимся,—произнесла Анна Сергѣевна съ невольнымъ движеніемъ.

— Чего на свѣтѣ не бываетъ! — отвѣтилъ Базаровъ, поклонился и вышелъ.

— Такъ ты задумалъ гнѣздо себѣ свить? — говорилъ онъ въ тотъ же день Аркадію, укладывая на корточкахъ свой чемоданъ.—Что жъ? дѣло хорошее. Только напрасно ты лукавилъ. Я ждалъ отъ тебя совсѣмъ другой дирекціи. Или, можетъ-быть, это тебя самого огорошило?

— Я, точно, этого не ожидалъ, когда разставался съ тобою,—отвѣтилъ Аркадій:—но зачѣмъ ты самъ лукавишь и говоришь: „дѣло хорошее“, точно мнѣ неизвѣстно твое мнѣніе о бракѣ?

— Эхъ, другъ любезный, — проговорилъ Базаровъ: — какъ ты выражаешься! Видишь, что̀ я дѣлаю: въ чемоданѣ оказалось пустое мѣсто, и я кладу туда сѣно; такъ и въ жизненномъ нашемъ чемоданѣ; чѣмъ бы его ни набили, лишь бы пустоты не было. Не обижайся, пожалуйста: ты вѣдь вѣроятно помнишь, какого я всегда былъ мнѣнія о Катеринѣ Сергѣевнѣ. Иная барышня только отъ того и слыветъ умною, что умно вздыхаетъ; а твоя за себя постоитъ, да и такъ постоитъ, что и тебя въ руки заберетъ,—ну, да это такъ и слѣдуетъ.—Онъ захлопнулъ крышку и приподнялся съ полу. — А теперь повторяю тебѣ на прощаньѣ... потому что обманываться нечего: — мы прощаемся на всегда, и ты самъ это чувствуешь... ты поступилъ умно; для нашей горькой, терпкой, бобыльной жизни ты не созданъ. Въ тебѣ нѣтъ ни дерзости, ни злости, а есть молодая смѣлость да молодой задоръ, для

нашего дѣла это не годится. Вашъ братъ, дворянинъ, дальше благороднаго смиренія или благороднаго кипѣнія дойти не можетъ, а это пустяки. Вы, напримѣръ, не деретесь — и ужъ воображаете себя молодцами, — а мы драться хотимъ. Да что! Наша пыль тебѣ глаза выѣстъ, наша грязь тебя замараетъ, да ты и не доросъ до насъ, ты невольно любуешься собою, тебѣ пріятно самого себя бранить; а намъ это скучно—намъ другихъ подавай! намъ другихъ ломать надо! Ты славный малый; но ты все-таки мякенькій, либеральный баричъ, — *э волату*, какъ выражается мой родитель.

— Ты навсегда прощаешься со мною, Евгеній? — печально промолвилъ Аркадій: — и у тебя нѣтъ другихъ словъ для меня?

Базаровъ почесалъ у себя въ затылкѣ.

— Есть, Аркадій, есть у меня другія слова, только я ихъ не выскажу, потому что это романтизмъ, — это значитъ: разсыропиться. А ты поскорѣе женись; да своимъ гнѣздомъ обзаведись, да надѣлай дѣтей побольше. Умницы они будутъ уже потому, что во̀ время они родятся, не то что мы съ тобой. Эге! я вижу, лошади готовы. Пора! Со всѣми я простился... Ну что жъ? обняться, что ли?

Аркадій бросился на шею къ своему бывшему наставнику и другу, и слезы такъ и брызнули у него изъ глазъ.

— Что̀ значитъ молодость!—произнесъ спокойно Базаровъ.—Да я на Катерину Сергѣевну надѣюсь. Посмотри, какъ живо она тебя утѣшитъ!

— Прощай, братъ! — сказалъ онъ Аркадію, уже взобравшись на телѣгу, и указавъ на пару галокъ, сидѣвшихъ рядышкомъ на крышѣ конюшни, прибавилъ:—Вотъ тебѣ!—изучай!

— Это что значитъ?—спросилъ Аркадій.

— Какъ? Развѣ ты такъ плохъ въ естественной исторіи или забылъ, что галка самая почтенная, семейная птица? Тебѣ примѣръ!.. Прощайте, синьоръ!

Телѣга задребезжала и покатилась.

Базаровъ сказалъ правду. Разговаривая вечеромъ съ

Катей, Аркадій совершенно позабылъ о своемъ наставникѣ. Онъ уже начиналъ подчиняться ей, и Катя это чувствовала, и не удивлялась. Онъ долженъ былъ на слѣдующій день ѣхать въ Марьино, къ Николаю Петровичу. Анна Сергѣевна не хотѣла стѣснять молодыхъ людей, и только для приличія не оставляла ихъ слишкомъ долго наединѣ. Она великодушно удалила отъ нихъ княжну, которую извѣстіе о предстоявшемъ бракѣ привело въ слезливую ярость. Сначала Анна Сергѣевна боялась, какъ бы зрѣлище ихъ счастія не показалось ей самой немного тягостнымъ; но вышло совершенно напротивъ: это зрѣлище не только не отягощало ее, оно ее занимало, оно ее умилило наконецъ. Анна Сергѣевна этому и обрадовалась, и опечалилась. „Видно правъ Базаровъ", подумала она: „любопытство, одно любопытство, и любовь къ покою, и эгоизмъ..."

— Дѣти, — промолвила она громко: — что̀, любовь чувство напускное?

Но ни Катя, ни Аркадій ея даже не поняли. Они ея дичились; невольно подслушанный разговоръ не выходилъ у нихъ изъ головы. Впрочемъ, Анна Сергѣевна скоро успокоила ихъ; и это было ей не трудно: она успокоилась сама.

XXVII.

Старики Базаровы тѣмъ больше обрадовались внезапному пріѣзду сына, чѣмъ меньше они его ожидали. Арина Власьевна до того переполошилась и избѣгалась по дому, что Василій Ивановичъ сравнилъ ее съ „куропатицей": куцый хвостикъ ея коротенькой кофточки дѣйствительно придавалъ ей нѣчто птичье. А самъ онъ только мычалъ да покусывалъ сбоку янтарчикъ своего чубука, да прихвативъ шею пальцами, вертѣлъ головою, точно пробовалъ, хорошо ли она у него привинчена, и вдругъ разѣвалъ широкій ротъ и хохоталъ безо всякаго шума.

— Я къ тебѣ на цѣлыхъ шесть недѣль пріѣхалъ, старина,—сказалъ ему Базаровъ:—я работать хочу, такъ ты ужъ, пожалуйста, не мѣшай мнѣ.

— Физіономію мою забудешь, вотъ какъ я тебѣ мѣшать буду!—отвѣчалъ Василій Ивановичъ.

Онъ сдержалъ свое обѣщаніе. Помѣстивъ сына попрежнему въ кабинетъ, онъ только что не прятался отъ него, и жену свою удерживалъ отъ всякихъ лишнихъ изъявленій нѣжности. „Мы, матушка моя“, говорилъ онъ ей: „въ первый пріѣздъ Енюшки ему надоѣдали маленько: теперь надо быть умнѣй“. Арина Власьевна соглашалась съ мужемъ, но немного отъ этого выигрывала, потому что видѣла сына только за столомъ и окончательно боялась съ нимъ заговаривать. „Енюшенька!“ бывало скажетъ она, — а тотъ еще не успѣетъ оглянуться, какъ ужъ она перебираетъ шнурками ридикюля и лепечетъ: „ничего, ничего, я такъ“, а потомъ отправится къ Василію Ивановичу, и говоритъ ему, подперши щеку: „какъ бы, голубчикъ, узнать: чего Енюша желаетъ сегодня къ обѣду, щей или борщу?“—„Да что жъ ты у него сама не спросила?“ — „А надоѣмъ!“ Впрочемъ, Базаровъ скоро самъ пересталъ запираться: лихорадка работы съ него *соскочила*, и замѣнилась тоскливою скукой и глухимъ безпокойствомъ. Странная усталость замѣчалась во всѣхъ его движеніяхъ; даже походка его, твердая и стремительно смѣлая, измѣнилась. Онъ пересталъ гулять въ одиночку и началъ искать общества; пилъ чай въ гостиной, бродилъ по огороду съ Василіемъ Ивановичемъ и курилъ съ нимъ „въ молчанку“; освѣдомился однажды объ отцѣ Алексѣѣ. Василій Ивановичъ сперва обрадовался этой перемѣнѣ, но радость его была непродолжительна. „Енюша меня сокрушаетъ“, жаловался онъ втихомолку женѣ: „онъ не то что недоволенъ или сердитъ, это бы еще ничего, онъ огорченъ, онъ грустенъ—вотъ что ужасно. Все молчитъ, хоть бы побранилъ насъ съ тобою; худѣетъ, цвѣтъ лица такой нехорошій“. — „Господи, Господи!“ шептала старушка: „надѣла бы я ему ладонку на шею, да вѣдь онъ не позволитъ“. Василій Ивановичъ нѣсколько разъ пытался самымъ осторожнымъ образомъ разспросить Базарова объ его работѣ, объ его здоровьѣ, объ Аркадіи... Но Базаровъ отвѣчалъ ему нехотя и небрежно и, однажды,

замѣтивъ, что отецъ въ разговорѣ понемножку подо что-то подбирается, съ досадой сказалъ ему: „Что ты все около меня словно на цыпочкахъ ходишь? Эта манера еще хуже прежней“.—„Ну, ну, ну, я ничего!“ поспѣшно отвѣчалъ бѣдный Василій Ивановичъ. Такъ же безплодны остались его политическіе намеки. Заговоривъ, однажды, по поводу близкаго освобожденія крестьянъ, о прогрессѣ, онъ надѣялся возбудить сочувствіе своего сына; но тотъ равнодушно промолвилъ: „Вчера я прохожу мимо забора и слышу, здѣшніе крестьянскіе мальчики, вмѣсто какой-нибудь старой пѣсни, горланятъ: *Время вѣрное приходитъ, сердце чувствуитъ любовь*... вотъ тебѣ и прогрессъ“.

Иногда Базаровъ отправлялся на деревню и, подтрунивая по обыкновенію, вступалъ въ бесѣду съ какимъ-нибудь мужикомъ. „Ну“, говорилъ онъ ему: „излагай мнѣ свои воззрѣнія на жизнь, братецъ: вѣдь въ васъ, говорятъ, вся сила и будущность Россіи, отъ васъ начнется новая эпоха въ исторіи, — вы намъ дадите и языкъ настоящій, и законы“. Мужикъ либо не отвѣчалъ ничего, либо произносилъ слова въ родѣ слѣдующихъ: „А мы могимъ... тоже, потому значитъ... какой положенъ у насъ, примѣрно, придѣлъ“.

— Ты мнѣ растолкуй, что̀ такое есть вашъ міръ?—перебивалъ его Базаровъ: — и тотъ ли это самый міръ, что̀ на трехъ рыбахъ стоитъ?

— Это, батюшка, земля стоитъ на трехъ рыбахъ, — успокоительно, съ патріархально-добродушною пѣвучестью, объяснялъ мужикъ: — а противъ нашего, то-есть, міру, извѣстно, господская воля; потому вы наши отцы. А чѣмъ строже баринъ взыщетъ, тѣмъ милѣе мужику.

Выслушавъ подобную рѣчь, Базаровъ однажды презрительно пожалъ плечами и отвернулся, а мужикъ побрелъ во-свояси.

— О чемъ толковалъ?—спросилъ у него другой мужикъ среднихъ лѣтъ и угрюмаго вида, издали, съ порога своей избы, присутствовавшій при бесѣдѣ его съ Базаровымъ.— О недоимкѣ, что ль?

— Какое о недоимкѣ, братецъ ты мой!—отвѣчалъ пер-

вый мужикъ, и въ голосѣ его уже не было слѣда патріархальной пѣвучести, а напротивъ, слышалась какая-то небрежная суровость: — такъ, болталъ коё-что; языкъ почесать захотѣлось. Извѣстно, баринъ; развѣ онъ что понимаетъ?

— Гдѣ понять!—отвѣчалъ другой мужикъ и, тряхнувъ шапками и осунувъ кушаки, оба они принялись разсуждать о своихъ дѣлахъ и нуждахъ. Увы! презрительно пожимавшій плечомъ, умѣвшій говорить съ мужиками Базаровъ (какъ хвалился онъ въ спорѣ съ Павломъ Петровичемъ), этотъ самоувѣренный Базаровъ и не подозрѣвалъ, что онъ въ ихъ глазахъ былъ все-таки чѣмъ-то въ родѣ шута гороховаго...

Впрочемъ, онъ нашелъ, наконецъ, себѣ занятіе. Однажды, въ его присутствіи, Василій Ивановичъ перевязывалъ мужику раненую ногу, но руки тряслись у старика, и онъ не могъ справиться съ бинтами; сынъ ему помогъ, и съ тѣхъ поръ сталъ участвовать въ его практикѣ, не переставая въ то же время подсмѣиваться и надъ средствами, которыя самъ же совѣтовалъ, и надъ отцомъ, который тотчасъ же пускалъ ихъ въ ходъ. Но насмѣшки Базарова нисколько не смущали Василія Ивановича; онѣ даже утѣшали его. Придерживая свой засаленный шлафрокъ двумя пальцами на желудкѣ и покуривая трубочку, онъ съ наслажденіемъ слушалъ Базарова, и чѣмъ больше злости было въ его выходкахъ, тѣмъ добродушнѣе хохоталъ, выказывая всѣ свои черные зубы до единаго, его осчастливленный отецъ. Онъ даже повторялъ эти, иногда тупыя или безсмысленныя, выходки и, напримѣръ, въ теченіе нѣсколькихъ дней, ни къ селу, ни къ городу, все твердилъ: „ну, это дѣло девятое!“ потому только, что сынъ его, узнавъ, что онъ ходилъ къ заутрени, употребилъ это выраженіе. „Слава Богу! пересталъ хандрить!“ шепталъ онъ своей супругѣ: „какъ отдѣлалъ меня сегодня, чудо!“ Зато мысль, что онъ имѣетъ такого помощника, приводила его въ восторгъ, наполняла его гордостью. „Да, да“, говорилъ онъ какой-нибудь бабѣ въ мужскомъ армякѣ и рогатой кичкѣ, вручая ей стклянку

Гулярдовой воды или банку бѣленной мази: — „ты, голубушка, ты должна ежеминутно Бога благодарить за то, что сынъ мой у меня гоститъ: по самой научной и новѣйшей методѣ тебя лѣчатъ теперь, понимаешь ли ты это? Императоръ французовъ, Наполеонъ, и тотъ не имѣетъ лучшаго врача". А баба, которая приходила жаловаться, что ее „на колотики подняло" (значенія этихъ словъ она, впрочемъ, сама растолковать не умѣла), только кланялась и лѣзла за пазуху, гдѣ у ней лежали четыре яйца, завернутыя въ конецъ полотенца.

Базаровъ разъ даже вырвалъ зубъ у заѣзжаго разносчика съ краснымъ товаромъ, и хотя этотъ зубъ принадлежалъ къ числу обыкновенныхъ, однако, Василій Ивановичъ сохранилъ его какъ рѣдкость и, показывая его отцу Алексѣю, безпрестанно повторялъ:

— Вы посмотрите, что́ за корни! Этакая сила у Евгенія! Краснорядецъ такъ на воздухъ и поднялся... Мнѣ кажется, дубъ, и тотъ бы вылетѣлъ вонъ!..

— Похвально!—промолвилъ, наконецъ, отецъ Алексѣй, не зная, что̀ отвѣчать и какъ отдѣлаться отъ пришедшаго въ экстазъ старика.

Однажды мужичокъ сосѣдней деревни привезъ къ Василію Ивановичу своего брата, больного тифомъ. Лежа ничкомъ на связкѣ соломы, несчастный умиралъ; темныя пятна покрывали его тѣло, онъ давно потерялъ сознаніе. Василій Ивановичъ изъявилъ сожалѣніе о томъ, что никто раньше не вздумалъ обратиться къ помощи медицины, и объявилъ, что спасенія нѣтъ. Дѣйствительно, мужичокъ не довезъ своего брата до дома: онъ такъ и умеръ въ телѣгѣ.

Дня три спустя, Базаровъ вошелъ къ отцу въ комнату и спросилъ, нѣтъ ли у него адскаго камня?

— Есть; на что̀ тебѣ?

— Нужно... ранку прижечь.

— Кому?

— Себѣ.

— Какъ, себѣ! Зачѣмъ же это? Какая это ранка? Гдѣ она?

— Вотъ тутъ, на пальцѣ. Я сегодня ѣздилъ въ деревню, знаешь, откуда тифознаго мужика привозили. Они почему-то вскрывать его собирались, а я давно въ этомъ не упражнялся.

— Ну?

— Ну, вотъ я и попросилъ уѣзднаго врача; ну, и порѣзался.

Василій Ивановичъ вдругъ поблѣднѣлъ весь и, ни слова не говоря, бросился въ кабинетъ, откуда тотчасъ же вернулся съ кусочкомъ адскаго камня въ рукѣ. Базаровъ хотѣлъ-было взять его и уйти.

— Ради самого Бога, — промолвилъ Василій Ивановичъ:—позволь мнѣ это сдѣлать самому.

Базаровъ усмѣхнулся.

— Экой ты охотникъ до практики!

— Не шути, пожалуйста. Покажи свой палецъ. Ранка-то не велика. Не больно?

— Напирай сильнѣе, не бойся.

Василій Ивановичъ остановился.

— Какъ ты полагаешь, Евгеній, не лучше ли намъ прижечь желѣзомъ?

— Это бы раньше надо сдѣлать; а теперь, по настоящему, и адскій камень не пуженъ. Если я заразился, такъ ужъ теперь поздно.

— Какъ... поздно... — едва могъ произнести Василій Ивановичъ.

— Еще бы! съ тѣхъ поръ четыре часа прошло слишкомъ.

Василій Ивановичъ еще немного прижегъ ранку.

— Да развѣ у уѣзднаго лѣкаря не было адскаго камня?

— Не было.

— Какъ же это, Боже мой! Врачъ—и не имѣетъ такой необходимой вещи!

— Ты бы посмотрѣлъ на его ланцеты, — промолвилъ Базаровъ, и вышелъ вонъ.

До самаго вечера и въ теченіе всего слѣдующаго дня Василій Ивановичъ придирался ко всѣмъ возможнымъ *предлогамъ*, чтобы входить въ комнату сына, и хотя онъ

не только не упоминалъ объ его ранѣ, но даже старался говорить о самыхъ постороннихъ предметахъ, однако, онъ такъ настойчиво заглядывалъ ему въ глаза, такъ тревожно наблюдалъ за нимъ, что Базаровъ потерялъ терпѣніе и погрозился уѣхать. Василій Ивановичъ далъ ему слово не безпокоиться, тѣмъ болѣе, что и Арина Власьевна, отъ которой онъ, разумѣется, все скрылъ, начинала приставать къ нему, зачѣмъ онъ не спитъ и что̀ съ нимъ такое подѣялось? Цѣлыхъ два дня онъ крѣпился, хотя видъ сына, на котораго онъ все посматривалъ украдкой, ему очень не нравился... но на третій день за обѣдомъ не выдержалъ. Базаровъ сидѣлъ потупившись и не касался ни одного блюда.

— Отчего ты не ѣшь, Евгеній?—спросилъ онъ, придавъ своему лицу самое беззаботное выраженіе.—Кушанье, кажется, хорошо сготовлено.

— Не хочется, такъ и не ѣмъ.

— У тебя аппетиту нѣту? А голова?—прибавилъ онъ робкимъ голосомъ:—болитъ?

— Болитъ. Отчего ей не болѣть?

Арина Власьевна выпрямилась и насторожилась.

— Не разсердись, пожалуйста, Евгеній,—продолжалъ Василій Ивановичъ:—но не позволишь ли ты мнѣ пульсъ у тебя пощупать?

Базаровъ приподнялся.

— Я, и не щупая, скажу тебѣ, что у меня жаръ.

— И ознобъ былъ?

— Былъ и ознобъ. Пойду, прилягу; а вы мнѣ пришлите липоваго чаю. Простудился, должно-быть.

— То-то я слышала, ты сегодня ночью кашлялъ,—промолвила Арина Власьевна.

— Простудился,—повторилъ Базаровъ и удалился.

Арина Власьевна занялась приготовленіемъ чая изъ липоваго цвѣту, а Василій Ивановичъ вошелъ въ сосѣднюю комнату и молча схватилъ себя за волосы.

Базаровъ уже не вставалъ въ тотъ день, и всю ночь провелъ въ тяжелой, полузабывчивой дремотѣ. Часу въ

первомъ утра онъ, съ усиліемъ раскрывъ глаза, увидѣлъ надъ собою при свѣтѣ лампадки блѣдное лицо отца, и велѣлъ ему уйти; тотъ повиновался, но тотчасъ же вернулся на цыпочкахъ и, до половины заслонившись дверцами шкапа, неотвратимо глядѣлъ на своего сына. Арина Власьевна тоже не ложилась и, чуть отворивъ дверь кабинета, то и дѣло подходила послушать „какъ дышетъ Енюша“ и посмотрѣть на Василія Ивановича. Она могла видѣть одну его неподвижную, сгорбленную спину, но и это ей доставляло нѣкоторое облегченіе. Утромъ Базаровъ попытался встать; голова у него закружилась, кровь пошла носомъ; онъ легъ опять. Василій Ивановичъ молча ему прислуживалъ; Арина Власьевна вошла къ нему и спросила его, какъ онъ себя чувствуетъ. Онъ отвѣчалъ: „лучше“, и повернулся къ стѣнѣ. Василій Ивановичъ замахалъ на жену обѣими руками; она закусила губу, чтобы не заплакать, и вышла вонъ. Все въ домѣ вдругъ словно потемнѣло; всѣ лица вытянулись, сдѣлалась странная тишина; со двора унесли на деревню какого-то горластаго пѣтуха, который долго не могъ понять, зачѣмъ съ нимъ такъ поступаютъ. Базаровъ продолжалъ лежать, уткнувшись въ стѣну. Василій Ивановичъ пытался обращаться къ нему съ разными вопросами, но они утомляли Базарова, и старикъ замеръ въ своихъ креслахъ, только изрѣдка хрустя пальцами. Онъ отправлялся на нѣсколько мгновеній въ садъ, стоялъ тамъ какъ истуканъ, словно пораженный несказаннымъ изумленіемъ (выраженіе изумленія вообще не сходило у него съ лица) и возвращался снова къ сыну, стараясь избѣгать разспросовъ жены. Она, наконецъ, схватила его за руку, и судорожно, почти съ угрозой промолвила: „да что̀ съ нимъ?“ Тутъ онъ спохватился и принудилъ себя улыбнуться ей въ отвѣтъ; но, къ собственному ужасу, вмѣсто улыбки, у него откуда-то взялся смѣхъ. За докторомъ онъ послалъ съ утра. Онъ почелъ нужнымъ предувѣдомить объ этомъ сына, чтобы тотъ какъ-нибудь не разсердился.

Базаровъ вдругъ повернулся на диванѣ, пристально и *тупо* посмотрѣлъ на отца, и попросилъ напиться.

Василій Ивановичъ подалъ ему воды, и кстати пощупалъ его лобъ. Онъ такъ и пылалъ.

— Старина,—началъ Базаровъ сиплымъ и медленнымъ голосомъ:—дѣло мое дрянное. Я зараженъ, и черезъ нѣсколько дней ты меня хоронить будешь.

Василій Ивановичъ пошатнулся, словно кто по ногамъ его ударилъ.

— Евгеній!—пролепеталъ онъ:—что ты это!.. Богъ съ тобою! Ты простудился...

— Полно,—не спѣша перебилъ его Базаровъ.—Врачу непозволительно такъ говорить. Всѣ признаки зараженія, ты самъ знаешь.

— Гдѣ же признаки... зараженія, Евгеній?.. помилуй!

— А это что?—промолвилъ Базаровъ, и приподнявъ рукавъ рубашки, показалъ отцу выступившія зловѣщія, красныя пятна.

Василій Ивановичъ дрогнулъ и похолодѣлъ отъ страха.

— Положимъ, — сказалъ онъ наконецъ: — положимъ... если... если даже что-нибудь въ родѣ... зараженія...

— Піэміи,—подсказалъ сынъ.

— Ну да... въ родѣ... эпидеміи...

— *Піэміи*,— сурово и отчетливо повторилъ Базаровъ:— аль уже позабылъ свои тетрадки?

— Ну да, да, какъ тебѣ угодно... А все-таки мы тебя вылѣчимъ.

— Ну, это дудки. Но не въ томъ дѣло. Я не ожидалъ, что такъ скоро умру; это случайность, очень, по правдѣ сказать, непріятная. Вы оба съ матерью должны теперь воспользоваться тѣмъ, что въ васъ религія сильна; вотъ вамъ случай поставить ее на пробу. — Онъ отпилъ еще немного воды.—А я хочу попросить тебя объ одной вещи... пока еще моя голова въ моей власти. Завтра или послѣзавтра мозгъ мой, ты знаешь, въ отставку подастъ. Я и теперь не совсѣмъ увѣренъ, ясно ли я выражаюсь. Пока я лежалъ, мнѣ все казалось, что вокругъ меня красныя собаки бѣгали, а ты надо мной стойку дѣлалъ, какъ надъ тетеревомъ. Точно я пьяный. Ты хорошо меня понимаешь?

— Помилуй, Евгеній, ты говоришь совершенно какъ слѣдуетъ.

— Тѣмъ лучше; ты мнѣ сказалъ, ты послалъ за докторомъ... Этимъ ты себя потѣшилъ... потѣшь и меня: пошли ты нарочнаго...

— Къ Аркадію Николаичу,—подхватилъ старикъ.

— Кто такой Аркадій Николаичъ?—проговорилъ Базаровъ, какъ бы въ раздумьи: — Ахъ, да! птенецъ этотъ! Нѣтъ, ты его не трогай: онъ теперь въ галки попалъ. Не удивляйся, это еще не бредъ. А ты пошли нарочнаго къ Одинцовой, Аннѣ Сергѣевнѣ, тутъ есть такая помѣщица... Знаешь? (Василій Ивановичъ кивнулъ головой.) Евгеній, молъ, Базаровъ, кланяться велѣлъ и велѣлъ сказать, что умираетъ. Ты это исполнишь?

— Исполню... Только возможное ли это дѣло, чтобы ты умеръ, ты, Евгеній... Самъ посуди! Гдѣ жъ послѣ этого будетъ справедливость?

— Этого я не знаю; а только ты нарочнаго пошли.

— Сію минуту пошлю, и самъ письмо напишу.

— Нѣтъ, зачѣмъ; скажи, что кланяться велѣлъ, больше ничего не нужно. А теперь я опять къ моимъ собакамъ. Странно! хочу остановить мысль на смерти, и ничего не выходитъ. Вижу какое-то пятно... и больше ничего.

Онъ опять тяжело повернулся къ стѣнѣ; а Василій Ивановичъ вышелъ изъ кабинета и, добравшись до жениной спальни, такъ и рухнулся на колѣни передъ образами.

— Молись, Арина, молись! — простоналъ онъ: — нашъ сынъ умираетъ.

Докторъ, тотъ самый уѣздный лѣкарь, у котораго не нашлось адскаго камня, пріѣхалъ и, осмотрѣвъ больного, посовѣтовалъ держаться методы выжидающей, и тутъ же сказалъ нѣсколько словъ о возможности выздоровленія.

— А вамъ случалось видѣть, что люди въ моемъ положеніи *не* отправляются въ Елисейскія?—спросилъ Базаровъ и, внезапно схвативъ за ножку тяжелый столъ, стоявшій возлѣ дивана, потрясъ его и сдвинулъ съ мѣста.

— Сила-то, сила,—промолвилъ онъ, вся еще тутъ, а

надо умирать!.. Старикъ, тотъ по крайней мѣрѣ успѣлъ отвыкнуть отъ жизни, а я... Да, поди, попробуй отрицать смерть. Она тебя отрицаетъ, и баста! Кто тамъ плачетъ?— прибавилъ онъ, погодя немного.—Мать? Бѣдная! Кого-то она будетъ кормить теперь своимъ удивительнымъ борщомъ? А ты, Василій Иванычъ, тоже, кажется, нюнишь? Ну, коли христіанство не помогаетъ, будь философомъ, стоикомъ, что ли! Вѣдь ты хвастался, что ты философъ?

— Какой я философъ!—завопилъ Василій Ивановичъ, и слезы такъ и закапали по его щекамъ.

Базарову становилось хуже съ каждымъ часомъ; болѣзнь приняла быстрый ходъ, что̀ обыкновенно случается при хирургическихъ отравахъ. Онъ еще не потерялъ памяти и понималъ, что̀ ему говорили; онъ еще боролся. „Не хочу бредить“, шепталъ онъ, сжимая кулаки:—„что̀ за вздоръ!“—И тутъ же говорилъ: „Ну, изъ восьми вычесть десять, сколько выйдетъ?“—Василій Ивановичъ ходилъ какъ помѣшанный, предлагалъ то одно средство, то другое, и только и дѣлалъ, что покрывалъ сыну ноги. „Обернуть въ холодныя простыни... рвотное... горчишники къ желудку... кровопусканіе“, говорилъ онъ съ напряженіемъ. Докторъ, котораго онъ умолилъ остаться, ему поддакивалъ, поилъ больного лимонадомъ, а для себя просилъ то трубочки, то „укрѣпляющаго-согрѣвающаго“, то-есть водки. Арина Власьевна сидѣла на низенькой скамеечкѣ возлѣ двери, и только по временамъ уходила молиться; нѣсколько дней тому назадъ туалетное зеркальце выскользнуло у ней изъ рукъ и разбилось, а это она всегда считала худымъ предзнаменованіемъ; сама Анфисушка ничего не умѣла сказать ей. Тимоѳеичъ отправился къ Одинцовой.

Ночь была не хороша для Базарова... Жестокій жаръ его мучилъ. Къ утру ему полегчило. Онъ попросилъ, чтобъ Арина Власьевна его причесала, поцѣловалъ у ней руку, и выпилъ глотка два чаю. Василій Ивановичъ оживился немного.

— Слава Богу! —твердилъ онъ:—наступилъ кризисъ... пришелъ кризисъ.

— Эка, подумаешь!—промолвилъ Базаровъ:—слово-то

что́ значитъ! Нашелъ его, сказалъ: „кризисъ“, и утѣшенъ. Удивительное дѣло, какъ человѣкъ еще вѣритъ въ слова. Скажутъ ему, напримѣръ, дурака и не прибьютъ, онъ опечалится; назовутъ его умницей и денегъ ему не дадутъ—онъ почувствуетъ удовольствіе.

Эта маленькая рѣчь Базарова, напоминавшая его прежнія „выходки“, привела Василія Ивановича въ умиленіе.

— Браво! прекрасно сказано, прекрасно!—воскликнулъ онъ, показывая видъ, что бьетъ въ ладоши.

Базаровъ печально усмѣхнулся.

— Такъ какъ же по-твоему,—промолвилъ онъ:—кризисъ прошелъ или наступилъ?

— Тебѣ лучше, вотъ что̀ я вижу, вотъ что́ меня радуетъ,—отвѣчалъ Василій Ивановичъ.

— Ну, и прекрасно; радоваться всегда не худо. А къ той, помнишь? послалъ?

— Послалъ, какъ же.

Перемѣна къ лучшему продолжалась недолго. Приступы болѣзни возобновились. Василій Ивановичъ сидѣлъ подлѣ Базарова. Казалось, какая-то особенная мука терзала старика. Онъ нѣсколько разъ собирался говорить—и не могъ.

— Евгеній! — произнесъ онъ наконецъ: — сынъ мой, дорогой мой, милый сынъ!

Это необычайное воззваніе подѣйствовало на Базарова... Онъ повернулъ немного голову и, видимо стараясь выбиться изъ-подъ бремени давившаго его забытья, произнесъ:—Что, мой отецъ?

— Евгеній,—продолжалъ Василій Ивановичъ, и опустился на колѣни передъ Базаровымъ, хотя тотъ не раскрывалъ глазъ и не могъ его видѣть. — Евгеній, тебѣ теперь лучше; ты, Богъ дастъ, выздоровѣешь; но воспользуйся этимъ временемъ, утѣшь насъ съ матерью, исполни долгъ христіанина! Каково-то мнѣ это тебѣ говорить, это ужасно; но еще ужаснѣе... вѣдь на вѣкъ, Евгеній... ты подумай, каково-то...

Голосъ старика прервался, а по лицу его сына, хотя

онъ и продолжалъ лежать съ закрытыми глазами, проползло что-то странное.

— Я не отказываюсь, если это можетъ васъ утѣшить,— промолвилъ онъ наконецъ:—но мнѣ кажется, спѣшить еще не къ чему. Ты самъ говоришь, что мнѣ лучше.

— Лучше, Евгеній, лучше; но кто знаетъ, вѣдь это все въ Божьей волѣ, а исполнивши долгъ...

— Нѣтъ, я подожду,—перебилъ Базаровъ. — Я согласенъ съ тобою, что наступилъ кризисъ. А если мы съ тобой ошиблись, что́ жъ! вѣдь и безпамятныхъ причащаютъ.

— Помилуй, Евгеній...

— Я подожду. А теперь я хочу спать. Не мѣшай мнѣ.

И онъ положилъ голову на прежнее мѣсто.

Старикъ поднялся, сѣлъ на кресло и, взявшись за подбородокъ, сталъ кусать себѣ пальцы...

Стукъ рессорнаго экипажа, тотъ стукъ, который такъ особенно замѣтенъ въ деревенской глуши, внезапно поразилъ его слухъ. Ближе, ближе катились легкія колеса; вотъ уже послышалось фырканье лошадей... Василій Ивановичъ вскочилъ и бросился къ окошку. На дворъ его домика, запряженная четверней, въѣзжала двумѣстная карета. Не давая себѣ отчета, что̀ бы это могло значить, въ порывѣ какой-то безсмысленной радости, онъ выбѣжалъ на крыльцо... Ливрейный лакей отворялъ дверцы кареты; дама подъ чернымъ вуалемъ, въ черной мантильѣ, выходила изъ нея...

— Я Одинцова,—промолвила она. — Евгеній Васильевичъ живъ? Вы его отецъ? Я привезла съ собой доктора.

— Благодѣтельница!—воскликнулъ Василій Ивановичъ, и, схвативъ ея руку, судорожно прижалъ ее къ своимъ губамъ, между тѣмъ какъ привезенный Анной Сергѣевной докторъ, маленькій человѣкъ въ очкахъ, съ нѣмецкою физіономіей, вылѣзалъ не торопясь изъ кареты. — Живъ еще, живъ мой Евгеній, и теперь будетъ спасенъ! Жена! жена!.. Къ намъ ангелъ съ неба...

— Что̀ такое, Господи!—пролепетала, выбѣгая изъ гостиной, старушка и, ничего не понимая, тутъ же въ перед-

ней упала къ ногамъ Анны Сергѣевны и начала, какъ безумная, цѣловать ея платье.

— Что̀ вы! что вы! — твердила Анна Сергѣевна; но Арина Васильевна ея не слушала, а Василій Ивановичъ только повторялъ: „ангелъ! ангелъ!“

— Wo ist der Kranke? И гдѣ же есть паціентъ?—проговорилъ, наконецъ, докторъ, не безъ нѣкотораго негодованія.

Василій Ивановичъ опомнился.—Здѣсь, здѣсь, пожалуйте за мной, *вертестеръ герръ коллега*,—прибавилъ онъ по старой памяти.

— Э!—произнесъ нѣмецъ, и кисло осклабился.

Василій Ивановичъ привелъ его въ кабинетъ.

— Докторъ отъ Анны Сергѣевны Одинцовой,—сказалъ онъ, наклоняясь къ самому уху своего сына:—и она сама здѣсь.

Базаровъ вдругъ раскрылъ глаза.—Что̀ ты сказалъ?

— Я говорю, что Анна Сергѣевна Одинцова здѣсь, и привезла къ тебѣ сего господина доктора.

Базаровъ повелъ вокругъ себя глазами.

— Она здѣсь... я хочу ее видѣть.

— Ты ее увидишь, Евгеній; но сперва надобно побесѣдовать съ господиномъ докторомъ. Я имъ разскажу всю исторію болѣзни, такъ какъ Сидоръ Сидорычъ уѣхалъ (такъ звали уѣзднаго врача), и мы сдѣлаемъ маленькую консультацію.

Базаровъ взглянулъ на нѣмца.—Ну, бесѣдуйте скорѣе, только не по-латыни, я вѣдь понимаю, что значитъ: jam moritur.

— Der Herr scheint des Deutschen mächtig zu sein,—началъ новый питомецъ Эскулапа, обращаясь къ Василію Ивановичу.

— *Ихъ... габе...*—Говорите ужъ лучше по-русски,—промолвилъ старикъ.

— А, а! *такъ эттто фотъ какъ эттто...* Пошалуй...

И консультація началась.

Полчаса спустя Анна Сергѣевна, въ сопровожденіи Василія Ивановича, вошла въ кабинетъ. Докторъ успѣлъ *шепнуть* ей, что нечего и думать о выздоровленіи больного.

Она взглянула на Базарова... и остановилась у двери, до того поразило ее это воспаленное и въ то же время мертвенное лицо съ устремленными на нее мутными глазами. Она просто испугалась какимъ-то холоднымъ и томительнымъ испугомъ; мысль, что она не то бы почувствовала, если бы точно его любила—мгновенно сверкнула у ней въ головѣ.

— Спасибо,—усиленно заговорилъ онъ:— я этого не ожидалъ. Это доброе дѣло. Вотъ мы еще разъ и увидѣлись, какъ вы обѣщали.

— Анна Сергѣевна такъ была добра...—началъ Василій Ивановичъ.

— Отецъ, оставь насъ. — Анна Сергѣевна, вы позволяете? Кажется, теперь...

Онъ указалъ головою на свое распростертое безсильное тѣло.

Василій Ивановичъ вышелъ.

— Ну, спасибо,—повторилъ Базаровъ.—Это по-царски. Говорятъ, цари тоже посѣщаютъ умирающихъ.

— Евгеній Васильевичъ, я надѣюсь...

— Эхъ, Анна Сергѣевна, станемте говорить правду. Со мной кончено. Попалъ подъ колесо. И выходитъ, что нечего было думать о будущемъ. Старая шутка смерть, а каждому вновѣ. До сихъ поръ не трушу... а тамъ придетъ безпамятство и *фюить!* (Онъ слабо махнулъ рукой.) Ну, что жъ мнѣ вамъ сказать... я любилъ васъ! это и прежде не имѣло никакого смысла, а теперь подавно. Любовь—форма, а моя собственная форма уже разлагается. Скажу я лучше, что—какая вы славная! И теперь вотъ вы стоите, такая красивая...

Анна Сергѣевна невольно содрогнулась.

— Ничего, не тревожьтесь... сядьте тамъ... Не подходите ко мнѣ: вѣдь моя болѣзнь заразительная.

Анна Сергѣевна быстро перешла комнату и сѣла на кресло возлѣ дивана, на которомъ лежалъ Базаровъ.

— Великодушная!—шепнулъ онъ.—Охъ, какъ близко, и какая молодая, свѣжая, чистая... въ этой гадкой комнатѣ!.. Ну, прощайте! живите долго, это лучше всего, и пока-

зуйтесь, пока время. Вы посмотрите, что̀ за безобразное зрѣлище: червякъ полураздавленный, а еще топорщится. И вѣдь тоже думалъ: обломаю дѣлъ много, не умру, куда! задача есть, вѣдь я гигантъ! А теперь вся задача гиганта— какъ бы умереть прилично, хотя никому до этого дѣла нѣтъ... Все равно: вилять хвостомъ не стану.

Базаровъ умолкъ и сталъ ощупывать рукой свой стаканъ. Анна Сергѣевна подала ему напиться, не снимая перчатокъ и боязливо дыша.

— Меня вы забудете, — началъ онъ опять: — мертвый живому не товарищъ. Отецъ вамъ будетъ говорить, что вотъ, молъ, какого человѣка Россія теряетъ... Это чепуха, но не разувѣряйте старика. Чѣмъ бы дитя ни тѣшилось... вы знаете. И мать приласкайте. Вѣдь такихъ людей, какъ они, въ вашемъ большомъ свѣтѣ днемъ съ огнемъ не сыскать... Я нуженъ Россіи... Нѣтъ, видно не нуженъ. Да и кто нуженъ? Сапожникъ нуженъ, портной нуженъ, мясникъ... мясо продаетъ... мясникъ... постойте, я путаюсь... Тутъ есть лѣсъ...

Базаровъ положилъ руку на лобъ.

Анна Сергѣевна наклонилась къ нему.

— Евгеній Васильичъ, я здѣсь...

Онъ разомъ принялъ руку и приподнялся.

— Прощайте, — проговорилъ онъ съ внезапной силой, и глаза его блеснули послѣднимъ блескомъ.—Прощайте... Послушайте... вѣдь я васъ не поцѣловалъ тогда... Дуньте на умирающую лампаду, и пусть она погаснетъ...

Анна Сергѣевна приложилась губами къ его лбу.

— И довольно! — промолвилъ онъ, и опустился на подушку.—Теперь... темнота...

Анна Сергѣевна тихо вышла.

— Что?—спросилъ ее шопотомъ Василій Ивановичъ.

— Онъ заснулъ,—отвѣчала она чуть слышно.

Базарову уже не суждено было просыпаться. Къ вечеру онъ впалъ въ совершенное безпамятство, а на слѣдующій день умеръ. Отецъ Алексѣй совершилъ надъ нимъ обряды религіи. Когда его соборовали, когда святое муро коснулось его груди, одинъ глазъ его раскрылся и, казалось,

при видѣ священника въ облаченіи, дымящагося кадила, свѣчъ передъ образомъ, что-то похожее на содроганіе ужаса мгновенно отразилось на помертвѣломъ лицѣ. Когда же наконецъ онъ испустилъ послѣдній вздохъ и въ домѣ поднялось всеобщее стенаніе, Василіемъ Ивановичемъ обуяло внезапное изступленіе. „Я говорилъ, что я возропщу“, хрипло кричалъ онъ, съ пылающимъ, перекошеннымъ лицомъ, потрясая въ воздухѣ кулакомъ, какъ бы грозя кому-то: „и возропщу, возропщу!“ Но Арина Власьевна, вся въ слезахъ, повисла у него на шеѣ, и оба вмѣстѣ пали ницъ. — „Такъ“, разсказывала потомъ въ людской Анфисушка: „рядышкомъ и понурили свои головки, словно овечки въ полдень...“

Но полуденный зной проходитъ, и настаетъ вечеръ и ночь, а тамъ и возвращеніе въ тихое убѣжище, гдѣ сладко спится измученнымъ и усталымъ...

XXVIII.

Прошло шесть мѣсяцевъ. Стояла бѣлая зима съ жестокою тишиной безоблачныхъ морозовъ, плотнымъ, скрипучимъ снѣгомъ, розовымъ инеемъ на деревьяхъ, блѣдно-изумруднымъ небомъ, шапками дыма надъ трубами, клубами пара изъ мгновенно раскрытыхъ дверей, свѣжими, словно укушенными лицами людей, и хлопотливымъ бѣгомъ продрогшихъ лошадокъ. Январскій день уже приближался къ концу; вечерній холодъ еще сильнѣе стискивалъ недвижимый воздухъ, и быстро гасла кровавая заря. Въ окнахъ Марьинскаго дома зажигались огни; Прокофьичъ, въ черномъ фракѣ и бѣлыхъ перчаткахъ, съ особенною торжественностію накрывалъ столъ на семь приборовъ. Недѣлю тому назадъ, въ небольшой приходской церкви, тихо и почти безъ свидѣтелей, состоялись двѣ свадьбы: Аркадія съ Катей, и Николая Петровича съ Ѳеничкой; а въ самый тотъ день Николай Петровичъ давалъ прощальный обѣдъ своему брату, который отправлялся по дѣламъ въ Москву. Анна Сергѣевна уѣхала туда же тотчасъ послѣ свадьбы, щедро надѣливъ молодыхъ.

Ровно въ три часа всѣ собрались къ столу. Митю помѣстили тутъ же; у него уже появилась нянюшка въ глазетовомъ кокошникѣ. Павелъ Петровичъ возсѣдалъ между Катей и Ѳеничкой: „мужья“ пристроились возлѣ своихъ женъ. Знакомцы наши измѣнились въ послѣднее время: всѣ какъ будто похорошѣли и возмужали; одинъ Павелъ Петровичъ похудѣлъ, что̀, впрочемъ, придавало еще больше изящества и *грансеньйорства* его выразительнымъ чертамъ... Да и Ѳеничка стала другая. Въ свѣжемъ шелковомъ платьѣ, съ широкою бархатною наколкой на волосахъ, съ золотою цѣпочкой на шеѣ, она сидѣла почтительно-неподвижно, почтительно къ самой себѣ, ко всему, что̀ ее окружало, и такъ улыбалась, какъ будто хотѣла сказать: „вы меня извините, я не виновата“. И не она одна — другіе всѣ улыбались, и тоже какъ будто извинялись; всѣмъ было немножко неловко, немножко грустно, и въ сущности очень хорошо. Каждый прислуживалъ другому съ забавною предупредительностію, точно всѣ согласились разыграть какую-то простодушную комедію. Катя была спокойнѣе всѣхъ: она довѣрчиво посматривала вокругъ себя, и можно было замѣтить, что Николай Петровичъ успѣлъ уже полюбить ее безъ памяти. Передъ концомъ обѣда онъ всталъ и, взявъ бокалъ въ руки, обратился къ Павлу Петровичу.

— Ты насъ покидаешь... ты насъ покидаешь, милый братъ,—началъ онъ:—конечно не надолго; но все же я не могу не выразить тебѣ, что я... что мы... сколь я... сколь мы... Вотъ въ томъ-то и бѣда, что мы не умѣемъ говорить спичи! Аркадій, скажи ты.

— Нѣтъ, папаша, я не приготовлялся.

— А я хорошо приготовился! Просто, братъ, позволь тебя обнять, пожелать тебѣ всего хорошаго, и вернись къ намъ поскорѣе!

Павелъ Петровичъ облобызался со всѣми, не исключая, разумѣется, Мити: у Ѳенички онъ сверхъ того поцѣловалъ руку, которую та еще не умѣла подавать какъ слѣдуетъ, и, выпивая вторично-налитый бокалъ, промолвилъ *съ глубокимъ* вздохомъ: „Будьте счастливы, друзья мои!

Farewell!“ — Этотъ англійскій хвостикъ прошелъ незамѣченнымъ; но всѣ были тронуты.

„Въ память Базарова“, шепнула Катя на ухо своему мужу, и чокнулась съ нимъ. Аркадій въ отвѣтъ пожалъ ей крѣпко руку, но не рѣшился громко предложить этотъ тостъ.

Казалось бы, конецъ? Но, быть-можетъ, кто-нибудь изъ читателей пожелаетъ узнать, что̀ дѣлаетъ теперь, именно теперь, каждое изъ выведенныхъ нами лицъ. Мы готовы удовлетворить его.

Анна Сергѣевна недавно вышла замужъ, не по любви, но по убѣжденію, за одного изъ будущихъ русскихъ дѣятелей, человѣка очень умнаго, законника, съ крѣпкимъ практическимъ смысломъ, твердою волей и замѣчательнымъ даромъ слова, — человѣка еще молодого, добраго и холоднаго какъ ледъ. Они живутъ въ большомъ ладу другъ съ другомъ, и доживутся, пожалуй, до счастья... пожалуй, до любви. Княжна К....ая умерла, забытая въ самый день смерти. Кирсановы, отецъ съ сыномъ, поселились въ Марьинѣ. Дѣла ихъ начинаютъ поправляться. Аркадій сдѣлался рьянымъ хозяиномъ, и „ферма“ уже приноситъ довольно значительный доходъ. Николай Петровичъ попалъ въ мировые посредники и трудится изо всѣхъ силъ; онъ безпрестанно разъѣзжаетъ по своему участку; произноситъ длинныя рѣчи (онъ придерживается того мнѣнія, что мужичковъ надо „вразумлять“, то-есть, частымъ повтореніемъ однихъ и тѣхъ же словъ доводить ихъ до истомы), и все-таки, говоря правду, не удовлетворяетъ вполнѣ ни дворянъ образованныхъ, говорящихъ то съ шикомъ, то съ меланхоліей, о *ман*ципаціи (произнося *ан* въ носъ), ни необразованныхъ дворянъ, безцеремонно бранящихъ „евту *мун*ципацію“. И для тѣхъ, и для другихъ онъ слишкомъ мягокъ. У Катерины Сергѣевны родился сынъ Коля, а Митя уже бѣгаетъ молодцомъ и болтаетъ рѣчисто. Ѳеничка, Ѳедосья Николаевна, послѣ мужа и Мити никого такъ не обожаетъ, какъ свою невѣстку, и когда та садится за фортепіано, рада цѣлый день не отходить отъ нея. Упомянемъ кстати о Петрѣ.

Онъ совсѣмъ окоченѣлъ отъ глупости и важности, про
носитъ всѣ *е* какъ *ю: тюпюрь, обюзпючюнь*, но тоже а
нился и взялъ порядочное приданое за своею невѣст
дочерью городского огородника, которая отказала дву
хорошимъ женихамъ, только потому, что у нихъ часо
не было: а у Петра не только были часы — у него бы
лаковые полусапожки.

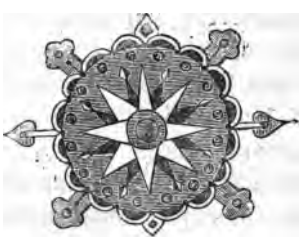
Въ Дрезденѣ, на Брюлевской террасѣ, между двумя
четырьмя часами, въ самое фешенебельное время д
прогулки, вы можете встрѣтить человѣка лѣтъ око
пятидесяти, уже совсѣмъ сѣдого и какъ бы страдающа
подагрой, но еще красиваго, изящно одѣтаго и съ тѣ
особеннымъ отпечаткомъ, который дается человѣку одни
лишь долгимъ пребываніемъ въ высшихъ слояхъ общ
ства. Это Павелъ Петровичъ. Онъ уѣхалъ изъ Москв
за границу для поправленія здоровья, и остался на жи
тельство въ Дрезденѣ, гдѣ знается больше съ англичанам
и съ проѣзжими русскими. Съ англичанами онъ держит
просто, почти скромно, но не безъ достоинства; они на
ходятъ его немного скучнымъ, но уважаютъ въ немъ со
вершеннаго джентльмена „*a perfect gentleman*". Съ русским
онъ развязнѣе, даетъ волю своей желчи, трунитъ над
самимъ собой и надъ ними; но все это выходитъ у не
очень мило, и небрежно, и прилично. Онъ придерживает
славянофильскихъ воззрѣній: извѣстно, что въ высшем
свѣтѣ это считается *très distingué*. Онъ ничего русска
не читаетъ, но на письменномъ столѣ у него находит
серебряная пепельница въ видѣ мужицкаго лаптя. Наш
туристы очень за нимъ волочатся. Матвѣй Ильичъ Коля
зинъ, находящійся *во временной оппозиціи*, величаво по
сѣтилъ его, проѣзжая на богемскія воды; а туземцы, с
которыми онъ, впрочемъ, видится мало, чуть не благого-
вѣютъ передъ нимъ. Получить билетъ въ придворную
капеллу, въ театръ и т. д. никто не можетъ такъ легко
и скоро, какъ *der Herr Baron von Kirsanoff*. Онъ все
дѣлаетъ добро, сколько можетъ; онъ все еще шумитъ по-
немножку: не даромъ же былъ онъ нѣкогда львомъ;—но
жить ему тяжело... тяжелѣй, чѣмъ онъ самъ подозрѣ-

ваетъ... Стòитъ взглянуть на него въ русской церкви, когда, прислонясь въ сторонкѣ къ стѣнѣ, онъ задумывается и долго не шевелится, горько стиснувъ губы, потомъ вдругъ опомнится и начнетъ почти незамѣтно креститься...

И Кукшина попала за границу. Она теперь въ Гейдельбергѣ и изучаетъ уже не естественныя науки, но архитектуру, въ которой, по ея словамъ, она открыла новые законы. Она попрежнему якшается съ студентами, особенно съ молодыми русскими физиками и химиками, которыми наполненъ Гейдельбергъ, и которые, удивляя на первыхъ порахъ наивныхъ нѣмецкихъ профессоровъ своимъ трезвымъ взглядомъ на вещи, впослѣдствіи удивляютъ тѣхъ же самыхъ профессоровъ своимъ совершеннымъ бездѣйствіемъ и абсолютною лѣнью. Съ такими-то двумя-тремя химиками, не умѣющими отличить кислорода отъ азота, но исполненными отрицанія и самоуваженія, да съ великимъ Елисѣвичемъ, Ситниковъ, тоже готовящійся быть великимъ, толчется въ Петербургѣ и, по его увѣреніямъ, продолжаетъ „дѣло“ Базарова. Говорятъ, его кто-то недавно побилъ, но онъ въ долгу не остался: въ одной темной статейкѣ, тиснутой въ одномъ темномъ журнальцѣ, онъ намекнулъ, что побившій его—трусъ. Онъ называетъ это ироніей. Отецъ имъ помыкаетъ попрежнему, а жена считаетъ его дурачкомъ... и литераторомъ.

Есть небольшое сельское кладбище, въ одномъ изъ отдаленныхъ уголковъ Россіи. Какъ почти всѣ наши кладбища, оно являетъ видъ печальный: окружавшія его канавы давно заросли; сѣрые деревянные кресты поникли и гніютъ подъ своими когда-то крашеными крышами, каменныя плиты всѣ сдвинуты, словно кто ихъ подталкиваетъ снизу; два-три ощипанныхъ деревца едва даютъ скудную тѣнь; овцы безвозбранно бродятъ по могиламъ... Но между ними есть одна, до которой не касается человѣкъ, которую не топчетъ животное: однѣ птицы садятся на нее и поютъ на зарѣ. Желѣзная ограда ее окружаетъ; двѣ молодыя елки посажены по обоимъ ея концамъ: Евгеній Базаровъ *похороненъ* въ этой могилѣ. Къ ней,

изъ недалекой деревушки, часто приходятъ два уже дряхлые старичка—мужъ съ женою. Поддерживая другъ друга, идутъ они отяжелѣвшею походкой; приблизятся къ оградѣ, припадутъ и станутъ на колѣни, и долго, и горько плачутъ, и долго, и внимательно смотрятъ на нѣмой камень, подъ которымъ лежитъ ихъ сынъ; помѣняются короткимъ словомъ, пыль смахнутъ съ камня, да вѣтку елки поправятъ, и снова молятся, и не могутъ покинуть это мѣсто, откуда имъ какъ будто ближе до ихъ сына, до воспоминаній о немъ... Неужели ихъ молитвы, ихъ слезы безплодны? Неужели любовь, святая, преданная любовь не всесильна? О, нѣтъ! Какое бы страстное, грѣшное, бунтующее сердце ни скрылось въ могилѣ, цвѣты, растущіе на ней, безмятежно глядятъ на насъ своими невинными глазами: не объ одномъ вѣчномъ спокойствіи говорятъ намъ они, о томъ великомъ спокойствіи „равнодушной“ природы; они говорятъ также о вѣчномъ примиреніи и о жизни безконечной...



НАКАНУНѢ.

РОМАНЪ ВЪ XXXV ГЛАВАХЪ.

(написано въ 1859 году.)

I.

Въ тѣни высокой липы, на берегу Москвы-рѣки, неда-
ко отъ Кунцова, въ одинъ изъ самыхъ жаркихъ лѣт-
ихъ дней 1853 года, лежали на травѣ два молодыхъ
ловѣка. Одинъ на видъ лѣтъ двадцати-трехъ, высокаго
оста, черномазый, съ острымъ и немного кривымъ но-
омъ, высокимъ лбомъ и сдержанною улыбкой на широ-
ихъ губахъ, лежалъ на спинѣ и задумчиво глядѣлъ
аль, слегка прищуривъ свои небольшіе сѣрые глазки;
угой лежалъ на груди, подперевъ обѣими руками куд-
вую бѣлокурую голову, и тоже глядѣлъ куда-то вдаль.
нъ былъ тремя годами старше своего товарища, но ка-
лся гораздо моложе; усы его едва пробились и на под-
родкѣ вился легкій пухъ. Было что-то дѣтски-миловид-
е, что-то привлекательно-изящное въ мелкихъ чертахъ
о свѣжаго, круглаго лица, въ его сладкихъ, карихъ
азахъ, красивыхъ, выпуклыхъ губкахъ и бѣлыхъ руч-
хъ. Все въ немъ дышало счастливою веселостью здо-
вья, дышало молодостью — безпечностью, самонадѣян-
стью, избалованностью, прелестью молодости. Онъ и
водилъ глазами, и улыбался, и подпиралъ голову, какъ
дѣлаютъ мальчики, которые знаютъ, что на нихъ
отно заглядываются. На немъ было просторное бѣлое

пальто въ родѣ блузы; голубой платокъ охватывалъ его тонкую шею, измятая соломенная шляпа валялась въ травѣ возлѣ него.

Въ сравненіи съ нимъ его товарищъ казался старикомъ, и никто бы не подумалъ, глядя на его угловатую фигуру, что и онъ наслаждается, что и ему хорошо. Онъ лежалъ неловко; его большая, кверху широкая, книзу заостренная голова неловко сидѣла на длинной шеѣ; неловкость сказывалась въ самомъ положеніи его рукъ, его туловища, плотно охваченнаго короткимъ чернымъ сюртучкомъ, его длинныхъ ногъ съ поднятыми колѣнями, подобныхъ заднимъ ножкамъ стрекозы. Со всѣмъ тѣмъ, нельзя было не признать въ немъ хорошо воспитаннаго человѣка; отпечатокъ „порядочности" замѣчался во всемъ его неуклюжемъ существѣ, и лицо его, некрасивое и даже нѣсколько смѣшное, выражало привычку мыслить и доброту. Звали его Андреемъ Петровичемъ Берсеневымъ; его товарищъ, бѣлокурый молодой человѣкъ, прозывался Шубинымъ, Павломъ Яковличемъ.

— Отчего ты не лежишь, какъ я, на груди?— началъ Шубинъ. Такъ гораздо лучше. Особенно когда поднимешь ноги и стучишь каблуками дружку о дружку—вотъ такъ. Трава подъ носомъ: надоѣстъ глазѣть на пейзажъ—смотри на какую-нибудь пузатую козявку, какъ она ползетъ по былинкѣ, или на муравья, какъ онъ суетится. Право такъ лучше. А то ты принялъ теперь какую-то псевдо-классическую позу, ни дать, ни взять, танцовщица въ балетѣ, когда она облокачивается на картонный утесъ. Ты вспомни, что ты теперь имѣешь полное право отдыхать. Шутка сказать: вышелъ третьимъ кандидатомъ! Отдохните, сэръ; перестаньте напрягаться, раскиньте свои члены!

Шубинъ произнесъ всю эту рѣчь въ носъ, полу-лѣниво, полу-шутливо (балованныя дѣти говорятъ такъ съ друзьями дома, которые привозятъ имъ конфеты), и, не дождавшись отвѣта, продолжалъ:

— Меня больше всего поражаетъ въ муравьяхъ, жукахъ и другихъ господахъ насѣкомыхъ ихъ удивительная *серьезность*: бѣгаютъ взадъ и впередъ съ такими важными

физіономіями, точно и ихъ жизнь что-то значитъ! Помилуйте, человѣкъ — царь созданья, существо высшее, на нихъ взираетъ, а имъ и дѣла до него нѣтъ: еще, пожалуй, иной комаръ сядетъ на носъ царю созданія и станетъ употреблять его себѣ въ пищу. Это обидно. А съ другой стороны, чѣмъ ихъ жизнь хуже нашей жизни? И отчего же имъ не важничать, если мы позволяемъ себѣ важничать? Ну-ка, философъ, разрѣши мнѣ эту задачу! Что жъ ты молчишь? А?

— Что...—проговорилъ, встрепенувшись, Берсеневъ.

— Что! — повторилъ Шубинъ. — Твой другъ излагаетъ передъ тобою глубокія мысли, а ты его не слушаешь.

— Я любовался видомъ. Посмотри, какъ эти поля горячо блестятъ на солнцѣ! (Берсеневъ немного пришепетывалъ.)

— Важный пущенъ колеръ, — промолвилъ Шубинъ. — Одно слово, натура!

Берсеневъ покачалъ головой.

— Тебѣ бы еще больше меня слѣдовало восхищаться всѣмъ этимъ. Это по твоей части: ты артистъ.

— Нѣтъ-съ, этой не по моей части-съ,—возразилъ Шубинъ, и надѣлъ шляпу на затылокъ.—Я мясникъ-съ; мое дѣло — мясо, мясо лѣпить, плечи, ноги, руки, а тутъ и формы нѣтъ, законченности нѣтъ, разъѣхалось во всѣ стороны... Пойди, поймай!

— Да вѣдь и тутъ красота, — замѣтилъ Берсеневъ. — Кстати, кончилъ ты свой барельефъ?

— Какой?

— Ребенка съ козломъ.

— Къ чорту! къ чорту! къ чорту!—воскликнулъ нараспѣвъ Шубинъ. — Посмотрѣлъ на настоящихъ, на стариковъ, на антики, да и разбилъ свою чепуху. Ты указываешь мнѣ на природу и говоришь: „И тутъ красота“. Конечно, во всемъ красота, даже и въ твоемъ носѣ красота, да за всякою красотой не угоняешься. Старики — тѣ за ней и не гонялись; она сама сходила въ ихъ созданія, откуда—Богъ вѣсть, съ неба, что ли. Имъ весь міръ принадлежалъ; намъ такъ широко распространяться не

приходится: коротки руки. Мы закидываемъ удочку на одной точечкѣ, да и караулимъ. Клюнетъ, браво! а не клюнетъ...

Шубинъ высунулъ языкъ.

— Постой, постой,—возразилъ Берсеневъ.—Это парадоксъ. Если ты не будешь сочувствовать красотѣ, любить ее всюду, гдѣ бы ты ее ни встрѣтилъ, такъ она тебѣ и въ твоемъ искусствѣ не дастся. Если прекрасный видъ, прекрасная музыка ничего не говорятъ твоей душѣ, я хочу сказать, если ты имъ не сочувствуешь...

— Эхъ, ты, сочувственникъ!—брякнулъ Шубинъ и самъ засмѣялся новоизобрѣтенному слову. а Берсеневъ задумался.—Нѣтъ, братъ,—продолжалъ Шубинъ:—ты умница-философъ, третій кандидатъ московскаго университета, съ тобой спорить страшно, особенно мнѣ, недоучившемуся студенту; но я тебѣ вотъ что скажу: кромѣ своего искусства, я люблю красоту только въ женщинахъ... въ дѣвушкахъ, да и то съ нѣкоторыхъ поръ...

Онъ перевернулся на спину и заложилъ руки за голову.

Нѣсколько мгновеній прошло въ молчаніи. Тишина полуденнаго зноя тяготѣла надъ сіяющей и заснувшей землей.

— Кстати, о женщинахъ,—заговорилъ опять Шубинъ.—Что это никто не возьметъ Стахова въ руки? Ты видѣлъ его въ Москвѣ?

— Нѣтъ.

— Совсѣмъ съ ума сошелъ старецъ. Сидитъ по цѣлымъ днямъ у своей Августины Христіановны, скучаетъ страшно, а сидитъ. Глазѣютъ другъ на друга, такъ глупо... Даже противно смотрѣть. Вотъ поди ты! Какимъ семействомъ Богъ благословилъ этого человѣка: нѣтъ, подай ему Августину Христіановну! Я ничего не знаю гнуснѣе ея утиной физіономіи! На-дняхъ я вылѣпилъ ея карикатуру, въ дантановскомъ вкусѣ. Очень вышло недурно. Я тебѣ покажу.

— А Елены Николаевны бюстъ,—спросилъ Берсеневъ:—подвигается?

— Нѣтъ, братъ, не подвигается. Отъ этого лица можно

отчаяніе придти. Посмотришь, линіи чистыя, строгія, мыя; кажется, не трудно схватить сходство. Не тутъ-было... Не дается, какъ кладъ въ руки. Замѣтилъ ты, ь она слушаетъ? Ни одна черта не тронется, только аженіе взгляда безпрестанно мѣняется, а отъ него яется вся фигура. Что тутъ прикажешь дѣлать скульп-у, да еще плохому? Удивительное существо... стран-существо, — прибавилъ онъ послѣ короткаго мол-ія.

— Да; она удивительная дѣвушка,—повторилъ за нимъ сеневъ.

— А дочь Николая Артемьевича Стахова! Вотъ послѣ о и разсуждай о крови, о породѣ. И вѣдь забавно то, она точно его дочь, похожа на него, и на мать по-ка, на Анну Васильевну. Я Анну Васильевну уважаю всего сердца, она же моя благодѣтельница; но вѣдь курица. Откуда же взялась эта душа у Елены? Кто егъ этотъ огонь? Вотъ опять тебѣ задача, философъ!

Но „философъ“ попрежнему ничего не отвѣчалъ. Бер-евъ, вообще, не грѣшилъ многоглаголаніемъ, и когда орилъ, выражался неловко, съ запинками, безъ нужды водя руками; а въ этотъ разъ какая-то особенная ти-на нашла на его душу, тишина, похожая на усталость а грусть. Онъ недавно переселился за городъ послѣ гой и трудной работы, отнимавшей у него по нѣскольку овъ въ день. Бездѣйствіе, нѣга и чистота воздуха, со-ніе достигнутой цѣли, прихотливый и небрежный раз-оръ съ пріятелемъ, внезапно вызванный образъ ми-о существа, всѣ эти разнородныя, и въ то же время ему-то сходныя впечатлѣнія слились въ немъ въ одно цее чувство, которое и успокоивало его, и волновало, безсиливало... Онъ былъ очень нервическій молодой овѣкъ.

Подъ липой было прохладно и спокойно; залетавшія въ гъ ея тѣни мухи и пчелы, казалось, жужжали тише; гая мелкая трава изумруднаго цвѣта, безъ золотыхъ ювъ, не колыхалась; высокіе стебельки стояли непо-жно, какъ очарованные; какъ мертвые, висѣли малень-

кіе гроздья желтыхъ цвѣтовъ на нижнихъ вѣткахъ липы. Сладкій запахъ съ каждымъ дыханіемъ втѣснялся въ самую глубь груди, но грудь имъ охотно дышала. Вдали, за рѣкой, до небосклона все сверкало, все горѣло; изрѣдка пробѣгалъ тамъ вѣтерокъ и дробилъ и усиливалъ сверканіе; лучистый паръ колебался надъ землей. Птицъ не было слышно: онѣ не поютъ въ часы зноя; но кузнечики трещали повсемѣстно, и пріятно было слушать этотъ горячій звукъ жизни, сидя въ прохладѣ, на покоѣ: онъ клонилъ ко сну и будилъ мечтанія.

— Замѣтилъ ли ты,—началъ вдругъ Берсеневъ, помогая своей рѣчи движеніями рукъ:—какое странное чувство возбуждаетъ въ насъ природа? Все въ ней такъ полно, такъ ясно, я хочу сказать, такъ удовлетворено собою, и и мы это понимаемъ и любуемся этимъ, и въ то же время она, по крайней мѣрѣ во мнѣ, всегда возбуждаетъ какое-то безпокойство, какую-то тревогу, даже грусть. Что̀ это значитъ? Сильнѣе ли сознаемъ мы передъ нею, передъ ея лицомъ, всю нашу неполноту, нашу неясность, или же намъ мало того удовлетворенія, какимъ она довольствуется, а другого, то-есть я хочу сказать, того, чего намъ нужно, у нея нѣтъ.

— Гмъ,—возразилъ Шубинъ:—я тебѣ скажу, Андрей Петровичъ, отчего все это происходитъ. Ты описалъ ощущенія одинокаго человѣка, который не живетъ, а только смотритъ, да млѣетъ. Чего смотрѣть? Живи самъ и будешь молодцомъ. Сколько ты ни стучись природѣ въ дверь, не отзовется она понятнымъ словомъ, потому что она нѣмая. Будетъ звучать и ныть, какъ струна, а пѣсни отъ нея не жди. Живая душа—та отзовется, и по преимуществу женская душа. А потому, благородный другъ мой, совѣтую тебѣ запастись подругой сердца, и всѣ твои тоскливыя ощущенія тотчасъ исчезнутъ. Вотъ что̀ намъ „нужно“, какъ ты говоришь. Вѣдь эта тревога, эта грусть, вѣдь это, просто, своего рода голодъ. Дай желудку настоящую пищу, и все тотчасъ придетъ въ порядокъ. Займи свое мѣсто въ пространствѣ, будь тѣломъ, братецъ ты мой. Да и что̀ такое, къ чему природа? Ты послушай

самъ: любовь... какое сильное, горячее слово! Природа... какое холодное, школьное выраженіе! А потому (Шубинъ запѣлъ): „Да здравствуетъ, Марья Петровна!“ или нѣтъ,— прибавилъ онъ: — не Марья Петровна, ну да все равно! Ву ме компрене́.

Берсеневъ приподнялся и оперся подбородкомъ на сложенныя руки.

— Зачѣмъ насмѣшка, — проговорилъ онъ, не глядя на своего товарища:—зачѣмъ глумленіе? Да, ты правъ: любовь—великое слово; великое чувство... Но о какой любви говоришь ты?

Шубинъ тоже приподнялся.

— О какой любви? О какой угодно, лишь бы она была на лицо. Признаюсь тебѣ, по-моему, вовсе нѣтъ различныхъ родовъ любви. Коли ты полюбилъ...

— Отъ всей души,—подхватилъ Берсеневъ.

— Ну да, это само собою разумѣется: душа не яблоко: ея не раздѣлишь. Коли ты полюбилъ, ты и правъ. А я не думалъ глумиться. У меня на сердцѣ теперь такая нѣжность, такъ оно смягчено... Я хотѣлъ только объяснить, почему природа, по-твоему, такъ на насъ дѣйствуетъ. Потому, что она будитъ въ насъ потребность любви, и не въ силахъ удовлетворить ее. Она насъ тихо гонитъ въ другія, живыя объятія, а мы ея не понимаемъ и чего-то ждемъ отъ нея самой. Ахъ, Андрей, Андрей, прекрасно. Это солнце, это небо, все, все вокругъ насъ прекрасно, а ты грустишь; но если бы въ это мгновеніе ты держалъ въ своей рукѣ руку любимой женщины, если бъ эта рука и вся эта женщина были твои, если бы ты даже глядѣлъ *ея* глазами, чувствовалъ не своимъ, одинокимъ, а *ея* чувствомъ, — не грусть, Андрей, не тревогу возбуждала бы въ тебѣ природа, и не сталъ бы ты замѣчать ея красоты; она бы сама радовалась и пѣла, она бы вторила твоему гимну, потому что ты въ нее, въ нѣмую, вложилъ бы тогда языкъ!

Шубинъ вскочилъ на ноги и прошелся раза два взадъ и впередъ, а Берсеневъ наклонилъ голову, и лицо его покрылось слабой краской.

— Я не совсѣмъ согласенъ съ тобою, — началъ онъ:— не всегда природа намекаетъ намъ на... на любовь. (Онъ не сразу произнесъ это слово.) Она также грозитъ намъ: она напоминаетъ о страшныхъ... да, о недоступныхъ тайнахъ. Не она ли должна поглотить насъ, не безпрестанно ли она поглощаетъ насъ. Въ ней и жизнь, и смерть; и смерть въ ней такъ же громко говоритъ, какъ и жизнь.

— И въ любви жизнь и смерть,—перебилъ Шубинъ.

— А потомъ, — продолжалъ Берсеневъ: — когда я, напримѣръ, стою весной, въ лѣсу, въ зеленой чащѣ, когда мнѣ чудятся романтическіе звуки Оберонова рога (Берсеневу стало немножко совѣстно, когда онъ выговорилъ эти слова)—развѣ и это...

— Жажда любви, жажда счастія, больше ничего!—подхватилъ Шубинъ.—Знаю и я эти звуки, знаю и я то утомленіе и ожиданіе, которыя находятъ на душу подъ сѣнью лѣса, въ его нѣдрахъ, или вечеромъ, въ открытыхъ поляхъ, когда заходитъ солнце и рѣка дымится за кустами. Но и отъ лѣса, и отъ рѣки, и отъ земли, и отъ неба, отъ всякаго облачка, отъ всякой травки я жду, я хочу счастія, я во всемъ чую его приближеніе, слышу его призывъ. „Мой богъ—богъ свѣтлый и веселый!“ Я было такъ началъ одно стихотвореніе; сознайся: славный первый стихъ, да второго никакъ подобрать не могъ. Счастья! счастья! пока жизнь не прошла, пока всѣ наши члены въ нашей власти, пока мы идемъ не подъ гору, а въ гору! Чортъ возьми!— продолжалъ Шубинъ съ внезапнымъ порывомъ: — мы молоды, не уроды, не глупы: завоюемъ себѣ счастіе!

Онъ встряхнулъ кудрями и самоувѣренно, почти съ вызовомъ, глянулъ вверхъ, на небо. Берсеневъ поднялъ на него глаза.

— Будто нѣтъ ничего выше счастья? — проговорилъ онъ тихо.

— А напримѣръ?—спросилъ Шубинъ и остановился.

— Да вотъ, напримѣръ, мы съ тобой, какъ ты говоришь, молоды, мы хорошіе люди, положимъ; каждый изъ насъ желаетъ для себя счастья... Но такое ли это слово: „*счастье*“, которое соединило, воспламенило бы насъ

обоихъ, заставило бы насъ подать другъ другу руки? Не эгоистическое ли, я хочу сказать, не разъединяющее ли это слово?

— А ты знаешь такія слова, которыя соединяютъ?

— Да; и ихъ не мало; и ты ихъ знаешь.

— Ну-ка? какія это слова?

— Да хоть бы искусство,—такъ какъ ты художникъ,— родина, наука, свобода, справедливость.

— А любовь?—спросилъ Шубинъ.

— И любовь соединяющее слово; но не та любовь, которой ты теперь жаждешь: не любовь — наслажденіе, любовь—жертва.

Шубинъ нахмурился.

— Это хорошо для нѣмцевъ; я хочу любить для себя; я хочу быть нумеромъ первымъ.

— Нумеромъ первымъ,—повторилъ Берсеневъ.—А мнѣ кажется, поставить себя нумеромъ вторымъ — все назначеніе нашей жизни.

— Если всѣ такъ будутъ поступать, какъ ты совѣтуешь,— промолвилъ съ жалобною гримасой Шубинъ: — никто на землѣ не будетъ ѣсть ананасовъ: всѣ другимъ ихъ предоставлять будутъ.

— Значитъ, ананасы не нужны; а впрочемъ, не бойся: всегда найдутся любители даже хлѣбъ отъ чужого рта отнимать.

Оба пріятеля помолчали.

— Я на-дняхъ опять встрѣтилъ Инсарова,—началъ Берсеневъ:—я пригласилъ его къ себѣ; я непремѣнно хочу познакомить его съ тобой... и съ Стаховыми.

— Какой это Инсаровъ? Ахъ да, этотъ сербъ или болгаръ, о которомъ ты мнѣ говорилъ? Патріотъ этотъ? Ужъ не онъ ли внушилъ тебѣ всѣ эти философическія мысли?

— Можетъ-быть.

— Необыкновенный онъ индивидуумъ, что ли?

— Да.

— Умный? Даровитый?

— Умный?.. Даровитый? не знаю, не думаю.

— Нѣтъ? Что же въ немъ замѣчательнаго?

— Вотъ увидишь. А теперь, я думаю, намъ пора идти. — Анна Васильевна насъ, чай, дожидается. Который-то часъ?

— Третій. Пойдемъ. Какъ душно! Этотъ разговоръ во мнѣ всю кровь зажегъ. И у тебя была минута... я не даромъ артистъ: я на все замѣтливъ. Признайся, занимаетъ тебя женщина?..

Шубинъ хотѣлъ заглянуть въ лицо Берсеневу, но онъ отвернулся и вышелъ изъ-подъ липы. Шубинъ отправился вслѣдъ за нимъ, развалисто-граціозно переступая своими маленькими ножками. Берсеневъ двигался неуклюже, высоко поднималъ на ходу плечи, вытягивалъ шею: а все-таки онъ казался болѣе порядочнымъ человѣкомъ, чѣмъ Шубинъ, болѣе джентльменомъ, сказали бы мы, еслибъ это слово не было у насъ такъ опошлено.

II.

Молодые люди спустились къ Москвѣ-рѣкѣ и пошли вдоль ея берега. Отъ воды вѣяло свѣжестью, и тихій плескъ небольшихъ волнъ ласкалъ слухъ.

— Я бы опять выкупался,—заговорилъ Шубинъ: — да боюсь опоздать. Посмотри на рѣку: она словно насъ манитъ. Древніе греки въ ней признали бы нимфу. Но мы не греки, о, нимфа! мы—толстокожіе скиѳы.

— У насъ есть русалки,—замѣтилъ Берсеневъ.

— Поди ты съ своими русалками! На что мнѣ, ваятелю, эти исчадія запуганной, холодной фантазіи, эти образы, рожденные въ духотѣ избы, во мракѣ зимнихъ ночей? Мнѣ нужно свѣта, простора... Когда же, Боже мой, поѣду я въ Италію? Когда...

— То-есть, ты хочешь сказать, въ Малороссію?

— Стыдно тебѣ, Андрей Петровичъ, упрекать меня въ необдуманной глупости, въ которой я, и безъ того, горько раскаиваюсь. Ну да, я поступилъ какъ дуракъ: добрѣйшая Анна Васильевна дала мнѣ денегъ на поѣздку въ Италію, а я отправился къ хохламъ, ѣсть галушки, и...

— Не договаривай, пожалуйста,—перебилъ Берсеневъ.

— И все-таки я скажу, что эти деньги не были истра-

чены даромъ. Я увидалъ тамъ такіе типы, особенно женскіе... Конечно, я знаю: внѣ Италіи нѣтъ спасенія!

— Ты поѣдешь въ Италію,—проговорилъ Берсеневъ, не оборачиваясь къ нему:—и ничего не сдѣлаешь. Будешь все только крыльями размахивать и не полетишь. Знаемъ мы васъ!

— Ставассеръ полетѣлъ же... И не онъ одинъ. А не полечу,—значитъ, я пингуинъ морской, безъ крыльевъ. Мнѣ душно здѣсь, въ Италію хочу,—продолжалъ Шубинъ:—тамъ солнце, тамъ красота...

Молодая дѣвушка, въ широкой соломенной шляпѣ, съ розовымъ зонтикомъ на плечѣ, показалась въ это мгновеніе на тропинкѣ, по которой шли пріятели.

— Но что я вижу? И здѣсь къ намъ навстрѣчу идетъ красота! Привѣтъ смиреннаго художника очаровательной Зоѣ!—крикнулъ вдругъ Шубинъ, театрально размахнувъ шляпой.

Молодая дѣвушка, къ которой относилось это восклицаніе, остановилась, погрозила ему пальцемъ и, допустивъ до себя обоихъ пріятелей, проговорила звонкимъ голоскомъ и чуть-чуть картавя:

— Что же вы это, господа, обѣдать не идете? Столъ накрытъ.

— Что я слышу? — заговорилъ, всплеснувъ руками, Шубинъ. — Неужели вы, восхитительная Зоя, въ такую жару рѣшились идти насъ отыскивать? Такъ ли я долженъ понять смыслъ вашей рѣчи? Скажите, неужели? Или нѣтъ, лучше не произносите этого слова: раскаяніе убьетъ меня мгновенно.

— Ахъ, перестаньте, Павелъ Яковлевичъ,—возразила, не безъ досады, дѣвушка: — отчего вы никогда не говорите со мной серьезно? Я разсержусь,—прибавила она съ кокетливой ужимкой, и надула губки.

— Вы не разсердитесь на меня, идеальная Зоя Никитишна: вы не захотите повергнуть меня въ мрачную бездну изступленнаго отчаянія. А серьезно говорить я не умѣю, потому что я не серьезный человѣкъ.

Дѣвушка пожала плечомъ и обратилась къ Берсеневу.

— Вотъ онъ всегда такъ: обходится со мной какъ съ ребенкомъ; а мнѣ ужъ восемнадцать лѣтъ минуло. Я уже большая.

— О, Боже! — простоналъ Шубинъ и закатилъ глаза подъ лобъ; а Берсеневъ усмѣхнулся молча.

Дѣвушка топнула ножкой.

— Павелъ Яковлевичъ! Я разсержусь! Hélène пошла было со мною, — продолжала она:—да осталась въ саду. Ее жара испугала, но я не боюсь жары. Пойдемте.

Она отправилась впередъ по тропинкѣ, слегка раскачивая свой тонкій станъ при каждомъ шагѣ и откидывая хорошенькою ручкой, одѣтой въ черную митенку, мягкіе, длинные локоны отъ лица.

Пріятели пошли за нею (Шубинъ то безмолвно прижималъ руки къ сердцу, то поднималъ ихъ выше головы) и, нѣсколько мгновеній спустя, очутились передъ одною изъ многочисленныхъ дачъ, окружающихъ Кунцово. Небольшой деревянный домикъ съ мезониномъ, выкрашенный розовою краской, стоялъ посреди сада и какъ-то наивно выглядывалъ изъ-за зелени деревьевъ. Зоя первая отворила калитку, вбѣжала въ садъ и закричала: „привела скитальцевъ!“ Молодая дѣвушка съ блѣднымъ и выразительнымъ лицомъ поднялась со скамейки близъ дорожки, а на порогѣ дома показалась дама въ лиловомъ шелковомъ платьѣ и, поднявъ вышитый батистовый платокъ надъ головою для защиты отъ солнца, улыбнулась томно и вяло.

III.

Анна Васильевна Стахова, урожденная Шубина, семи лѣтъ осталась круглой сиротой и наслѣдницей довольно значительнаго имѣнія. У нея были родственники очень богатые и очень бѣдные; бѣдные по отцу, богатые по матери: сенаторъ Волгинъ, князья Чикурасовы. Князь Ардаліонъ Чикурасовъ, назначенный къ ней опекуномъ, помѣстилъ ее въ лучшій московскій пансіонъ, а по выходѣ ея изъ пансіона, взялъ ее къ себѣ въ домъ. Онъ жилъ открыто и давалъ зимой балы. Будущій мужъ Анны Васильевны, Николай Артемьевичъ Стаховъ, завоевалъ ее

на одномъ изъ этихъ баловъ, гдѣ она была въ „прелестномъ розовомъ платьѣ съ куафюрой изъ маленькихъ розъ". Она берегла эту куафюру... Николай Артемьевичъ Стаховъ, сынъ отставного капитана, раненаго въ двѣнадцатомъ году и получившаго доходное мѣсто въ Петербургѣ, шестнадцати лѣтъ поступилъ въ юнкерскую школу и вышелъ въ гвардію. Онъ былъ красивъ собою, хорошо сложенъ и считался едва ли не лучшимъ кавалеромъ на вечеринкахъ средней руки, которыя посѣщалъ преимущественно: въ большой свѣтъ ему не было дороги. Смолоду его занимали двѣ мечты: попасть въ флигель-адъютанты и выгодно жениться; съ первою мечтой онъ скоро разстался, но тѣмъ крѣпче держался за вторую. Вслѣдствіе этого, онъ каждую зиму ѣздилъ въ Москву. Николай Артемьевичъ порядочно говорилъ по-французски и слылъ философомъ, потому что не кутилъ. Будучи только прапорщикомъ, онъ уже любилъ настойчиво поспорить, напримѣръ, о томъ, можно ли человѣку въ теченіе всей своей жизни объѣздить весь земной шаръ, можно ли ему знать, что̀ происходитъ на днѣ морскомъ — и всегда держался того мнѣнія, что—нельзя.

Николаю Артемьевичу минуло двадцать пять лѣтъ, когда онъ „подцѣпилъ" Анну Васильевну; онъ вышелъ въ отставку и поѣхалъ въ деревню хозяйничать. Деревенское житье ему скоро надоѣло, имѣніе же было оброчное; онъ поселился въ Москвѣ, въ домѣ жены. Въ молодости онъ ни въ какія игры не игралъ, а тутъ пристрастился къ лото, а когда запретили лото, къ ералашу. Дома онъ скучалъ; сошелся со вдовой нѣмецкаго происхожденія и проводилъ у ней почти все время. На лѣто 53 года онъ не переѣхалъ въ Кунцово: онъ остался въ Москвѣ, будто бы для того, чтобы пользоваться минеральными водами; въ сущности, ему не хотѣлось разстаться съ своею вдовой. Впрочемъ, онъ и съ ней разговаривалъ мало, а также больше спорилъ о томъ, можно ли предвидѣть погоду и т. д. Разъ кто-то назвалъ его frondeur; это названіе очень ему понравилось. „Да", думалъ онъ, самодовольно опуская углы губъ и покачиваясь,

„меня удовлетворить не легко; меня не надуешь". Фрондерство Николая Артемьевича состояло въ томъ, что онъ услышитъ, напримѣръ, слово: нервы, и скажетъ: „а что такое нервы?" или кто-нибудь упомянетъ при немъ объ успѣхахъ астрономіи, и онъ скажетъ: „а вы вѣрите въ астрономію?" Когда же онъ хотѣлъ окончательно сразить противника, онъ говорилъ: „все это однѣ фразы". Должно сознаться, что многимъ лицамъ такого рода возраженія казались (и до сихъ поръ кажутся) неопровержимыми; но Николай Артемьевичъ никакъ не подозрѣвалъ того, что Августина Христіановна въ письмахъ къ своей кузинѣ, Өеодолиндѣ Петерзиліусъ, называла его: Mein Pinselchen.

Жена Николая Артемьевича, Анна Васильевна, была маленькая и худенькая женщина съ тонкими чертами лица, склонная къ волненію и грусти. Въ пансіонѣ она занималась музыкой и читала романы, потомъ все это бросила: стала рядиться, и это оставила; занялась-было воспитаніемъ дочери, и тутъ ослабѣла и передала ее на руки къ гувернанткѣ; кончилось тѣмъ, что она только и дѣлала, что грустила и тихо волновалась. Рожденіе Елены Николаевны разстроило ея здоровье, и она уже не могла болѣе имѣть дѣтей; Николай Артемьевичъ намекалъ на это обстоятельство, оправдывая свое знакомство съ Августиной Христіановной. Невѣрность мужа очень огорчала Анну Васильевну; особенно больно ей было то, что онъ однажды обманомъ подарилъ своей нѣмкѣ пару сѣрыхъ лошадей съ ея, Анны Васильевны, собственнаго завода. Въ глаза она его никогда не упрекала, но украдкой жаловалась на него поочередно всѣмъ въ домѣ, даже дочери. Анна Васильевна не любила выѣзжать, ей было пріятно, когда у ней сидѣлъ гость и разсказывалъ что-нибудь; въ одиночествѣ она тотчасъ занемогала. Сердце у ней было очень любящее и мягкое: жизнь ее скоро перемолола.

Павелъ Яковлевичъ Шубинъ доводился ей троюроднымъ племянникомъ. Отецъ его служилъ въ Москвѣ. Братья *его* поступили въ кадетскіе корпуса; онъ былъ самый

младшій, любимецъ матери, нѣжнаго тѣлосложенія: онъ остался дома. Его назначали въ университетъ, и съ трудомъ поддерживали въ гимназіи. Съ раннихъ лѣтъ началъ онъ оказывать наклонность къ ваянію; тяжеловѣсный сенаторъ Волгинъ увидалъ однажды одну его статуэтку у его тетки (ему было тогда лѣтъ шестнадцать) объявилъ, что намѣренъ покровительствовать юному таланту. Внезапная смерть отца Шубина чуть-было не измѣнила всей будущности молодого человѣка. Сенаторъ, покровитель талантовъ, подарилъ ему гипсовый бюстъ Гомера — и только; но Анна Васильевна помогла ему деньгами, и онъ, съ грѣхомъ пополамъ, девятнадцати лѣтъ поступилъ въ университетъ, на медицинскій факультетъ. Павелъ не чувствовалъ никакого расположенія къ медицинѣ, но, по существовавшему въ то время штату студентовъ, ни въ какой другой факультетъ поступить было невозможно; притомъ онъ надѣялся поучиться анатоміи. Но онъ не выучился анатоміи; на второй курсъ онъ не перешелъ и, дождавшись экзамена, вышелъ изъ университета съ тѣмъ, чтобы посвятиться исключительно своему призванію. Онъ трудился усердно, но урывками; скитался по окрестностямъ Москвы, лѣпилъ и рисовалъ портреты крестьянскихъ дѣвокъ, сходился съ разными лицами, молодыми и старыми, высокаго и низкаго полета, итальянскими формовщиками и русскими художниками, слышать не хотѣлъ объ академіи и не признавалъ ни одного профессора. Талантомъ онъ обладалъ положительнымъ: его начали знать по Москвѣ. Мать его, парижанка родомъ, хорошей фамиліи, добрая и умная женщина, выучила его по-французски, хлопотала и заботилась о немъ денно и нощно, гордилась имъ и, умирая еще въ молодыхъ лѣтахъ отъ чахотки, упросила Анну Васильевну взять его къ себѣ на руки. Ему тогда уже пошелъ двадцать-первый годъ. Анна Васильевна исполнила ея послѣднее желаніе: онъ занималъ небольшую комнатку во флигелѣ дачи.

IV.

— Пойдемте же кушать, пойдемте, — проговорила жалостнымъ голосомъ хозяйка, и всѣ отправились въ столовую. — Сядьте подлѣ меня, Zoé, — промолвила Анна Васильевна, — а ты, Hélène, займи гостя, а ты, Paul, пожалуйста, не шали и не дразни Zoé. У меня голова болитъ сегодня.

Шубинъ опять возвелъ глаза къ небу; Zoé отвѣтила ему полу-улыбкой. Эта Zoé, или говоря точнѣе, Зоя Никитишна Мюллеръ, была миленькая, немного косенькая русская нѣмочка съ раздвоеннымъ на концѣ носикомъ и красными крошечными губками, бѣлокурая, пухленькая. Она очень не дурно пѣла русскіе романсы, чистенько разыгрывала на фортепіано разныя, то веселенькія, то чувствительныя штучки; одѣвалась со вкусомъ, но какъ-то по-дѣтски и уже слишкомъ опрятно. Анна Васильевна взяла ее въ компаньонки къ своей дочери и почти постоянно держала ее при себѣ. Елена на это не жаловалась: она рѣшительно не знала, о чемъ ей говорить съ Зоей, когда ей случалось остаться съ ней наединѣ.

Обѣдъ продолжался довольно долго; Берсеневъ разговаривалъ съ Еленой объ университетской жизни, о своихъ намѣреніяхъ и надеждахъ; Шубинъ прислушивался и молчалъ, ѣлъ съ преувеличенною жадностію, изрѣдка бросая комически унылые взоры на Зою, которая отвѣчала ему все тою же флегматической улыбкой. Послѣ обѣда Елена съ Берсеневымъ и Шубинымъ отправились въ садъ; Зоя посмотрѣла имъ вслѣдъ и, слегка пожавъ плечикомъ, сѣла за фортепіано. Анна Васильевна проговорила-было:

— Отчего же вы не идете тоже гулять? — но не дождавшись отвѣта, прибавила: — сыграйте мнѣ что-нибудь такое грустное...

— La dernière pensée de Weber?—спросила Зоя.

— Ахъ, да, Вебера, — промолвила Анна Васильевна, опустилась въ кресла, и слеза навернулась на ея рѣсницу.

Между тѣмъ Елена повела обоихъ пріятелей въ бесѣдку изъ акацій, съ деревяннымъ столикомъ по серединѣ и скамейками вокругъ. Шубинъ оглянулся, подпрыгнулъ нѣсколько разъ и, промолвивъ шопотомъ: „подождите!“, сбѣгалъ къ себѣ въ комнату, принесъ кусокъ глины и началъ лѣпить фигуру Зои, покачивая головой, бормоча и посмѣиваясь.

— Опять старыя шутки,—произнесла Елена, взглянувъ на его работу, и обратилась къ Берсеневу, съ которымъ продолжала разговоръ, начатый за обѣдомъ.

— Старыя шутки!—повторилъ Шубинъ.—Предметъ-то больно неистощимый! Сегодня особенно она меня изъ терпѣнія выводитъ.

— Это почему?—спросила Елена.—Подумаешь, вы говорите о какой-нибудь злой, непріятной старухѣ. Хорошенькая, молоденькая дѣвочка...

— Конечно, — перебилъ Шубинъ: — она хорошенькая, очень хорошенькая; я увѣренъ, что всякій прохожій, взглянувъ на нее, непремѣнно долженъ подумать: вотъ бы съ кѣмъ отлично... польку протанцовать; я также увѣренъ, что она это знаетъ, и что это ей пріятно... Къ чему же эти стыдливыя ужимки, эта скромность? Ну, да вамъ извѣстно, что̀ я хочу сказать,—прибавилъ онъ сквозь зубы.—Впрочемъ, вы теперь другимъ заняты.

И, сломивъ фигуру Зои, Шубинъ принялся торопливо и словно съ досадой лѣпить и мять глину.

— И такъ, вы желали бы быть профессоромъ? — спросила Елена Берсенева.

— Да,—возразилъ тотъ, втискивая между колѣнъ свои красныя руки.—Это моя любимая мечта. Конечно, я очень хорошо знаю все, чего мнѣ недостаетъ для того, чтобы быть достойнымъ такого высокаго... я хочу сказать, что я слишкомъ мало подготовленъ, но я надѣюсь получить позволеніе съѣздить за границу; пробуду тамъ три-четыре года, если нужно, и тогда...

Онъ остановился, потупился, потомъ быстро вскинулъ глаза и, неловко улыбаясь, поправилъ волосы. Когда

IV.

— Пойдемте же кушать, пойдемте, — проговорила жалостнымъ голосомъ хозяйка, и всѣ отправились въ столовую. — Сядьте подлѣ меня, Zoé, — промолвила Анна Васильевна, — а ты, Hélène, займи гостя, а ты, Paul, пожалуйста, не шали и не дразни Zoé. У меня голова болитъ сегодня.

Шубинъ опять возвелъ глаза къ небу; Zoé отвѣтила ему полу-улыбкой. Эта Zoé, или говоря точнѣе, Зоя Никитишна Мюллеръ, была миленькая, немного косенькая русская нѣмочка съ раздвоеннымъ на концѣ носикомъ и красными крошечными губками, бѣлокурая, пухленькая. Она очень не дурно пѣла русскіе романсы, чистенько разыгрывала на фортепіано разныя, то веселенькія, то чувствительныя штучки; одѣвалась со вкусомъ, но какъ-то по-дѣтски и уже слишкомъ опрятно. Анна Васильевна взяла ее въ компаньонки къ своей дочери и почти постоянно держала ее при себѣ. Елена на это не жаловалась: она рѣшительно не знала, о чемъ ей говорить съ Зоей, когда ей случалось остаться съ ней наединѣ.

Обѣдъ продолжался довольно долго; Берсеневъ разговаривалъ съ Еленой объ университетской жизни, о своихъ намѣреніяхъ и надеждахъ; Шубинъ прислушивался и молчалъ, ѣлъ съ преувеличенною жадностію, изрѣдка бросая комически унылые взоры на Зою, которая отвѣчала ему все тою же флегматической улыбкой. Послѣ обѣда Елена съ Берсеневымъ и Шубинымъ отправились въ садъ; Зоя посмотрѣла имъ вслѣдъ и, слегка пожавъ плечикомъ, сѣла за фортепіано. Анна Васильевна проговорила-было:

— Отчего же вы не идете тоже гулять? — но не дождавшись отвѣта, прибавила: — сыграйте мнѣ что-нибудь такое грустное...

— La dernière pensée de Weber?—спросила Зоя.

— Ахъ, да, Вебера, — промолвила Анна Васильевна, опустилась въ кресла, и слеза навернулась на ея рѣсницу.

Между тѣмъ Елена повела обоихъ пріятелей въ бесѣдку изъ акацій, съ деревяннымъ столикомъ по серединѣ и скамейками вокругъ. Шубинъ оглянулся, подпрыгнулъ нѣсколько разъ и, промолвивъ шопотомъ: „подождите!“, сбѣгалъ къ себѣ въ комнату, принесъ кусокъ глины и началъ лѣпить фигуру Зои, покачивая головой, бормоча и посмѣиваясь.

— Опять старыя шутки,—произнесла Елена, взглянувъ на его работу, и обратилась къ Берсеневу, съ которымъ продолжала разговоръ, начатый за обѣдомъ.

— Старыя шутки!—повторилъ Шубинъ.—Предметъ-то больно неистощимый! Сегодня особенно она меня изъ терпѣнія выводитъ.

— Это почему?—спросила Елена.—Подумаешь, вы говорите о какой-нибудь злой, непріятной старухѣ. Хорошенькая, молоденькая дѣвочка...

— Конечно, — перебилъ Шубинъ: — она хорошенькая, очень хорошенькая; я увѣренъ, что всякій прохожій, взглянувъ на нее, непремѣнно долженъ подумать: вотъ бы съ кѣмъ отлично... польку протанцовать; я также увѣренъ, что она это знаетъ, и что это ей пріятно... Къ чему же эти стыдливыя ужимки, эта скромность? Ну, да вамъ извѣстно, что̀ я хочу сказать,—прибавилъ онъ сквозь зубы.—Впрочемъ, вы теперь другимъ заняты.

И, сломивъ фигуру Зои, Шубинъ принялся торопливо и словно съ досадой лѣпить и мять глину.

— И такъ, вы желали бы быть профессоромъ? — спросила Елена Берсенева.

— Да,—возразилъ тотъ, втискивая между колѣнъ свои красныя руки.—Это моя любимая мечта. Конечно, я очень хорошо знаю все, чего мнѣ недостаетъ для того, чтобы быть достойнымъ такого высокаго... я хочу сказать, что я слишкомъ мало подготовленъ, но я надѣюсь получить позволеніе съѣздить за границу; пробуду тамъ три-четыре года, если нужно, и тогда...

Онъ остановился, потупился, потомъ быстро вскинулъ глаза и, неловко улыбаясь, поправилъ волосы. Когда

Берсеневъ говорилъ съ женщиной, рѣчь его становилась еще медлительнѣе, и онъ еще болѣе пришепетывалъ.

— Вы хотите быть профессоромъ исторіи? — спросила Елена.

— Да, или философіи, — прибавилъ онъ, понизивъ голосъ:—если это будетъ возможно.

— Онъ уже теперь силенъ, какъ чортъ, въ философіи,—замѣтилъ Шубинъ, проводя глубокія черты ногтемъ по глинѣ:—на что ему за границу ѣздить?

— И вы будете вполнѣ довольны вашимъ положеніемъ? — спросила Елена, подпершись локтемъ и глядя ему прямо въ лицо.

— Вполнѣ, Елена Николаевна, вполнѣ. Какое же можетъ быть лучшее призваніе? Помилуйте, пойти по слѣдамъ Тимоѳея Николаевича... Одна мысль о подобной дѣятельности наполняетъ меня радостью и смущеніемъ, да... смущеніемъ, котораго... которое происходитъ отъ сознанія моихъ малыхъ силъ. Покойный батюшка благословилъ меня на это дѣло... Я никогда не забуду его послѣднихъ словъ.

— Вашъ батюшка скончался нынѣшнею зимой?

— Да, Елена Николаевна, въ февралѣ.

— Говорятъ,—продолжала Елена:—онъ оставилъ замѣчательное сочиненіе въ рукописи; правда ли это?

— Да, оставилъ. Это былъ чудесный человѣкъ. Вы бы полюбили его, Елена Николаевна.

— Я въ этомъ увѣрена. А какое содержаніе этого сочиненія?

— Содержаніе этого сочиненія, Елена Николаевна, передать вамъ въ немногихъ словахъ нѣсколько трудно. Мой отецъ былъ человѣкъ ученый, шеллингіанецъ, онъ употреблялъ выраженія не всегда ясныя...

— Андрей Петровичъ,—перебила его Елена:—извините мое невѣжество, что̀ такое значитъ: шеллингіанецъ?

Берсеневъ слегка улыбнулся.

— Шеллингіанецъ, это значитъ послѣдователь Шеллинга, нѣмецкаго философа, а въ чемъ состояло ученіе *Шеллинга*...

— Андрей Петровичъ!—воскликнулъ вдругъ Шубинъ:— ради самого Бога! Ужъ не хочешь ли ты прочесть Еленѣ Николаевнѣ лекцію о Шеллингѣ? Пощади!

— Вовсе не лекцію, — пробормоталъ Берсеневъ и покраснѣлъ:—я хотѣлъ...

— А почему жъ бы и не лекцію,—подхватила Елена.— Намъ съ вами лекціи очень нужны, Павелъ Яковлевичъ.

Шубинъ уставился на нее, и вдругъ захохоталъ.

— Чему же вы смѣетесь? — спросила она холодно и почти рѣзко.

Шубинъ умолкъ.

— Ну полноте, не сердитесь, — промолвилъ онъ, спустя немного. — Я виноватъ. Но въ самомъ дѣлѣ, что̀ за охота, помилуйте, теперь, въ такую погоду, подъ этими деревьями, толковать о философіи? Давайте лучше говорить о соловьяхъ, о розахъ, о молодыхъ глазахъ и улыбкахъ.

— Да; и о французскихъ романахъ, о женскихъ тряпкахъ,—продолжала Елена.

— Пожалуй, и о тряпкахъ,—возразилъ Шубинъ:—если онѣ красивы.

— Пожалуй. Но если намъ не хочется говорить о тряпкахъ? Вы величаете себя свободнымъ художникомъ, зачѣмъ же вы посягаете на свободу другихъ? И позвольте васъ спросить, при такомъ образѣ мыслей, зачѣмъ вы нападаете на Зою? Съ ней особенно удобно говорить о тряпкахъ и розахъ.

Шубинъ вдругъ вспыхнулъ и приподнялся со скамейки.

— А, вотъ какъ? — началъ онъ нервнымъ голосомъ. — Я понимаю вашъ намекъ; вы меня отсылаете къ ней, Елена Николаевна. Другими словами, я здѣсь лишній?

— Я не думала отсылать васъ отсюда.

— Вы хотите сказать, — продолжалъ запальчиво Шубинъ:—что̀ я не сто̀ю другого общества, что я ей подъ пару, что я такъ же пустъ, и вздоренъ, и мелокъ, какъ эта сладковатая нѣмочка? Не такъ ли-съ?

Елена нахмурила брови.

— Вы не всегда такъ о ней отзывались, Павелъ Яковлевичъ,—замѣтила она.

— А! упрекъ! упрекъ теперь! — воскликнулъ Шубинъ. — Ну да, я не скрываю, была минута, именно одна минута, когда эти свѣжія, пошлыя щечки... Но если бъ я захотѣлъ отплатить вамъ упрекомъ и напомнить вамъ... Прощайте-съ, — прибавилъ онъ вдругъ: — я готовъ завраться.

И, ударивъ рукой по слѣпленной въ видѣ головы глинѣ, онъ выбѣжалъ изъ бесѣдки и ушелъ къ себѣ въ комнату.

— Дитя,—проговорила Елена, поглядѣвъ ему вслѣдъ.

— Художникъ,—промолвилъ съ тихой улыбкой Берсеневъ.—Всѣ художники таковы. Надобно имъ прощать ихъ капризы. Это ихъ право.

— Да, — возразила Елена: — но Павелъ до сихъ поръ еще ничѣмъ не упрочилъ за собой этого права. Что̀ онъ сдѣлалъ до сихъ поръ? Дайте мнѣ руку и пойдемте по аллеѣ. Онъ помѣшалъ намъ. Мы говорили о сочиненіи вашего батюшки.

Берсеневъ взялъ руку Елены и пошелъ съ ней по саду, но начатый разговоръ, слишкомъ рано прерванный, не возобновился; Берсеневъ снова принялся излагать свои воззрѣнія на профессорское званіе, на будущую свою дѣятельность. Онъ тихо двигался рядомъ съ Еленой, неловко выступалъ, неловко поддерживалъ ея руку, изрѣдка толкалъ ее плечомъ, и ни разу не взглянулъ на нее; но рѣчь его текла легко, если не совсѣмъ свободно; онъ выражался просто и вѣрно, и въ глазахъ его, медленно блуждавшихъ по стволамъ деревьевъ, по песку дорожки, по травѣ, свѣтилось тихое умиленіе благородныхъ чувствъ, а въ успокоенномъ голосѣ слышалась радость человѣка, который сознаетъ, что ему удается высказываться передъ другимъ, дорогимъ ему человѣкомъ. Елена слушала его внимательно, и, обернувшись къ нему въ половину, не отводила взора отъ его слегка поблѣднѣвшаго лица, отъ глазъ его, дружелюбныхъ и кроткихъ, хотя избѣгавшихъ встрѣчи съ *ея* глазами. Душа ея раскрывалась, и что-то нѣжное,

справедливое, хорошее, не то вливалось въ ея сердце, не то вырастало въ немъ.

V.

Шубинъ не выходилъ изъ своей комнаты до самой ночи. Уже совсѣмъ стемнѣло, неполный мѣсяцъ стоялъ высоко на небѣ, млечный путь забѣлѣлъ и звѣзды запестрѣли, когда Берсеневъ, простившись съ Анной Васильевной, Еленой и Зоей, подошелъ къ двери своего пріятеля. Онъ нашелъ ее запертою и постучался.

— Кто тамъ?—раздался голосъ Шубина.

— Я,—отвѣчалъ Берсеневъ.

— Чего тебѣ?

— Впусти меня, Павелъ, полно капризничать; какъ тебѣ не стыдно?

— Я не капризничаю, я сплю и вижу во снѣ Зою.

— Перестань пожалуйста. Ты не ребенокъ. Впусти меня. Мнѣ нужно съ тобою поговорить.

— Ты не наговорился еще съ Еленой?

— Полно же, полно; впусти меня!

Шубинъ отвѣчалъ притворнымъ храпѣньемъ, Берсеневъ пожалъ плечами и отправился домой.

Ночь была тепла и какъ-то особенно безмолвна, точно все кругомъ прислушивалось и караулило; и Берсеневъ, охваченный неподвижною мглою, невольно останавливался и тоже прислушивался и караулилъ. Легкій шорохъ, подобный шелесту женскаго платья, поднимался по временамъ въ верхушкахъ близкихъ деревьевъ и возбуждалъ въ Берсеневѣ ощущеніе сладкое и жуткое, ощущеніе полустраха. Мурашки пробѣгали по его щекамъ, глаза холодѣли отъ мгновенной слезы: ему бы хотѣлось выступать совсѣмъ неслышно, прятаться, красться. Рѣзкій вѣтерокъ набѣжалъ на него сбоку: онъ чуть-чуть вздрогнулъ и замеръ на мѣстѣ; сонный жукъ свалился съ вѣтки и стукнулся о дорогу; Берсеневъ тихо воскликнулъ: а! и опять остановился. Но онъ началъ думать о Еленѣ, и всѣ эти мимолетныя ощущенія исчезли разомъ: оставалось одно живительное впечатлѣніе ночной свѣжести и ноч-

ной прогулки; всю душу его занялъ образъ молодой дѣвушки. Берсеневъ шелъ, потупя голову, и припоминалъ ея слова, ея вопросы. Топотъ быстрыхъ шаговъ почудился ему сзади. Онъ приникъ ухомъ: кто-то бѣжалъ, кто-то догонялъ его; послышалось прерывистое дыханіе, и вдругъ передъ нимъ, изъ чернаго круга тѣни, падавшей отъ большого дерева, безъ шапки на растрепанныхъ волосахъ, весь блѣдный при свѣтѣ луны, вынырнулъ Шубинъ.

— Я радъ, что ты пошелъ по этой дорогѣ, — съ трудомъ проговорилъ онъ: — я бы всю ночь не заснулъ, если бъ я не догналъ тебя. Дай мнѣ руку. Вѣдь ты домой идешь?

— Домой.

— Я тебя провожу.

— Да какъ же ты пойдешь безъ шапки?

— Ничего. Я и галстукъ снялъ. Теперь тепло.

Пріятели сдѣлали нѣсколько шаговъ.

— Не правда ли, я былъ очень глупъ сегодня?—спросилъ внезапно Шубинъ.

— Откровенно говоря, да. Я тебя понять не могъ. Я тебя такимъ никогда не видалъ. И отъ чего ты разсердился, помилуй! Изъ-за какихъ пустяковъ?

— Гмъ, — промычалъ Шубинъ. — Вотъ какъ ты выражаешься, а мнѣ не до пустяковъ. Видишь ли, — прибавилъ онъ: — я долженъ тебѣ замѣтить, что я... что... Думай обо мнѣ, что хочешь... я... ну, да! я влюбленъ въ Елену.

— Ты влюбленъ въ Елену! — повторилъ Берсеневъ, и остановился.

— Да, — съ принужденною небрежностью продолжалъ Шубинъ. — Это тебя удивляетъ? Скажу тебѣ болѣе. До нынѣшняго вечера я могъ надѣяться, что и она со временемъ меня полюбитъ. Но сегодня я убѣдился, что мнѣ надѣяться нечего. Она полюбила другого.

— Другого? кого же?

— Кого? Тебя!—воскликнулъ Шубинъ и ударилъ Берсенева по плечу.

— Меня!

— Тебя,—повторилъ Шубинъ.

Берсеневъ отступилъ шагъ назадъ и остался неподвиженъ. Шубинъ зорко посмотрѣлъ на него.

— И это тебя удивляетъ? Ты скромный юноша. Но она тебя любитъ. На этотъ счетъ ты можешь быть спокоенъ.

— Что за вздоръ ты мелешь!—произнесъ наконецъ съ досадой Берсеневъ.

— Нѣтъ, не вздоръ. А впрочемъ, что же мы стоимъ? Пойдемъ впередъ. На ходу легче. Я ее давно знаю, и хорошо ее знаю. Я не могу ошибиться. Ты пришелся ей по-сердцу. Было время, я ей нравился: но, во-первыхъ, я для нея слишкомъ легкомысленный молодой человѣкъ, а ты существо серьезное, ты нравственно и физически опрятная личность, ты... постой, я не кончилъ, ты добросовѣстно-умѣренный энтузіастъ, истый представитель тѣхъ жрецовъ науки, которыми,—нѣтъ, не которыми,—*коими* столь справедливо гордится классъ средняго русскаго дворянства! А, во-вторыхъ, Елена на-дняхъ застала меня цѣлующимъ руки у Зои!

— У Зои?

— Да, у Зои. Что̀ прикажешь дѣлать? У нея плечи такъ хороши.

— Плечи?

— Ну да, плечи, руки, не все ли равно? Елена застала меня посреди этихъ свободныхъ занятій послѣ обѣда, а передъ обѣдомъ я въ ея присутствіи бранилъ Зою. Елена, къ сожалѣнію, не понимаетъ всей естественности подобныхъ противорѣчій. Тутъ *ты* подвернулся: ты вѣришь... во что-бишь, ты вѣришь?.. ты краснѣешь, смущаешься, тоскуешь о Шиллерѣ, о Шеллингѣ (она же все отыскиваетъ замѣчательныхъ людей), вотъ ты и побѣдилъ, а я, несчастный, стараюсь шутить... и... между тѣмъ...

Шубинъ вдругъ заплакалъ, отошелъ въ сторону, присѣлъ на землю и схватилъ себя за волосы.

Берсеневъ приблизился къ нему.

— Павелъ,—началъ онъ:—что это за дѣтство? Помилуй! Что съ тобою сегодня? Богъ знаетъ, какой вздоръ взбрелъ тебѣ въ голову, и ты плачешь. Мнѣ, право, кажется, что ты притворяешься.

Шубинъ поднялъ голову. Слезы блистали на его щекахъ въ лучахъ луны, но лицо его улыбалось.

— Андрей Петровичъ,—заговорилъ онъ:—ты можешь думать обо мнѣ, что тебѣ угодно. Я даже готовъ согласиться, что у меня теперь истерика, но я, ей-Богу, влюбленъ въ Елену, и Елена тебя любитъ. Впрочемъ, я обѣщалъ проводить тебя до дому, и сдержу свое обѣщаніе.

Онъ всталъ.

— Какая ночь! серебристая, темная, молодая! Какъ хорошо теперь тѣмъ, кого любятъ! Какъ имъ весело не спать! Ты будешь спать, Андрей Петровичъ?

Берсеневъ ничего не отвѣчалъ и ускорилъ шаги.

— Куда ты торопишься?—продолжалъ Шубинъ.—Повѣрь моимъ словамъ, такой ночи въ твоей жизни не повторится, а дома ждетъ тебя Шеллингъ. Правда, онъ сослужилъ тебѣ сегодня службу; но ты все-таки не спѣши. Пой, если умѣешь, пой еще громче; если не умѣешь—сними шляпу, закинь голову и улыбайся звѣздамъ. Онѣ всѣ на тебя смотрятъ, на одного тебя: звѣзды только и дѣлаютъ, что смотрятъ на влюбленныхъ людей,—оттого онѣ такъ прелестны. Вѣдь ты влюбленъ, Андрей Петровичъ?.. Ты не отвѣчаешь мнѣ... Отчего ты не отвѣчаешь?—заговорилъ опять Шубинъ.—О, если ты чувствуешь себя счастливымъ, молчи, молчи! Я болтаю, потому что я горемыка, я нелюбимый, я фокусникъ, артистъ, фигляръ; но какіе безмолвные восторги пилъ бы я въ этихъ ночныхъ струяхъ, подъ этими звѣздами, подъ этими алмазами, если бъ я зналъ, что меня любятъ!.. Берсеневъ, ты счастливъ?

Берсеневъ попрежнему молчалъ и быстро шелъ по ровной дорогѣ. Впереди, между деревьями, замелькали огни деревеньки, въ которой онъ жилъ; она вся состояла изъ десятка небольшихъ дачъ. При самомъ ея началѣ, направо отъ дороги, подъ двумя развѣсистыми березами, находи-

лась мелочная лавочка; окна въ ней уже были всѣ заперты, но широкая полоса свѣта падала вѣеромъ изъ растворенной двери на притоптанную траву и била вверхъ по деревьямъ, рѣзко озаряя бѣловатую изнанку сплошныхъ листьевъ. Дѣвушка, съ виду горничная, стояла въ лавкѣ спиной къ порогу и торговалась съ хозяиномъ: изъподъ краснаго платка, который она накинула себѣ на голову и придерживала обнаженной рукой у подбородка, едва виднѣлась ея круглая щечка и тонкая шейка. Молодые люди вступили въ полосу свѣта, Шубинъ глянулъ во внутренность лавки, остановился и кликнулъ: „Аннушка!“ Дѣвушка живо обернулась. Показалось миловидное, немножко широкое, но свѣжее лицо съ веселыми карими глазами и черными бровями. „Аннушка!“ повторилъ Шубинъ. Дѣвушка всмотрѣлась въ него, испугалась, застыдилась—и, не кончивъ покупки, спустилась съ крылечка, проворно скользнула мимо и, чуть-чуть озираясь, пошла чрезъ дорогу, налѣво. Лавочникъ, человѣкъ пухлый и равнодушный ко всему на свѣтѣ, какъ всѣ загородные мелочные торговцы, крякнулъ и зѣвнулъ ей вслѣдъ, а Шубинъ обратился къ Берсеневу со словами: „это... это, вотъ видишь... тутъ есть у меня знакомое семейство... такъ это у нихъ... ты не подумай“... и не докончивъ рѣчи, побѣжалъ за уходившею дѣвушкой.

— Утри, по крайней мѣрѣ, свои слезы,—крикнулъ ему Берсеневъ, и не могъ удержаться отъ смѣха. Но когда онъ вернулся домой, на лицѣ его не было веселаго выраженія; онъ не смѣялся болѣе. Онъ ни на одно мгновеніе не повѣрилъ тому, что сказалъ ему Шубинъ, но слово, имъ произнесенное, запало глубоко ему въ душу. „Павелъ меня дурачилъ“, думалъ онъ... „но она когда-нибудь полюбитъ... Кого полюбитъ она?“

У Берсенева въ комнатѣ стояло фортепіано, небольшое и не новое, но съ мягкимъ и пріятнымъ, хотя не совсѣмъ чистымъ тономъ. Берсеневъ присѣлъ къ нему и началъ брать аккорды. Какъ всѣ русскіе дворяне, онъ въ молодости учился музыкѣ, и, какъ почти всѣ русскіе дворяне, игралъ очень плохо; но онъ страстно любилъ музыку.

Собственно говоря, онъ любилъ въ ней не искусство, не формы, въ которыхъ она выражается (симфоніи и сонаты, даже оперы наводили на него уныніе), а ея стихію: любилъ тѣ смутныя и сладкія, безпредметныя и всеобъемлющія ощущенія, которыя возбуждаются въ душѣ сочетаніемъ и переливами звуковъ. Болѣе часа не отходилъ онъ отъ фортепіано, много разъ повторяя одни и тѣ же аккорды, неловко отыскивая новые, останавливаясь и замирая на уменьшенныхъ септимахъ. Сердце въ немъ ныло, и глаза не однажды наполнялись слезами. Онъ не стыдился ихъ: онъ проливалъ ихъ въ темнотѣ. „Правъ Павелъ", думалъ онъ, „я предчувствую: этотъ вечеръ не повторится". Наконецъ онъ всталъ, зажегъ свѣчку, накинулъ халатъ, досталъ съ полки второй томъ *Исторіи Гогенштауфеновъ, Раумера* — и, вздохнувъ раза два, прилежно занялся чтеніемъ.

VI.

Между тѣмъ Елена вернулась въ свою комнату, сѣла передъ раскрытымъ окномъ и оперлась головой на руки. Проводить каждый вечеръ около четверти часа у окна своей комнаты вошло у ней въ привычку. Она бесѣдовала сама съ собою въ это время, отдавала себѣ отчетъ въ протекшемъ днѣ. Ей недавно минулъ двадцатый годъ. Росту она была высокаго, лицо имѣла блѣдное и смуглое, большіе сѣрые глаза подъ круглыми бровями, окруженные крошечными веснушками, лобъ и носъ совершенно прямые, сжатый ротъ и довольно острый подбородокъ. Ея темно-русая коса спускалась низко на тонкую шею. Во всемъ ея существѣ, въ выраженіи лица, внимательномъ и немного пугливомъ, въ ясномъ, но измѣнчивомъ взорѣ, въ улыбкѣ, какъ будто напряженной, въ голосѣ тихомъ и неровномъ, было что-то нервическое, электрическое, что-то порывистое и торопливое, словомъ, что-то такое, что не могло всѣмъ нравиться, что даже отталкивало иныхъ. Руки у ней были узкія, розовыя, съ длинными пальцами, ноги тоже узкія; она ходила быстро, почти стремительно, *немного* наклоняясь впередъ. Она росла очень странно;

сперва обожала отца, потомъ страстно привязалась къ матери, и охладѣла къ обоимъ, особенно къ отцу. Въ послѣднее время она обходилась съ матерью, какъ съ больною бабушкой; а отецъ, который гордился ею, пока она слыла за необыкновеннаго ребенка, сталъ ея бояться, когда она выросла, и говорилъ о ней, что она какая-то восторженная республиканка, Богъ знаетъ въ кого! Слабость возмущала ее, глупость сердила, ложь она не прощала „во вѣки вѣковъ"; требованія ея ни передъ чѣмъ не отступали, самыя молитвы не разъ мѣшались съ укоромъ. Стоило человѣку потерять ея уваженіе, — а судъ произносила она скоро, часто слишкомъ скоро, — и ужъ онъ переставалъ существовать для нея. Всѣ впечатлѣнія рѣзко ложились въ ея душу: не легко давалась ей жизнь.

Гувернантка, которой Анна Васильевна поручила докончить воспитаніе своей дочери,—воспитаніе, замѣтимъ въ скобкахъ, даже не начатое скучавшей барыней,—была изъ русскихъ, дочь разорившагося взяточника, институтка, очень чувствительное, доброе и лживое существо; она то-и-дѣло влюблялась и кончила тѣмъ, что въ пятидесятомъ году (когда Еленѣ минуло семнадцать лѣтъ) вышла замужъ за какого-то офицера, который тутъ же ее и бросилъ. Гувернантка эта очень любила литературу и сама пописывала стишки; она пріохотила Елену къ чтенію, но чтеніе одно ея не удовлетворяло: она съ дѣтства жаждала дѣятельности, дѣятельнаго добра; нищіе, голодные, больные ее занимали, тревожили, мучили; она видѣла ихъ во снѣ, разспрашивала объ нихъ всѣхъ своихъ знакомыхъ; милостыню она подавала заботливо, съ невольною важностью, почти съ волненіемъ. Всѣ притѣсненныя животныя, худыя дворовыя собаки, осужденные на смерть котята, выпавшіе изъ гнѣзда воробьи, даже насѣкомыя и гады, находили въ Еленѣ покровительство и защиту: она сама кормила ихъ, не гнушалась ими. Мать не мѣшала ей, зато отецъ очень негодовалъ на свою дочь, за ея, какъ онъ выражался, пошлое нѣжничанье, и увѣрялъ, что отъ собакъ да кошекъ въ домѣ ступить негдѣ. „Леночка",

кричалъ онъ ей бывало: „иди скорѣй, паукъ муху сосетъ, освобождай несчастную!“ И Леночка, вся встревоженная, прибѣгала, освобождала муху, расклеивала ей лапки. „Ну, теперь дай себя покусать, коли ты такая добрая“, иронически замѣчалъ отецъ; но она его не слушала. На десятомъ году, Елена познакомилась съ нищею дѣвочкой, Катей, и тайкомъ ходила къ ней на свиданіе въ садъ, приносила ей лакомства, дарила ей платки, гривеннички — игрушекъ Катя не брала. Она садилась съ ней рядомъ на сухую землю, въ глуши, за кустомъ крапивы; съ чувствомъ радостнаго смиренія ѣла ея черствый хлѣбъ, слушала ея разсказы. У Кати была тетка, злая старуха, которая ее часто била; Катя ее ненавидѣла и все говорила о томъ, какъ она убѣжитъ отъ тетки, какъ будетъ жить на *всей Божьей волѣ*; съ тайнымъ уваженіемъ и страхомъ внимала Елена этимъ невѣдомымъ, новымъ словамъ, пристально смотрѣла на Катю, и все въ ней тогда—ея черные, быстрые, почти звѣриные глаза, ея загорѣлыя руки, глухой голосокъ, даже ея изорванное платье — казалось Еленѣ чѣмъ-то особеннымъ, чуть не священнымъ. Елена возвращалась домой и долго потомъ думала о нищихъ, о Божьей волѣ; думала о томъ, какъ она вырѣжетъ себѣ орѣховую палку, и сумку надѣнетъ, и убѣжитъ съ Катей, какъ она будетъ скитаться по дорогамъ въ вѣнкѣ изъ васильковъ: она однажды видѣла Катю въ такомъ вѣнкѣ. Входилъ ли въ это время кто-нибудь изъ родныхъ въ комнату, она дичилась и глядѣла букой. Однажды она въ дождь бѣгала на свиданье съ Катей и запачкала себѣ платье: отецъ увидалъ ее и назвалъ замарашкой, крестьянкой. Она вспыхнула вся—и страшно, и чудно стало ей на сердцѣ. Катя часто напѣвала какую-то полудикую, солдатскую пѣсенку; Елена выучилась у ней этой пѣсенкѣ... Анна Васильевна подслушала ее и пришла въ негодованіе.

— Откуда ты набралась этой мерзости?—спросила она свою дочь.

Елена только посмотрѣла на мать и ни слова не сказала: она почувствовала, что скорѣе позволитъ растерзать себя на части, чѣмъ выдастъ свою тайну, и опять стало ей и

страшно, и сладко на сердцѣ. Впрочемъ, знакомство ея съ Катей продолжалось не долго; бѣдная дѣвочка занемогла горячкой и черезъ нѣсколько дней умерла.

Елена очень тосковала и долго по ночамъ заснуть не могла, когда узнала о смерти Кати. Послѣднія слова нищей дѣвочки безпрестанно звучали у ней въ ушахъ и ей самой казалось, что ее зовутъ...

А годы шли да шли; быстро и не слышно, какъ подснѣжныя воды, протекала молодость Елены, въ бездѣйствіи внѣшнемъ, во внутренней борьбѣ и тревогѣ. Подругъ у ней не было: изо всѣхъ дѣвицъ, посѣщавшихъ домъ Стаховыхъ, она не сошлась ни съ одной. Родительская власть никогда не тяготѣла надъ Еленой, а съ шестнадцатилѣтняго возраста она стала почти совсѣмъ независима; она зажила собственною своею жизнію, но жизнію одинокою. Ея душа и разгоралась, и погасала одиноко, она билась, какъ птица въ клѣткѣ, а клѣтки не было: никто не стѣснялъ ея, никто ея не удерживалъ, а она рвалась и томилась. Она иногда сама себя не понимала, даже боялась самой себя. Все, что окружало ее, казалось ей не то безсмысленнымъ, не то непонятнымъ. „Какъ жить безъ любви? а любить некого!“ думала она, и страшно становилось ей отъ этихъ думъ, отъ этихъ ощущеній. Восемнадцати лѣтъ она чуть не умерла отъ злокачественной лихорадки; потрясенный до основанія, весь ея организмъ, отъ природы здоровый и крѣпкій, долго не могъ справиться: послѣдніе слѣды болѣзни исчезли наконецъ, но отецъ Елены Николаевны все не безъ озлобленія толковалъ объ ея нервахъ. Иногда ей приходило въ голову, что она желаетъ чего-то, чего никто не желаетъ, о чемъ никто не мыслитъ въ цѣлой Россіи. Потомъ она утихала, даже смѣялась надъ собой, безпечно проводила день за днемъ, но внезапно что-то сильное, безымянное, съ чѣмъ она совладѣть не умѣла, такъ и закипало въ ней, такъ и просилось вырваться наружу. Гроза проходила, опускались усталыя, не взлетѣвшія крылья; но эти порывы не обходились ей даромъ. Какъ она ни старалась не выдать того, что въ ней происходило, тоска взволнованной души сказывалась

въ самомъ ея наружномъ спокойствіи, и родные ея часто были въ правѣ пожимать плечами, удивляться и не понимать ея „странностей“.

Въ день, съ котораго начался нашъ разсказъ, Елена дольше обыкновеннаго не отходила отъ окна. Она много думала о Берсеневѣ, о своемъ разговорѣ съ нимъ. Онъ ей нравился; она вѣрила теплотѣ его чувствъ, чистотѣ его намѣреній. Онъ никогда еще такъ не говорилъ съ ней, какъ въ тотъ вечеръ. Она вспомнила выраженіе его несмѣлыхъ глазъ, его улыбки—и сама улыбнулась и задумалась, но уже не о немъ. Она принялась глядѣть въ „ночь“ черезъ открытое окно. Долго глядѣла она на темное, низко-нависшее небо; потомъ она встала, движеніемъ головы откинула отъ лица волосы и, сама не зная зачѣмъ, протянула къ нему, къ этому небу, свои обнаженныя, похолодѣвшія руки; потомъ она ихъ уронила, стала на колѣни передъ своею постелью, прижалась лицомъ къ подушкѣ и, несмотря на всѣ свои усилія не поддаться нахлынувшему на нее чувству, заплакала какими-то странными, недоумѣвающими, но жгучими слезами.

VII.

На другой день, часу въ двѣнадцатомъ, Берсеневъ отправился на обратномъ извозчикѣ въ Москву. Ему нужно было получить съ почты деньги, купить кое-какія книги, да кстати ему хотѣлось повидаться съ Инсаровымъ и переговорить съ нимъ. Берсеневу, во время послѣдней бесѣды съ Шубинымъ, пришла мысль пригласить Инсарова къ себѣ на дачу. Но онъ не скоро отыскалъ его: съ прежней своей квартиры онъ переѣхалъ на другую, до которой добраться было нелегко: она находилась на заднемъ дворѣ безобразнаго каменнаго дома, построеннаго на петербургскій манеръ между Арбатомъ и Поварской. Тщетно Берсеневъ скитался отъ одного грязнаго крылечка къ другому, тщетно взывалъ то къ дворнику, то къ „кому-нибудь“. Дворники и въ Петербургѣ стараются избѣгать взоровъ посѣтителей, а въ Москвѣ подавно: никто не откликнулся Берсеневу; только любопытный портной, въ одномъ жи-

летѣ и съ моткомъ сѣрыхъ нитокъ на плечѣ, выставилъ молча изъ высокой форточки свое тусклое и небритое лицо съ подбитымъ глазомъ, да черная безрогая коза, взобравшаяся на навозную кучу, обернулась, проблеяла жалобно и проворнѣе прежняго зажевала свою жвачку. Какая-то женщина въ старомъ салопѣ и стоптанныхъ сапогахъ сжалилась, наконецъ, надъ Берсеневымъ и указала ему квартиру Инсарова. Берсеневъ засталъ его дома. Онъ нанималъ комнату у самаго того портного, который столь равнодушно взиралъ изъ форточки на затрудненіе забредшаго человѣка,—большую, почти совсѣмъ пустую комнату съ темнозелеными стѣнами, тремя квадратными окнами, крошечною кроваткой въ одномъ углу, кожанымъ диванчикомъ въ другомъ и громадной клѣткой, подвѣшенной подъ самый потолокъ; въ этой клѣткѣ когда-то жилъ соловей. Инсаровъ пошелъ навстрѣчу Берсеневу, какъ только тотъ переступилъ порогъ дверей, но не воскликнулъ: „а, это вы!“, или: „ахъ, Боже мой! какими судьбами?“ не сказалъ даже: „здравствуйте“, а просто стиснулъ ему руку и подвелъ его къ единственному, находившемуся въ комнатѣ, стулу.

— Сядьте, — сказалъ онъ, и самъ присѣлъ на край стола.

— У меня, вы видите, еще безпорядокъ, — прибавилъ Инсаровъ, указывая на груду бумагъ и книгъ на полу:— еще не обзавелся, какъ должно. Некогда еще было.

Инсаровъ говорилъ по-русски совершенно правильно, крѣпко и чисто произнося каждое слово; но его гортанный, впрочемъ пріятный голосъ звучалъ чѣмъ-то не русскимъ. Иностранное происхожденіе Инсарова (онъ былъ болгаръ родомъ) еще яснѣе сказывалось въ его наружности: это былъ молодой человѣкъ лѣтъ двадцати пяти, худощавый и жилистый, съ впалою грудью, съ узловатыми руками; черты лица имѣлъ онъ рѣзкія, носъ съ горбиной, изсиня-черные, прямые волосы, небольшой лобъ, небольшіе, пристально глядѣвшіе, углубленные глаза, густыя брови, когда онъ улыбался, прекрасные бѣлые зубы показывались на мигъ изъ-подъ тонкихъ, жесткихъ, слишкомъ

отчетливо очерченныхъ, губъ. Одѣтъ онъ былъ въ старенькій, но опрятный сюртучокъ, застегнутый до верху.

— Зачѣмъ вы съ прежней вашей квартиры съѣхали?— спросилъ его Берсеневъ.

— Эта дешевле; къ университету ближе.

— Да вѣдь теперь вакаціи... И что̀ вамъ за охота жить въ городѣ лѣтомъ! Наняли бы дачу, коли ужъ рѣшились переѣзжать.

Инсаровъ ничего не отвѣчалъ на это замѣчаніе и предложилъ Берсеневу трубку, промолвивъ: „извините, папиросъ и сигаръ не имѣю“.

Берсеневъ закурилъ трубку.

— Вотъ я, — продолжалъ онъ: — нанялъ себѣ домикъ возлѣ Кунцова. Очень дешево и очень удобно. Такъ что даже лишняя есть комната наверху.

Инсаровъ опять ничего не отвѣчалъ.

Берсеневъ затянулся.

— Я даже думалъ,—заговорилъ онъ снова, выпуская дымъ тонкою струей:—что если бы, напримѣръ, нашелся кто-нибудь... вы, напримѣръ, такъ думалъ я... который бы захотѣлъ... который бы согласился помѣститься у меня тамъ наверху... какъ бы это хорошо было! Какъ вы полагаете, Дмитрій Никанорычъ?

Инсаровъ вскинулъ на него свои небольшіе глазки.

— Вы мнѣ предлагаете жить у васъ на дачѣ?

— Да; у меня наверху тамъ есть лишняя комната.

— Очень вамъ благодаренъ, Андрей Петровичъ; но я полагаю, средства мои мнѣ не позволяютъ.

— То-есть, какъ же не позволяютъ?

— Не позволяютъ жить на дачѣ. Мнѣ двѣ квартиры держать невозможно.

— Да вѣдь я...—началъ-было Берсеневъ и остановился.— Вамъ отъ этого никакихъ лишнихъ расходовъ бы не было,—продолжалъ онъ.—Здѣшняя квартира осталась бы, положимъ, за вами; зато тамъ все очень дешево; можно бы даже такъ устроиться, чтобъ обѣдать, напримѣръ, вмѣстѣ.

Инсаровъ молчалъ. Берсеневу стало неловко.

— По крайней мѣрѣ, навѣстите меня когда-нибудь,— началъ онъ, погодя немного.—Отъ меня въ двухъ шагахъ живетъ семейство, съ которымъ мнѣ очень хочется васъ познакомить. Какая тамъ есть чудная дѣвушка, если бы вы знали, Инсаровъ! Тамъ также живетъ одинъ мой близкій пріятель, человѣкъ съ большимъ талантомъ; я увѣренъ, что вы съ нимъ сойдетесь. (Русскій человѣкъ любитъ потчивать—коли нечѣмъ инымъ, такъ своими знакомыми.)—Право, пріѣзжайте. А еще лучше, переселяйтесь къ намъ, право. Мы бы могли вмѣстѣ работать, читать... Я, вы знаете, занимаюсь исторіей, философіей. Все это васъ интересуетъ, у меня книгъ много.

Инсаровъ всталъ и прошелся по комнатѣ.

— Позвольте узнать,—спросилъ онъ, наконецъ:—сколько вы платите за вашу дачу?

— Сто рублей серебромъ.

— А сколько въ ней комнатъ?

— Пять.

— Стало-быть, по расчету, приходилось бы за одну комнату двадцать рублей?

— По расчету... Да помилуйте, она мнѣ совсѣмъ не нужна. Просто, стоитъ пустая.

— Можетъ-быть; но послушайте,—прибавилъ Инсаровъ съ рѣшительнымъ и въ то же время простодушнымъ движеніемъ головы.—Я только въ такомъ случаѣ могу воспользоваться вашимъ предложеніемъ, если вы согласитесь взять съ меня деньги по расчету. Двадцать рублей дать я въ силахъ, тѣмъ болѣе, что, по вашимъ словамъ, я буду тамъ дѣлать экономію на всемъ прочемъ.

— Разумѣется; но право же мнѣ совѣстно.

— Иначе нельзя, Андрей Петровичъ.

— Ну, какъ хотите; только какой же вы упрямый!

Инсаровъ опять ничего не отвѣтилъ.

Молодые люди условились насчетъ дня, въ который Инсаровъ долженъ былъ переселиться. Позвали хозяина; но онъ сперва прислалъ свою дочку, дѣвочку лѣтъ семи, съ огромнымъ пестрымъ платкомъ на головѣ; она внимательно, чуть не съ ужасомъ, выслушала все, что ей ска-

залъ Инсаровъ, и ушла молча; вслѣдъ за ней появилась ея мать, беременная на сносѣ, тоже съ платкомъ на головѣ, только крошечнымъ. Инсаровъ объяснилъ ей, что онъ переѣзжаетъ на дачу возлѣ Кунцова, но оставляетъ квартиру за собой и поручаетъ ей всѣ свои вещи; портниха тоже словно испугалась и удалилась. Наконецъ, пришелъ хозяинъ; этотъ сначала какъ-будто все понялъ и только задумчиво проговорилъ: „возлѣ Кунцова?“ а потомъ вдругъ отперъ дверь и закричалъ: „За вами, штоль, фатера?“ Инсаровъ его успокоилъ. „Потому, надо знать“, повторилъ портной сурово и скрылся.

Берсеневъ отправился во-свояси, очень довольный успѣхомъ своего предложенія. Инсаровъ проводилъ его до двери съ любезною, въ Россіи мало употребительною вѣжливостью, и, оставшись одинъ, бережно снялъ сюртукъ и занялся раскладываніемъ своихъ бумагъ.

VIII.

Вечеромъ того же дня, Анна Васильевна сидѣла въ своей гостиной и собиралась плакать. Кромѣ ея, въ комнатѣ находился ея мужъ, да еще нѣкто Уваръ Ивановичъ Стаховъ, троюродный дядя Николая Артемьевича, отставной корнетъ лѣтъ шестидесяти, человѣкъ тучный до неподвижности, съ сонливыми желтыми глазками и безцвѣтными толстыми губами на желтомъ пухломъ лицѣ. Онъ съ самой отставки постоянно жилъ въ Москвѣ процентами съ небольшого капитала, оставленнаго ему женой изъ купчихъ. Онъ ничего не дѣлалъ и наврядъ ли думалъ, а если и думалъ, такъ берегъ свои думы про себя. Разъ только въ жизни онъ пришелъ въ волненіе и оказалъ дѣятельность, а именно: онъ прочелъ въ газетахъ о новомъ инструментѣ на всемірной лондонской выставкѣ: „контробомбардонѣ“ и пожелалъ выписать себѣ этотъ инструментъ, даже спрашивалъ, куда послать деньги и чрезъ какую контору? Уваръ Ивановичъ носилъ просторный сюртукъ табачнаго цвѣта и бѣлый платокъ на шеѣ, ѣлъ часто и много, и только въ затруднительныхъ случаяхъ, то-есть всякій разъ, когда ему приходилось выра-

мить какое-либо мнѣніе, судорожно двигалъ пальцами правой руки по воздуху, сперва отъ большого пальца къ мизинцу, потомъ отъ мизинца къ большому пальцу, съ трудомъ приговаривая: „надо бы... какъ-нибудь, того...“

Уваръ Ивановичъ сидѣлъ въ креслахъ возлѣ окна и дышалъ напряженно, Николай Артемьевичъ ходилъ большими шагами по комнатѣ, засунувъ руки въ карманы; лицо его выражало неудовольствіе.

Онъ остановился, наконецъ, и покачалъ головой.

— Да, — началъ онъ: — въ наше время молодые люди были иначе воспитаны. Молодые люди не позволяли себѣ манкировать старшимъ. (Онъ произнесъ: *ман*, въ носъ, по-французски.) А теперь я только гляжу и удивляюсь. Можетъ-быть, не правъ *я*, а они правы; можетъ-быть. Но все же у меня есть свой взглядъ на вещи: не олухомъ же я родился. Какъ вы объ этомъ думаете, Уваръ Ивановичъ?

Уваръ Ивановичъ только поглядѣлъ на него и поигралъ пальцами.

— Елену Николаевну, напримѣръ,—продолжалъ Николай Артемьевичъ: — Елену Николаевну я не понимаю, точно. Я для нея не довольно возвышенъ. Ея сердце такъ обширно, что обнимаетъ всю природу, до малѣйшаго таракана или лягушки, словомъ, все, за исключеніемъ родного отца. Ну, прекрасно; я это знаю и ужъ не суюсь. Потому тутъ и нервы, и ученость, и паренье въ небеса, это все не по нашей части. Но г. Шубинъ... положимъ, онъ артистъ удивительный, необыкновенный, я объ этомъ не спорю; однако манкировать старшему, человѣку, которому онъ все-таки, можно сказать, обязанъ многимъ, — это я, признаюсь, dans mon gros bon sens допустить не могу. Я отъ природы не взыскателенъ, нѣтъ, но всему есть мѣра.

Анна Васильевна позвонила съ волненіемъ. Вошелъ казачокъ.

— Что-жъ Павелъ Яковлевичъ не идетъ,—проговорила она.—Что это, я его дозваться не могу?

Николай Артемьевичъ пожалъ плечами.

— Да на что̀, помилуйте, вы хотите его позвать? Я этого вовсе не требую, не желаю даже.

— Какъ на что̀, Николай Артемьевичъ? Онъ васъ обеспокоилъ; можетъ-быть, помѣшалъ курсу вашего лѣченія. Я хочу объясниться съ нимъ. Я хочу знать, чѣмъ онъ могъ васъ прогнѣвать.

— Я вамъ повторяю, что я этого не требую. И что за охота... devant les domestiques...

Анна Васильевна слегка покраснѣла.

— Напрасно вы это говорите, Николай Артемьевичъ. Я никогда... devant... les domestiques... Ступай, Ѳедюшка, да смотри, сейчасъ приведи сюда Павла Яковлевича.

Казачокъ вышелъ.

— И нисколько это все не нужно,—проговорилъ сквозь зубы Николай Артемьевичъ, и снова принялся шагать по комнатѣ.—Я совсѣмъ не къ тому рѣчь велъ.

— Помилуйте, Paul долженъ извиниться передъ вами.

— Помилуйте, на что мнѣ его извиненія? И что̀ такое извиненія? Это все фразы.

— Какъ на что̀? его вразумить надо.

— Вразумите его вы сами. Онъ васъ скорѣй послушаетъ. А я на него не въ претензіи.

— Нѣтъ, Николай Артемьевичъ, вы сегодня съ самаго вашего пріѣзда не въ духѣ. Вы даже на мои глаза похудѣли въ послѣднее время. Я боюсь, что курсъ лѣченія вамъ не помогаетъ.

— Курсъ лѣченія мнѣ необходимъ,—замѣтилъ Николай Артемьевичъ:—у меня печень не въ порядкѣ.

Въ это мгновеніе вошелъ Шубинъ. Онъ казался усталымъ. Легкая, чуть-чуть насмѣшливая улыбка играла на его губахъ.

— Вы меня спрашивали, Анна Васильевна? — промолвилъ онъ.

— Да, конечно, спрашивала. Помилуй, Paul, это ужасно. Я тобой очень недовольна. Какъ ты можешь манкировать Николаю Артемьевичу?

— Николай Артемьевичъ вамъ жаловался на меня?—

спросилъ Шубинъ и съ тою же усмѣшкой на губахъ глянулъ на Стахова.

Тотъ отвернулся и опустилъ глаза.

— Да, жаловался. Я не знаю, чѣмъ ты передъ нимъ провинился, но ты долженъ сейчасъ извиниться, потому что его здоровье очень теперь разстроено, и наконецъ мы всѣ въ молодыхъ лѣтахъ должны уважать своихъ благодѣтелей.

„Эхъ, логика!“ подумалъ Шубинъ и обратился къ Стахову:

— Я готовъ извиниться передъ вами, Николай Артемьевичъ,—проговорилъ онъ съ учтивымъ полупоклономъ:—если я васъ точно чѣмъ-нибудь обидѣлъ.

— Я вовсе... не съ тѣмъ,—возразилъ Николай Артемьевичъ, попрежнему избѣгая взоровъ Шубина. — Впрочемъ, я охотно васъ прощаю, потому что, вы знаете, я невзыскательный человѣкъ.

— О, это не подвержено никакому сомнѣнію! — промолвилъ Шубинъ. — Но позвольте полюбопытствовать: извѣстно ли Аннѣ Васильевнѣ, въ чемъ именно состоитъ моя вина?

— Нѣтъ, я ничего не знаю,—замѣтила Анна Васильевна и вытянула шею.

— О, Боже мой! — торопливо воскликнулъ Николай Артемьевичъ: — сколько разъ ужъ я просилъ, умолялъ, сколько разъ говорилъ, какъ мнѣ противны всѣ эти объясненія и сцены! Въ кои-то вѣки пріѣдешь домой, хочешь отдохнуть, — говорятъ: семейный кругъ, intérieur, будь семьяниномъ;—а тутъ сцены, непріятности. Минуты нѣтъ покоя. Поневолѣ поѣдешь въ клубъ или... или куда-нибудь. Человѣкъ живой, у него физика, она имѣетъ свои требованія, а тутъ...

И не докончивъ начатой рѣчи, Николай Артемьевичъ быстро вышелъ вонъ и хлопнулъ дверью. Анна Васильевна посмотрѣла ему вслѣдъ.

— Въ клубъ? — горько прошептала она: — не въ клубъ вы ѣдете, вѣтреникъ! Въ клубѣ некому дарить лошадей собственнаго завода — да еще сѣрыхъ! Любимой моей

масти. Да, да, легкомысленный человѣкъ,—прибавила она, возвысивъ голосъ:—не въ клубъ вы ѣдете. А ты, Paul,—продолжала она вставая:—какъ тебѣ не стыдно? Кажется, не маленькій. Вотъ теперь у меня голова заболѣла. Гдѣ Зоя, не знаешь?

— Кажется, у себя на верху. Разсудительная сія лисичка въ такую погоду всегда въ свою норку прячется.

— Ну, пожалуйста, пожалуйста!—Анна Васильевна поискала вокругъ себя. — Рюмочку мою съ натертымъ хрѣномъ ты не видѣлъ? Paul, сдѣлай одолженіе, впередъ не серди меня.

— Гдѣ васъ разсердить, тетушка? Дайте мнѣ вашу ручку поцѣловать. А хрѣнъ вашъ я видѣлъ въ кабинетѣ на столикѣ.

— Дарья его вѣчно гдѣ-нибудь позабудетъ, — промолвила Анна Васильевна и удалилась, шумя шелковымъ платьемъ.

Шубинъ хотѣлъ-было пойти за ней, но остановился, услышавъ за собою медленный голосъ Увара Ивановича.

— Не такъ бы тебя, молокососа... слѣдовало,—говорилъ въ перемежку отставной корнетъ.

Шубинъ подошелъ къ нему.

— А за что же бы меня слѣдовало, достохвальный Уваръ Ивановичъ?

— За что? Младъ ты, такъ уважай. Да.

— Кого?

— Кого? Извѣстно, кого. Скаль зубы-то.

Шубинъ скрестилъ руки на груди.

— Ахъ вы, представитель хорового начала,—воскликнулъ онъ:—черноземная вы сила, фундаментъ вы общественнаго зданія!

Уваръ Ивановичъ заигралъ пальцами.

— Полно, братъ, не искушай.

— Вѣдь вотъ, — продолжалъ Шубинъ: — не молодой, кажется, дворянинъ, а сколько въ немъ еще таится счастливой, дѣтской вѣры! Уважать! Да знаете ли вы, стихійный вы человѣкъ, за что Николай Артемьевичъ *гнѣвается* на меня? Вѣдь я съ нимъ сегодня цѣлое утро

провелъ у его нѣмки; вѣдь мы сегодня втроемъ пѣли: „Не отходи отъ меня“; вотъ бы вы послушали. Васъ, кажется, это беретъ. Пѣли мы, сударь мой, пѣли — ну, и скучно мнѣ стало; вижу я: дѣло неладно, нѣжности много. Я и началъ дразнить обоихъ. Хорошо вышло. Сперва она на меня разсердилась; а потомъ на него; а потомъ онъ на нее разсердился и сказалъ ей, что онъ только дома счастливъ, и что у него тамъ рай, а она ему сказала, что онъ нравственности не имѣетъ; а я ей сказалъ: Ахъ! по-нѣмецки; онъ ушелъ, а я остался; онъ пріѣхалъ сюда, въ рай, то-есть, а въ раю ему тошно. Вотъ онъ и принялся брюзжать. Ну-съ, кто теперь, по-вашему, виноватъ?

— Конечно ты,—возразилъ Уваръ Ивановичъ.

Шубинъ уставился на него.

— Осмѣлюсь спросить у васъ, почтенный витязь, — началъ онъ подобострастнымъ голосомъ:—эти загадочныя слова вы изволили произнести вслѣдствіе какого-либо соображенія вашей мыслительной способности, или же подъ наитіемъ мгновенной потребности произвести сотрясеніе въ воздухѣ, называемое звукомъ?

— Не искушай, говорятъ, — простоналъ Уваръ Ивановичъ...

Шубинъ засмѣялся и выбѣжалъ вонъ.

— Эй,—воскликнулъ, четверть часа спустя, Уваръ Ивановичъ:—того... рюмку водки.

Казачокъ принесъ водки и закуску на подносѣ. Уваръ Ивановичъ тихонько взялъ съ подноса рюмку и долго, съ усиленнымъ вниманіемъ глядѣлъ на нее, какъ будто не понимая хорошенько, что у него такое въ рукѣ. Потомъ онъ посмотрѣлъ на казачка и спросилъ: не Васькой ли его зовутъ? Потомъ онъ принялъ огорченный видъ, выпилъ водки, закусилъ и полѣзъ доставать носовой платокъ изъ кармана. Но казачокъ уже давно отнесъ подносъ и графинъ на мѣсто, и остатокъ селедки съѣлъ, и уже успѣлъ соснуть, прикорнувъ къ барскому пальто, а Уваръ Ивановичъ все еще держалъ платокъ передъ собою на растопыренныхъ пальцахъ и съ тѣмъ же уск-

леннымъ вниманіемъ посматривалъ то въ окно, то на полъ и стѣны.

IX.

Шубинъ вернулся къ себѣ во флигель и раскрылъ-было книгу. Камердинеръ Николая Артемьевича осторожно вошелъ въ его комнату и вручилъ ему небольшую треугольную записку, запечатанную крупною гербовою печатью. „Я надѣюсь, — стояло въ запискѣ: — что вы, какъ честный человѣкъ, не позволите себѣ намекнуть даже единымъ словомъ на нѣкоторый вексель, о которомъ была сегодня утромъ рѣчь. Вамъ извѣстны мои отношенія и мои правила, незначительность самой суммы и другія обстоятельства, наконецъ есть семейныя тайны, которыя должно уважать, и семейное спокойствіе есть такая святыня, которую одни êtres sans coeur, къ которымъ я не имѣю причины васъ причислить, отвергаютъ! (Сію записку возвратите.) Н. С.“

Шубинъ начертилъ внизу карандашомъ: „Не безпокойтесь, я еще пока платковъ изъ кармановъ не таскаю“: возвратилъ записку камердинеру и снова взялся за книгу. Но она скоро выскользнула у него изъ рукъ. Онъ посмотрѣлъ на заалѣвшееся небо, на двѣ молодыя могучія сосны, стоявшія особнякомъ отъ остальныхъ деревьевъ, подумалъ: „днемъ сосны синеватыя бываютъ, а какія онѣ великолѣпно-зеленыя вечеромъ“, и отправился въ садъ, съ тайною надеждой встрѣтить тамъ Елену. Онъ не обманулся. Впереди, на дорогѣ между кустами, мелькнуло ея платье. Онъ нагналъ ее и, поровнявшись съ нею, промолвилъ:

— Не глядите въ мою сторону, я не стòю.

Она бѣгло взглянула на него, бѣгло улыбнулась и пошла дальше, въ глубь сада. Шубинъ отправился вслѣдъ за нею.

— Я прошу васъ не смотрѣть на меня,—началъ онъ:— а заговариваю съ вами: противорѣчіе явное! Но это все равно; мнѣ не впервой. Я сейчасъ вспомнилъ, что я еще не попросилъ у васъ, какъ слѣдуетъ, прощенія въ моей

глупой вчерашней выходкѣ. Вы не сердитесь на меня, Елена Николаевна?

Она остановилась и не тотчасъ отвѣчала ему—не потому, чтобъ она сердилась, а ея мысли были далеко.

— Нѣтъ, — сказала она наконецъ: — я нисколько не сержусь.

Шубинъ закусилъ губу.

— Какое озабоченное... и какое равнодушное лицо!— пробормоталъ онъ.—Елена Николаевна,—продолжалъ онъ, возвысивъ голосъ:—позвольте мнѣ разсказать вамъ маленькій анекдотецъ. У меня былъ пріятель, а у этого пріятеля былъ тоже пріятель, который сперва велъ себя, какъ слѣдуетъ порядочному человѣку, а потомъ запилъ. Вотъ однажды рано поутру, мой пріятель встрѣчаетъ его на улицѣ (а ужъ они, замѣтьте, раззнакомились), встрѣчаетъ его и видитъ, что онъ пьянъ. Мой пріятель взялъ да отвернулся отъ него. А тотъ-то подошелъ, да и говоритъ: „Я бы не разсердился, говоритъ, если бъ вы не поклонились, но зачѣмъ отворачиваться? Можетъ-быть, это я съ горя. Миръ моему праху!“

Шубинъ умолкъ.

— И только?—спросила Елена.

— Только.

— Я васъ не понимаю. На что вы намекаете? Сейчасъ вы говорили мнѣ, чтобъ я не глядѣла въ вашу сторону.

— Да, а теперь я вамъ разсказалъ, какъ не хорошо отворачиваться.

— Да развѣ я...—начала-было Елена.

— А развѣ нѣтъ?

Елена слегка покраснѣла и протянула Шубину руку. Онъ крѣпко пожалъ ее.

— Вотъ вы меня какъ будто поймали на дурномъ чувствѣ, — сказала Елена: — а ваше подозрѣніе не справедливо. Я и не думала чуждаться васъ.

— Положимъ, положимъ. Но сознайтесь, что у васъ въ эту минуту тысяча мыслей въ головѣ, изъ которыхъ вы мнѣ ни одной не повѣрите. Что? небось, не правду я сказалъ?

— Можетъ-быть.

— Да отчего же это? отчего?

— Мои мысли мнѣ самой не ясны,—проговорила Елена.

— Тутъ-то ихъ и довѣрять другому,—подхватилъ Шубинъ. — Но я вамъ скажу, въ чемъ дѣло. Вы дурного мнѣнія обо мнѣ.

— Я?

— Да, вы. Вы воображаете, что во мнѣ все наполовину притворно, потому что я художникъ; что я не способенъ не только ни на какое дѣло, — въ этомъ вы, вѣроятно, правы, — но даже ни къ какому истинному, глубокому чувству: что я и плакать-то искренно не могу, что я болтунъ и сплетникъ, — и все потому, что я художникъ. Что же мы, послѣ этого, за несчастные, Богомъ убитые люди? Вы, напримѣръ, я побожиться готовъ, не вѣрите въ мое раскаяніе.

— Нѣтъ, Павелъ Яковлевичъ, я вѣрю въ ваше раскаяніе, и въ ваши слезы я вѣрю. Но мнѣ кажется, самое ваше раскаяніе васъ забавляетъ, да и слезы тоже.

Шубинъ дрогнулъ.

— Ну, я вижу, это, какъ выражаются доктора, неизлѣчимый казусъ, casus incurabilis. Тутъ остается только поникнуть головой, да покориться. А между тѣмъ, Господи, неужели это правда, неужели же я все съ собой вожусь, когда рядомъ живетъ такая душа? И знать, что никогда не проникнешь въ эту душу, никогда не будешь вѣдать, отчего она груститъ, отчего она радуется, что̀ въ ней бродитъ, чего ей хочется, куда она идетъ... Скажите,— промолвилъ онъ, послѣ небольшого молчанія: — вы никогда, ни за что, ни въ какомъ случаѣ не полюбили бы художника?

Елена посмотрѣла ему прямо въ глаза.

— Не думаю, Павелъ Яковлевичъ; нѣтъ.

— Что̀ и требовалось доказать,—проговорилъ съ комической унылостію Шубинъ. — За симъ, я полагаю, мнѣ приличнѣе не мѣшать вашей уединенной прогулкѣ. Профессоръ спросилъ бы васъ: а на основаніи какихъ данныхъ вы сказали: нѣтъ? Но я не профессоръ, я дитя, по

вашимъ понятіямъ; но отъ дѣтей не отворачиваются, помните. Прощайте. Миръ моему праху!

Елена хотѣла-было остановить его, но подумала и тоже сказала:

— Прощайте.

Шубинъ вышелъ со двора. Въ недальнемъ разстояніи отъ дачи Стаховыхъ встрѣтился ему Берсеневъ. Онъ шелъ проворными шагами, наклонивъ голову и сдвинувъ шляпу на затылокъ.

— Андрей Петровичъ!—крикнулъ Шубинъ.

Тотъ остановился.

— Ступай, ступай, — продолжалъ Шубинъ: — я только такъ, я тебя не задерживаю,—и проберись прямо въ садъ; тамъ ты найдешь Елену. Она, кажется, тебя ждетъ... кого-то она ждетъ во всякомъ случаѣ... Понимаешь ты силу этихъ словъ: она ждетъ! А знаешь, братъ, какое удивительное обстоятельство? Представь, вотъ уже два года, какъ я живу съ ней въ одномъ домѣ, я въ нее влюбленъ, и только сейчасъ, сію минуту, не то что понялъ, а увидалъ ее. Увидалъ и руки разставилъ. Не взирай на меня, пожалуйста, съ этою лжеязвительною усмѣшкой, которая мало идетъ къ твоимъ степеннымъ чертамъ. Ну, да, разумѣю, ты хочешь напомнить мнѣ объ Аннушкѣ. Что̀ же? Я не отказываюсь. Нашему брату Аннушки подъ стать. Да здравствуютъ же Аннушки и Зои, и самыя даже Августины Христіановны! Ты ступай къ Еленѣ теперь, а я отправлюсь... ты думаешь къ Аннушкѣ? Нѣтъ, братъ, хуже: къ князю Чикурасову. Есть такой меценатъ изъ казанскихъ татаръ, въ родѣ Волгина. Видишь ты это пригласительное письмо, эти буквы: R. S. V. P.? И въ деревнѣ мнѣ нѣтъ покоя. Addio!

Берсеневъ выслушалъ тираду Шубина, молча и какъ будто конфузясь немножко за него; потомъ онъ вошелъ на дворъ Стаховской дачи. А Шубинъ дѣйствительно поѣхалъ къ князю Чикурасову, которому наговорилъ, съ самымъ любезнымъ видомъ, самыхъ колкихъ дерзостей. Меценатъ изъ казанскихъ татаръ хохоталъ, гости мецената смѣялись, а никому не было весело и, разставшись,

всѣ злились. Такъ два малознакомыхъ господина, встрѣтившись на Невскомъ, внезапно оскалятъ другъ передъ другомъ зубы, приторно съежатъ глаза, носъ и щеки, и тотчасъ же, миновавъ другъ друга, принимаютъ прежнее равнодушное или угрюмое, большею частію геморроидальное выраженіе.

X.

Елена дружелюбно встрѣтила Берсенева, уже не въ саду, а въ гостиной, и тотчасъ же, почти нетерпѣливо, возобновила вчерашній разговоръ. Она была одна: Николай Артемьевичъ тихонько скрылся куда-то, Анна Васильевна лежала наверху съ мокрою повязкой на головѣ. Зоя сидѣла возлѣ нея, аккуратно расправивъ юбку и сложивъ на колѣняхъ ручки; Уваръ Ивановичъ почивалъ въ мезонинѣ на широкомъ и удобномъ диванѣ, получившемъ прозвище: „самосонъ". Берсеневъ снова упомянулъ о своемъ отцѣ: онъ свято чтилъ его память. Скажемъ и мы нѣсколько словъ о немъ.

Владѣлецъ восьмидесяти двухъ душъ, которыхъ онъ освободилъ передъ смертью, иллюминатъ, старый гёттингенскій студентъ, авторъ рукописнаго сочиненія о *Проступленіяхъ или прообразованіяхъ духа въ мірѣ*, — сочиненія, въ которомъ шеллингіанизмъ, сведенборгіанизмъ и республиканизмъ смѣшались самымъ оригинальнымъ образомъ,—отецъ Берсенева привезъ его въ Москву еще мальчикомъ, тотчасъ послѣ кончины его матери, и самъ занялся его воспитаніемъ. Онъ подготовлялся къ каждому уроку, трудился необыкновенно добросовѣстно и совершенно неуспѣшно: онъ былъ мечтатель, книжникъ, мистикъ, говорилъ съ запинкой, глухимъ голосомъ, выражался темно и кудряво, все больше сравненіями, дичился даже сына, котораго любилъ страстно. Не мудрено, что сынъ только хлопалъ глазами за его уроками, и не подвигался ни на волосъ. Старикъ (ему было подъ пятьдесятъ лѣтъ, онъ женился очень поздно) догадался наконецъ, что дѣло не идетъ на ладъ, и помѣстилъ своего *Андрюшу* въ пансіонъ. Андрюша сталъ учиться, но изъ-

годъ родительскаго присмотра не вышелъ: отецъ навѣщалъ его безпрестанно, надоѣдая содержателю своими наставленіями и бесѣдами; надзиратели также тяготились незваным гостемъ: онъ то-и-дѣло приносилъ имъ какія-то, по ихъ словамъ, премудреныя книги о воспитаніи. Даже школьникамъ становилось неловко при видѣ смуглаго и рябого лица старика, его тощей фигуры, постоянно облеченной въ какой-то вострополый сѣрый фракъ. Школьники не подозрѣвали тогда, что этотъ угрюмый, никогда не улыбавшійся господинъ, съ журавлиной походкой и длиннымъ носомъ—сердцемъ сокрушался и болѣлъ о каждомъ изъ нихъ, почти такъ же, какъ о собственномъ сынѣ. Онъ однажды вздумалъ побесѣдовать съ ними о Вашингтонѣ: „Юные питомцы!“ началъ онъ, но, при первыхъ звукахъ его страннаго голоса, юные питомцы разбѣжались. Честный гёттингенецъ жилъ не на розахъ: онъ былъ постоянно подавленъ ходомъ исторіи, всякаго рода вопросами и соображеніями. Когда молодой Берсеневъ поступилъ въ университетъ, онъ ѣздилъ съ нимъ на лекціи; но уже здоровье начинало измѣнять ему. Событія 48 года потрясли его до основанія (надо было всю книгу передѣлать), и онъ умеръ зимой 53-го года, не дождавшись выхода сына изъ университета, но заранѣе поздравивъ его кандидатомъ и благословивъ его на служеніе наукѣ. „Передаю тебѣ свѣточъ“, говорилъ онъ ему за два часа до смерти: „я держалъ его покамѣстъ могъ, не выпускай и ты сей свѣточъ до конца“.

Берсеневъ долго говорилъ съ Еленой о своемъ отцѣ. Человкость, которую онъ чувствовалъ въ ея присутствіи, исчезла, и пришепетывалъ онъ не такъ сильно. Разговоръ перешелъ къ университету.

— Скажите, — спросила его Елена: — между вашими товарищами были замѣчательные люди?

Берсеневъ вспомнилъ снова Шубина.

— Нѣтъ, Елена Николаевна, сказать вамъ по правдѣ, не было между нами ни одного замѣчательнаго человѣка. Да и гдѣ! Было, говорятъ, время въ московскомъ университетѣ! Только не теперь. Теперь, это училище — не

университетъ. Мнѣ было тяжело съ моими товарищами,— прибавилъ онъ, понизивъ голосъ.

— Тяжело?..—прошептала Елена.

— Впрочемъ, — продолжалъ Берсеневъ: — я долженъ оговориться. Я знаю одного студента, — правда, онъ не моего курса, — это, дѣйствительно, замѣчательный человѣкъ.

— Какъ его зовутъ?—съ живостью спросила Елена.

— Инсаровъ, Дмитрій Никаноровичъ. Онъ болгаръ.

— Не русскій?

— Нѣтъ не русскій.

— Зачѣмъ же онъ живетъ въ Москвѣ?

— Онъ пріѣхалъ сюда учиться. И знаете ли, съ какою цѣлью онъ учится? У него одна мысль: освобожденіе его родины. И судьба его необыкновенная. Отецъ его былъ довольно зажиточный купецъ, родомъ изъ Тырнова. Тырновъ теперь небольшой городокъ, а въ старину это была столица Болгаріи, когда еще Болгарія была независимымъ королевствомъ. Торговалъ онъ въ Софіи, имѣлъ сношенія съ Россіей; сестра его, родная тетка Инсарова, до сихъ поръ живетъ въ Кіевѣ, замужемъ за старшимъ учителемъ исторіи, въ тамошней гимназіи. Въ 1835 году, стало-быть восемнадцать лѣтъ тому назадъ, совершилось ужасное злодѣяніе: мать Инсарова вдругъ пропала безъ вѣсти; черезъ недѣлю ее нашли зарѣзанною.

Елена содрогнулась. Берсеневъ остановился.

— Продолжайте, продолжайте,—проговорила она.

— Ходили слухи, что ее похитилъ и убилъ турецкій ага; ея мужъ, отецъ Инсарова, дознался правды, хотѣлъ отмстить, но онъ только ранилъ кинжаломъ агу... Его разстрѣляли.

— Разстрѣляли? безъ суда?

— Да. Инсарову въ то время пошелъ восьмой годъ. Онъ остался на рукахъ у сосѣдей. Сестра узнала объ участи братниняго семейства и пожелала имѣть племянника у себя. Его доставили въ Одессу, а оттуда въ Кіевъ. Въ Кіевѣ онъ прожилъ цѣлыхъ двѣнадцать лѣтъ. Оттого онъ *такъ* хорошо говоритъ по-русски.

— Онъ говоритъ по-русски?

— Какъ мы съ вами. Когда ему минуло двадцать лѣтъ (это было въ началѣ 48 года), онъ пожелалъ вернуться на родину. Былъ въ Софіи и Тырновѣ, всю Болгарію исходилъ вдоль и поперекъ, провелъ въ ней два года, выучился опять родному языку. Турецкое правительство преслѣдовало его, и онъ, вѣроятно, въ эти два года подвергался большимъ опасностямъ; я разъ увидѣлъ у него на шеѣ широкій рубецъ, должно быть слѣдъ раны; но онъ объ этомъ говорить не любитъ. Онъ тоже, въ своемъ родѣ, молчальникъ. Я пытался все разспрашивать, — не тутъ-то было. Отвѣчаетъ общими фразами. Онъ ужасно упрямъ. Въ 50-мъ году онъ опять пріѣхалъ въ Россію, въ Москву, съ намѣреніемъ образоваться вполнѣ, сблизиться съ русскими, а потомъ, когда онъ выйдетъ изъ университета...

— Что же тогда?—перебила Елена.

— А что Богъ дастъ. Мудрено впередъ загадывать.

Елена долго не спускала глазъ съ Берсенева.

— Вы очень заинтересовали меня своимъ разсказомъ,— промолвила она.—Каковъ онъ изъ себя, этотъ вашъ, какъ вы его назвали... Инсаровъ?

— Какъ вамъ сказать? по-моему, не дуренъ. Да вотъ вы сами его увидите.

— Какъ такъ?

— Я его приведу сюда, къ вамъ. Онъ послѣзавтра переѣзжаетъ въ нашу деревеньку и будетъ жить со мной на одной квартирѣ.

— Неужели? Да захочетъ ли онъ придти къ намъ?

— Еще бы! Онъ очень будетъ радъ.

— Онъ не гордъ?

— Онъ? Нимало. То-есть, если хотите, онъ гордъ, только не въ томъ смыслѣ, какъ вы понимаете. Денегъ онъ, напримѣръ, взаймы ни отъ кого не возьметъ.

— А онъ бѣденъ?

— Да не богатъ. Ѣздивши въ Болгарію, онъ собралъ кой-какія крохи, уцѣлѣвшія отъ отцовскаго достоянія, и тетка ему помогаетъ; но все это бездѣлица.

— У него, должно-быть, много характера, — замѣтила Елена.

— Да. Это желѣзный человѣкъ. И въ то же время, вы увидите, въ немъ есть что-то дѣтское, искреннее, при всей его сосредоточенности и даже скрытности. Правда, его искренность—не наша дрянная искренность, искренность людей, которымъ скрывать рѣшительно нечего... Да вотъ я его къ вамъ приведу, погодите.

— И не застѣнчивъ онъ?—спросила опять Елена.

— Нѣтъ, не застѣнчивъ. Одни самолюбивые люди застѣнчивы.

— А развѣ вы самолюбивы?

Берсеневъ смѣшался и развелъ руками.

— Вы возбуждаете мое любопытство, — продолжала Елена. — Ну, а скажите, не отмстилъ онъ этому турецкому агѣ?

Берсеневъ улыбнулся.

— Мстятъ только въ романахъ, Елена Николаевна; да и притомъ въ двѣнадцать лѣтъ этотъ ага могъ умереть.

— Однако, господинъ Инсаровъ вамъ ничего объ этомъ не говорилъ?

— Ничего.

— Зачѣмъ онъ ѣздилъ въ Софію?

— Тамъ отецъ его жилъ.

Елена задумалась.

— Освободить свою родину!— промолвила она. — Эти слова даже выговорить страшно, такъ они велики...

Въ это мгновеніе вошла въ комнату Анна Васильевна, и разговоръ прекратился.

Странныя ощущенія волновали Берсенева, когда онъ возвращался домой въ тотъ вечеръ. Онъ не раскаивался въ своемъ намѣреніи познакомить Елену съ Инсаровымъ, онъ находилъ весьма естественнымъ то глубокое впечатлѣніе, которое произвели на нее его разсказы о молодомъ болгарѣ... не самъ ли онъ старался усилить это впечатлѣніе! Но тайное и темное чувство скрыто гнѣздилось въ его сердцѣ; онъ грустилъ нехорошею грустію. Эта грусть не помѣшала ему, однако, взяться за *Исторію*

Гогенштауфеновъ и начать читать ее съ самой той страницы, на которой онъ остановился наканунѣ.

XI.

Два дня спустя, Инсаровъ, по обѣщанію, явился къ Берсеневу съ своею поклажей. Слуги у него не было, но онъ безъ всякой помощи привелъ свою комнату въ порядокъ, уставилъ мебель, подтеръ пыль и вымелъ полъ. Особенно долго возился онъ съ письменнымъ столомъ, который никакъ не хотѣлъ помѣститься въ назначенный для него простѣнокъ; но Инсаровъ, со свойственною ему молчаливою настойчивостью, добился своего. Устроившись, онъ попросилъ Берсенева взять съ него десять рублей впередъ и, вооружившись толстой палкой, отправился осматривать окрестности своего новаго жилища. Онъ вернулся часа черезъ три, и, на приглашеніе Берсенева раздѣлить съ нимъ его трапезу, отвѣчалъ, что онъ не отказывается обѣдать съ нимъ сегодня, но что онъ уже переговорилъ съ хозяйкой дома и будетъ впередъ получать свою ѣду отъ нея.

— Помилуйте! — возразилъ Берсеневъ: — васъ будутъ скверно кормить: эта баба совсѣмъ стряпать не умѣетъ. Отчего вы не хотите обѣдать со мною? мы бы расходъ пополамъ дѣлили.

— Мои средства не позволяютъ мнѣ обѣдать такъ, какъ вы обѣдаете,—отвѣчалъ съ спокойной улыбкой Инсаровъ.

Въ этой улыбкѣ было что-то такое, что̀ не позволяло настаивать: Берсеневъ слова не прибавилъ. Послѣ обѣда онъ предложилъ Инсарову свести его къ Стаховымъ; но тотъ отвѣчалъ, что располагаетъ посвятить весь вечеръ на переписку съ своими болгарами и потому проситъ его отсрочить посѣщеніе Стаховыхъ до другого дня. Непреклонность воли Инсарова была уже прежде извѣстна Берсеневу, но только теперь, находясь съ нимъ подъ одной кровлей, онъ могъ окончательно убѣдиться въ томъ, что Инсаровъ никогда не мѣнялъ никакого своего рѣшенія, точно такъ же, какъ никогда не откладывалъ исполненія

даннаго обѣщанія. Берсеневу, какъ коренному русскому человѣку, эта, болѣе чѣмъ нѣмецкая, аккуратность сначала казалась дикою, немножко даже смѣшною; но онъ скоро привыкъ къ ней и кончилъ тѣмъ, что находилъ ее если не почтенною, то по крайней мѣрѣ весьма удобною.

На второй день послѣ своего переселенія, Инсаровъ всталъ въ четыре часа утра, обѣгалъ почти все Кунцово, искупался въ рѣкѣ, выпилъ стаканъ холоднаго молока и принялся за работу; а работы у него было не мало: онъ учился и русской исторіи, и праву, и политической экономіи, переводилъ болгарскія пѣсни и лѣтописи, собиралъ матеріалы о восточномъ вопросѣ, составлялъ русскую грамматику для болгаръ, болгарскую для русскихъ. Берсеневъ зашелъ къ нему и потолковалъ съ нимъ о Фейербахѣ. Инсаровъ слушалъ его внимательно, возражалъ рѣдко, но дѣльно; изъ возраженій его видно было, что онъ старался дать самому себѣ отчетъ въ томъ: нужно ли ему заняться Фейербахомъ, или же можно обойтись безъ него. Берсеневъ навелъ потомъ рѣчь на его занятія и спросилъ: не покажетъ ли онъ ему что-нибудь? Инсаровъ прочелъ ему свой переводъ двухъ или трехъ болгарскихъ пѣсенъ и пожелалъ узнать его мнѣніе. Берсеневъ нашелъ переводъ правильнымъ, но не довольно оживленнымъ. Инсаровъ принялъ это замѣчаніе къ свѣдѣнію. Отъ пѣсенъ Берсеневъ перешелъ къ современному положенію Болгаріи, и тутъ онъ впервые замѣтилъ, какая совершалась перемѣна въ Инсаровѣ при одномъ упоминовеніи его родины: не то чтобы лицо его разгоралось, или голосъ возвышался—нѣтъ! но все существо его какъ будто крѣпло и стремилось впередъ, очертаніе губъ обозначалось рѣзче и неумолимѣе, а въ глубинѣ глазъ зажигался какой-то глухой, неугасимый огонь. Инсаровъ не любилъ распространяться о собственной своей поѣздкѣ на родину, но о Болгаріи вообще говорилъ охотно со всякимъ. Онъ говорилъ, не спѣша, о туркахъ, объ ихъ притѣсненіяхъ, о горѣ и бѣдствіяхъ своихъ согражданъ, объ ихъ надеждахъ; сосредоточенная обдуманность единой и давней страсти слышалась въ каждомъ его словѣ.

„А вѣдь чего добраго“, подумалъ между тѣмъ Берсеневъ, „турецкій ага, пожалуй, поплатился ему за смерть матери и отца“.

Инсаровъ не успѣлъ еще умолкнуть, какъ дверь растворилась и на порогѣ появился Шубинъ.

Онъ вошелъ въ компату какъ-то слишкомъ развязно и добродушно; Берсеневъ, который зналъ его хорошо, тотчасъ понялъ, что его что-то коробило.

— Рекомендуюсь безъ церемоній,—началъ онъ съ свѣтлымъ и открытымъ выраженіемъ лица:—моя фамилія Шубинъ; я пріятель вотъ этого молодого человѣка. (Онъ указалъ на Берсенева.) Вѣдь вы господинъ Инсаровъ, не такъ ли?

— Я Инсаровъ.

— Такъ дайте же руку и познакомимтесь. Не знаю, говорилъ ли вамъ Берсеневъ обо мнѣ, а мнѣ онъ много говорилъ объ васъ. Вы здѣсь поселились? Отлично! Не сердитесь на меня, что я такъ пристально на васъ гляжу. Я по ремеслу моему ваятель, и предвижу, что въ скоромъ времени попрошу у васъ позволенія слѣпить вашу голову.

— Моя голова къ вашимъ услугамъ,—проговорилъ Инсаровъ.

— Что же мы дѣлаемъ, сегодня, а?—заговорилъ Шубинъ, внезапно садясь на низенькій стулъ и опираясь обѣими руками на широко-разставленныя колѣни.—Андрей Петровичъ, есть какой-нибудь планъ на нынѣшній день у вашего благородія? Погода славная; сѣномъ и сухою земляникой пахнетъ такъ... словно грудной чай пьешь. Надо бы сочинить какой-нибудь фокусъ. Покажемъ новому обитателю Кунцова всѣ его многочисленныя красоты. („А его коробитъ“, продолжалъ думать про себя Берсеневъ.) Ну, что жъ ты молчишь, мой другъ Гораціо? Раскрой свои вѣщія уста. Сочинимъ мы фокусъ, или нѣтъ?

— Я не знаю,—замѣтилъ Берсеневъ:—какъ Инсаровъ. Онъ, кажется, собирается работать.

Шубинъ повернулся на стулѣ.

— Вы хотите работать?—спросилъ онъ какъ-то въ носъ.

— Нѣтъ,—отвѣчалъ тотъ:—нынѣшній день я могу посвятить прогулкѣ.

— А!—промолвилъ Шубинъ.—Ну, и прекрасно. Ступайте, другъ мой Андрей Петровичъ, прикройте шляпой вашу мудрую голову, и пойдемте куда глаза глядятъ. Наши глаза молодые—глядятъ далеко. Я знаю трактирчикъ прескверненькій, гдѣ намъ дадутъ обѣдишко препакостный; а намъ будетъ очень весело. Пойдемте.

Полчаса спустя, они всѣ трое шли по берегу Москвы-рѣки. У Инсарова оказался довольно странный, ушастый картузъ, отъ котораго Шубинъ пришелъ въ не совсѣмъ естественный восторгъ. Инсаровъ выступалъ не спѣша, глядѣлъ, дышалъ, говорилъ и улыбался спокойно: онъ отдалъ этотъ день удовольствію и наслаждался вполнѣ.—„Благоразумные мальчики такъ гуляютъ по воскресеньямъ“, шепнулъ Шубинъ Берсеневу на ухо. Самъ Шубинъ очень дурачился, выбѣгалъ впередъ, становился въ позы извѣстныхъ статуй, кувыркался на травѣ: спокойствіе Инсарова не то, чтобы раздражало его, а заставляло его кривляться.—„Что ты такъ егозишь, французъ!“ раза два замѣтилъ ему Берсеневъ.—„Да я французъ, полу-французъ“, возражалъ ему Шубинъ: „а ты держи середину между шуткою и серіозомъ, какъ говаривалъ мнѣ одинъ половой“.—Молодые люди повернули прочь отъ рѣки и пошли по узкой и глубокой рытвинѣ, между двумя стѣнами золотой, высокой ржи; голубоватая тѣнь падала на нихъ отъ одной изъ этихъ стѣнъ; лучистое солнце, казалось, скользило по верхушкамъ колосьевъ; жаворонки пѣли, перепела кричали; повсюду зеленѣли травы; теплый вѣтерокъ шевелилъ и поднималъ ихъ листья, качалъ головки цвѣтовъ. Послѣ долгихъ странствованій, отдыховъ, болтовни—(Шубинъ пробовалъ даже играть въ чехарду съ какимъ-то прохожимъ беззубымъ мужичкомъ, который все смѣялся, что́ съ нимъ ни дѣлали господа)—молодые люди добрели до „скверненькаго“ трактирчика. Слуга чуть не сшибъ каждаго изъ нихъ съ ногъ, и дѣйствительно накормилъ ихъ очень дурнымъ обѣдомъ, съ какимъ-то забалканскимъ виномъ, что̀, впрочемъ, не мѣшало имъ

веселиться отъ души, какъ предсказывалъ Шубинъ; самъ онъ веселился громче всѣхъ—и меньше всѣхъ. Онъ пилъ здоровье непонятнаго, но великаго Венелина, здоровье болгарскаго короля Крума, Хрума или Хрома, жившаго чуть не въ Адамовы времена.

— Въ девятомъ столѣтіи,—поправилъ его Инсаровъ.

— Въ девятомъ столѣтіи?—воскликнулъ Шубинъ.—О какое счастье!

Берсеневъ замѣтилъ, что посреди всѣхъ своихъ проказъ, выходокъ и шутокъ, Шубинъ все какъ-будто бы экзаменовалъ Инсарова, какъ-будто щупалъ его и волновался внутренно,—а Инсаровъ оставался попрежнему спокойнымъ и яснымъ.

Наконецъ, они вернулись домой, переодѣлись и, чтобы уже не выходить изъ колеи, въ которую попали съ утра, рѣшились отправиться въ тотъ же вечеръ къ Стаховымъ. Шубинъ побѣжалъ впередъ извѣстить объ ихъ приходѣ.

XII.

— *Ирой* Инсаровъ сейчасъ сюда пожалуетъ! — торжественно воскликнулъ онъ, входя въ гостиную Стаховыхъ, гдѣ въ ту минуту находились только Елена и Зоя.

— Wer?—спросила по-нѣмецки Зоя. Взятая врасплохъ, она всегда выражалась на родномъ языкѣ. Елена выпрямилась. Шубинъ поглядѣлъ на нее съ игривою улыбочкой на губахъ. Ей стало досадно, но она ничего не сказала.

— Вы слышали,—повторилъ онъ:—господинъ Инсаровъ сюда идетъ.

— Слышала,—отвѣчала она:—и слышала какъ вы его назвали. Удивляюсь вамъ, право. Нога господина Инсарова еще здѣсь не была, а вы уже считаете за нужное ломаться.

Шубинъ вдругъ опустился.

— Вы правы, вы всегда правы, Елена Николаевна,—пробормоталъ онъ:—но это я только такъ, ей Богу. Мы цѣлый день съ нимъ вмѣстѣ гуляли, и онъ, я увѣряю васъ, отличный человѣкъ.

— Я объ этомъ васъ не спрашивала,—промолвила Елена и встала.

— Господинъ Инсаровъ молодъ?—спросила Зоя.

— Ему сто-сорокъ-четыре года,—отвѣчалъ съ досадой Шубинъ.

Казачокъ доложилъ о приходѣ двухъ пріятелей. Они вошли. Берсеневъ представилъ Инсарова. Елена попросила ихъ сѣсть и сама сѣла, а Зоя отправилась наверхъ: надо было предувѣдомить Анну Васильевну. Начался разговоръ довольно незначительный, какъ всѣ первые разговоры. Шубинъ наблюдалъ молчкомъ изъ уголка, но наблюдать было не за чѣмъ. Въ Еленѣ онъ замѣчалъ слѣды сдержанной досады противъ него, Шубина—и только. Онъ глядѣлъ на Берсенева и на Инсарова и, какъ ваятель, сравнивалъ ихъ лица. Оба, думалъ онъ, не красивы собой: у болгара характерное, скульптурное лицо; вотъ теперь оно хорошо освѣтилось; у великоросса просится больше въ живопись: линій нѣту, физіономія есть. А, пожалуй, и въ того и въ другого влюбиться можно. Она еще не любитъ, но полюбитъ Берсенева, рѣшилъ онъ про себя.— Анна Васильевна появилась въ гостиную, и разговоръ принялъ оборотъ совершенно *дачный*, именно дачный, не деревенскій. То былъ разговоръ весьма разнообразный по обилію обсуждаемыхъ предметовъ; но коротенькія, довольно томительныя паузы прерывали его каждыя три минуты. Въ одну изъ этихъ паузъ, Анна Васильевна обратилась къ Зоѣ. Шубинъ понялъ ея нѣмой намекъ и скорчилъ кислую рожу, а Зоя сѣла за фортепіано, сыграла и спѣла всѣ свои штучки. Уваръ Ивановичъ показался было изъ-за двери, но пошевелилъ перстами и отретировался. Потомъ подали чай, потомъ прошлись всѣмъ обществомъ по саду... На дворѣ стемнѣло, и гости удалились.

Инсаровъ дѣйствительно произвелъ на Елену меньше впечатлѣнія, чѣмъ она сама ожидала, или, говоря точнѣе, онъ произвелъ на нее не то впечатлѣніе, котораго ожидала она. Ей понравилась его прямота и непринужденность, — и лицо его понравилось; но все существо Инсарова, спокойно-твердое и обыденно-простое, какъ-то

не ладилось съ тѣмъ образомъ, который составился у нея въ головѣ отъ разсказовъ Берсенева. Елена, сама того не подозрѣвая, ожидала чего-то болѣе „фатальнаго". Но, думала она, онъ сегодня говорилъ очень мало, я сама виновата; я не разспрашивала его, подождемъ до другого раза... а глаза у него выразительные, честные глаза. Она чувствовала, что ей не преклониться передъ нимъ хотѣлось, а подать ему дружески руку, и она недоумѣвала: не такими воображала она себѣ людей, подобныхъ Инсарову, „героевъ". Это послѣднее слово напомнило ей Шубина, и она, уже лежа въ постели, вспыхнула и разсердилась.

— Какъ вамъ понравились ваши новые знакомые?— спросилъ на возвратномъ пути Берсеневъ у Инсарова.

— Они мнѣ очень понравились,—отвѣчалъ Инсаровъ:— особенно дочь. Славная, должно-быть, дѣвушка. Она волнуется, но въ ней это хорошее волненіе.

— Надо будетъ къ нимъ ходить почаще, — замѣтилъ Берсеневъ.

— Да, надо,—проговорилъ Инсаровъ, и ничего больше не сказалъ до самаго дома. Онъ тотчасъ заперся въ своей комнатѣ, но свѣча у него горѣла далеко за полночь.

Берсеневъ не успѣлъ еще прочесть страницу изъ Раумера, какъ горсть брошеннаго мелкаго песку стукнула о стекла его окна. Онъ невольно вздрогнулъ, раскрылъ окно и увидалъ Шубина, блѣднаго, какъ полотно.

— Экой ты неугомонный! ночная ты бабочка!—началъ было Берсеневъ.

— Тсъ!—перебилъ его Шубинъ: — я пришелъ къ тебѣ украдкой, какъ Максъ къ Агатѣ. Мнѣ непремѣнно нужно сказать тебѣ два слова наединѣ.

— Да войди же въ комнату.

— Нѣтъ, не нужно,—возразилъ Шубинъ и облокотился на оконницу:—этакъ веселѣе, болѣе на Испанію похоже. Во-первыхъ, поздравляю тебя: твои акціи поднялись. Твой хваленый, необыкновенный человѣкъ провалился. За это я тебѣ поручиться могу. А чтобъ тебѣ доказать мою безпристрастность, слушай: вотъ формулярный списокъ гос-

подина Инсарова. Талантовъ никакихъ, поэзіи *нема*, способностей къ работѣ пропасть, память большая, умъ не разнообразный и не глубокій, но здравый и живой, сушь и сила, и даже даръ слова, когда рѣчь идетъ объ его, между нами сказать, скучнѣйшей Болгаріи. Что́? ты скажешь, я несправедливъ? Еще замѣчаніе: ты съ нимъ никогда на *ты* не будешь, и никто съ нимъ на *ты* не бывалъ; я, какъ артистъ, ему противенъ, чѣмъ я горжусь. Сушь, сушь, а всѣхъ насъ въ порошокъ стереть можетъ. Онъ съ своею землею связанъ — не то, что наши пустые сосуды, которые ластятся къ народу: влейся, молъ, въ насъ, живая вода! Зато и задача его легче, удобопонятнѣе: сто̀итъ только турокъ вытурить, велика штука! Но всѣ эти качества, слава Богу, не нравятся женщинамъ. Обаянія нѣтъ, *шарму*; не то, что въ насъ съ тобой.

— Къ чему ты меня приплелъ?— пробормоталъ Берсеневъ.—И въ остальномъ ты не правъ: ты ему нисколько не противенъ, и со своими соотечественниками онъ на *ты*... я это знаю.

— Это другое дѣло! Для нихъ онъ герой, а признаться сказать, я себѣ героевъ иначе представляю: герой не долженъ умѣть говорить: герой мычитъ, какъ быкъ; зато двинетъ рогомъ—стѣны валятся. И онъ самъ не долженъ знать, зачѣмъ онъ двигаетъ, а двигаетъ. Впрочемъ, можетъ-быть, въ наши времена требуются герои другого калибра.

— Что тебя Инсаровъ такъ занимаетъ?—спросилъ Берсеневъ. — Неужели ты только для того прибѣжалъ сюда, чтобъ описать мнѣ его характеръ?

— Я пришелъ сюда, — началъ Шубинъ: — потому что мнѣ дома очень было грустно.

— Вотъ какъ! Ужъ не хочешь ли ты опять заплакать?

— Смѣйся! я пришелъ сюда, потому что я готовъ локти себѣ кусать, потому что отчаяніе меня грызетъ, досада, ревность...

— Ревность! къ кому?

— Къ тебѣ, къ нему, ко всѣмъ. Меня терзаетъ мысль, что если бъ я раньше понялъ ее, если бъ я умѣючи

взялся за дѣло... Да что толковать! Кончится тѣмъ, что я буду все смѣяться, дурачиться, ломаться, какъ она говоритъ, а тамъ возьму да удавлюсь.

— Ну, удавиться ты не удавишься, — замѣтилъ Берсеневъ.

— Въ такую ночь, конечно, нѣтъ; но дай намъ только дожить до осени. Въ такую ночь люди умираютъ тоже, только отъ счастья. Ахъ, счастье! Каждая вытянутая черезъ дорогу тѣнь отъ дерева такъ, кажется, и шепчетъ теперь: „Знаю я, гдѣ счастье... Хочешь скажу?“ Я бы позвалъ тебя гулять, да ты теперь подъ вліяніемъ прозы. Спи, и да снятся тебѣ математическія фигуры! А у меня душа разрывается. Вы, господа, видите, что человѣкъ смѣется, значитъ, по-вашему, ему легко; вы можете доказать ему, что онъ самому себѣ противорѣчитъ, значитъ, онъ не страдаетъ... Богъ съ вами!

Шубинъ быстро отошелъ отъ окошка. „Аннушка!“ хотѣлъ-было крикнуть ему вслѣдъ Берсеневъ, но удержался: на Шубинѣ, дѣйствительно, лица не было. Минуты двѣ спустя, Берсеневу даже почудились рыданія: онъ всталъ, отворилъ окно; все было тихо, только гдѣ-то вдали, какой-то, должно-быть, проѣзжій мужичокъ тянулъ: *Степь Моздовскую.*

XIII.

Въ теченіе первыхъ двухъ недѣль послѣ переселенія Ансарова въ сосѣдство Кунцова, онъ не болѣе четырехъ или пяти разъ посѣтилъ Стаховыхъ; Берсеневъ ходилъ съ нимъ черезъ день. Елена всегда ему была рада, всегда завязывалась между нимъ и ею живая и интересная бесѣда, и все-таки онъ возвращался домой часто съ печальнымъ лицомъ. Шубинъ почти не показывался; онъ съ лихорадочною дѣятельностію занялся своимъ искусствомъ: либо сидѣлъ взаперти у себя въ комнатѣ и выскакивалъ оттуда въ блузѣ, весь выпачканный глиной, либо проводилъ дни въ Москвѣ, гдѣ у него была студія, куда приходили къ нему модели и итальянскіе формовщики, его пріятели и учители. Елена ни разу не поговорила съ

Инсаровымъ такъ, какъ бы она хотѣла; въ его отсутствіе она готовилась разспросить его о многомъ, но когда онъ приходилъ, ей становилось совѣстно своихъ приготовленій. Самое спокойствіе Инсарова ее смущало: ей казалось, что она не имѣетъ права заставить его высказываться, и она рѣшалась ждать; со всѣмъ тѣмъ, она чувствовала, что съ каждымъ его посѣщеніемъ, какъ бы незначительны ни были обмѣненныя между ними слова, онъ привлекалъ ее болѣе и болѣе; но ей не пришлось остаться съ нимъ наединѣ,—а чтобы сблизиться съ человѣкомъ — нужно хоть однажды побесѣдовать съ нимъ съ-глазу-на-глазъ. Она много говорила о немъ съ Берсеневымъ. Берсеневъ понималъ, что воображеніе Елены поражено Инсаровымъ, и радовался, что его пріятель не провалился, какъ утверждалъ Шубинъ; онъ съ жаромъ, до малѣйшихъ подробностей, разсказывалъ ей все, что̀ зналъ о немъ (мы часто, когда сами хотимъ понравиться другому человѣку, превозносимъ въ разговорѣ съ нимъ нашихъ пріятелей, почти никогда притомъ не подозрѣвая, что мы тѣмъ самихъ себя хвалимъ), и лишь изрѣдка, когда блѣдныя щеки Елены слегка краснѣли, а глаза свѣтлѣли и расширялись, та нехорошая, уже имъ испытанная, грусть щемила его сердце.

Однажды Берсеневъ пришелъ къ Стаховымъ не въ обычную пору, часу въ одиннадцатомъ утра. Елена вышла къ нему въ залу.

— Вообразите себѣ, — началъ онъ съ принужденной улыбкой:—нашъ Инсаровъ пропалъ.

— Какъ пропалъ?—проговорила Елена.

— Пропалъ. Третьяго дня вечеромъ ушелъ куда-то, и съ тѣхъ поръ его нѣтъ.

— Онъ не сказалъ вамъ, куда онъ пошелъ?

— Нѣтъ.

Елена опустилась на стулъ.

— Онъ, вѣроятно, въ Москву отправился,—промолвила она, стараясь казаться равнодушной и въ то же время сама дивясь тому, что она старается казаться равнодушной.

— Не думаю, — возразилъ Берсеневъ. — Онъ ушелъ не одинъ.

— Съ кѣмъ же?

— Къ нему третьяго дня, передъ обѣдомъ, явились два какихъ-то человѣка, должно-быть, его соотечественники.

— Болгары? почему вы это думаете?

— А потому, что, сколько я могъ разслышать, они говорили съ нимъ на языкѣ, мнѣ неизвѣстномъ, но славянскомъ... Вотъ вы все находите, Елена Николаевна, что въ Инсаровѣ таинственнаго мало: ужъ на что таинственнѣе этого посѣщенія? Представьте: вошли къ нему—и ну кричать и спорить, да такъ дико, злобно... И онъ кричалъ.

— И онъ?

— И онъ. Кричалъ на нихъ. Они какъ будто жаловались другъ на друга. И если бы вы взглянули на этихъ посѣтителей! Лица смуглыя, широкоскулыя, тупыя, съ ястребиными носами, лѣтъ каждому за сорокъ, одѣты плохо, въ пыли, въ поту, съ виду ремесленники — не ремесленники, и не господа... Богъ знаетъ, что̀ за люди.

— И онъ съ ними отправился?

— Съ ними. Накормилъ ихъ, да ушелъ съ ними. Хозяйка мнѣ сказывала,—они вдвоемъ цѣлый огромный горшокъ каши съѣли. Такъ, говоритъ, въ перегонку и глотали, словно волки.

Елена слабо усмѣхнулась.

— Вы увидите,—промолвила она:—все это разрѣшится чѣмъ-нибудь очень прозаическимъ.

— Дай Богъ! Только напрасно вы употребили это слово. Въ Инсаровѣ нѣтъ ничего прозаическаго, хотя Шубинъ и увѣряетъ...

— Шубинъ!—перебила Елена и пожала плечомъ.— Но сознайтесь, что эти два господина, глотающіе кашу...

— И Ѳемистоклъ ѣлъ наканунѣ Саламинскаго сраженія,—съ улыбкой замѣтилъ Берсеневъ.

— Такъ: но зато на другой день и было сраженіе. А вы все-таки дайте мнѣ знать, когда онъ вернется, — прибавила Елена и попыталась перемѣнить разговоръ, — но разговоръ не клеился.

Появилась Зоя и стала ходить по комнатѣ на цыпочкахъ, давая тѣмъ знать, что Анна Васильевна еще не проснулась.

Берсеневъ ушелъ.

Въ тотъ же день, вечеромъ, принесли отъ него записку Еленѣ.

„Вернулся“, писалъ онъ ей: „загорѣлый и въ пыли по самыя брови; но зачѣмъ и куда ѣздилъ, не знаю; не узнаете ли вы?“

— Не узнаете ли вы!—прошептала Елена.—Развѣ онъ говоритъ со мной?

XIV.

На слѣдующій день, часу во второмъ, Елена стояла въ саду передъ небольшою закуткой, гдѣ у ней воспитывались два дворовые щенка. (Садовникъ нашелъ ихъ заброшенными подъ заборомъ и принесъ ихъ барышнѣ, про которую ему сказали прачки, что она, молъ, всякихъ звѣрей и скотовъ жалуетъ. Онъ не ошибся въ расчетѣ; Елена дала ему четвертакъ.) Она заглянула въ закутку, убѣдилась, что щенки живы и здоровы, и что солому имъ постлали свѣжую, обернулась и чуть не вскрикнула: прямо къ ней, по аллеѣ, шелъ Инсаровъ, одинъ.

— Здравствуйте, — промолвилъ онъ, приближаясь къ ней и снимая картузъ. Она замѣтила, что онъ точно сильно загорѣлъ въ послѣдніе три дня.—Я хотѣлъ придти сюда съ Андреемъ Петровичемъ, да онъ что-то замѣшкался; вотъ я и отправился безъ него. Въ домѣ у васъ никого нѣтъ: всѣ спятъ или гуляютъ, я и пришелъ сюда.

— Вы какъ будто извиняетесь,—отвѣчала Елена.—Это совсѣмъ не нужно. Мы всѣ очень рады васъ видѣть... Сядемте тутъ на скамейкѣ, въ тѣни.

Она сѣла. Инсаровъ помѣстился возлѣ нея.

— Васъ, кажется, дома не было въ это время? — начала она.

— Да,—отвѣтилъ онъ:—я уходилъ... Вамъ Андрей Петровичъ сказывалъ?

Инсаровъ глянулъ на нее, улыбнулся и началъ играть

картузомъ. Улыбаясь, онъ быстро моргалъ глазами и выдвигалъ впередъ губы, что̀ придавало ему очень добродушный видъ.

— Андрей Петровичъ, вѣроятно, вамъ также сказалъ, что я ушелъ съ какими-то... безобразными людьми,—проговорилъ онъ, продолжая улыбаться.

Елена немного смутилась, но тотчасъ почувствовала, что Инсарову надо всегда говорить правду.

— Да,—сказала она рѣшительно.

— Что̀ же вы подумали обо мнѣ?—спросилъ онъ ее вдругъ.

Елена подняла на него глаза.

— Я подумала...—промолвила она:—я подумала, что вы всегда знаете, что̀ дѣлаете, и что вы ничего дурного не въ состояніи сдѣлать.

— Ну, и спасибо вамъ за это. Вотъ видите ли, Елена Николаевна,—началъ онъ, какъ-то довѣрчиво подсаживаясь къ ней: — нашихъ здѣсь небольшая семейка; есть между нами люди мало образованные; но всѣ крѣпко преданы общему дѣлу. Къ несчастью, безъ ссоръ нельзя, а меня всѣ знаютъ, вѣрятъ мнѣ; вотъ и позвали меня разобрать одну ссору. Я отправился.

— Далеко отсюда?

— Я за шестьдесятъ верстъ ѣздилъ, въ Троицкій посадъ. Тамъ, при монастырѣ, тоже есть наши. По крайней мѣрѣ, не даромъ хлопоталъ: уладилъ дѣло.

— И трудно вамъ было?

— Трудно. Одинъ все упрямился. Деньги не хотѣлъ отдать.

— Какъ? Изъ-за денегъ была ссора?

— Да; и деньги-то небольшія. А вы что̀ полагали?

— И вы для такихъ пустяковъ за шестьдесятъ верстъ ѣздили? Три дня потеряли?

— То не пустяки, Елена Николаевна, когда свои земляки замѣшаны. Тутъ отказаться грѣхъ. Вы вотъ, я вижу, даже щенкамъ не отказываете въ помощи, и я васъ хвалю за это. А что̀ я время-то потерялъ, это не бѣда, потомъ наверстаю. Наше время не намъ принадлежитъ.

— Кому же?

— А всѣмъ, кому въ насъ нужда. Я вамъ все это такъ, съ бухта-барахта разсказалъ, потому что я дорожу вашимъ мнѣніемъ. Я воображаю, какъ Андрей Петровичъ васъ удивилъ!

— Вы дорожите моимъ мнѣніемъ,—проговорила Елена вполголоса:—почему?

Инсаровъ опять улыбнулся.

— Потому, что вы хорошая барышня, не аристократка... вотъ и все...

Настало небольшое молчаніе.

— Дмитрій Никаноровичъ,—сказала Елена:—знаете ли вы, что вы въ первый разъ со мной такъ откровенны?

— Какъ такъ? Мнѣ кажется, я всегда говорилъ вамъ все, что̀ думалъ.

— Нѣтъ, это въ первый разъ, и я очень этому рада,— и я тоже хочу быть откровенною съ вами. Можно?

Инсаровъ засмѣялся и сказалъ:

— Можно.

— Предваряю васъ, что я очень любопытна.

— Ничего, говорите.

— Мнѣ Андрей Петровичъ много разсказывалъ о вашей жизни, о вашей молодости. Мнѣ извѣстно одно обстоятельство, одно ужасное обстоятельство... Я знаю, что вы ѣздили потомъ къ себѣ на родину... Не отвѣчайте мнѣ, ради Бога, если мой вопросъ вамъ покажется нескромнымъ, но меня мучитъ одна мысль... Скажите, встрѣтились ли вы съ тѣмъ человѣкомъ...

Дыханіе захватило у Елены. Ей стало и стыдно, и страшно своей смѣлости. Инсаровъ глядѣлъ на нее пристально, слегка прищуривъ глаза и трогая пальцами подбородокъ.

— Елена Николаевна,—началъ онъ, наконецъ, и голосъ его былъ тише обыкновеннаго, что̀ почти испугало Елену:— я понимаю, о какомъ человѣкѣ вы сейчасъ упомянули. Нѣтъ, я не встрѣтился съ нимъ, и слава Богу! Я не искалъ его. Я не искалъ его не потому, чтобъ я не почиталъ себя въ правѣ убить его, — я бы очень спокойно

убилъ его,—но потому, что тутъ не до частной мести, когда дѣло идетъ о народномъ, общемъ отмщеніи... или нѣтъ, это слово не годится... когда дѣло идетъ объ освобожденіи народа. Одно помѣшало бы другому. Въ свое время и то не уйдетъ... И то не уйдетъ,—повторилъ онъ и покачалъ головой.

Елена посмотрѣла на него сбоку.

— Вы очень любите свою родину? — произнесла она робко.

— Это еще не извѣстно,—отвѣчалъ онъ.—Вотъ, когда кто-нибудь изъ насъ умретъ за нее, тогда можно будетъ сказать, что онъ ее любилъ.

— Такъ что, если бы васъ лишили возможности возвратиться въ Болгарію,—продолжала Елена:—вамъ было бы очень тяжело въ Россіи?

Инсаровъ потупился.

— Мнѣ кажется, я бы этого не вынесъ,—проговорилъ онъ.

— Скажите,—начала опять Елена:—трудно выучиться болгарскому языку?

— Нисколько. Русскому стыдно не знать по-болгарски. Русскій долженъ знать всѣ славянскія нарѣчія. Хотите, я вамъ принесу болгарскія книги? Вы увидите, какъ это легко. Какія у насъ пѣсни! не хуже сербскихъ. Да вотъ постойте, я вамъ переведу одну изъ нихъ. Въ ней говорится про... Да вы знаете ли хоть немножко нашу исторію?

— Нѣтъ, я ничего не знаю,—отвѣтила Елена.

— Постойте, я вамъ принесу книжку. Вы изъ нея хоть главные факты узнаете. Такъ слушайте же пѣсню... Впрочемъ, я вамъ лучше принесу написанный переводъ. Я увѣренъ: вы полюбите насъ: вы всѣхъ притѣсненныхъ любите. Если бы вы знали, какой нашъ край благодатный! А между тѣмъ его топчутъ, его терзаютъ,—подхватилъ онъ съ невольнымъ движеніемъ руки, и лицо его потемнѣло:—у насъ все отняли, все: наши церкви, наши права, наши земли; какъ стадо гоняютъ насъ поганые турки, насъ рѣжутъ.

— Дмитрій Никаноровичъ!—воскликнула Елена.

Онъ остановился.

— Извините меня. Я не могу говорить объ этомъ хладнокровно. Но вы сейчасъ спрашивали меня, люблю ли я свою родину? Что же другое можно любить на землѣ? Что одно неизмѣнно, что выше всѣхъ сомнѣній, чему нельзя не вѣрить, послѣ Бога? И когда эта родина нуждается въ тебѣ... Замѣтьте: послѣдній мужикъ, послѣдній нищій въ Болгаріи и я,—мы желаемъ одного и того же. У всѣхъ у насъ одна цѣль. Поймите, какую это даетъ увѣренность и крѣпость.

Инсаровъ замолкъ на мгновеніе, и снова заговорилъ о Болгаріи. Елена слушала его съ пожирающимъ, глубокимъ и печальнымъ вниманіемъ. Когда онъ кончилъ, она еще разъ спросила его:

— Такъ вы ни за что не остались бы въ Россіи?

А когда онъ ушелъ, она долго смотрѣла ему вслѣдъ. Онъ въ этотъ день сталъ для нея другимъ человѣкомъ. Не такимъ она провожала его, какимъ встрѣтила его за два часа тому назадъ.

Съ того дня онъ сталъ ходить все чаще и чаще, а Берсеневъ все рѣже. Между обоими пріятелями завелось что-то странное, что они оба хорошо чувствовали, но назвать не могли, а разъяснить боялись. Такъ прошелъ мѣсяцъ.

XV.

Анна Васильевна любила сидѣть дома, какъ уже извѣстно читателю; но иногда, совершенно неожиданно, проявлялось въ ней непреодолимое желаніе чего-нибудь необыкновеннаго, какой-нибудь удивительной partie de plaisir; и чѣмъ затруднительнѣе была эта partie de plaisir, чѣмъ больше требовала она приготовленій и сборовъ, чѣмъ больше волновалась сама Анна Васильевна, тѣмъ ей было пріятнѣе. Находилъ ли на нее этотъ *стихъ* зимой — она приказывала нанять двѣ-три ложи рядомъ, собирала всѣхъ своихъ знакомыхъ и отправлялась въ театръ, или даже *въ маскарадъ*; лѣтомъ—она ѣхала за городъ, куда-нибудь

льше. На другой день она жаловалась на головную
, кряхтѣла и не вставала съ постели, а мѣсяца черезъ
въ ней опять загоралась жажда „необыкновеннаго“.
ке случилось и теперь. Кто-то упомянулъ при ней о
отахъ Царицына, и Анна Васильевна внезапно объ-
ла, что она послѣ-завтра намѣрена ѣхать въ Царицыно.
нялась тревога въ домѣ: нарочный поскакалъ въ Мо-
за Николаемъ Артемьевичемъ; съ нимъ же поскакалъ
зорецкій закупать вина, паштетовъ и всякихъ съѣст-
ъ припасовъ; Шубину вышелъ приказъ нанять ямскую
іску (одной кареты было мало) и приготовить под-
ныхъ лошадей; казачокъ два раза сбѣгалъ къ Берсе-
и Инсарову, и снесъ имъ двѣ пригласительныя за-
ки, написанныя сперва по-русски, потомъ по-французъ-
Зоей; сама Анна Васильевна хлопотала о дорожномъ
етѣ барышень. Между тѣмъ partie de plaisir чуть не
троилась: Николай Артемьевичъ прибылъ изъ Москвы
кисломъ и недоброжелательномъ, фрондёрскомъ распо-
еніи духа (онъ все еще дулся на Августину Христіа-
ну) и, узнавъ въ чемъ дѣло, рѣшительно объявилъ,
онъ не поѣдетъ;—что скакать изъ Кунцова въ Москву,
зъ Москвы въ Царицыно, а изъ Царицына опять въ
кву, а изъ Москвы опять въ Купцово—нелѣпость,—и
онецъ, прибавилъ онъ, пусть мнѣ сперва докажутъ,
на одномъ пунктѣ земного шара можетъ быть весе-
, чѣмъ на другомъ пунктѣ, тогда я поѣду. Это ему
то, разумѣется, доказать не могъ, и Анна Васильевна,
неимѣніемъ солиднаго кавалера, уже готова была отка-
ся отъ partie de plaisir, да вспомнила объ Уварѣ
новичѣ, и съ горя послала за нимъ въ его комнатку,
ря: „утопающій и за соломинку хватается“. Его раз-
ли; онъ сошелъ внизъ, выслушалъ молча предложеніе
ы Васильевны, поигралъ пальцами и, къ общему изу-
нію, согласился. Анна Васильевна поцѣловала его въ
у и назвала миленькимъ; Николай Артемьевичъ улыб-
ся презрительно и сказалъ: quelle bourde! (онъ любилъ
случаѣ употреблять „шикарныя“ французскія слова)—
а слѣдующее утро, въ семь часовъ, карета и коляска,

нагруженныя до верху, выкатились со двора Стаховской дачи. Въ каретѣ сидѣли дамы, горничная и Берсеневъ; Инсаровъ помѣстился на козлахъ; а въ коляскѣ находились Уваръ Ивановичъ и Шубинъ. Уваръ Ивановичъ самъ движеніемъ пальца подозвалъ къ себѣ Шубина; онъ зналъ, что тотъ будетъ дразнить его всю дорогу, но между „черноземной силой“ и молодымъ художникомъ существовала какая-то странная связь и бранчивая откровенность. Впрочемъ, на этотъ разъ Шубинъ оставилъ своего толстаго друга въ покоѣ: онъ былъ молчаливъ, разсѣянъ и мягокъ.

Солнце уже высоко стояло на безоблачной лазури, когда экипажи подкатили къ развалинамъ Царицынскаго замка, мрачнымъ и грознымъ даже въ полдень. Все общество спустилось на траву и тотчасъ же двинулось въ садъ. Впереди шла Елена и Зоя съ Инсаровымъ; за ними съ выраженіемъ полнаго счастія на лицѣ выступала Анна Васильевна подъ руку съ Уваромъ Ивановичемъ. Онъ пыхтѣлъ и переваливался, новая соломенная шляпа рѣзала ему лобъ и ноги горѣли въ сапогахъ, но ему было хорошо; Шубинъ и Берсеневъ замыкали шествіе. „Мы будемъ, братецъ, въ резервѣ, какъ нѣкіе ветераны“, шепнулъ Берсеневу Шубинъ. „Тамъ теперь Болгарія“, прибавилъ онъ, показавъ бровями на Елену.

Погода была чудесная. Все кругомъ цвѣло, жужжало и пѣло; вдали сіяли воды прудовъ; праздничное, свѣтлое чувство охватывало душу. „Ахъ, хорошо! ахъ, хорошо!“ безпрестанно твердила Анна Васильевна; Уваръ Ивановичъ потряхивалъ одобрительно головой въ отвѣтъ на ея восторженныя восклицанія и разъ даже промолвилъ: „Что толковать!“ Елена изрѣдка мѣнялась словами съ Инсаровымъ; Зоя придерживала двумя пальчиками край широкой шляпы, кокетливо выносила изъ-подъ розоваго бареженаго платья свои маленькія ножки, обутыя въ свѣтло-сѣрыя ботинки съ тупыми носками, и посматривала то вбокъ, то назадъ. „Эге!“ воскликнулъ вдругъ вполголоса Шубинъ: „Зоя Никитишна никакъ оглядывается. *Пойду-ка* я къ ней. Елена Николаевна теперь меня пре-

зираетъ, а тебя, Андрей Петровичъ, уважаетъ, что̀ на одно выходитъ. Пойду; довольно я кисъ. Тебѣ же, мой другъ, совѣтую ботанизировать: въ твоемъ положеніи это самое лучшее, что̀ ты придумать можешь; оно же и въ ученомъ отношеніи полезно. Прощай!“ Шубинъ подбѣжалъ къ Зоѣ, подставилъ ей руку кренделемъ и, сказавъ: „Ihre Hand, Madame“, подхватилъ ее и пустился съ ней впередъ. Елена остановилась, подозвала Берсенева и тоже взяла его руку, но продолжала говорить съ Инсаровымъ. Она спрашивала у него, какъ на его языкѣ называется ландышъ, кленъ, дубъ, липа... (Болгарія! подумалъ бѣдный Андрей Петровичъ.)

Вдругъ впереди раздался крикъ; всѣ подняли голову. Сигарочница Шубина летѣла въ кустъ, брошенная рукой Зои. „Погодите, я съ вами за это разсчитаюсь!“ воскликнулъ онъ, полѣзъ въ кустъ, нашелъ тамъ сигарочницу и вернулся-было къ Зоѣ; но не успѣлъ онъ къ ней приблизиться, какъ уже опять его сигарочница летѣла черезъ дорожку. Разъ пять повторялась эта продѣлка, онъ все хохоталъ и грозился, а Зоя только втихомолку улыбалась и пожималась, какъ кошечка. Наконецъ онъ поймалъ ея пальцы и такъ ихъ тиснулъ, что она пискнула, и долго потомъ дула на руку, притворно сердилась, а онъ ей напѣвалъ что-то на ухо.

— Шалуны, молодой народъ, — весело замѣтила Анна Васильевна Увару Ивановичу.

Тотъ поигралъ перстами.

— Какова Зоя Никитишна?—сказалъ Берсеневъ Еленѣ.

— А Шубинъ?—отвѣчала она.

Между тѣмъ все общество подошло къ бесѣдкѣ, извѣстной подъ именемъ Миловидовой, и остановилось, чтобы полюбоваться зрѣлищемъ Царицынскихъ прудовъ. Они тянулись одинъ за другимъ на нѣсколько верстъ; сплошные лѣса темнѣли за ними. Мурава, покрывавшая весь скатъ холма до главнаго пруда, придавала самой водѣ необыкновенно-яркій, изумрудный цвѣтъ. Нигдѣ, даже у берега, не вспухала волна, не бѣлѣла пѣна; даже ряби не пробѣгало по ровной глади. Казалось, застывшая масса

стекла тяжело и свѣтло улеглась въ огромной купели, и небо ушло къ ней на дно, и кудрявыя деревья неподвижно глядѣлись въ ея прозрачное лоно. Всѣ долго и молча любовались видомъ; даже Шубинъ притихъ, даже Зоя задумалась. Наконецъ всѣ единодушно захотѣли покататься по водѣ. Шубинъ, Инсаровъ и Берсеневъ побѣжали по травѣ взапуски. Они отыскали большую, раскрашенную лодку, отыскали двухъ гребцовъ и позвали дамъ. Дамы сошли къ нимъ; Уваръ Ивановичъ осторожно спустился за дамами. Пока онъ входилъ въ лодку, пока усаживался, много было смѣху. „Смотрите, баринъ, не затопите насъ", замѣтилъ одинъ изъ гребцовъ, молодой курносый парень въ александрійской рубахѣ. — Ну, ну, фуфыря! — проговорилъ Уваръ Ивановичъ. Лодка отчалила. Молодые люди взялись-было за весла, но грести умѣлъ изъ нихъ одинъ Инсаровъ. Шубинъ предложилъ спѣть хоромъ какую-нибудь русскую пѣсню, и самъ затянулъ: „Внизъ по матушкѣ"... Берсеневъ, Зоя и даже Анна Васильевна подхватили (Инсаровъ не умѣлъ пѣть), но вышла разноголосица, на третьемъ стихѣ пѣвцы запутались, одинъ Берсеневъ пытался продолжать басомъ: „Ничего въ волнахъ не видно", — но тоже скоро сконфузился. Гребцы перемигнулись и оскалили зубы молча.—Что?— обратился къ нимъ Шубинъ:—видно господа пѣть-то не умѣютъ? — Малый въ александрійской рубахѣ только головой тряхнулъ. — Такъ погоди жъ, курносый, возразилъ Шубинъ, мы тебѣ покажемъ. Зоя Никитишна, спойте намъ: Le lac, Нидермейера. Не гребите, вы! — Мокрыя весла поднялись на воздухъ, какъ крылья, и такъ и замерли, звонко роняя капли; лодка проплыла еще немного и остановилась, чуть-чуть закружившись на водѣ, какъ лебедь. Зоя поломалась... Allons! ласково промолвила Анна Васильевна... Зоя скинула шляпу и запѣла: „O, lac, l'année à peine a fini sa carrière..."

Ея небольшой, но чистый голосокъ такъ и помчался по зеркалу пруда; далеко въ лѣсахъ отзывалось каждое слово; казалось, и тамъ кто-то пѣлъ четкимъ и таинственнымъ, но не человѣческимъ, не здѣшнимъ голосомъ. Когда

Зоя кончила, громкое браво раздалось изъ одной прибрежной бесѣдки и оттуда выскочило нѣсколько краснорожихъ нѣмцевъ, пріѣхавшихъ *покнейпировать* въ Царицыно. Нѣкоторые изъ нихъ были безъ сюртуковъ, безъ галстуковъ, и даже безъ жилетовъ, и до того неистово кричали: bis! что Анна Васильевна велѣла поскорѣе отъѣхать на другой конецъ пруда. Но, прежде чѣмъ лодка пристала къ берегу, Увару Ивановичу еще разъ удалось удивить своихъ знакомыхъ: замѣтивъ, что въ одномъ мѣстѣ лѣса эхо особенно ясно повторяло каждый звукъ, онъ вдругъ началъ кричать перепеломъ. Сперва всѣ вздрогнули, но тотчасъ же почувствовали истинное удовольствіе, тѣмъ болѣе, что Уваръ Ивановичъ кричалъ очень вѣрно и похоже. Это его поощрило, и онъ попробовалъ мяукать; но мяуканье выходило у него не такъ хорошо; онъ крикнулъ еще разъ перепеломъ, посмотрѣлъ на всѣхъ и умолкъ. Шубинъ бросился его цѣловать: онъ оттолкнулъ его. Въ это мгновеніе лодка причалила, и все общество вышло на берегъ.

Между тѣмъ кучеръ съ лакеемъ и горничной принесли корзинки изъ кареты и приготовили обѣдъ на травѣ подъ старыми липами. Всѣ усѣлись вокругъ разостланной скатерти и принялись за паштетъ и прочія яства. У всѣхъ аппетитъ былъ отличный, а Анна Васильевна то и дѣло угащивала и уговаривала своихъ гостей, чтобы побольше ѣли, увѣряя, что на воздухѣ это очень здорово; она обращалась съ такими рѣчами къ самому Увару Ивановичу. „Будьте спокойны“, промычалъ онъ ей съ набитымъ ртомъ. „Далъ же Господь такой славный день!“ твердила она безпрестанно. Ее нельзя было узнать: она точно двадцатью годами помолодѣла. Берсеневъ замѣтилъ ей это. „Да, да“, сказала она; „была и я, въ мое время, хоть куда; изъ десятка бы меня не выкинули“. Шубинъ присоединился къ Зоѣ и безпрестанно наливалъ ей вина; она отказывалась, онъ ее потчивалъ и кончалъ тѣмъ, что самъ выпивалъ стаканъ и потомъ опять ее потчивалъ; онъ также увѣрялъ ее, что желаетъ преклонить свою голову къ ней на колѣни: она никакъ не хотѣла позволить

ему, „этакую большую вольность“. Елена казалась серьезнѣе всѣхъ, но на сердцѣ у ней было чудное спокойствіе, какого она давно не испытывала. Она чувствовала себя безконечно доброю, и ей все хотѣлось имѣть возлѣ себя не одного только Инсарова, но и Берсенева... Андрей Петровичъ смутно понималъ что это значило и вздыхалъ украдкой.

Часы летѣли; вечеръ приближался. Анна Васильевна вдругъ всполошилась. „Ахъ, батюшки мои, какъ поздно“, заговорила она. „Пожито, попито, господа; пора и бороду утирать“. Она засуетилась, и всѣ засуетились, встали и пошли въ направленіи къ замку, гдѣ находились экипажи. Проходя мимо прудовъ, всѣ остановились, чтобы въ послѣдній разъ полюбоваться Царицынымъ. Вездѣ горѣли яркія, передвечернія краски; небо рдѣло, листья переливчато блистали, возмущенные поднявшимся вѣтеркомъ; растопленнымъ золотомъ струились отдаленныя воды; рѣзко отдѣлялись отъ темной зелени деревьевъ красноватыя башенки и бесѣдки, кое-гдѣ разбросанныя по саду. „Прощай, Царицыно, не забудемъ мы сегодняшнюю поѣздку!“ промолвила Анна Васильевна... Но въ это мгновенье, и какъ бы въ подтвержденіе ея послѣднихъ словъ, случилось странное происшествіе, которое дѣйствительно не такъ-то легко было позабыть.

А именно: не успѣла Анна Васильевна послать свой прощальный привѣтъ Царицыну, какъ вдругъ въ нѣсколькихъ шагахъ отъ нея, за высокимъ кустомъ сирени, раздались нестройныя восклицанія, хохотня и крики—и цѣлая гурьба растрепанныхъ мужчинъ, тѣхъ самыхъ любителей пѣнія, которые такъ усердно хлопали Зоѣ, высыпала на дорожку. Господа любители казались сильно навеселѣ. Они остановились при видѣ дамъ; но одинъ изъ нихъ, огромнаго росту, съ бычачьей шеей и бычачьими воспаленными глазами, отдѣлился отъ своихъ товарищей и, неловко раскланиваясь и покачиваясь на ходу, приблизился къ окаменѣвшей отъ испуга Аннѣ Васильевнѣ.

— Бонжуръ, мадамъ,—проговорилъ онъ сиплымъ голосомъ:—какъ ваше здоровье?

Анна Васильевна пошатнулась назадъ.

— А отчего вы,—продолжалъ великанъ дурнымъ русскимъ языкомъ: — не хотѣлъ пѣть bis, когда нашъ компани кричалъ bis, и браво, форо?

— Да, да, отчего?—раздалось въ рядахъ компаніи.

Инсаровъ шагнулъ-было впередъ, но Шубинъ остановилъ его и самъ заслонилъ Анну Васильевну.

— Позвольте,— началъ онъ: — почтенный незнакомецъ, выразить вамъ неподдѣльное изумленіе, въ которое вы повергаете всѣхъ насъ своими поступками. Вы, сколько я могу судить, принадлежите къ саксонской отрасли кавказскаго племени; слѣдовательно, мы должны предполагать въ васъ знаніе свѣтскихъ приличій, а между тѣмъ вы заговариваете съ дамой, которой вы не были представлены. Повѣрьте, въ другое время я, въ особенности, былъ бы очень радъ сблизиться съ вами, ибо замѣчаю въ васъ такое феноменальное развитіе мускуловъ: biceps, triceps и deltoïdaeus, что, какъ ваятель, почелъ бы за истинное счастіе имѣть васъ своимъ натурщикомъ; но на сей разъ оставьте насъ въ покоѣ.

„Почтенный незнакомецъ“ выслушалъ всю рѣчь Шубина, презрительно скрутивъ голову на сторону и уперши руки въ бока.

— Я ничего не понимаетъ, что̀ вы говорите такое, — промолвилъ онъ наконецъ.—Вы думаетъ, можетъ-быть, я сапожникъ, или часовыхъ дѣлъ мастеръ? Э! Я официръ, я чиновникъ, да.

— Я не сомнѣваюсь въ этомъ, — началъ-было Шубинъ...

— А я вотъ что̀ говорю, — продолжалъ незнакомецъ, отстраняя его своею мощною рукой, какъ вѣтку съ дороги: — я говорю: отчего вы не пѣлъ bis, когда мы кричалъ bis? А теперь я сейчасъ, сей минутой уйду, только вотъ нушна, штопъ эта фрейлейнъ, не эта мадамъ, нѣтъ, эта не нушна, а вотъ эта, или эта (онъ указалъ на Елену и Зою), дала мнѣ einen Kuss, какъ мы это говоримъ по-нѣмецки, поцалуйшикъ, да; что жъ? это ничего.

— Ничего, einen Kuss, это ничего,—раздалось опять въ рядахъ компаніи.

— Ih! der Stakramenter! — проговорилъ, давясь отъ смѣху, одинъ уже совершенно чирый нѣмецъ.

Зоя ухватила за руку Инсарова, но онъ вырвался у нея и сталъ прямо передъ великорослымъ нахаломъ.

— Извольте идти прочь,—сказалъ онъ ему не громкимъ, но рѣзкимъ голосомъ.

Нѣмецъ тяжело захохоталъ.

— Какъ прочь? Вотъ это и я люблю! Развѣ я тоже не могу гуляйтъ? Какъ это прочь? Отчего прочь?

— Оттого, что вы осмѣлились безпокоить даму,—проговорилъ Инсаровъ и вдругъ поблѣднѣлъ:—оттого, что вы пьяны.

— Какъ? я пьянъ? Слышить? Hören Sie das, Herr Provisor? Я официрь, а онъ смѣетъ... Теперь я требую Satisfaction! Einen Kuss will ich!

— Если вы сдѣлаете еще шагъ,—началъ Инсаровъ...

— Ну? И что̀ тогда?

— Я васъ брошу въ воду.

— Въ воду? Herr Je! И только? Ну, посмотримъ, это очень любопытно, какъ это въ воду...

Господинъ *официрь* поднялъ руки и подался впередъ, но вдругъ произошло нѣчто необыкновенное: онъ крякнулъ, все огромное туловище его покачнулось, поднялось отъ земли, ноги брыкнули на воздухѣ, и прежде чѣмъ дамы успѣли вскрикнуть, прежде чѣмъ кто-нибудь могъ понять, какимъ образомъ это сдѣлалось, господинъ *официрь*, всей своей массой, съ тяжкимъ плескомъ бухнулся въ прудъ и тотчасъ же исчезъ подъ заклубившейся водой.

— Ай!—дружно взвизгнули дамы.

— Mein Gott!—послышалось съ другой стороны.

Прошла минута... и круглая голова, вся облѣпленная мокрыми волосами, показалась надъ водой; она пускала пузыри, эта голова; двѣ руки судорожно барахтались у самыхъ ея губъ...

— Онъ утонетъ, спасите его, спасите!—закричала Анна

Васильевна Инсарову, который стоялъ на берегу разставивъ ноги и глубоко дыша.

— Выплыветъ,—проговорилъ онъ съ презрительной и безжалостной небрежностью.—Пойдемте,—прибавилъ онъ, взявши Анну Васильевну за руку:—пойдемте, Уваръ Ивановичъ, Елена Николаевна.

— А... а... о... о... — раздался въ это мгновеніе вопль несчастнаго нѣмца, успѣвшаго ухватиться за прибрежный тростникъ.

Всѣ двинулись вслѣдъ за Инсаровымъ, и всѣмъ пришлось пройти мимо самой „компаніи". Но лишившись своего главы, гуляки присмирѣли и ни словечка не вымолвили; одинъ только, самый храбрый изъ нихъ, пробормоталъ, потряхивая головой: „Ну, это однако... это, Богъ знаетъ, что... послѣ этого"; а другой даже шляпу снялъ. Инсаровъ казался имъ очень грознымъ, и не даромъ: что-то недоброе, что-то опасное выступило у него на лицѣ. Нѣмцы бросились вытаскивать своего товарища, и тотъ, какъ только очутился на твердой землѣ, началъ слезливо браниться и кричать вслѣдъ этимъ „русскимъ мошенникамъ", что онъ жаловаться будетъ, что онъ къ самому его превосходительству, графу фонъ-Кизерицъ пойдетъ...

Но „русскіе мошенники" не обращали вниманія на его возгласы и, какъ можно скорѣе, спѣшили къ замку. Всѣ молчали, пока шли по саду, только Анна Васильевна слегка охала. Но вотъ они приблизились къ экипажамъ, остановились, и неудержимый, несмолкаемый смѣхъ поднялся у нихъ, какъ у небожителей Гомера. Первый, визгливо, какъ безумный, залился Шубинъ, за нимъ горохомъ забарабанилъ Берсеневъ, тамъ Зоя разсыпалась тонкимъ бисеромъ, Анна Васильевна тоже вдругъ такъ и покатилась, даже Елена не могла не улыбнуться, даже Инсаровъ не устоялъ наконецъ. Но громче всѣхъ, и дольше всѣхъ, и неистовѣе всѣхъ хохоталъ Уваръ Ивановичъ: онъ хохоталъ до колотья въ боку, до чихоты, до удушья. Притихнетъ немного, да проговоритъ сквозь слезы: „я... думаю... что это хлопнуло?.. а это... онъ... плашмя"... И вмѣстѣ съ послѣднимъ, судорожно выдавленнымъ сло-

вомъ, новый взрывъ хохота потрясалъ весь его составъ. Зоя его еще больше подзадоривала. „Я, говоритъ, вижу, ноги по воздуху“... — Да, да,—подхватилъ Уваръ Ивановичъ:—ноги, ноги... а тамъ хлопъ! а это онъ п-п-плашмя!— „Да и какъ они это ухитрились, вѣдь нѣмецъ-то втрое больше ихъ былъ?“ спросила Зоя.—А я вамъ доложу,— отвѣтилъ, утирая глаза, Уваръ Ивановичъ:—я видѣлъ: одною рукой за поясницу, ногу подставилъ, да какъ хлопъ! Я слышу: что это?.. а это онъ, плашмя...

Уже экипажи давно тронулись, уже Царицынскій зàмокъ скрылся изъ виду, а Уваръ Ивановичъ все не могъ успокоиться. Шубинъ, который опять съ нимъ поѣхалъ въ коляскѣ, пристыдилъ его наконецъ.

А Инсарову было совѣстно. Онъ сидѣлъ въ каретѣ противъ Елены (на кòзлахъ помѣстился Берсеневъ) и молчалъ; она тоже молчала. Онъ думалъ, что она его осуждаетъ; а она не осуждала его. Она очень испугалась въ первую минуту; потомъ ее поразило выраженіе его лица; потомъ она все размышляла. Ей не было совершенно ясно, о чемъ размышляла она. Чувство, испытанное ею въ теченіе дня, исчезло; это она сознавала; но оно замѣнилось чѣмъ-то другимъ, чего она пока не понимала. Partie de plaisir продолжалась слишкомъ долго: вечеръ незамѣтно перешелъ въ ночь. Карета быстро неслась, то вдоль созрѣвающихъ нивъ, гдѣ воздухъ былъ душенъ и душистъ и отзывался хлѣбомъ, то вдоль широкихъ луговъ, и внезапная ихъ свѣжесть била легкою волной по лицу. Небо словно дымилось по краямъ. Наконецъ выплылъ мѣсяцъ, тусклый и красный. Анна Васильевна дремала; Зоя высунулась изъ окна и глядѣла на дорогу. Еленѣ пришло наконецъ въ голову, что она болѣе часу не говорила съ Инсаровымъ. Она обратилась къ нему съ незначительнымъ вопросомъ: онъ тотчасъ радостно отвѣтилъ ей. Въ воздухѣ стали носиться какіе-то неясные звуки; казалось, будто вдали говорили тысячи голосовъ: Москва неслась имъ навстрѣчу. Впереди замелькали огоньки; ихъ становилось все болѣе и болѣе; наконецъ, подъ колесами застучали *камни*. Анна Васильевна проснулась; всѣ заговорили въ

аретѣ, хотя никто уже не могъ разслышать, о чемъ шла ѣчь: такъ сильно гремѣла мостовая подъ двумя экипажами и тридцатью двумя лошадиными ногами. Длиннымъ г скучнымъ показался переѣздъ изъ Москвы въ Кунцово; всѣ спали или молчали, прижавшись головами къ разнымъ толкамъ; одна Елена не закрывала глазъ: она не сводила ихъ съ темной фигуры Инсарова. На Шубина напала грусть: вѣтерокъ дулъ ему въ глаза и раздражалъ его; онъ завернулся въ воротникъ шинели и чуть-чуть было не всплакнулъ. Уваръ Ивановичъ благополучно похрапывалъ, качаясь направо и налѣво. Экипажи остановились наконецъ. Два лакея вынесли Анну Васильевну изъ кареты; она совсѣмъ расклеилась и, прощаясь съ своими спутниками, объявила имъ, что она чуть жива; они стали ее благодарить, а она только повторила: „чуть жива". Елена пожала въ первый разъ руку Инсарову, и долго не раздѣвалась, сидя подъ окномъ; а Шубинъ улучилъ время шепнуть уходившему Берсеневу:

— Ну какъ же не герой: въ воду пьяныхъ нѣмцевъ бросаетъ!

— А ты и того не сдѣлалъ,—возразилъ Берсеневъ, и отправился домой съ Инсаровымъ.

Заря уже занималась на небѣ, когда оба пріятеля возвратились на свою квартиру. Солнце еще не вставало, но уже заигралъ холодокъ, сѣдая роса покрыла травы, и первые жаворонки звенѣли высоко-высоко въ полусумрачной воздушной безднѣ, откуда, какъ одинокій глазъ, смотрѣла крупная, послѣдняя звѣзда.

XVI.

Елена, вскорѣ послѣ знакомства съ Инсаровымъ, начала (въ пятый или шестой разъ) дневникъ. Вотъ отрывки изъ этого дневника:

Іюня... Андрей Петровичъ мнѣ приноситъ книги, но я ихъ читать не могу. Сознаться ему въ этомъ—совѣстно; отдать книги, солгать, сказать, что читала—не хочется. Мнѣ кажется, это его огорчитъ. Онъ все за мной замѣ-

чаетъ. Онъ, кажется, очень ко мнѣ привязанъ. О
хорошій человѣкъ Андрей Петровичъ.

...Чего мнѣ хочется? Отчего у меня такъ тяжел
сердцѣ, такъ томно? Отчего я съ завистью гляжу
пролетающихъ птицъ? Кажется, полетѣла бы съ н
полетѣла — куда, не знаю, только далеко отсюда. I
грѣшно ли это желаніе? У меня здѣсь мать, отецъ, се
Развѣ я не люблю ихъ? Нѣтъ, я не люблю ихъ т
какъ бы хотѣлось любить. Мнѣ страшно вымолвить
но это правда. Можетъ-быть, я большая грѣшница;
жетъ-быть, оттого мнѣ такъ грустно, оттого мнѣ
покоя. Какая-то рука лежитъ на мнѣ и давитъ
Точно я въ тюрьмѣ, и вотъ-вотъ сейчасъ на меня
лятся стѣны. Отчего же другіе этого не чувству
Кого же я буду любить, если я къ своимъ холо
Видно, папенька правъ: онъ упрекаетъ меня, что я ли
однѣхъ собакъ да кошекъ. Надо объ этомъ подумать
мало молюсь; надо молиться... А кажется, я бы у
любить!

...Я все еще робѣю съ господиномъ Инсаровымъ.
знаю отчего; я, кажется, не молоденькая, а онъ та
простой и добрый. Иногда у него очень серьезное л
Ему, должно-быть, не до насъ. Я это чувствую, и мнѣ
будто совѣстно отнимать у него время. Андрей Петрович
другое дѣло. Я съ нимъ готова болтать хоть цѣлый д
Но и онъ мнѣ все говоритъ объ Инсаровѣ. И какія стр
ныя подробности! Я его видѣла сегодня ночью съ ки
ломъ въ рукѣ. И будто онъ мнѣ говоритъ: „Я тебя
и себя убью“. Какія глупости!

...О, если бы кто-нибудь мнѣ сказалъ: вотъ что
должна дѣлать! Быть доброю—этого мало; дѣлать доб
да; это главное въ жизни. Но какъ дѣлать добро?
если бъ я могла овладѣть собою! Не понимаю, отче
такъ часто думаю о господинѣ Инсаровѣ. Когда онъ
ходитъ, и сидитъ, и слушаетъ внимательно, а сам
старается, не хлопочетъ, я гляжу на него, и мнѣ пріят
но только; а когда онъ уйдетъ, я все припоминаю
слова, и досадую на себя и даже волнуюсь... сама не з

отчего. (Онъ плохо говоритъ по-французски, и не стыдится—это мнѣ нравится.) Впрочемъ, я всегда много думаю о новыхъ лицахъ. Разговаривая съ нимъ, я вдругъ вспомнила нашего буфетчика Василія, который вытащилъ изъ горѣвшей избы безногаго старика и самъ чуть не погибъ. Папенька назвалъ его молодцомъ, мамаша дала ему пять рублей, а мнѣ хотѣлось ему въ ноги поклониться. И у него было простое, даже глупое лицо, и онъ потомъ сдѣлался пьяницей.

...Я сегодня подала грошъ одной нищей, а она мнѣ говоритъ: отчего ты такая печальная? А я и не подозрѣвала, что у меня печальный видъ. Я думаю, это отъ того происходитъ, что я одна, все одна, со всѣмъ моимъ добромъ, со всѣмъ моимъ зломъ. Некому протянуть руку. Кто подходитъ ко мнѣ, того не надобно; а кого бы хотѣла... тотъ идетъ мимо.

...Я не знаю, что̀ со мною сегодня; голова моя путается, я готова упасть на колѣни и просить, и умолять пощады. Не знаю, кто и какъ, но меня какъ будто убиваютъ, и внутренно я кричу, и возмущаюсь; я пла̀чу и не могу молчать... Боже мой! Боже мой! укроти во мнѣ эти порывы! Ты одинъ это можешь, все другое безсильно: ни мои ничтожныя милостыни, ни занятія, ничего, ничего, ничего мнѣ помочь не можетъ. Пошла бы куда-нибудь въ служанки, право: мнѣ было бы легче.

Къ чему молодость, къ чему я живу, зачѣмъ у меня душа, зачѣмъ все это?

...Инсаровъ, господинъ Инсаровъ, — я, право, не знаю какъ писать,—продолжаетъ занимать меня. Мнѣ хочется знать, что̀ у него тамъ, въ душѣ? Онъ, кажется, такъ открытъ, такъ доступенъ, а мнѣ ничего не видно. Иногда онъ глядитъ на меня какими-то испытующими глазами... или это одна моя фантазія? Поль меня все дразнитъ—я сердита на Поля. Что̀ ему надобно? Онъ въ меня влюбленъ... да мнѣ не нужно его любви. Онъ и въ Зою влюбленъ. Я къ нему несправедлива; онъ мнѣ вчера сказалъ, что я не умѣю быть несправедливой вполовину... это правда. Это очень дурно.

Ахъ, я чувствую, человѣку нужно несчастье, или бѣдность, или болѣзнь, а то какъ-разъ зазнаешься.

...Зачѣмъ Андрей Петровичъ разсказалъ мнѣ сегодня объ этихъ двухъ болгарахъ! Онъ какъ будто съ намѣреніемъ разсказалъ мнѣ это. Что̀ мнѣ до господина Инсарова? Я сердита на Андрея Петровича.

...Берусь за перо и не знаю какъ начать. Какъ неожиданно онъ сегодня заговорилъ со мною въ саду! Какъ онъ былъ ласковъ и довѣрчивъ! Какъ это скоро сдѣлалось! Точно мы—старые, старые друзья, и только сейчасъ узнали другъ друга. Какъ я могла не понимать его до сихъ поръ! Какъ онъ теперь мнѣ близокъ! И вотъ что̀ удивительно: я теперь гораздо спокойнѣе стала. Мнѣ смѣшно: вчера я сердилась на Андрея Петровича, на него, я даже назвала его *господинъ Инсаровъ*, а сегодня... Вотъ, наконецъ, правдивый человѣкъ; вотъ на кого положиться можно. Этотъ не лжетъ; это первый человѣкъ, котораго я встрѣчаю, который не лжетъ: всѣ другіе лгутъ, все лжетъ. Андрей Петровичъ, милый, добрый, за что̀ же я васъ обижаю? Нѣтъ! Андрей Петровичъ, можетъ-быть, ученѣе его, можетъ-быть, даже умнѣе... Но, я не знаю, онъ передъ нимъ такой маленькій. Когда *тотъ* говоритъ о своей родинѣ, онъ растетъ, растетъ, и лицо его хорошѣетъ, и голосъ какъ сталь, и нѣтъ, кажется, тогда на свѣтѣ такого человѣка, передъ кѣмъ бы онъ глаза опустилъ. И онъ не только говоритъ—онъ дѣлалъ и будетъ дѣлать. Я его разспрошу... Какъ онъ вдругъ обернулся ко мнѣ и улыбнулся мнѣ!.. Только братья такъ улыбаются. Ахъ, какъ я довольна! Когда онъ пришелъ къ намъ въ первый разъ, я никакъ не думала, что мы такъ скоро сблизимся. А теперь мнѣ даже нравится, что я въ первый разъ осталась равнодушною? Равнодушною! Развѣ я теперь не равнодушна?

...Я давно не чувствовала такого внутренняго спокойствія. Такъ тихо во мнѣ, такъ тихо. И записывать нечего. Я его часто вижу, вотъ и все. Что̀ еще записывать?

...Поль заперся, Андрей Петровичъ сталъ рѣже ходить... *бѣдный!* мнѣ кажется, онъ... Впрочемъ, это быть не м-

жетъ. Я люблю говорить съ Андреемъ Петровичемъ: никогда ни слова о себѣ, все о чемъ-нибудь дѣльномъ, полезномъ. Не то, что Шубинъ. Шубинъ наряденъ, какъ бабочка, да любуется своимъ нарядомъ; этого бабочки не дѣлаютъ. Впрочемъ, и Шубинъ, и Андрей Петровичъ... я знаю, что̀ я хочу сказать.

...*Ему* пріятно къ намъ ходить, я это вижу. Но отчего? что̀ онъ нашелъ во мнѣ? Правда, у насъ вкусы похожи: и онъ, и я, мы оба стиховъ не любимъ: оба не знаемъ толка въ художествѣ. Но насколько онъ лучше меня! Онъ спокоенъ, а я въ вѣчной тревогѣ; у него есть доро̀га, есть цѣль—а я, куда я иду? гдѣ мое гнѣздо? Онъ спокоенъ, но всѣ его мысли далеко. Придетъ время, и онъ покинетъ насъ навсегда, уйдетъ къ себѣ, туда, за море. Что̀-жъ? Дай Богъ ему! А я, все-таки, буду рада, что я его узнала, пока онъ здѣсь былъ.

Отчего онъ не русскій? Нѣтъ, онъ не могъ быть русскимъ.

И мамаша его любитъ; говоритъ: скромный человѣкъ. Добрая мамаша! Она его не понимаетъ. Поль молчитъ: онъ догадался, что мнѣ его намеки непріятны, но онъ къ нему ревнуетъ. Злой мальчикъ! И съ какого права? Развѣ я когда-нибудь...

Все это пустяки! Зачѣмъ мнѣ это все въ голову приходитъ?

...А вѣдь странно однако, что я до сихъ поръ, до двадцати лѣтъ, никого не любила? Мнѣ кажется, что у Д. (буду называть его Д., мнѣ нравится это имя: Димитрій) отъ того такъ ясно на душѣ, что онъ весь отдался своему дѣлу, своей мечтѣ. Изъ чего ему волноваться? Кто отдался весь... весь... весь... тому горя мало, тотъ ужъ ни за что̀ не отвѣчаетъ. Не *я* хочу: *то* хочетъ. Кстати, и онъ, и я, мы одни цвѣты любимъ. Я сегодня сорвала розу. Одинъ листокъ упалъ, онъ его поднялъ... Я ему отдала всю розу.

...Д. къ намъ ходитъ часто. Вчера онъ просидѣлъ цѣлый вечеръ. Онъ хочетъ учить меня по-болгарски. Мнѣ съ нимъ хорошо, какъ дома. Лучше, чѣмъ дома.

...Дни летятъ... И хорошо мнѣ, и почему-то жутко, и Бога благодарить хочется, и слезы не далеко. О, теплые, свѣтлые дни!

...Мнѣ все попрежнему легко, и только изрѣдка, изрѣдка, немножко грустно. Я счастлива. Счастлива ли я?

...Долго не забуду я вчерашней поѣздки. Какія странныя, новыя, страшныя впечатлѣнія! Когда онъ вдругъ взялъ этого великана и швырнулъ его, какъ мячикъ, въ воду, я не испугалась... но онъ меня испугалъ. И потомъ—какое лицо зловѣщее, почти жестокое! Какъ онъ сказалъ: выплыветъ! Это меня перевернуло. Стало-быть, я его не понимала. И потомъ, когда всѣ смѣялись, когда я смѣялась, какъ мнѣ было больно за него! Онъ стыдился, я это чувствовала, онъ меня стыдился. Онъ мнѣ это сказалъ потомъ, въ каретѣ, въ темнотѣ, когда я старалась его разглядѣть и боялась его. Да, съ нимъ шутить нельзя, и заступиться онъ умѣетъ. Но къ чему же эта злоба, эти дрожащія губы, этотъ ядъ въ глазахъ? Или, можетъ-быть, иначе нельзя? Нельзя быть мужчиной, бойцомъ, и остаться кроткимъ и мягкимъ? Жизнь дѣло грубое, сказалъ онъ мнѣ недавно. Я повторила это слово Андрею Петровичу; онъ не согласился съ Д. Кто изъ нихъ правъ? А какъ начался этотъ день! Какъ мнѣ было хорошо идти съ нимъ рядомъ, даже молча... Но я рада тому, что̀ случилось. Видно, такъ слѣдовало.

...Опять безпокойство... Я не совсѣмъ здорова.

...Я всѣ эти дни ничего не записывала въ этой тетрадкѣ, потому что писать не хотѣлось. Я чувствовала: что̀ бы я ни написала, все будетъ не то, что̀ у меня на душѣ... А что у меня на душѣ? Я имѣла съ нимъ большой разговоръ, который мнѣ открылъ многое. Онъ мнѣ разсказалъ свои планы (кстати, я теперь знаю, отчего у него рана на шеѣ... Боже мой! когда я подумаю, что онъ уже былъ приговоренъ къ смерти, что онъ едва спасся, что его изранили...) Онъ предчувствуетъ войну и радуется ей. И со всѣмъ тѣмъ, я никогда не видала Д. такимъ грустнымъ. О чемъ онъ... онъ!.. можетъ грустить? Папенька изъ города вернулся, засталъ насъ обо-

ихъ, и какъ-то странно поглядѣлъ на насъ. Андрей Петровичъ пришелъ: я замѣтила, что онъ очень сталъ худъ и блѣденъ. Онъ упрекнулъ меня, будто бы я уже слишкомъ холодно и небрежно обращаюсь съ Шубинымъ. А я совсѣмъ забыла о Полѣ. Увижу его, постараюсь загладить свою вину. Мнѣ теперь не до него... и ни до кого въ мірѣ. Андрей Петровичъ заговорилъ со мною съ какимъ-то сожалѣніемъ. Что̀ все это значитъ? Отчего такъ темно вокругъ меня и во мнѣ? Мнѣ кажется, что вокругъ меня и во мнѣ происходитъ что-то загадочное, что нужно найти слово...

...Я не спала ночь, голова болитъ. Къ чему писать? Онъ сегодня ушелъ такъ скоро, а мнѣ хотѣлось поговорить съ нимъ... Онъ какъ будто избѣгаетъ меня. Да, онъ меня избѣгаетъ.

...Слово найдено, свѣтъ озарилъ меня! Боже! сжалься надо мною... Я влюблена!

XVII.

Въ тотъ самый день, когда Елена вписывала это послѣднее, роковое слово въ свой дневникъ, Инсаровъ сидѣлъ у Берсенева въ комнатѣ, а Берсеневъ стоялъ передъ нимъ, съ выраженіемъ недоумѣнія на лицѣ. Инсаровъ только-что объявилъ ему о своемъ намѣреніи на другой же день переѣхать въ Москву.

— Помилуйте! — воскликнулъ Берсеневъ: — теперь наступаетъ самое красное время. Что̀ вы будете дѣлать въ Москвѣ? Что̀ за внезапное рѣшеніе! Или вы получили какое-нибудь извѣстіе?

— Я никакого извѣстія не получалъ,—возразилъ Инсаровъ: — но, по моимъ соображеніямъ, мнѣ нельзя здѣсь оставаться.

— Да какъ это можно...

— Андрей Петровичъ,—проговорилъ Инсаровъ:—будьте такъ добры, не настаивайте, прошу васъ. Мнѣ самому тяжело разстаться съ вами, дѣлать нечего.

Берсеневъ пристально посмотрѣлъ на него.

— Я знаю,—проговорилъ онъ, наконецъ:—васъ не убѣдишь. Итакъ, это дѣло рѣшеное?

— Совершенно рѣшеное, — отвѣчалъ Инсаровъ, всталъ и удалился.

Берсеневъ прошелся по комнатѣ, взялъ шляпу и отправился къ Стаховымъ.

— Вы имѣете сообщить мнѣ что́-то,—сказала ему Елена, какъ только они остались вдвоемъ.

— Да; почему вы догадались?

— Это все равно. Говорите, что̀ такое?

Берсеневъ передалъ ей рѣшеніе Инсарова.

Елена поблѣднѣла.

— Что̀ это значитъ?—произнесла она съ трудомъ.

— Вы знаете, — промолвилъ Берсеневъ: — что Дмитрій Никаноровичъ не любитъ отдавать отчета въ своихъ поступкахъ. Но я думаю... Сядемте, Елена Николаевна, вы какъ будто не совсѣмъ здоровы... Я, кажется, могу догадаться, какая собственно причина этого внезапнаго отъѣзда.

— Какая, какая причина? — повторила Елена, крѣпко стискивая, и сама того не замѣчая, руку Берсенева въ своей похолодѣвшей рукѣ.

— Вотъ видите ли, — началъ Берсеневъ съ грустною улыбкой: — какъ бы это вамъ объяснить? Придется мнѣ возвратиться къ нынѣшней веснѣ, къ тому времени, когда я ближе познакомился съ Инсаровымъ. Я тогда встрѣтился съ нимъ въ домѣ одного родственника; у этого родственника была дочка, очень хорошенькая. Мнѣ показалось, что Инсаровъ къ ней неравнодушенъ, и я сказалъ ему это. Онъ разсмѣялся и отвѣчалъ мнѣ, что я ошибался, что сердце его не пострадало, но что онъ немедленно бы уѣхалъ, если бы что-нибудь подобное съ нимъ случилось, такъ какъ онъ не желаетъ, — это были его собственныя слова, — для удовлетворенія личнаго чувства измѣнить своему дѣлу и своему долгу. „Я болгаръ“, сказалъ онъ: „и мнѣ русской любви не нужно“...

— Ну... и что же... вы теперь... — прошептала Елена,

невольно отворачивая голову, какъ человѣкъ, ожидающій удара, но все не выпуская схваченной руки Берсенева.

— Я думаю,—промолвилъ онъ, и самъ понизилъ голосъ:—я думаю, что теперь сбылось то, что я тогда напрасно предполагалъ.

— То-есть... вы думаете... не мучьте меня!—вырвалось вдругъ у Елены.

— Я думаю,—поспѣшно подхватилъ Берсеневъ:—что Инсаровъ полюбилъ теперь одну русскую дѣвушку и, по обѣщанію своему, рѣшается бѣжать.

Елена еще крѣпче стиснула его руку и еще ниже наклонила голову, какъ бы желая спрятать отъ чужого взора румянецъ стыда, облившій внезапнымъ пламенемъ все лицо ея и шею.

— Андрей Петровичъ, вы добры, какъ ангелъ,—проговорила она:—но вѣдь онъ придетъ проститься?

— Да, я полагаю, навѣрное онъ придетъ, потому что не захочетъ уѣхать...

— Скажите ему, скажите...

Но тутъ бѣдная дѣвушка не выдержала: слезы хлынули у ней изъ глазъ, и она выбѣжала изъ комнаты.

„Такъ вотъ какъ она его любитъ“, думалъ Берсеневъ, медленно возвращаясь домой. „Я этого не ожидалъ; я не ожидалъ, что это уже такъ сильно. Я добръ, говоритъ она“, продолжалъ онъ свои размышленія... „Кто скажетъ, въ силу какихъ чувствъ и побужденій я сообщилъ все это Еленѣ? Но не по добротѣ, не по добротѣ. Все проклятое желаніе убѣдиться, дѣйствительно ли кинжалъ сидитъ въ ранѣ? Я долженъ быть доволенъ—они любятъ другъ друга, и я имъ помогъ... „Будущій посредникъ между наукой и россійскою публикой“, зоветъ меня Шубинъ; видно, мнѣ на роду написано быть посредникомъ. Но если я ошибся? Нѣтъ, я не ошибся...“

Горько было Андрею Петровичу, и не шелъ ему въ голову Раумеръ.

На слѣдующій день, часу во второмъ, Инсаровъ явился къ Стаховымъ. Какъ нарочно, о ту пору въ гостиной Анны Васильевны сидѣла гостья, сосѣдка-протопопица, очень

хорошая и почтенная женщина, но имѣвшая маленькую непріятность съ полиціей за то, что вздумала въ самый припекъ жара выкупаться въ пруду, близъ дороги, по которой часто проѣзжало какое-то важное генеральское семейство. Присутствіе посторонняго лица было сперва даже пріятно Еленѣ, у которой кровинки въ лицѣ не осталось, какъ только она услышала походку Инсарова; но сердце у ней замерло при мысли, что онъ можетъ проститься, не поговоривши съ ней наединѣ. Онъ же казался смущеннымъ и избѣгалъ ея взгляда. „Неужели онъ сейчасъ будетъ прощаться?“ думала Елена. Дѣйствительно, Инсаровъ обратился-было къ Аннѣ Васильевнѣ; Елена поспѣшно встала и отозвала его въ сторону, къ окну. Протопопица удивилась и попыталась обернуться; но она такъ туго затянулась, что корсетъ скрипѣлъ на ней при каждомъ движеніи. Она осталась неподвижною.

— Послушайте, — торопливо проговорила Елена: — я знаю, зачѣмъ вы пришли; Андрей Петровичъ сообщилъ мнѣ ваше намѣреніе, но я прошу васъ, я васъ умоляю не прощаться съ нами сегодня, а придти завтра сюда пораньше, часовъ въ одиннадцать. Мнѣ нужно сказать вамъ два слова.

Инсаровъ молча наклонилъ голову.

— Я васъ не буду удерживать... Вы мнѣ обѣщаете?

Инсаровъ опять поклонился, но ничего не сказалъ.

— Леночка, поди сюда,—промолвила Анна Васильевна:— посмотри: какой у матушки чудесный ридикюль.

— Сама вышивала,—замѣтила протопопица.

Елена отошла отъ окна.

Инсаровъ остался не болѣе четверти часа у Стаховыхъ. Елена наблюдала за нимъ украдкой. Онъ переминался на мѣстѣ, попрежнему не зналъ, куда дѣвать глаза, и ушелъ какъ-то странно, внезапно; точно исчезъ.

Медлительно прошелъ этотъ день для Елены; еще медлительнѣе протянулась долгая, долгая ночь. Елена то сидѣла на кровати, обнявъ колѣни руками и положивъ на нихъ голову, то подходила къ окну, прикладывалась горячимъ лбомъ къ холодному стеклу, и думала, думала, до

изнуренія думала все однѣ и тѣ же думы. Сердце у ней не то окаменѣло, не то исчезло изъ груди; она его не чувствовала, но въ головѣ тяжко бились жилы, и волосы ее жгли, и губы сохли. „Онъ придетъ... онъ не простился съ мамашей... онъ не обманетъ... Неужели Андрей Петровичъ правду сказалъ? Быть не можетъ... Онъ словами не обѣщалъ придти... Неужели я навсегда съ нимъ разсталась“... Вотъ какія мысли не покидали ея... именно не покидали: онѣ не приходили, не возвращались,—онѣ безпрестанно колыхались въ ней, какъ туманъ. „Онъ меня любитъ!“ вспыхивало вдругъ во всемъ ея существѣ, и она пристально глядѣла въ темноту; никому не видимая, тайная улыбка раскрывала ея губы... но она тотчасъ встряхивала головой, заносила къ затылку сложенные пальцы рукъ, и снова, какъ туманъ, колыхались въ ней прежнія думы. Передъ утромъ она раздѣлась и легла въ постель, но заснуть не могла. Первые огненные лучи солнца ударили въ ея комнату... „О, если онъ меня любитъ!“ воскликнула она вдругъ, и не стыдясь озарившаго ее свѣта, раскрыла свои объятія...

Она встала, одѣлась, сошла внизъ. Еще никто не просыпался въ домѣ. Она пошла въ садъ; но въ саду такъ было тихо, и зелено, и свѣжо, такъ довѣрчиво чирикали птицы, такъ радостно выглядывали цвѣты, что ей жутко стало. „О!“ подумала она: „если это правда, нѣтъ ни одной травки счастливѣе меня,—да правда ли это?“ Она вернулась въ свою комнату, и, чтобъ какъ-нибудь убить время, стала мѣнять платье. Но все у ней падало и скользило изъ рукъ, и она еще сидѣла, полураздѣтая, передъ своимъ туалетнымъ зеркальцемъ, когда ее позвали чай пить. Она сошла внизъ; мать замѣтила ея блѣдность, но сказала только: „какая ты сегодня интересная“, и, окинувъ ее взглядомъ, прибавила: „Это платье очень къ тебѣ идетъ; ты его всегда надѣвай, когда вздумаешь кому понравиться“. Елена ничего не отвѣчала и сѣла въ уголокъ. Между тѣмъ пробило девять часовъ; до одиннадцати оставалось еще два часа. Елена взялась за книгу, потомъ за шитье, потомъ опять за книгу; потомъ она дала себѣ слово пройтись сто

разъ по одной аллеѣ, и прошлась сто разъ; потомъ она долго смотрѣла, какъ Анна Васильевна пасьянсъ раскладывала... да взглянула на часы: еще десяти не было. Шубинъ пришелъ въ гостиную. Она попыталась заговорить съ нимъ и извинилась передъ нимъ, сама не зная въ чемъ... Каждое ея слово не то чтобъ усилій ей стоило, не возбуждало въ ней самой какое-то недоумѣніе. Шубинъ нагнулся къ ней. Она ожидала насмѣшки, подняла глаза, и увидала передъ собою печальное и дружелюбное лицо... Она улыбнулась этому лицу. Шубинъ тоже улыбнулся ей, молча, и тихонько вышелъ. Она хотѣла удержать его, но не тотчасъ вспомнила, какъ позвать его. Наконецъ, пробило одиннадцать часовъ. Она стала ждать, ждать, ждать и прислушиваться. Она уже ничего не могла дѣлать; она перестала даже думать. Сердце въ ней ожило и стало биться громче, все громче, и странное дѣло! время какъ-будто помчалось быстрѣе. Прошло четверть часа, прошло полчаса, прошло еще нѣсколько минутъ, по мнѣнію Елены, и вдругъ она вздрогнула: часы пробили не двѣнадцать, они пробили часъ. „Онъ не придетъ, онъ уѣдетъ, не простясь...“ Эта мысль, вмѣстѣ съ кровью, такъ и бросилась ей въ голову. Она почувствовала, что дыханіе ей захватываетъ, что она готова зарыдать... Она побѣжала въ свою комнату и упала, лицомъ на сложенныя руки, на постель.

Полчаса пролежала она неподвижно; сквозь ея пальцы на подушку лились слезы. Она вдругъ приподнялась и сѣла: что-то странное совершалось въ ней! лицо ея измѣнилось, влажные глаза сами собой высохли и заблестѣли, брови надвинулись, губы сжались. Прошло еще полчаса. Елена въ послѣдній разъ приникла ухомъ: не долетитъ ли до нея знакомый голосъ? встала, надѣла шляпу, перчатки, накинула мантилью на плечи и, незамѣтно выскользнувъ изъ дома, пошла проворными шагами по дорогѣ, ведущей къ квартирѣ Берсенева.

XVIII.

Елена шла, потупивъ голову и неподвижно устремивъ глаза впередъ. Она ничего не боялась, она ничего не соображала; она хотѣла еще разъ увидаться съ Инсаровымъ. Она шла, не замѣчая, что солнце давно скрылось, заслоненное тяжелыми черными тучами, что вѣтеръ порывисто шумѣлъ въ деревьяхъ и клубилъ ея платье, что пыль внезапно поднималась и неслась столбомъ по дорогѣ... Крупный дождикъ закапалъ, она и его не замѣчала; но онъ пошелъ все чаще, все сильнѣе, сверкнула молнія, громъ ударилъ. Елена остановилась, посмотрѣла вокругъ... Къ ея счастію, невдалекѣ отъ того мѣста, гдѣ застала ее гроза, находилась ветхая заброшенная часовенка надъ развалившимся колодцемъ. Она добѣжала до нея и вошла подъ низенькій навѣсъ. Дождь хлынулъ ручьями; небо кругомъ обложилось. Съ нѣмымъ отчаяніемъ глядѣла Елена на частую сѣтку быстро падавшихъ капель. Послѣдняя надежда увидѣться съ Инсаровымъ исчезла. Старушка-нищая вошла въ часовенку, отряхнулась, проговорила съ поклономъ: „отъ дождя, матушка“, и, кряхтя и охая, присѣла на уступчикъ возлѣ колодца. Елена опустила руку въ карманъ: старушка замѣтила это движеніе, и лицо ея, сморщенное и желтое, но когда-то красивое, оживилось. „Спасибо тебѣ, кормилица, родная“, начала она. Въ карманѣ Елены не нашлось кошелька, а старушка протягивала уже руку...

— Денегъ у меня нѣтъ, бабушка,—сказала Елена:—а вотъ, возьми, на что-нибудь пригодится.

Она подала ей свой платокъ.

— О-охъ, красавица ты моя,—проговорила нищая:—да на что же мнѣ платочекъ твой? Развѣ внучкѣ подарить, когда замужъ выходить будетъ. Пошли тебѣ Господь за твою доброту!

Раздался ударъ грома.

— Господи, Іисусе Христе, — пробормотала нищая и перекрестилась три раза. — Да никакъ я уже тебя ви-

дѣла,—прибавила она, погодя немного.—Никакъ ты мнѣ Христову милостыню подавала?

Елена вглядѣлась въ старуху и узнала ее.

— Да, бабушка, — отвѣчала она. — Ты ещѐ меня спросила, отчего я такая печальная?

— Такъ, голубка, такъ. То-то я тебя признала. Да ты и теперь словно кручинна живешь. Вотъ и платочекъ твой мокрый, знать отъ слезъ. Охъ, вы молодушки, всѣмъ вамъ одна печаль, горе великое!

— Какая же печаль, бабушка?

— Какая? Эхъ, барышня хорошая, не моги ты со мной, со старухой, лукавить. Знаю я, о чемъ ты тужишь: не сиротское твое горе. Вѣдь и я была молода, свѣтикъ, мытарства-то эти я тоже проходила. Да. А я тебѣ, за твою доброту, вотъ что̀ скажу: попался тебѣ человѣкъ хорошій, не вѣтреникъ, ты уже держись одного; крѣпко держись. Ужъ быть, такъ быть, а не быть, видно Богу такъ угодно. Да. Ты что̀ на меня дивишься? я та же ворожея. Хошь, унесу съ твоимъ платочкомъ все твое горе! Унесу, и полно. Вишь, дождикъ рѣденькій пошелъ, ты-то подожди еще, а я пойду. Меня ему не вперебой мочить. Помни же, голубка: была печаль, сплыла печаль, и помину ей нѣтъ. Господи, помилуй!

Нищая приподнялась съ уступчика, вышла изъ часовенки и поплелась своею дорогой. Елена съ изумленіемъ посмотрѣла ей вслѣдъ. „Что это значитъ?“ прошептала она невольно.

Дождикъ сѣялся все мельче и мельче, солнце заиграло на мгновеніе. Елена уже собиралась покинуть свое убѣжище... Вдругъ, въ десяти шагахъ отъ часовни, она увидѣла Инсарова. Закутанный плащомъ, онъ шелъ по той же самой дорогѣ, по которой пришла Елена; казалось, онъ спѣшилъ домой.

Она оперлась рукой о ветхое перильце крылечка, хотѣла позвать его, но голосъ измѣнилъ ей... Инсаровъ уже проходилъ мимо, не поднимая головы...

— Дмитрій Никаноровичъ!—проговорила она наконецъ.

Инсаровъ внезапно остановился, оглянулся... Въ первую

минуту онъ не узналъ Елены, но тотчасъ же подошелъ къ ней.

— Вы! вы здѣсь!—воскликнулъ онъ.

Она отступила, молча, въ часовню. Инсаровъ послѣдовалъ за Еленой.

— Вы здѣсь?—повторилъ онъ.

Она продолжала молчать, и только глядѣла на него какимъ-то долгимъ, мягкимъ взглядомъ. Онъ опустилъ глаза.

— Вы шли отъ насъ?—спросила она его.

— Нѣтъ... не отъ васъ.

— Нѣтъ? — повторила Елена и постаралась улыбнуться. — Такъ-то вы держите ваши обѣщанія? Я васъ ждала съ утра.

— Я вчера, вспомните Елена Николаевна, ничего не обѣщалъ.

Елена опять едва улыбнулась, и провела рукой по лицу. И лицо, и рука были очень блѣдны.

— Вы, стало-быть, хотѣли уѣхать, не простившись съ нами?

— Да,—сурово и глухо промолвилъ Инсаровъ.

— Какъ? Послѣ нашего знакомства, послѣ этихъ разговоровъ, послѣ всего... Стало-быть, если бъ я васъ здѣсь не встрѣтила случайно (голосъ Елены зазвенѣлъ, и она умолкла на мгновеніе)... такъ бы вы и уѣхали, и руки бы мнѣ не пожали въ послѣдній разъ, и вамъ бы не было жаль?

Инсаровъ отвернулся.

— Елена Николаевна, пожалуйста, не говорите такъ. Мнѣ и безъ того не весело. Повѣрьте, мое рѣшеніе мнѣ стоило большихъ усилій. Если бъ вы знали...

— Я не хочу знать!—съ испугомъ перебила его Елена:— зачѣмъ вы ѣдете... Видно, такъ нужно. Видно, намъ должно разстаться. Вы безъ причины не захотѣли бы огорчить вашихъ друзей. Но развѣ такъ разстаются друзья? Вѣдь мы друзья съ вами, не правда ли?

— Нѣтъ,—сказалъ Инсаровъ.

— Какъ?.. — промолвила Елена. Щеки ея покрылись легкимъ румянцемъ.

— Я именно отъ того и уѣзжаю, что мы не друзья. Не заставляйте меня сказать то, что̀ я не хочу сказать, что̀ я не скажу.

— Вы прежде были со мной откровенны,—съ легкимъ упрекомъ произнесла Елена.—Помните?

— Тогда я могъ быть откровеннымъ, тогда мнѣ скрывать было нечего; а теперь...

— А теперь?—спросила Елена.

— А теперь... А теперь я долженъ удалиться. Прощайте.

Если бъ въ это мгновеніе Инсаровъ поднялъ глаза на Елену, онъ бы замѣтилъ, что лицо ея все больше свѣтлѣло, чѣмъ больше онъ самъ хмурился и темнѣлъ; но онъ упорно глядѣлъ на полъ.

— Ну, прощайте, Дмитрій Никаноровичъ, — начала она.—Но, по крайней мѣрѣ, такъ какъ мы уже встрѣтились, дайте мнѣ теперь вашу руку.

Инсаровъ протянулъ-было руку.

— Нѣтъ, и этого я не могу,—промолвилъ онъ и отвернулся снова.

— Не можете?

— Не могу. Прощайте.

И онъ отправился къ выходу часовни.

— Погодите еще немножко,—сказала Елена.—Вы какъ будто боитесь меня. А я храбрѣе васъ, — прибавила она съ внезапной легкой дрожью во всемъ тѣлѣ.—Я могу вамъ сказать... хотите?.. отчего вы меня здѣсь застали? Знаете ли, куда я шла?

Инсаровъ съ изумленіемъ посмотрѣлъ на Елену.

— Я шла къ вамъ.

— Ко мнѣ?

Елена закрыла лицо.

— Вы хотѣли заставить меня сказать, что я васъ люблю,—прошептала она:—вотъ... я сказала.

— Елена!—вскрикнулъ Инсаровъ.

Она приняла руки, взглянула на него, и упала къ нему на грудь.

Онъ крѣпко обнялъ ее и молчалъ. Ему не нужно было

говорить ей, что онъ ее любитъ. Изъ одного его восклицанія, изъ этого мгновеннаго преобразованія всего человѣка, изъ того, какъ поднималась и опускалась эта грудь, къ которой она такъ довѣрчиво прильнула, какъ прикасались концы его пальцевъ къ ея волосамъ, Елена могла понять, что она любима. Онъ молчалъ, и ей не нужно было словъ. „Онъ тутъ, онъ любитъ... чего жъ еще?“ Тишина блаженства, тишина невозмутимой пристани, достигнутой цѣли, та небесная тишина, которая и самой смерти придаетъ и смыслъ, и красоту, наполнила ее всю своею божественной волной. Она ничего не желала, потому что она обладала всѣмъ. „О, мой братъ, мой другъ, мой милый!..“ шептали ея губы, и она сама не знала, чье это сердце, его ли, ея ли, такъ сладостно билось и таяло въ ея груди.

А онъ стоялъ неподвижно, онъ окружалъ своими крѣпкими объятіями эту молодую, отдавшуюся ему жизнь, онъ ощущалъ на груди это новое, безконечно дорогое бремя; чувство умиленія, чувство благодарности неизъяснимой разбило въ прахъ его твердую душу, и никогда еще не извѣданныя слезы навернулись на его глаза...

А она не плакала; она твердила только: „О, мой другъ, о, мой братъ!“

— Такъ ты пойдешь за мною всюду? — говорилъ онъ ей, четверть часа спустя, попрежнему окружая и поддерживая ее своими объятіями.

— Всюду, на край земли. Гдѣ ты будешь, тамъ я буду.

— И ты себя не обманываешь, ты знаешь, что родители твои никогда не согласятся на нашъ бракъ?

— Я себя не обманываю; я это знаю.

— Ты знаешь, что я бѣденъ, почти нищій?

— Знаю.

— Что я не русскій, что мнѣ не суждено жить въ Россіи, что тебѣ придется разорвать всѣ твои связи съ отечествомъ, съ родными?

Знаю, знаю.

Ты знаешь также, что я посвятилъ себя дѣлу труд-

ному, неблагодарному, что мнѣ... что намъ придется подвергаться не однѣмъ опасностямъ, но и лишеніямъ, униженію, быть-можетъ?

— Знаю, все знаю... Я тебя люблю.

— Что ты должна будешь отстать отъ всѣхъ твоихъ привычекъ, что тамъ, одна, между чужими, ты, можетъ-быть, принуждена будешь работать...

Она положила ему руку на губы.

— Я люблю тебя, мой милый.

Онъ началъ горячо цѣловать ея узкую, розовую руку. Елена не отнимала ея отъ его губъ, и съ какою-то дѣтскою радостью, съ смѣющимся любопытствомъ глядѣла, какъ онъ покрывалъ поцѣлуями то самую руку ея, то пальцы...

Вдругъ она покраснѣла и спрятала свое лицо на его груди.

Онъ ласково приподнялъ ея голову и пристально посмотрѣлъ ей въ глаза.

— Такъ здравствуй же, — сказалъ онъ ей: — моя жена передъ людьми и передъ Богомъ!

XIX.

Часъ спустя, Елена съ шляпой въ одной рукѣ, съ мантильей въ другой, тихо входила въ гостиную дачи. Волосы ея слегка развились, на каждой щекѣ виднѣлось маленькое розовое пятнышко, улыбка не хотѣла сойти съ ея губъ, глаза смыкались и, полузакрытые, тоже улыбались. Она едва переступала отъ усталости, и ей была пріятна эта усталость: да и все ей было пріятно. Все казалось ей милымъ и ласковымъ. Уваръ Ивановичъ сидѣлъ подъ окномъ; она подошла къ нему, положила ему руку на плечо, потянулась немного и какъ-то невольно засмѣялась.

— Чему?—спросилъ онъ, удивившись.

Она не знала, что̀ сказать. Ей хотѣлось поцѣловать Увара Ивановича.

— Плашмя!..—промолвила она наконецъ.

Но Уваръ Ивановичъ даже бровью не повелъ и про-

должалъ съ удивленіемъ глядѣть на Елену. Она уронила на него мантилью и шляпу.

— Милый Уваръ Ивановичъ, — проговорила она: — я спать хочу, я устала, — и она опять засмѣялась и упала на кресло возлѣ него.

— Гмъ,—крикнулъ Уваръ Ивановичъ и заигралъ пальцами.—Это, надо бы, да...

А Елена глядѣла вокругъ себя и думала: „Со всѣмъ этимъ я скоро должна разстаться... и странно: нѣтъ во мнѣ ни страха, ни сомнѣнія, ни сожалѣнія... Нѣтъ, мамаши жалко!“ Потомъ опять возникла передъ ней часовенка, прозвучалъ опять его голосъ, она почувствовала вокругъ себя его руки. Сердце ея радостно, но слабо шевельнулось: истома счастія лежала и на немъ. Вспомнилась ей старушка-нищая. „Точно, унесла она мое горе“, подумала она. „О, какъ я счастлива! какъ незаслуженно! какъ скоро!“ Ей бы стоило дать себѣ крошечку воли, и полились бы у нея сладкія, нескончаемыя слезы. Она удерживала ихъ только тѣмъ, что посмѣивалась. Какое положеніе она ни принимала, ей казалось, что ужъ лучше положѣе нельзя: точно ее баюкали. Всѣ движенія ея были медленны и мягки; куда дѣвалась ея торопливость, ея угловатость? Вошла Зоя: Елена рѣшила, что она не видала прелестнѣе личика; Анна Васильевна вошла: что-то кольнуло Елену, но съ какою нѣжностію она обняла свою добрую мать и поцѣловала ее въ лобъ, подлѣ волосъ, уже слегка посѣдѣлыхъ! Потомъ она отправилась въ свою комнатку: какъ тамъ ей все улыбнулось! Съ какимъ чувствомъ стыдливаго торжества и смиренія сѣла она на свою кроватку, на ту самую кроватку, гдѣ три часа тому назадъ она провела такія горькія мгновенія! „А вѣдь ужъ я тогда знала, что онъ меня любитъ“, подумала она: „да и прежде... Ай, нѣтъ! нѣтъ! это грѣхъ. „Ты моя жена“... прошептала она, закрывшись руками, и бросилась на колѣни.

Къ вечеру она стала задумчивѣе. Грусть ее взяла при мысли, что она не скоро увидится съ Инсаровымъ. Онъ не могъ, не возбуждая подозрѣнія, оставаться у Берсе-

нева, и потому вотъ на чемъ они съ Еленой порѣшили: Инсаровъ долженъ былъ вернуться въ Москву и пріѣхать къ нимъ въ гости раза два до осени; съ своей стороны, она обѣщалась писать ему письма и, если будетъ можно, назначить ему свиданіе, гдѣ-нибудь около Кунцова. Къ чаю она сошла въ гостиную и застала тамъ всѣхъ своихъ домашнихъ и Шубина, который зорко посмотрѣлъ на нее, какъ только она появилась; она хотѣла-было заговорить съ нимъ дружески, по-старому, да боялась его проницательности, боялась самой себя. Ей сдавалось, что онъ не даромъ болѣе двухъ недѣль оставлялъ ее въ покоѣ. Скоро пришелъ Берсеневъ и передалъ Аннѣ Васильевнѣ поклонъ отъ Инсарова вмѣстѣ съ извиненіемъ его въ томъ, что онъ вернулся въ Москву, не засвидѣтельствовавъ ей своего почтенія. Имя Инсарова въ первый разъ въ теченіе дня произносилось передъ Еленой; она почувствовала, что покраснѣла; она поняла въ то же время, что ей слѣдовало выразить сожалѣніе о внезапномъ отъѣздѣ такого хорошаго знакомаго; но она не могла принудить себя къ притворству и продолжала сидѣть неподвижно и безмолвно, между тѣмъ какъ Анна Васильевна охала и горевала. Елена старалась держаться около Берсенева; она его не боялась, хоть онъ и зналъ часть ея тайны, она спасалась подъ его крылышко отъ Шубина, который все продолжалъ посматривать на нее — не насмѣшливо, но внимательно. На Берсенева въ теченіе вечера тоже находило недоумѣніе: онъ ожидалъ, что увидитъ Елену болѣе печальной. Къ счастію ея, между нимъ и Шубинымъ завязался споръ объ искусствѣ; она отодвинулась и, словно сквозь сонъ, слушала ихъ голоса. Понемногу, не только они, но и вся комната, все, что окружало ее, показалось ей какъ бы сномъ—все: и самоваръ на столѣ, и коротенькій жилетъ Увара Ивановича, и гладкіе ногти Зои, и масляный портретъ великаго князя Константина Павловича на стѣнѣ: все уходило, все покрывалось дымкой, все переставало существовать. Только жаль ей было ихъ всѣхъ. „Для чего живутъ?“ думала она.

— Ты спать хочешь, Леночка?—спросила ее мать.

Она не слышала вопроса матери.

— Полусправедливый намекъ, говоришь ты?.. — Эти слова, рѣзко произнесенныя Шубинымъ, внезапно возбудили вниманіе Елены. — Помилуй, — продолжалъ онъ: — въ этомъ-то самый вкусъ и есть. Справедливый намекъ возбуждаетъ уныніе — это не по-христіански, къ несправедливому человѣкъ равнодушенъ — это глупо, а отъ полусправедливаго онъ и досаду чувствуетъ, и нетерпѣніе. Напримѣръ, если я скажу, что Елена Николаевна влюблена въ одного изъ насъ, какого рода это будетъ намекъ, ась?

— Ахъ, мсьё Поль,—проговорила Елена:—я бы хотѣла показать вамъ мою досаду, да право не могу. Я очень устала.

— Что̀ жъ ты не ляжешь?—промолвила Анна Васильевна, которая вечеромъ сама всегда дремала и оттого охотно посылала спать другихъ. — Простись со мной, да ступай съ Богомъ, Андрей Петровичъ извинитъ.

Елена поцѣловала свою мать, поклонилась всѣмъ и пошла. Шубинъ проводилъ ее до двери.

— Елена Николаевна,— шепнулъ онъ ей на порогѣ:— вы топчете мсьё Поля; вы безжалостно ходите по немъ, а мсьё Поль благословляетъ васъ, и ваши ножки, и башмаки на вашихъ ножкахъ, и подошвы вашихъ башмаковъ.

Елена пожала плечомъ, нехотя протянула ему руку — не ту, которую цѣловалъ Инсаровъ — и, вернувшись къ себѣ въ комнату, тотчасъ раздѣлась, легла и заснула. Она спала глубокимъ, безмятежнымъ сномъ... такъ даже дѣти не спятъ: такъ спитъ только выздоровѣвшій ребенокъ, когда мать сидитъ возлѣ его колыбельки и глядитъ на него, и слушаетъ его дыханіе.

XX.

— Зайди ко мнѣ на минутку,—сказалъ Берсеневу Шубинъ, какъ только тотъ простился съ Анной Васильевной:—у меня есть кое-что тебѣ показать.

Берсеневъ отправился къ нему во флигель. Его поразило множество студій, статуэтокъ и бюстовъ, окутанныхъ

мокрыми тряпками и разставленныхъ по всѣмъ уголкамъ комнаты.

— Да ты, я вижу, работаешь не на шутку,—замѣтилъ онъ Шубину.

— Что-нибудь надобно жъ дѣлать, — отвѣтилъ тотъ.— Одно не везетъ, надо пробовать другое. Впрочемъ, я, какъ корсиканецъ, занимаюсь больше вендеттой, нежели чистымъ искусствомъ. Treme Bisanzia!

— Я тебя не понимаю,—проговорилъ Берсеневъ.

— А вотъ, погоди. Вотъ, извольте поглядѣть, любезный другъ и благодѣтель, мою месть нумеръ 1-й.

Шубинъ раскуталъ одну фигуру, и Берсеневъ увидѣлъ отмѣнно-схожій, отличный бюстъ Инсарова. Черты лица были схвачены Шубинымъ вѣрно до малѣйшей подробности, и выраженіе онъ имъ придалъ славное: честное, благородное и смѣлое.

Берсеневъ пришелъ въ восторгъ.

— Да это просто прелесть!—воскликнулъ онъ.—Поздравляю тебя. Хоть на выставку! Почему ты называешь это великолѣпное произведеніе местью?

— А потому, сэръ, что я намѣренъ поднести это, какъ вы изволили выразиться, великолѣпное произведеніе, Еленѣ Николаевнѣ въ день ея именинъ. Понимаете вы сію аллегорію? Мы не слѣпые, мы видимъ, что̀ около насъ происходитъ, но мы джентльмены, милостивый государь, и мстимъ по-джентльменски.

— А вотъ, — прибавилъ Шубинъ, раскутывая другую фигурку: — такъ какъ художникъ, по новѣйшимъ эстетикамъ, пользуется завиднымъ правомъ воплощать въ себѣ всякія мерзости, возводя ихъ въ перлъ созданія, то мы, при возведеніи сего перла, нумера второго, мстили уже вовсе не какъ джентльмены, а просто en canaille.

Онъ ловко сдернулъ полотно, и взорамъ Берсенева предстала статуэтка, въ дантановскомъ вкусѣ, того же Инсарова. Злѣе и остроумнѣе невозможно было ничего придумать. Молодой болгаръ былъ представленъ бараномъ, поднявшимся на заднія ножки и склоняющимъ рога для удара. Тупая важность, задоръ, упрямство, неловкость,

ограниченность, такъ и отпечатались на физіономіи „супруга овецъ тонкорунныхъ“, и между тѣмъ сходство было до того поразительно, несомнѣнно, что Берсеневъ не могъ не расхохотаться!

— Что̀? забавно?—промолвилъ Шубинъ:—узналъ ироя? На выставку тоже совѣтуешь послать? Это, братецъ ты мой, я самъ себѣ въ собственныя именины подарю... Ваше высокоблагородіе, позвольте выкинуть колѣнце!

И Шубинъ прыгнулъ раза три, ударяя себя сзади подошвами.

Берсеневъ поднялъ съ полу полотно и забросилъ имъ статуэтку.

— Охъ, ты, великодушный, — началъ Шубинъ: — кто-бишь въ исторіи считается особенно великодушнымъ? Ну, все равно! А теперь,—продолжалъ онъ, торжественно и печально раскутывая третью, довольно большую массу глины:—ты узришь нѣчто, что̀ докажетъ тебѣ смиренномудріе и прозорливость твоего друга. Ты убѣдишься въ томъ, что онъ, опять-таки, какъ истинный художникъ чувствуетъ потребность и пользу собственнаго заушенія. Взирай!

Полотно взвилось, и Берсеневъ увидѣлъ двѣ, рядомъ и близко поставленныя, точно сросшіяся головы... Онъ не тотчасъ понялъ, въ чемъ дѣло, но, приглянувшись, узналъ въ одной изъ нихъ Аннушку, въ другой самого Шубина. Впрочемъ, это были скорѣе карикатуры, чѣмъ портреты. Аннушка была представлена красивою, жирною дѣвкой съ низкимъ лбомъ, заплывшими глазами и бойко вздернутымъ носомъ. Ея крупныя губы нагло ухмылялись; все лицо выражало чувственность, безпечность и удаль, не безъ добродушія. Себя Шубинъ изобразилъ испитымъ, исхудалымъ жуиромъ, съ ввалившимися щеками, съ безсильно висящими косицами жидкихъ волосъ, съ безсмысленнымъ выраженіемъ въ погасшихъ глазахъ, съ заостреннымъ, какъ у мертвеца, носомъ.

Берсеневъ отвернулся съ отвращеніемъ.

— Какова двоешка, братъ?—промолвилъ Шубинъ.—Не соблаговолишь ли сочинить приличную подпись? Къ пер-

вымъ двумъ штукамъ я уже подписи придумалъ. Подъ бюстомъ будетъ стоять: „Герой, намѣревающійся спасти свою родину“. Подъ статуэткой: „Берегитесь, колбасники!“ А подъ этой штукой — какъ ты думаешь? — „Будущность художника Павла Яковлева Шубина“... Хорошо?

— Перестань, — возразилъ Берсеневъ. — Стоило терять время на такую...—Онъ не тотчасъ подобралъ подходящее слово.

— Гадость? хочешь ты сказать. Нѣтъ, братъ, извини, ужъ коли чему на выставку идти, такъ этой группѣ.

— Именно гадость,—повторилъ Берсеневъ.—Да и что за вздоръ? Въ тебѣ вовсе нѣтъ тѣхъ залоговъ подобнаго развитія, которыми до сихъ поръ, къ несчастію, такъ обильно одарены наши артисты. Ты, просто, наклеветалъ на себя.

— Ты полагаешь? — мрачно проговорилъ Шубинъ. — Если во мнѣ ихъ нѣтъ и если они ко мнѣ привьются, то въ этомъ будетъ виновата... одна особа. Ты знаешь ли,— прибавилъ онъ, трагически нахмуривъ брови:—что я уже пробовалъ пить?

— Врешь?!

— Пробовалъ, ей-Богу,—возразилъ Шубинъ, и вдругъ осклабился и просвѣтлѣлъ:—да невкусно, братъ, въ горло не лѣзетъ, и голова потомъ, какъ барабанъ. Самъ великій Лущихинъ—Харлампій Лущихинъ, первая московская, а по другимъ, велико-россійская воронка,—объявилъ, что изъ меня проку не будетъ. Мнѣ, по его словамъ, бутылка ничего не говоритъ.

Берсеневъ замахнулся-было на группу, но Шубинъ остановилъ его.

— Полно, братъ, не бей; это какъ урокъ годится, какъ пугало.

Берсеневъ засмѣялся.

— Въ такомъ случаѣ, пожалуй, пощажу твое пугало,— промолвилъ онъ: — и да здравствуетъ вѣчное, чистое искусство!

— Да здравствуетъ!—подхватилъ Шубинъ.—Съ нимъ и *хорошее* лучше, и дурное не бѣда!

Пріятели крѣпко пожали другъ другу руку и разошлись.

XXI.

Первымъ ощущеніемъ Елены, когда она проснулась, былъ радостный испугъ. „Неужели? неужели?“ спрашивала она себя, и сердце ея замирало отъ счастія. Воспоминанія нахлынули на нее... она потонула въ нихъ. Потомъ опять ее осѣнила та блаженная, восторженная тишина. Но въ теченіе утра Еленой понемногу овладѣло безпокойство, а въ слѣдующіе дни ей стало и томно, и скучно. Правда, она теперь знала, чего она хотѣла, но отъ этого ей не было легче. То незабвенное свиданіе выбросило ее навсегда изъ старой колеи: она уже не стояла въ ней, она была далеко, а между тѣмъ, кругомъ все совершалось обычнымъ порядкомъ, все шло своимъ чередомъ, какъ будто ничего не измѣнилось; прежняя жизнь попрежнему двигалась, попрежнему разсчитывая на участіе и содѣйствіе Елены. Она пыталась начать письмо къ Инсарову, но и это не удалось: слова выходили на бумагѣ не то мертвыя, не то лживыя. Дневникъ свой она покончила: она подъ послѣднею строкой провела большую черту. То было прошедшее, а она всѣми помыслами своими, всѣмъ существомъ ушла въ будущее. Ей было тяжело. Сидѣть съ матерью, ничего не подозрѣвающей, выслушивать ее, отвѣчать ей, говорить съ ней—казалось Еленѣ чѣмъ-то преступнымъ; она чувствовала въ себѣ присутствіе какой-то фальши; она возмущалась, хотя краснѣть ей было не за что; не разъ поднималось въ ея душѣ почти непреодолимое желаніе высказать все безъ утайки, что̀ бы тамъ ни было потомъ. „Для чего“, думала она, „Дмитрій не тогда же, не изъ этой часовни увелъ меня, куда хотѣлъ? Не сказалъ ли онъ мнѣ, что я его жена передъ Богомъ? Зачѣмъ я здѣсь?“ Она вдругъ стала дичиться всѣхъ, даже Увара Ивановича, который болѣе чѣмъ когда-либо недоумѣвалъ и игралъ перстами. Уже ни ласковымъ, ни милымъ, ни даже сномъ не казалось ей все окружающее: оно, какъ кошмаръ, давило ей грудь неподвижнымъ, мертвеннымъ бременемъ: оно какъ будто и упрекало ее, и

негодовало, и знать про нее не хотѣло... Ты, молъ, все-таки наша. Даже ея бѣдные питомцы, угнетенные птицы и звѣри глядѣли на нее, — по крайней мѣрѣ такъ чудилось ей — недовѣрчиво и враждебно. Ей становилось совѣстно и стыдно своихъ чувствъ. „Вѣдь это все-таки мой домъ“, думала она, „моя семья, моя родина...“ — „Нѣтъ, это больше не твоя родина, не твоя семья“, твердилъ ей другой голосъ. Страхъ овладѣвалъ ею, и она досадовала на свое малодушіе. Бѣда только начиналась, а ужъ она теряла терпѣніе... То ли она обѣщала?

Не скоро она совладѣла съ собою. Но прошла недѣля, другая... Елена немного успокоилась и привыкла къ новому своему положенію. Она написала двѣ маленькія записочки Инсарову, и сама отнесла ихъ на почту: она бы ни за что, и изъ стыдливости, и изъ гордости, не рѣшилась довѣриться горничной. Она начинала уже поджидать его самого... Но вмѣсто его, въ одно прекрасное утро, прибылъ Николай Артемьевичъ.

XXII.

Еще никто въ домѣ отставного гвардіи поручика Стахова не видалъ его такимъ кислымъ и въ то же время такимъ самоувѣреннымъ и важнымъ, какъ въ тотъ день. Онъ вошелъ въ гостиную въ пальто и шляпѣ, вошелъ медленно, широко разставляя ноги и стуча каблуками; приблизился къ зеркалу и долго смотрѣлъ на себя, съ спокойною строгостью покачивая головой и кусая губы. Анна Васильевна встрѣтила его съ наружнымъ волненіемъ и тайною радостью (она его иначе никогда не встрѣчала); онъ даже шляпы не снялъ, не поздоровался съ нею, и молча далъ Еленѣ поцѣловать свою замшевую перчатку. Анна Васильевна стала его разспрашивать о курсѣ лѣченія,—онъ ничего не отвѣчалъ ей; явился Уваръ Ивановичъ,—онъ взглянулъ на него и сказалъ: „ба!“ Съ Уваромъ Ивановичемъ онъ вообще обходился холодно и свысока, хотя признавалъ въ немъ „слѣды настоящей Стаховской крови“. Извѣстно, что почти всѣ русскія дворянскія фамиліи убѣждены въ существованіи исключитель-

ныхъ, породистыхъ особенностей, имъ однѣмъ свойственныхъ: намъ не однажды довелось слышать толки „между своими“ о „подсаласкинскихъ“ носахъ и „перепрѣевскихъ“ затылкахъ. Зоя вышла и присѣла передъ Николаемъ Артемьевичемъ. Онъ крякнулъ, опустился въ кресла, потребовалъ себѣ кофею, и только тогда снялъ шляпу. Ему принесли кофею; онъ выпилъ чашку и, посмотрѣвъ поочередно на всѣхъ, промолвилъ сквозь зубы: „sortez, s'il vous plait“, и, обратившись къ женѣ, прибавилъ: „et vous, madame, restez, je vous prie“.

Всѣ вышли, кромѣ Анны Васильевны. У нея голова задрожала отъ волненія. Торжественность пріемовъ Николая Артемьевича ее поразила. Она ожидала чего-то необыкновеннаго.

— Что̀ такое!—воскликнула она, какъ только дверь затворилась.

Николай Артемьевичъ бросилъ равнодушный взглядъ на Анну Васильевну.

— Ничего особеннаго, что̀ это у васъ за манера тотчасъ принимать видъ какой-то жертвы?—началъ онъ, безо всякой нужды опуская углы губъ на каждомъ словѣ.—Я только хотѣлъ васъ предувѣдомить, что у насъ сегодня будетъ обѣдать новый гость.

— Кто такой?

— Курнатовскій, Егоръ Андреевичъ. Вы его не знаете. Оберъ-секретарь въ сенатѣ.

— Онъ будетъ сегодня у насъ обѣдать?

— Да.

— И вы только для того, чтобы мнѣ это сказать, велѣли всѣмъ выдти?

Николай Артемьевичъ снова бросилъ на Анну Васильевну взглядъ, на этотъ разъ уже ироническій.

— Васъ это удивляетъ? Погодите удивляться.

Онъ умолкъ. Анна Васильевна тоже помолчала немного.

— Я желала бы,—заговорила она...

— Я знаю, вы меня всегда считали за „имморальнаго̀“ человѣка,—началъ вдругъ Николай Артемьевичъ.

— Я!—съ изумленіемъ пробормотала Анна Васильевна.

— И, можетъ-быть, вы и правы. Я не хочу отрицать, что, дѣйствительно, я вамъ иногда подавалъ справедливый поводъ къ неудовольствію—(сѣрыя лошади! промелькнуло въ головѣ Анны Васильевны),—хотя вы сами должны согласиться, что при извѣстномъ вамъ состояніи вашей конституціи...

— Да я васъ нисколько не обвиняю, Николай Артемьевичъ.

— C'est possible. Во всякомъ случаѣ я не намѣренъ себя оправдывать. Меня оправдаетъ время. Но я почитаю своимъ долгомъ увѣрить васъ, что знаю свои обязанности и умѣю радѣть и... о пользахъ ввѣреннаго мнѣ... ввѣреннаго мнѣ семейства.

„Что̀ все это значитъ?“ думала Анна Васильевна. (Она не могла знать, что наканунѣ, въ англійскомъ клубѣ, въ углу диванной, поднялось преніе о неспособности русскихъ произносить *спичи*. „Кто у насъ умѣетъ говорить? Назовите кого-нибудь?“ воскликнулъ одинъ изъ спорившихъ.—Да хоть бы Стаховъ, напримѣръ, отвѣчалъ другой, и указалъ на Николая Артемьевича, который тутъ же стоялъ и чуть не пискнулъ отъ удовольствія.)

— Напримѣръ,—продолжалъ Николай Артемьевичъ:—дочь моя, Елена. Не находите ли вы, что пора ей наконецъ ступить твердой стопою на стезю... выдти замужъ, я хочу сказать. Всѣ эти умствованія и филантропіи хороши, но до извѣстной степени, до извѣстныхъ лѣтъ. Пора ей покинуть свои туманы, выдти изъ общества разныхъ артистовъ, школяровъ, и какихъ-то черногорцевъ, и сдѣлаться какъ всѣ.

— Какъ я должна понять ваши слова?—спросила Анна Васильевна.

— А вотъ, извольте выслушать,—отвѣчалъ Николай Артемьевичъ все съ тѣмъ же опусканіемъ губъ.—Скажу вамъ прямо, безъ обиняковъ: я познакомился, я сблизился съ этимъ молодымъ человѣкомъ, г-мъ Курпатовскимъ, въ надеждѣ имѣть его своимъ зятемъ. Смѣю думать, что, *увидѣвши* его, вы не обвините меня въ пристрастіи или

въ опрометчивости сужденій. (Николай Артемьевичъ говорилъ и самъ любовался своимъ краснорѣчіемъ.) Образованія отличнаго, онъ правовѣдъ, манеры прекрасныя, тридцать три года, оберъ-секретарь, коллежскій совѣтникъ, и Станиславъ на шеѣ. Вы, надѣюсь, отдадите мнѣ справедливость, что я не принадлежу къ числу тѣхъ pères de comédie, которые бредятъ одними чинами; но вы сами мнѣ говорили, что Еленѣ Николаевнѣ нравятся дѣльные, положительные люди: Егоръ Андреевичъ первый по своей части дѣлецъ; теперь, съ другой стороны, дочь моя имѣетъ слабость къ великодушнымъ поступкамъ: такъ знайте же, что Егоръ Андреевичъ, какъ только достигъ возможности, вы понимаете меня, возможности безбѣдно существовать своимъ жалованьемъ, тотчасъ отказался въ пользу своихъ братьевъ отъ ежегодной суммы, которую назначалъ ему отецъ.

— А кто его отецъ?—спросила Анна Васильевна.

— Отецъ его? Отецъ его тоже извѣстный въ своемъ родѣ человѣкъ, нравственности самой высокой, un vrais stoïcien, отставной, кажется, майоръ, всѣми имѣніями графовъ Б... управляетъ.

— А!—промолвила Анна Васильевна.

— А! что̀: а? — подхватилъ Николай Артемьевичъ. — Ужели и вы заражены предразсудками?

— Да я ничего не сказала, — начала-было Анна Васильевна...

— Нѣтъ, вы сказали: а!.. Какъ бы то ни было, я счелъ нужнымъ васъ предупредить о моемъ образѣ мыслей, и смѣю думать... смѣю надѣяться, что г-нъ Курнатовскій будетъ принятъ à bras ouverts. Это не какой-нибудь черногорецъ.

— Разумѣется; надо будетъ только Ваньку повара позвать, блюдо приказать прибавить.

— Вы понимаете, что я въ это не вхожу,—проговорилъ Николай Артемьевичъ, всталъ, надѣлъ шляпу, и, посвистывая (онъ отъ кого-то слышалъ, что посвистывать можно только у себя на дачѣ и въ манежѣ), отправился гулять въ садъ. Шубинъ поглядѣлъ на него изъ окошка своего флигеля, и, молча, высунулъ ему языкъ.

Въ четыре часа безъ десяти минутъ, къ крыльцу Стаховской дачи подъѣхала ямская карета, и человѣкъ еще молодой, благообразной наружности, просто и изящно одѣтый, вышелъ изъ нея и велѣлъ доложить о себѣ. Это былъ Егоръ Андреевичъ Курнатовскій.

Вотъ что, между прочимъ, писала на слѣдующій день Инсарову Елена:

„Поздравь меня, милый Дмитрій, у меня женихъ. Онъ вчера у насъ обѣдалъ; папенька познакомился съ нимъ, кажется, въ англійскомъ клубѣ и пригласилъ его. Разумѣется, онъ пріѣзжалъ вчера не женихомъ. Но добрая мамаша, которой папенька сообщилъ свои надежды, шепнула мнѣ на ухо, что это за гость. Зовутъ его Егоръ Андреевичъ Курнатовскій; онъ служитъ оберъ-секретаремъ при сенатѣ. Опишу тебѣ сперва его наружность. Онъ небольшого роста, меньше тебя, хорошо сложенъ: черты у него правильныя, онъ коротко остриженъ, носитъ большіе бакенбарды. Глаза у него небольшіе (как у тебя), каріе, быстрые, губы плоскія, широкія: на глазахъ и на губахъ постоянная улыбка, офиціальная какая-то; точно она у него дежуритъ. Держится онъ очень просто, говоритъ отчетливо, и все у него отчетливо: онъ ходитъ, смѣется, ѣстъ, словно дѣло дѣлаетъ. „Какъ она его изучила!“ думаешь ты, можетъ-быть, въ эту минуту. Да; для того, чтобъ описать тебѣ его. Да и какъ же не изучать своего жениха. Въ немъ есть что-то желѣзное... и тупое, и пустое въ то же время—и честное; говорятъ, онъ, точно, очень честенъ. Ты у меня тоже желѣзный, да не такъ, какъ этотъ. За столомъ онъ сидѣлъ возлѣ меня, противъ насъ сидѣлъ Шубинъ. Сперва рѣчь зашла о какихъ-то коммерческихъ предпріятіяхъ: говорятъ, онъ въ нихъ толкъ знаетъ и чуть-было не бросилъ своей службы, чтобы взять въ руки большую фабрику. Вотъ не догадался! Потомъ Шубинъ заговорилъ о театрѣ; г-нъ Курнатовскій объявилъ, и — я должна сознаться — безъ ложной скромности, что онъ въ художествѣ ничего не смыслитъ. Это мнѣ тебя напомнило... но я подумала: нѣтъ, *мы съ* Дмитріемъ все-таки иначе не понимаемъ художе-

ства. Этотъ какъ будто хотѣлъ сказать: я не понимаю его, да оно и не нужно, но въ благоустроенномъ государствѣ допускается. Къ Петербургу и къ comme il faut онъ, впрочемъ, довольно равнодушенъ: онъ разъ даже назвалъ себя пролетаріемъ. Мы, говоритъ, чернорабочіе! Я подумала: если бы Дмитрій это сказалъ, мнѣ бы это не понравилось, а этотъ пускай себѣ говоритъ! пусть хвастается! Со мной онъ былъ очень вѣжливъ; но мнѣ все казалось, что со мной бесѣдуетъ очень, очень снисходительный начальникъ. Когда онъ хочетъ похвалить кого, онъ говоритъ, что у такого-то *есть правила*—это его любимое слово. Онъ долженъ быть самоувѣренъ, трудолюбивъ, способенъ къ самопожертвованію (ты видишь: я безпристрастна), то-есть къ пожертвованію своихъ выгодъ, но онъ большой деспотъ. Бѣда попасться ему въ руки! За столомъ заговорили о взяткахъ...

— Я понимаю, — сказалъ онъ: — что во многихъ случаяхъ берущій взятку не виноватъ; онъ иначе поступить не могъ. А все-таки, если онъ попался, должно его раздавить.

Я вскрикнула.

— „Раздавить невиноватаго!“

— „Да, ради принципа“.

— „Какого?“—спросилъ Шубинъ.

Курнатовскій не то смѣшался, не то удивился, и сказалъ:

— Этого нечего объяснять.

„Папаша, который, кажется, благоговѣетъ передъ нимъ, подхватилъ, что конечно нечего, и, къ досадѣ моей, разговоръ этотъ прекратился. Вечеромъ пришелъ Берсеневъ и вступилъ съ нимъ въ ужасный споръ. Никогда я еще не видала нашего добраго Андрея Петровича въ такомъ волненіи. Господинъ Курнатовскій вовсе не отрицалъ пользы науки, университетовъ и т. д... а между тѣмъ я понимала негодованіе Андрея Петровича. Тотъ смотритъ на все это какъ на гимнастику какую-то. Шубинъ подошелъ ко мнѣ послѣ стола и сказалъ: вотъ этотъ и нѣкто другой (онъ твоего имени произнести не можетъ) — оба

практическіе люди, а посмотрите, какая разница: тамъ настоящій живой, жизнью данный идеалъ; а здѣсь даже не чувство долга, а просто служебная честность и дѣльность безъ содержанія. — Шубинъ уменъ, и я для тебя запомнила его слова; а по-моему, что̀ же общаго между вами? Ты *вѣришь*, а тотъ нѣтъ, потому что только въ самого себя *вѣрить нельзя*.

„Онъ уѣхалъ поздно, но мамаша успѣла мнѣ сообщить, что я ему понравилась, что папенька въ восторгѣ... Ужъ не сказалъ ли онъ обо мнѣ, что и у меня есть правила? А я чуть было не отвѣтила мамашѣ, что мнѣ очень жалко, но что у меня уже есть мужъ. Отчего тебя папенька такъ не любитъ? Съ мамашей еще можно было бы какъ-нибудь...

„О, мой милый! Я тебѣ такъ подробно описала этого господина для того, чтобы заглушить мою тоску. Я не живу безъ тебя, я безпрестанно тебя вижу, слышу... Я жду тебя, только не у насъ, какъ ты было хотѣлъ,—представь, какъ намъ будетъ тяжело и неловко! — а знаешь, гдѣ я тебѣ писала—въ той рощѣ... О, мой милый! Какъ я тебя люблю!“

XXIII.

Недѣли три послѣ перваго посѣщенія Курнатовскаго, Анна Васильевна, къ великой радости Елены, переселилась въ Москву, въ свой большой деревянный домъ, возлѣ Пречистенки, домъ съ колоннами, бѣлыми лирами и вѣнками надъ каждымъ окномъ, съ мезониномъ, службами, палисадникомъ, огромнымъ зеленымъ дворомъ, колодцемъ на дворѣ и собачьей конуркой возлѣ колодца. Анна Васильевна никогда такъ рано не съѣзжала съ дачи, но въ тотъ годъ у ней отъ первыхъ осеннихъ холодовъ *разыгрались* флюсы; Николай Артемьевичъ, съ своей стороны, окончивши курсъ лѣченія, соскучился по женѣ; притомъ же Августина Христіановна уѣхала погостить къ своей кузинѣ въ Ревель: въ Москву прибыло какое-то иностранное семейство, показывавшее *пластическія позы*, des poses plastiques, описаніе которыхъ въ *Московскихъ Вѣдомо-*

стяхъ сильно возбудило любопытство Анны Васильевны. Словомъ, дальнѣйшее пребываніе на дачѣ оказалось неудобнымъ, и даже, по словамъ Николая Артемьевича, несовмѣстнымъ съ исполненіемъ его „предначертаній". Послѣднія двѣ недѣли показались очень длинными Еленѣ. Курнатовскій пріѣзжалъ два раза, по воскресеньямъ; въ другіе дни онъ былъ занятъ. Онъ пріѣзжалъ собственно для Елены, но разговаривалъ больше съ Зоей, которой онъ очень понравился. „Das ist ein Mann!" думала она про-себя, глядя на его смуглое и мужественное лицо, слушая его самоувѣренныя, снисходительныя рѣчи. По ея мнѣнію ни у кого не было такого чуднаго голоса, никто не умѣлъ такъ отлично произнести: „я имѣлъ чес-с-сть", или „я весьма доволенъ". Инсаровъ не былъ у Стаховыхъ, но Елена видѣла его разъ, украдкой, въ небольшой рощицѣ надъ Москвой-рѣкой, гдѣ она назначила ему свиданіе. Они едва успѣли сказать нѣсколько словъ другъ другу. Шубинъ возвратился въ Москву вмѣстѣ съ Анной Васильевной; Берсеневъ—нѣсколькими днями позже.

Инсаровъ сидѣлъ у себя въ комнатѣ, и въ третій разъ перечитывалъ письма, доставленныя ему изъ Болгаріи съ „оказіей"; по почтѣ ихъ боялись посылать. Онъ былъ очень встревоженъ ими. Событія быстро развивались на Востокѣ; занятіе княжествъ русскими войсками волновало всѣ умы; гроза росла, слышалось уже вѣяніе близкой, неминуемой войны. Кругомъ занимался пожаръ, и никто не могъ предвидѣть, куда онъ пойдетъ, гдѣ остановится; старыя обиды, давнія надежды — все зашевелилось. Сердце Инсарова сильно билось: и *его* надежды сбывались. Но не рано ли? не напрасно ли? думалъ онъ, стискивая руки. Мы еще не готовы.—Но такъ и быть! Надо будетъ ѣхать.

Что-то слегка зашумѣло за дверью, она быстро распахнулась—и въ комнату вошла Елена.

Инсаровъ затрепеталъ весь, бросился къ ней, упалъ передъ нею на колѣни, обнялъ ея станъ, и крѣпко прижался къ нему головой.

— Ты меня не ждалъ?—заговорила она, едва переводя духъ. (Она быстро взбѣжала по лѣстницѣ.) Милый! милый!—Такъ вотъ гдѣ ты живешь? Я тебя скоро нашла. Дочь твоего хозяина меня проводила. Мы третьяго дня переѣхали. Я хотѣла тебѣ написать, но подумала, лучше я сама пойду. Я къ тебѣ на четверть часа. Встань, запри дверь.

Онъ поднялся, проворно заперъ дверь, воротился къ ней и взялъ ее за руку. Онъ не могъ говорить: радость его душила. Она съ улыбкой глядѣла ему глаза... въ нихъ было столько счастья... Она застыдилась.

— Постой,—сказала она, ласково отнимая у него руки:— дай мнѣ шляпу снять.

Она развязала ленты шляпы, сбросила ее, спустила съ плечъ мантилью, поправила волосы и сѣла на маленькій, старенькій диванчикъ. Инсаровъ не шевелился и глядѣлъ на нее, какъ очарованный.

— Сядь же, — проговорила она, не поднимая на него глазъ и указывая ему на мѣсто возлѣ себя.

Инсаровъ сѣлъ, но не на диванъ, а на полъ у ея ногъ.

— Нà, сними съ меня перчатки, — промолвила она неровнымъ голосомъ. Ей становилось страшно.

Онъ принялся сперва разстегивать, потомъ стаскивать одну перчатку, стащилъ ее до половины, и жадно прильнулъ губами къ забѣлѣвшей подъ нею тонкой и нѣжной кисти.

Елена вздрогнула и хотѣла отслонить его другой рукою, онъ началъ цѣловать другую руку. Елена потянула ее къ себѣ, онъ откинулъ голову, она посмотрѣла ему въ лицо, нагнулась—и губы ихъ слились...

Прошло мгновеніе... Она вырвалась, встала, шепнула: „нѣтъ, нѣтъ“, и быстро подошла къ письменному столу.

— Вѣдь я здѣсь хозяйка, для меня не должно быть у тебя тайны,—проговорила она, стараясь казаться безпечной и становясь къ нему спиной. — Сколько бумагъ! Это что̀ за письма?

Инсаровъ наморщилъ брови.

— Эти письма?—промолвилъ онъ, вставая съ полу.—Ты можешь ихъ прочесть.

Елена повертѣла ихъ въ рукѣ.

— Ихъ такъ много, и они такъ мелко написаны, а я сейчасъ должна уйти... Богъ съ ними! Не отъ соперницы?.. Да они и не по-русски,—прибавила она, перебирая тонкіе листы.

Инсаровъ приблизился къ ней и коснулся ея стана. Она вдругъ обернулась къ нему, свѣтло ему улыбнулась, и оперлась на его плечо.

— Эти письма изъ Болгаріи, Елена; друзья мнѣ пишутъ, они меня зовутъ.

— Теперь? Туда?

— Да... теперь. Пока еще время, пока проѣхать можно.

Она вдругъ бросила ему обѣ руки вокругъ шеи.

— Вѣдь ты меня возьмешь съ собой?

Онъ прижалъ ее къ сердцу.

— О, моя милая дѣвушка, о, моя героиня, какъ ты произнесла это слово! Но не грѣшно ли, не безумно ли мнѣ, мнѣ бездомному, одинокому, увлекать тебя съ собою... И куда же!

Она зажала ему ротъ.

— Тсссъ... или я разсержусь и никогда больше не приду къ тебѣ. Развѣ не все рѣшено, не все кончено между нами? Развѣ я не твоя жена? Развѣ жена разстается съ мужемъ.

— Жёны не идутъ на войну,—промолвилъ онъ съ полупечальной улыбкой.

— Да, когда онѣ могутъ остаться. А развѣ я могу остаться здѣсь?

— Елена, ты ангелъ!.. Но подумай, мнѣ, можетъ-быть, придется выѣхать изъ Москвы... черезъ двѣ недѣли. Мнѣ уже нельзя помышлять ни объ университетскихъ лекціяхъ, ни объ окончаніи работъ.

— Что же такое?—перебила Елена.—Ты долженъ скоро ѣхать? Да хочешь ли, я теперь же, сейчасъ, сію минуту, останусь у тебя, съ тобой навсегда, и домой не вернусь, хочешь? Поѣдемъ сейчасъ, хочешь?

Инсаровъ съ удвоенною силой заключилъ ее въ свои объятія.

— Такъ пусть же Богъ накажетъ меня,—воскликнулъ онъ:—если я дѣлаю дурное дѣло! Съ нынѣшняго дня мы соединены на вѣкъ!

— Я остаюсь?—спросила Елена.

— Нѣтъ, моя чистая дѣвушка; нѣтъ, мое сокровище. Ты сегодня вернешься домой, но будь готова. Это дѣло нельзя разомъ сдѣлать; надо хорошенько все обдумать. Тутъ нужны деньги, паспортъ...

— Деньги у меня есть,—перебила Елена:—восемьдесятъ рублей.

— Ну, это не много,—замѣтилъ Инсаровъ: — а все годится.

— Да я могу достать, я займу, я попрошу у мамаши... Нѣтъ, я у ней просить не буду... Да можно часы продать... У меня серьги есть, два браслета... кружево.

— Не въ деньгахъ дѣло, Елена; паспортъ, твой паспортъ, какъ съ этимъ быть?

— Да, какъ съ этимъ быть? А непремѣнно нуженъ паспортъ?

— Непремѣнно.

Елена усмѣхнулась.

— Что̀ мнѣ въ голову пришло! Помнится, я была еще маленькая... У насъ ушла горничная. Ее поймали, простили, и она долго жила у насъ... а все-таки всѣ ее величали: Татьяна бѣглая. Не думала я тогда, что и я, можетъ-быть, буду бѣглая, какъ она.

— Елена, какъ тебѣ не стыдно!

— А что̀? Конечно, лучше поѣхать съ паспортомъ. Но если нельзя...

— Это мы все уладимъ послѣ, послѣ, погоди,—промолвилъ Инсаровъ.—Дай мнѣ только осмотрѣться, дай подумать. Мы обо всемъ переговоримъ съ тобой, какъ слѣдуетъ. А деньги есть и у меня.

Елена отвела рукой волосы, падавшіе на его лобъ.

— О, Дмитрій! Какъ намъ весело будетъ ѣхать вдвоемъ!

— Да,—сказалъ Инсаровъ:—а тамъ, куда мы пріѣдемъ...

— Что̀ жъ?—перебила Елена.—Развѣ умирать вдвоемъ тоже не весело? да нѣтъ, зачѣмъ умирать? Мы будемъ жить, мы молоды. Сколько тебѣ лѣтъ? Двадцать шесть?

— Двадцать шесть.

— А мнѣ двадцать. Еще много времени впереди. А! ты хотѣлъ убѣжать отъ меня? Тебѣ не нужно было русской любви, болгаръ! Посмотримъ теперь, какъ ты отъ меня отдѣлаешься. Но что бы было съ нами, если бъ я тогда не пошла къ тебѣ!

— Елена, ты знаешь, что̀ заставляло меня удаляться.

— Знаю: ты полюбилъ и испугался. Но неужели ты не подозрѣвалъ, что и тебя любили?

— Честью клянусь, Елена, нѣтъ.

Она быстро и неожиданно его поцѣловала.

— Вотъ за это-то я тебя и люблю. А теперь прощай!

— Ты не можешь больше остаться?—спросилъ Инсаровъ.

— Нѣтъ, мой милый. Ты думаешь, мнѣ легко было уйти одной. Четверть часа давно минуло.—Она надѣла мантилью и шляпу.—А ты приходи къ намъ завтра вечеромъ. Нѣтъ, послѣ-завтра. Будетъ натянуто, скучно, да дѣлать нечего: по крайней мѣрѣ увидимся. Прощай. Выпусти меня.—Онъ обнялъ ее въ послѣдній разъ.—Ай! смотри, ты мою цѣпочку сломалъ. О, мой неловкій! Ну, ничего. Тѣмъ лучше. Я пройду на Кузнецкій-мостъ, отдамъ ее въ починку. Если меня спросятъ, я скажу, что была на Кузнецкомъ-мосту.—Она взялась за ручку двери.—Кстати, я тебѣ и забыла сказать: мусье Курнатовскій, вѣроятно, на-дняхъ сдѣлаетъ мнѣ предложеніе. Но я сдѣлаю ему... вотъ что̀.—Она приставила большой палецъ лѣвой руки къ кончику носа и поиграла остальными пальцами на воздухѣ.—Прощай. До свиданія. Теперь я дорогу знаю... А ты не теряй времени...

Елена открыла немножко дверь, прислушалась, обернулась къ Инсарову, кивнула головой и выскользнула изъ комнаты.

Съ минуту стоялъ Инсаровъ передъ завторившеюся дверью и тоже прислушивался. Дверь внизу на дворъ стук-

нула. Онъ подошелъ къ дивану, сѣлъ и закрылъ глаза рукой. Съ нимъ еще никогда ничего подобнаго не случалось. „Чѣмъ заслужилъ я такую любовь?“ думалъ онъ. „Не сонъ ли это?“

Но тонкій запахъ резеды, оставленный Еленой въ его бѣдной, темной комнаткѣ, напоминалъ ея посѣщеніе. Вмѣстѣ съ нимъ, казалось, еще оставались въ воздухѣ и звуки молодого голоса, и шумъ легкихъ, молодыхъ шаговъ, и теплота, и свѣжесть молодого, дѣвственнаго тѣла.

XXIV.

Инсаровъ рѣшился подождать еще болѣе положительныхъ извѣстій, а самъ началъ готовиться къ отъѣзду. Дѣло было очень трудное. Собственно для него не предстояло никакихъ препятствій: стоило вытребовать паспортъ, — но какъ быть съ Еленой? Достать ей паспортъ законнымъ путемъ было невозможно. Обвѣнчаться съ нею тайно, а потомъ явиться къ родителямъ... „Они тогда отпустятъ насъ“, думалъ онъ. „А если нѣтъ? Мы все-таки уѣдемъ. А если они будутъ жаловаться... если... Нѣтъ, лучше постараться достать какъ-нибудь паспортъ“.

Онъ рѣшился посовѣтываться (разумѣется, никого не называя) съ однимъ своимъ знакомымъ, отставнымъ, или отставленнымъ прокуроромъ, опытнымъ и старымъ докой по части всякихъ секретныхъ дѣлъ. Почтенный этотъ человѣкъ жилъ не близко: Инсаровъ тащился къ нему цѣлый часъ на скверномъ Ванькѣ, да еще вдобавокъ не засталъ его дома; а на возвратномъ пути промокъ до костей, благодаря внезапно набѣжавшему ливню. На слѣдующее утро, Инсаровъ, несмотря на довольно сильную головную боль, вторично отправился къ отставному прокурору. Отставной прокуроръ выслушалъ его внимательно, понюхивая табачокъ изъ табакерки, украшенной изображеніемъ полногрудой нимфы, и искоса посматривая на гостя своими лукавыми, тоже табачнаго цвѣта, глазками, выслушалъ и потребовалъ „бо̀льшей опредѣленности въ изложеніи фактическихъ данныхъ“; а замѣтивъ, что Инсаровъ неохотно вдавался въ подробности (онъ и пріѣхалъ къ

нему, скрѣпя сердце), ограничился совѣтомъ вооружиться прежде всего „пенѣнзами“ и попросилъ побывать въ другой разъ, „когда у васъ“, прибавилъ онъ, нюхая табакъ надъ раскрытою табакеркою: „прибудетъ довѣрчивости и убудетъ недовѣрчивости“ (онъ говорилъ на о). „А паспортъ“, продолжалъ онъ, какъ бы про себя: „дѣло рукъ человѣческихъ: вы, напримѣръ, ѣдете: кто васъ знаетъ, Марья ли вы Бредихина, или же Каролина Фогельмейеръ?“ Чувство гадливости шевельнулось въ Инсаровѣ, но онъ поблагодарилъ прокурора и обѣщался завернуть на-дняхъ.

Въ тотъ же вечеръ онъ поѣхалъ къ Стаховымъ. Анна Васильевна встрѣтила его ласково, попеняла ему, что онъ совсѣмъ ихъ забылъ и, найдя его блѣднымъ, освѣдомилась о его здоровьѣ; Николай Артемьевичъ ни слова ему не сказалъ, только поглядѣлъ на него съ задумчиво-небрежнымъ любопытствомъ; Шубинъ обошелся съ нимъ холодно, но Елена удивила его. Она его ждала; она для него надѣла то самое платье, которое было на ней въ день ихъ перваго свиданія въ часовнѣ; но она такъ спокойно его привѣтствовала и такъ была любезна и безпечно-весела, что, глядя на нее, никто бы не подумалъ, что судьба этой дѣвушки уже рѣшена, и что одно тайное сознаніе счастливой любви придавало оживленіе ея чертамъ, легкость и прелесть всѣмъ ея движеніямъ. Она разливала чай вмѣсто Зои, шутила, болтала; она знала, что за ней будетъ наблюдать Шубинъ, что Инсаровъ не сумѣетъ надѣть маску, не сумѣетъ прикинуться равнодушнымъ, и вооружилась заранѣе. Она не ошиблась: Шубинъ не спускалъ съ нея глазъ, а Инсаровъ былъ очень молчаливъ и пасмуренъ въ теченіе всего вечера. Елена чувствовала себя до того счастливой, что ей захотѣлось подразнить его.

— Ну, что? — спросила она его вдругъ: — планъ вашъ подвигается!

Инсаровъ смутился.

— Какой планъ?—проговорилъ онъ.

— А вы забыли?— отвѣтила она, смѣясь ему въ лицо: онъ одинъ могъ понять значеніе этого счастливаго смѣха:— ваша болгарская христоматія для русскихъ?

— Quelle bourde!— пробормоталъ сквозь зубы Николай Артемьевичъ.

Зоя сѣла за фортепіано. Елена едва замѣтно пожала плечомъ и показала Инсарову глазами на дверь, какъ бы отпуская его домой. Потомъ она съ разстановкой два раза коснулась пальцемъ стола и посмотрѣла на него. Онъ понялъ, что она ему назначала свиданіе черезъ два дня, и она быстро улыбнулась, когда увидала, что онъ ее понялъ. Инсаровъ всталъ и началъ прощаться: онъ чувствовалъ себя нездоровымъ. Явился Курнатовскій. Николай Артемьевичъ вскочилъ, поднялъ правую руку выше головы и мягко опустилъ ее на ладонь оберъ-секретаря. Инсаровъ остался еще нѣсколько минутъ, чтобы посмотрѣть на своего соперника. Елена, украдкой, лукаво покачала головой, хозяинъ не счелъ нужнымъ ихъ представить другъ другу, и Инсаровъ ушелъ, въ послѣдній разъ обмѣнявшись взоромъ съ Еленой. Шубинъ подумалъ, подумалъ—и яростно заспорилъ съ Курнатовскимъ о юридическомъ вопросѣ, въ которомъ ничего не смыслилъ.

Инсаровъ не спалъ всю ночь и утромъ чувствовалъ себя дурно; однако, онъ занялся приведеніемъ въ порядокъ своихъ бумагъ и писаніемъ писемъ, но голова у него была тяжела и какъ-то запутана. Къ обѣду у него сдѣлался жаръ: онъ ничего ѣсть не могъ. Жаръ быстро усилился къ вечеру; появилась ломота во всѣхъ членахъ и мучительная головная боль. Инсаровъ легъ на тотъ самый диванчикъ, гдѣ такъ недавно сидѣла Елена; онъ подумалъ: „по дѣломъ я наказанъ, зачѣмъ таскался къ этому старому плуту“, и попытался заснуть... Но ужъ недугъ завладѣлъ имъ. Съ страшною силой забились въ немъ жилы, знойно вспыхнула кровь, какъ птицы закружились мысли. Онъ впалъ въ забытье. Какъ раздавленный, навзничь лежалъ онъ, и вдругъ ему почудилось: кто-то надъ нимъ тихо хохочетъ и шепчетъ; онъ съ усиліемъ раскрылъ глаза, свѣтъ отъ нагорѣвшей свѣчки дернулъ по нимъ, какъ ножомъ... Что̀ это? старый прокуроръ передъ нимъ, въ халатѣ изъ тармаламы, подпоясанный фуляромъ, какъ онъ видѣлъ его наканунѣ... „Каролина Фогельмейеръ“,

бормочетъ беззубый ротъ. Инсаровъ глядитъ, а старикъ ширится, пухнетъ, растетъ, ужъ онъ не человѣкъ — онъ дерево... Инсарову надо лѣзть по крутымъ сучьямъ. Онъ цѣпляется, падаетъ грудью на острый камень, а Каролина Фогельмейеръ сидитъ на корточкахъ, въ видѣ торговки, и лепечетъ: пирожки, пирожки, пирожки,—а тамъ течетъ кровь, и сабли блестятъ нестерпимо... Елена! и все исчезло въ багровомъ хаосѣ.

XXV.

— Къ вамъ пришелъ какой-то, кто его знаетъ, слесарь, что ль, какой,—говорилъ на слѣдующій вечеръ Берсеневу его слуга, отличавшійся строгимъ обхожденіемъ съ бариномъ и скептическимъ направленіемъ ума: — хочетъ васъ видѣть.

— Позови,—промолвилъ Берсеневъ.

Вошелъ „слесарь". Берсеневъ узналъ въ немъ портного, хозяина квартиры, гдѣ жилъ Инсаровъ.

— Что ты?—спросилъ онъ его.

— Я къ вашей милости, — началъ портной, медленно переставляя ноги и по временамъ взмахивая правою рукой съ захваченнымъ тремя послѣдними пальцами обшлагомъ. — Нашъ жилецъ, кто его знаетъ, оченно боленъ.

— Инсаровъ?

— Точно такъ, нашъ жилецъ. Кто его знаетъ, вчера еще съ утра былъ на ногахъ, вечеромъ только пить просилъ, наша хозяйка ему и воду носила, а ночью залопсталъ, намъ-то слышно, потому перегородка; а сегодня утромъ, ужъ и безъ языка, лежитъ, какъ пластъ, а жаръ отъ него, Боже ты мой! Я подумалъ, кто его знаетъ, умретъ того и гляди; въ кварталъ, думаю, надо дать знать. Потому какъ онъ одинъ; да хозяйка мнѣ говоритъ: „Сходи, молъ, ты къ тому жильцу, у кого нашъ-то на дачѣ нанимался: можетъ, онъ тебѣ что скажетъ, аль самъ придетъ". Вотъ я къ вашей милости и пришелъ, потому какъ намъ нельзя, то-есть...

Берсеневъ схватилъ фуражку, сунулъ портному въ руку

цѣлковый и тотчасъ поскакалъ съ нимъ на квартиру Инсарова.

Онъ нашелъ его лежащаго на диванѣ въ безпамятствѣ, не раздѣтаго. Лицо его страшно измѣнилось. Берсеневъ тотчасъ приказалъ хозяину съ хозяйкой раздѣть его и перенесть на постель, а самъ бросился къ доктору и привезъ его. Докторъ прописалъ разомъ піявки, мушки, каломель и велѣлъ пустить кровь.

— Онъ опасенъ?—спросилъ Берсеневъ.

— Да, очень,—отвѣчалъ докторъ.—Сильнѣйшее воспаленіе въ легкихъ; перипневмонія въ полномъ развитіи, можетъ-быть, и мозгъ пораженъ, а субъектъ молодой. Его же силы теперь противъ него направлены. Поздно послали, а впрочемъ, мы все сдѣлаемъ, что̀ требуетъ наука.

Докторъ былъ еще самъ молодъ и вѣрилъ въ науку.

Берсеневъ остался на ночь. Хозяинъ и хозяйка оказались добрыми и даже расторопными людьми, какъ только нашелся человѣкъ, который сталъ имъ говорить, что̀ надо было дѣлать. Явился фельдшеръ и начались медицинскія истязанія.

Къ утру Инсаровъ очнулся на нѣсколько минутъ, узналъ Берсенева, спросилъ: „я, кажется, нездоровъ?“ посмотрѣлъ вокругъ себя съ тупымъ и вялымъ недоумѣніемъ трудно-больного и опять забылся. Берсеневъ поѣхалъ домой, переодѣлся, захватилъ съ собой кое-какія книги и вернулся на квартиру Инсарова. Онъ рѣшился поселиться у него, по крайней мѣрѣ, на первое время. Онъ огородилъ его кровать ширмами, а себѣ устроилъ мѣстечко около диванчика. Не весело и не скоро прошелъ день. Берсеневъ отлучился только для того, чтобы пообѣдать. Насталъ вечеръ. Онъ зажегъ свѣчку съ абажуромъ и принялся за чтеніе. Все было тихо кругомъ. У хозяевъ за перегородкой слышался то сдержанный шопотъ, то зѣвокъ, то вздохъ... Кто-то у нихъ чихнулъ, и его шопотомъ побранили; за ширмами раздавалось тяжелое и неровное дыханіе, изрѣдка прерываемое короткимъ стономъ, да тоскливымъ метаніемъ головы по подушкѣ... Странныя нашли на Берсенева думы. Онъ находился въ комнатѣ человѣка,

жизнь котораго висѣла на ниткѣ, человѣка, котораго, онъ это зналъ, любила Елена... Вспомнилась ему та ночь, когда Шубинъ нагналъ его и объявилъ ему, что она его любитъ, его, Берсенева! А теперь... „Что мнѣ теперь дѣлать?“ спрашивалъ онъ самого себя. „Извѣстить ли Елену объ его болѣзни? Подождать ли? Это извѣстіе печальнѣе того, которое я же ей сообщилъ когда-то: странно, какъ судьба меня все ставитъ третьимъ лицомъ между ними!“ Онъ рѣшилъ, что лучше подождать. Взоры его упали на столъ, покрытый грудами бумагъ... „Исполнитъ ли онъ свои замыслы?“ подумалъ Берсеневъ. „Неужели все исчезнетъ?“ И жалко ему становилось молодой, погибающей жизни, и онъ давалъ себѣ слово ее спасти...

Ночь была нехороша. Больной много бредилъ. Нѣсколько разъ вставалъ Берсеневъ съ своего диванчика, приближался на цыпочкахъ къ постели и печально прислушивался къ его несвязному лепетанію. Разъ только Инсаровъ произнесъ съ внезапной ясностью: „я не хочу, я не хочу, ты не должна“... Берсеневъ вздрогнулъ и посмотрѣлъ на Инсарова: лицо его, страдальческое и мертвенное въ то же время, было неподвижно, и руки лежали безсильно... „Я не хочу“, повторилъ онъ едва слышно.

Докторъ пріѣхалъ поутру, покачалъ головой и прописалъ новыя лѣкарства.

— Еще далеко до кризиса, — сказалъ онъ, надѣвая шляпу.

— А послѣ кризиса?—спросилъ Берсеневъ.

— Послѣ кризиса? Исходъ бываетъ двоякій: aut Caesar, aut nihil.

Докторъ уѣхалъ. Берсеневъ прошелся нѣсколько разъ по улицѣ: ему нуженъ былъ чистый воздухъ. Онъ вернулся и взялся за книгу. Раумера ужъ онъ давно кончилъ: онъ теперь изучалъ Грота.

Вдругъ дверь тихо скрипнула и осторожно вдвинулась въ комнату головка хозяйской дочери, покрытая, по обыкновенію, тяжелымъ платкомъ.

— Здѣсь, — заговорила она вполголоса: — та барышня, что тогда мнѣ гривенничекъ...

Головка хозяйской дочери внезапно скрылась, и на мѣсто ея появилась Елена.

Берсеневъ вскочилъ, какъ ужаленный; но Елена не шевельнулась, не вскрикнула... Казалось, она все поняла въ одно мгновеніе. Страшная блѣдность покрыла ея лицо, она подошла къ ширмамъ, заглянула за нихъ, всплеснула руками и окаменѣла. Еще мгновеніе, и она бы бросилась къ Инсарову, но Берсеневъ остановилъ ее:

— Что̀ вы дѣлаете? — проговорилъ онъ трепещущимъ шопотомъ.—Вы его погубить можете!

Она зашаталась. Онъ подвелъ ее къ диванчику и посадилъ ее.

Она посмотрѣла ему въ лицо, потомъ окинула его взглядомъ, потомъ уставилась на полъ.

— Онъ умираетъ?—спросила она такъ холодно и спокойно, что Берсеневъ испугался.

— Ради Бога, Елена Николаевна,— началъ онъ: — что̀ вы это? Онъ боленъ, точно,—и довольно опасно... Но мы его спасемъ; за это я вамъ ручаюсь.

— Онъ безъ памяти?—спросила она такъ же, какъ въ первый разъ.

— Да, онъ теперь въ забытьи... Это всегда бываетъ въ началѣ этихъ болѣзней, но это ничего не значитъ, ничего,—увѣряю васъ. Выпейте воды.

Она подняла на него глаза, и онъ понялъ, что она не слышала его отвѣтовъ.

— Если онъ умретъ, — проговорила она все тѣмъ же голосомъ:—и я умру.

Инсаровъ въ это мгновеніе простоналъ слегка; она затрепетала, схватила себя за голову, потомъ стала развязывать ленты шляпы.

— Что̀ это вы дѣлаете?—спросилъ ее Берсеневъ.

Она не отвѣчала.

— Что̀ вы дѣлаете?—повторилъ онъ.

— Я остаюсь здѣсь.

— Какъ... надолго?

— Не знаю, можетъ-быть, на весь день, на ночь, навсегда... не знаю.

— Ради Бога, Елена Николаевна, придите въ себя. Я, конечно, никакъ не могъ ожидать васъ здѣсь увидѣть; но я все-таки... предполагаю, что вы зашли сюда на короткое время. Вспомните, васъ могутъ хватиться дома...

— И что̀ же?

— Васъ будутъ искать... Васъ найдутъ...

— И что̀ же?

— Елена Николаевна! Вы видите... Онъ васъ теперь защитить не можетъ.

Она опустила голову, словно задумалась, поднесла платокъ къ губамъ, и судорожныя рыданія, съ потрясающею силою, внезапно исторглись изъ ея груди... Она бросилась лицомъ на диванъ, старалась заглушить ихъ, но все ея тѣло поднималось и билось, какъ только что пойманная птичка.

— Елена Николаевна... ради Бога...—твердилъ надъ ней Берсеневъ.

— А? Что̀ такое?—раздался вдругъ голосъ Инсарова.

Елена выпрямилась, а Берсеневъ такъ и замеръ на мѣстѣ... Погодя немного, онъ подошелъ къ постели. Голова Инсарова попрежнему безсильно лежала на подушкѣ; глаза были закрыты.

— Онъ бредитъ?—прошептала Елена.

— Кажется,—отвѣчалъ Берсеневъ:—но это ничего; это тоже всегда такъ бываетъ, особенно если..

— Когда онъ занемогъ?—перебила Елена.

— Третьяго дня; со вчерашняго дня я здѣсь. Положитесь на меня, Елена Николаевна. Я не отойду отъ него; всѣ средства будутъ употреблены. Если нужно, мы созовемъ консиліумъ.

— Онъ умретъ безъ меня,—воскликнула она, ломая руки.

— Я вамъ даю слово извѣщать васъ ежедневно о ходѣ его болѣзни, и если бы наступила дѣйствительная опасность...

— Клянитесь мнѣ, что вы тотчасъ пошлете за мною когда бы то ни было, днемъ, ночью; пишите записку прямо ко мнѣ... Мнѣ все равно теперь. Слышите ли вы? обѣщаетесь ли вы это сдѣлать?

— Обѣщаюсь, передъ Богомъ.

— Поклянитесь.

— Клянусь.

Она вдругъ схватила его руку, и, прежде чѣмъ онъ успѣлъ ее отдернуть, припала къ ней губами.

— Елена Николаевна... что̀ вы это,—пролепеталъ онъ.

— Нѣтъ... нѣтъ... не надо...—произнесъ невнятно Инсаровъ и тяжело вздохнулъ.

Елена подошла къ ширмамъ, стиснула платокъ зубами и долго-долго глядѣла на больного. Безмолвныя слезы потекли по ея щекамъ.

— Елена Николаевна, — сказалъ ей Берсеневъ: — онъ можетъ придти въ себя, узнать васъ; Богъ знаетъ, хорошо ли это будетъ. Притомъ же я съ часу на часъ жду доктора...

Елена взяла шляпу съ диванчика, надѣла ее и остановилась. Глаза ея печально блуждали по комнатѣ. Казалось, она вспоминала...

— Я не могу уйти,—прошептала она наконецъ.

Берсеневъ пожалъ ей руку.

— Соберитесь съ силами,—промолвилъ онъ:—успокойтесь; вы оставляете его на моемъ попеченіи. Я сегодня же вечеромъ заѣду къ вамъ.

Елена взглянула на него, проговорила:

— О, мой добрый другъ!—зарыдала и бросилась вонъ.

Берсеневъ прислонился къ двери. Чувство горестное и горькое, не лишенное какой-то странной отрады, сдавило ему сердце. „Мой добрый другъ!“ подумалъ онъ, и повелъ плечомъ.

— Кто здѣсь?—послышался голосъ Инсарова.

Берсеневъ подошелъ къ нему.

— Я здѣсь, Дмитрій Никаноровичъ. Что̀ вамъ? Какъ вы себя чувствуете?

— Одинъ?—спросилъ больной.

— Одинъ.

— А она?

— Кто она? — проговорилъ почти съ испугомъ Берсеневъ.

Инсаровъ промолчалъ.

— Резеда,—шепнулъ онъ, и глаза его опять закрылись.

XXVI.

Инсаровъ цѣлыхъ восемь дней находился между жизнью и смертью. Докторъ пріѣзжалъ безпрестанно, интересуясь, опять-таки какъ молодой человѣкъ, труднымъ больнымъ. Шубинъ услышалъ объ опасномъ положеніи Инсарова и завѣстилъ его; явились его соотечественники — болгары; въ числѣ ихъ Берсеневъ узналъ обѣ странныя фигуры, возбудившія его изумленіе своимъ нежданымъ посѣщеніемъ на дачѣ; всѣ изъявили искреннее участіе, нѣкоторые предлагали Берсеневу смѣнить его у постели больного; но онъ не соглашался, помня обѣщаніе, данное Еленѣ. Онъ каждый день ее видѣлъ и украдкой передавалъ ей—иногда на словахъ, иногда въ маленькой записочкѣ—всѣ подробности хода болѣзни. Съ какимъ сердечнымъ замираніемъ она его ожидала, какъ она его выслушивала и разспрашивала! Она сама все порывалась къ Инсарову; но Берсеневъ умолялъ ее этого не дѣлать: Инсаровъ рѣдко бывалъ одинъ. Въ первый день, когда она узнала объ его болѣзни, она сама чуть не занемогла; она, какъ только вернулась, заперлась у себя въ комнатѣ; но ее позвали къ обѣду, и она явилась въ столовую съ такимъ лицомъ, что Анна Васильевна испугалась и хотѣла непремѣнно уложить ее въ постель. Еленѣ, однако, удалось переломить себя. „Если онъ умретъ“, твердила она, „и меня не станетъ“. Эта мысль ее успокоила и дала ей силу казаться равнодушною. Впрочемъ, никто ее слишкомъ не тревожилъ: Анна Васильевна возилась съ своими флюсами; Шубинъ работалъ съ остервенѣніемъ; Зоя предавалась меланхоліи и собиралась прочесть *Вертера*; Николай Артемьевичъ очень былъ недоволенъ частыми посѣщеніями „школяра“, тѣмъ болѣе, что его „предначертанія“ насчетъ Курнатовскаго подвигались туго: практическій оберъ-секретарь недоумѣвалъ и выжидалъ. Елена даже не благодарила Берсенева: есть услуги, за которыя жутко и стыдно благодарить. Только однажды,

въ четвертое свое свиданіе съ нимъ (Инсаровъ очень плохо провелъ ночь, докторъ намекнулъ на консиліумъ), только въ это свиданіе она напомнила ему объ его клятвѣ. „Ну, въ такомъ случаѣ, пойдемте“, сказалъ онъ ей. Она встала и пошла-было одѣваться. „Нѣтъ“, промолвилъ онъ, „подождемте еще до завтра“. Къ вечеру Инсарову полегчило.

Восемь дней продолжалась эта пытка. Елена казалась покойной, но ничего не могла ѣсть, не спала по ночамъ. Тупая боль стояла во всѣхъ ея членахъ; какой-то сухой, горячій дымъ, казалось, наполнялъ ея голову. „Наша барышня какъ свѣча таетъ“, говорила о ней ея горничная.

Наконецъ, на девятый день, переломъ совершился. Елена сидѣла въ гостиной подлѣ Анны Васильевны, и, сама не понимая что́ дѣлала, читала ей *Московскія Вѣдомости*; Берсеневъ вошелъ. Елена взглянула на него (какъ быстръ и робокъ, и проницателенъ, и тревоженъ былъ первый взглядъ, который она на него всякій разъ бросала!) и тотчасъ же догадалась, что онъ принесъ добрую вѣсть. Онъ улыбался; онъ слегка кивалъ ей: она приподнялась ему навстрѣчу.

— Онъ пришелъ въ себя, онъ спасенъ, онъ черезъ недѣлю будетъ совсѣмъ здоровъ,—шепнулъ онъ ей.

Елена протянула руки, какъ будто отклоняя ударъ, и ничего не сказала, только губы ея задрожали, и алая краска разлилась по всему лицу. Берсеневъ заговорилъ съ Анной Васильевной, а Елена ушла къ себѣ, упала на колѣни и стала молиться, благодарить Бога... Легкія, свѣтлыя слезы полились у ней изъ глазъ. Она вдругъ почувствовала крайнюю усталость, положила голову на подушку, шепнула: „бѣдный Андрей Петровичъ!“ и тутъ же заснула, съ мокрыми рѣсницами и щеками. Она давно уже не спала и не плакала.

XXVII.

Слова Берсенева сбылись только отчасти: опасность миновалась, но силы Инсарова возстановлялись медленно, и докторъ поговаривалъ о глубокомъ и общемъ потря-

сеніи всего организма. Со всѣмъ тѣмъ больной оставилъ постель и началъ ходить по комнатѣ; Берсеневъ переѣхалъ къ себѣ на квартиру; но онъ каждый день заходилъ къ своему, все еще слабому, пріятелю, и каждый день, попрежнему, увѣдомлялъ Елену о состояніи его здоровья. Инсаровъ не смѣлъ писать къ ней и только косвенно, въ разговорахъ съ Берсеневымъ, намекалъ на нее; а Берсеневъ, съ притворнымъ равнодушіемъ, разсказывалъ ему о своихъ посѣщеніяхъ у Стаховыхъ, стараясь, однако, дать ему понять, что Елена была очень огорчена и что теперь она успокоилась. Елена тоже не писала Инсарову; у ней иное было въ головѣ.

Однажды, Берсеневъ только что сообщилъ ей съ веселымъ лицомъ, что докторъ уже разрѣшилъ Инсарову съѣсть котлетку, и что онъ, вѣроятно, скоро выйдетъ,— она задумалась, потупилась...

— Угадайте, что̀ я хочу сказать вамъ,—промолвила она.

Берсеневъ смутился. Онъ ее понялъ.

— Вѣроятно,—отвѣтилъ онъ, глянувъ въ сторону:—вы хотите мнѣ сказать, что вы желаете его видѣть.

Елена покраснѣла и едва слышно произнесла:

— Да.

— Такъ что̀ жъ? Это вамъ, я думаю, очень легко „Фи!“ подумалъ онъ: „какое у меня гадкое чувство на сердцѣ“.

— Вы хотите сказать, что я уже прежде... — проговорила Елена. — Но я боюсь... теперь онъ, вы говорите, рѣдко бываетъ одинъ.

— Этому не трудно помочь,—возразилъ Берсеневъ, все не глядя на нее.—Предувѣдомить я его, разумѣется, не могу; но дайте мнѣ записку. Кто вамъ можетъ запретить написать ему, какъ хорошему знакомому, въ которомъ вы принимаете участіе? Тутъ ничего нѣтъ предосудительнаго. Назначьте ему... то-есть, напишите ему, когда вы будете.

— Мнѣ совѣстно,—шепнула Елена.

— Дайте записку, я отнесу.

— Это не нужно, а я хотѣла васъ попросить... не

сердитесь на меня, Андрей Петровичъ... не приходите завтра къ нему!

Берсеневъ закусилъ губу.

— А! Да, понимаю, очень хорошо, очень хорошо. — И прибавивъ два-три слова, онъ быстро удалился.

„Тѣмъ лучше, тѣмъ лучше“, думалъ онъ, спѣша домой. „Я не узналъ ничего новаго, но тѣмъ лучше. Что за охота лѣпиться къ краюшку чужого гнѣзда? Я ни въ чемъ не раскаиваюсь, я сдѣлалъ что̀ мнѣ совѣсть велѣла, но теперь полно. Пусть ихъ! Не даромъ мнѣ говаривалъ отецъ: мы съ тобой, братъ, не сибариты, не аристократы, не баловни судьбы и природы, мы даже не мученики,— мы труженики, труженики и труженики. Надѣвай же свой кожаный фартукъ, труженикъ, да становись за свой рабочій станокъ, въ своей темной мастерской! А солнце пусть другимъ сіяетъ! И въ нашей глухой жизни есть своя гордость и свое счастіе!“

На другое утро Инсаровъ получилъ по городской почтѣ коротенькую записку: „Жди меня“, писала ему Елена: „и вели всѣмъ отказывать. А. П. не придетъ“.

XXVIII.

Инсаровъ прочелъ записку Елены и тотчасъ же сталъ приводить свою комнату въ порядокъ, попросилъ хозяйку унести склянки съ лѣкарствомъ, снялъ шлафрокъ, надѣлъ сюртукъ. Отъ слабости и отъ радости у него голова кружилась и сердце билось. Ноги у него подкосились: онъ опустился на диванъ и сталъ глядѣть на часы. „Теперь три четверти двѣнадцатаго“, сказалъ онъ самому себѣ: „раньше двѣнадцати она никакъ придти не можетъ; буду думать о чемъ-нибудь другомъ въ теченіе четверти часа, а то я не вынесу. Раньше двѣнадцати она никакъ не можетъ“...

Дверь распахнулась, и въ легкомъ шелковомъ платьѣ, вся блѣдная и вся свѣжая, молодая, счастливая, вошла Елена, и съ слабымъ радостнымъ крикомъ упала къ нему на грудь.

— Ты живъ, ты мой, — твердила она, обнимая и ла-

ская его голову. Онъ замеръ весь, онъ задыхался отъ этой близости, отъ этихъ прикосновеній, отъ этого счастія.

Она сѣла возлѣ него, и прижалась къ нему, и стала глядѣть на него тѣмъ смѣющимся и ласкающимъ, и нѣжнымъ взглядомъ, который свѣтится въ однихъ только женскихъ любящихъ глазахъ.

Ея лицо внезапно опечалилось.

— Какъ ты похудѣлъ, мой бѣдный Дмитрій, — сказала она, проводя рукой по его щекѣ:—какая у тебя борода!

— И ты похудѣла, моя бѣдная Елена,—отвѣчалъ онъ, ловя губами ея пальцы.

Она весело встряхнула кудрями.

— Это ничего. Посмотри, какъ мы поправимся! Гроза налетѣла, какъ въ тотъ день, когда мы встрѣтились въ часовнѣ, налетѣла и прошла. Теперь мы будемъ жить!

Онъ отвѣчалъ ей одною улыбкой.

— Ахъ, какіе дни, Дмитрій, какіе жестокіе дни! Какъ это люди переживаютъ тѣхъ, кого они любятъ! Я напередъ всякій разъ знала, что̀ мнѣ Андрей Петровичъ скажетъ, право: моя жизнь падала и поднималась вмѣстѣ съ твоей. Здравствуй, мой Дмитрій!

Онъ не зналъ, что̀ сказать ей. Ему хотѣлось броситься къ ея ногамъ.

— Еще что̀ я замѣтила, — продолжала она, откидывая назадъ его волосы (я много дѣлала замѣчаній все это время, на досугѣ): — когда человѣкъ очень, очень несчастливъ,—съ какимъ глупымъ вниманіемъ онъ слѣдитъ за всѣмъ, что̀ около него происходитъ! Я, право, иногда заглядывалась на муху, а у самой на душѣ такой холодъ и ужасъ! Но это все прошло, прошло, не правда ли? Все свѣтло впереди, не правда ли?

— Ты для меня впереди, — отвѣтилъ Инсаровъ: — для меня свѣтло.

— А для меня-то! А помнишь ли ты, тогда, когда я у тебя была, не въ послѣдній разъ... нѣтъ, не въ послѣдній разъ, — повторила она съ невольнымъ содроганіемъ: — а когда мы говорили съ тобой, я, сама не знаю отчего, упо-

мянула о смерти; я и не подозрѣвала тогда, что она насъ караулила. Но вѣдь ты здоровъ теперь?

— Мнѣ гораздо лучше, я почти здоровъ.

— Ты здоровъ, ты не умеръ. О, какъ я счастлива!

Настало небольшое молчаніе.

— Елена?—спросилъ ее Инсаровъ.

— Что̀, мой милый?

— Скажи мнѣ, не приходило ли тебѣ въ голову, что эта болѣзнь послана намъ въ наказаніе?

Елена серьезно взглянула на него.

— Эта мысль мнѣ въ голову приходила, Дмитрій. Но я подумала: за что же я буду наказана? Какой долгъ я преступила, противъ чего согрѣшила я? Можетъ-быть, совѣсть у меня не такая, какъ у другихъ, но она молчала; или, можетъ-быть, я противъ тебя виновата?—Я тебѣ помѣшаю, я остановлю тебя...

— Ты мнѣ не помѣшаешь, Елена, мы пойдемъ вмѣстѣ.

— Да, Дмитрій, мы пойдемъ вмѣстѣ, я пойду за тобой... Это мой долгъ. Я тебя люблю... Другого долга я не знаю.

— О, Елена!—промолвилъ Инсаровъ: — какія несокрушимыя цѣпи кладетъ на меня каждое твое слово!

— Зачѣмъ говорить о цѣпяхъ?—подхватила она.—Мы съ тобой вольные люди. Да,—продолжала она, задумчиво глядя на полъ, а одной рукой попрежнему разглаживая его волосы: — многое я испытала въ послѣднее время, о чемъ и понятія не имѣла никогда! Если бы мнѣ предсказалъ кто-нибудь, что я, барышня, благовоспитанная, буду уходить одна изъ дома подъ разными сочиненными предлогами, и куда же уходить! къ молодому человѣку на квартиру, — какое я почувствовала бы негодованіе! И это все сбылось, и я никакого не чувствую негодованія. Ей Богу,—прибавила она и обернулась къ Инсарову.

Онъ глядѣлъ на нее съ такимъ выраженіемъ обожанія, что она тихо опустила руку съ его волосъ на его глаза.

— Дмитрій,—начала она снова: — вѣдь ты не знаешь, вѣдь я тебя видѣла тамъ, на этой страшной постели, я видѣла тебя въ когтяхъ смерти, безъ памяти...

— Ты меня видѣла?

— Да.

Онъ помолчалъ.

— И Барсеневъ былъ здѣсь?

Она кивнула головой.

Инсаровъ наклонился къ ней.

— О, Елена! — прошепталъ онъ: — я не смѣю глядѣть за тебя.

— Отчего? Андрей Петровичъ такой добрый! Я его не стыдилась. И чего мнѣ стыдиться? Я готова сказать всему свѣту, что я твоя... А Андрею Петровичу я довѣряю, какъ брату.

— Онъ меня спасъ!—воскликнулъ Инсаровъ.—Онъ благороднѣйшій, добрѣйшій человѣкъ!

— Да... И знаешь ли ты, что я ему всѣмъ обязана? Знаешь ли ты, что онъ мнѣ первый сказалъ, что ты меня любишь? И если бъ я могла все открыть... Да, онъ благороднѣйшій человѣкъ.

Инсаровъ посмотрѣлъ пристально на Елену.

— Онъ влюбленъ въ тебя, не правда ли?

Елена опустила глаза.

— Онъ меня любилъ,—проговорила она вполголоса.

Инсаровъ крѣпко стиснулъ ей руку.

— О, вы, русскіе,—сказалъ онъ:—золотыя у васъ сердца! И онъ, онъ ухаживалъ за мной, онъ не спалъ ночи... И ты, ты, мой ангелъ... Ни упрека, ни колебанія... и это все мнѣ, мнѣ...

— Да, да, все тебѣ, потому что тебя любятъ. Ахъ, Дмитрій! Какъ это странно! Я, кажется, тебѣ уже говорила объ этомъ,—но все равно, мнѣ пріятно это повторить, а тебѣ будетъ пріятно это слушать, — когда я тебя увидала въ первый разъ...

— Отчего у тебя на глазахъ слезы? — перебилъ ее Инсаровъ.

— У меня? слезы? — Она утерла глаза платкомъ. — О, глупый! Онъ еще не знаетъ, что и отъ счастья плачутъ. Такъ я хотѣла сказать: когда я увидала тебя въ первый разъ, я въ тебѣ ничего особеннаго не нашла, право. Я

помню, сначала Шубинъ мнѣ гораздо болѣе понравился, хотя я никогда его не любила, а что касается до Андрея Петровича,—о! тутъ была минута, когда я подумала: ужъ не онъ ли? А ты—ничего; зато... потомъ... потомъ... такъ ты у меня сердце обѣими руками и взялъ!

— Пощади меня...—проговорилъ Инсаровъ. Онъ хотѣлъ встать и тотчасъ же опустился на диванъ.

— Что̀ съ тобой?—заботливо спросила Елена.

— Ничего... я еще немного слабъ... Мнѣ это счастіе еще не по силамъ.

— Такъ сиди смирно. Не извольте шевелиться, не волнуйтесь,—прибавила она, грозя ему пальцемъ.—И зачѣмъ вы вашъ шлафрокъ сняли? Рано еще вамъ щеголять! Сидите, а я вамъ буду сказки разсказывать. Слушайте и молчите. Послѣ вашей болѣзни вамъ много разговаривать вредно.

Она начала говорить ему о Шубинѣ, о Курнатовскомъ, о томъ, что она дѣлала въ теченіе двухъ послѣднихъ недѣль, о томъ, что, судя по газетамъ, война неизбѣжна, и что, слѣдовательно, какъ только онъ выздоровѣетъ совсѣмъ, надо будетъ, не теряя ни минуты, найти средства къ отъѣзду... Она говорила все это, сидя съ нимъ рядомъ, опираясь на его плечо...

Онъ слушалъ ее, слушалъ, то блѣднѣя, то краснѣя... онъ нѣсколько разъ хотѣлъ остановить ее, и вдругъ выпрямился.

— Елена,—сказалъ онъ ей какимъ-то страннымъ и рѣзкимъ голосомъ:—оставь меня, уйди.

— Какъ,—промолвила она съ изумленіемъ.—Ты дурно себя чувствуешь?—прибавила она съ живостью.

— Нѣтъ... мнѣ хорошо... но, пожалуйста, оставь меня.

— Я тебя не понимаю. Ты меня прогоняешь?.. Что это ты дѣлаешь?—проговорила она вдругъ: онъ склонился съ дивана почти до полу, и приникъ губами къ ея ногамъ.—Не дѣлай этого, Дмитрій... Дмитрій...

Онъ приподнялся.

— Такъ оставь меня! Вотъ видишь ли, Елена, когда я сдѣлался боленъ, я не тотчасъ лишился сознанія, я

зналъ, что я на краю гибели; даже въ жару, въ бреду, я понималъ, я смутно чувствовалъ, что это смерть ко мнѣ идетъ, я прощался съ жизнью, съ тобой, со всѣмъ, я разставался съ надеждой... И вдругъ это возрожденіе, этотъ свѣтъ послѣ тьмы, ты... ты... возлѣ меня, у меня... твой голосъ, твое дыханіе... Это свыше силъ моихъ! Я чувствую, что я люблю тебя страстно, я слышу, что ты сама называешь себя моей, я ни за что не отвѣчаю... Уйди!

— Дмитрій...—прошептала Елена, и спрятала къ нему на плечо голову. Она только теперь его поняла.

— Елена, — продолжалъ онъ: — я тебя люблю, ты это знаешь, я жизнь свою готовъ отдать за тебя... зачѣмъ же ты пришла ко мнѣ теперь, когда я слабъ, когда я не владѣю собою, когда вся кровь моя зажжена... ты моя, говоришь ты... ты меня любишь...

— Дмитрій,—повторила она, и вспыхнула вся, и еще тѣснѣе къ нему прижалась.

— Елена, сжалься надо мной — уйди, я чувствую, я могу умереть—я не выдержу этихъ порывовъ... вся душа моя стремится къ тебѣ... подумай, смерть едва не разлучила насъ... и теперь, ты здѣсь, ты въ моихъ объятіяхъ... Елена...

Она затрепетала вся.

— Такъ возьми жъ меня, — прошептала она чуть слышно...

XXIX.

Николай Артемьевичъ ходилъ, нахмуривъ брови, взадъ и впередъ по своему кабинету. Шубинъ сидѣлъ у окна и, положивъ ногу на ногу, спокойно курилъ сигару.

— Перестаньте, пожалуйста, шагать изъ угла въ уголъ,— промолвилъ онъ, отряхая пепелъ съ сигары.—Я все ожидаю, что вы заговорите, слѣжу за вами—шея у меня заболѣла. Притомъ же въ вашей походкѣ есть что-то напряженное, мелодраматическое.

— Вамъ бы все только балагурить, — отвѣтилъ Николай Артемьевичъ. — Вы не хотите войти въ мое положеніе, вы не хотите понять, что я привыкъ къ этой жен-

щинѣ, что я привязанъ къ ней наконецъ, что отсутствіе ея меня должно мучить. Вотъ ужъ октябрь на дворѣ, зима на носу... Что̀ она можетъ дѣлать въ Ревелѣ?

— Должно-быть, чулки вяжетъ.. себѣ; себѣ—не вамъ.

— Смѣйтесь, смѣйтесь; а я вамъ скажу, что я подобной женщины не знаю. Эта честность, это безкорыстіе...

— Подала она вексель ко взысканію?—спросилъ Шубинъ.

— Это безкорыстіе,—повторилъ, возвысивъ голосъ, Николай Артемьевичъ:—это удивительно. Мнѣ говорятъ, на свѣтѣ есть милліонъ другихъ женщинъ; а я скажу: покажите мнѣ этотъ милліонъ; покажите мнѣ этотъ милліонъ, говорю я: ces femmes—qu'on me les montre! И не пишетъ, вотъ что убійственно!

— Вы краснорѣчивы, какъ Пиѳагоръ, —замѣтилъ Шубинъ:—но знаете ли, что̀ бы я вамъ присовѣтовалъ?

— Что̀?

— Когда Августина Христіановна возвратится... вы понимаете меня?

— Ну да; что же?

— Когда вы ее увидите... Вы слѣдите за развитіемъ моей мысли?

— Ну да, да.

— Попробуйте ее побить: что изъ этого выйдетъ?

Николай Артемьевичъ отвернулся съ негодованіемъ.

— Я думалъ, онъ мнѣ въ самомъ дѣлѣ какой-нибудь путный совѣтъ подастъ. Да что отъ него ожидать! Артистъ, человѣкъ безъ правилъ...

— Безъ правилъ! А вотъ, говорятъ, вашъ фаворитъ, господинъ Курнатовскій, человѣкъ съ правилами, вчера васъ на сто рублей серебромъ обыгралъ. Это ужъ не деликатно, согласитесь.

— Что жъ? Мы играли въ коммерческую. Конечно, я могъ ожидать... Но его такъ мало умѣютъ цѣнить въ этомъ домѣ...

— Что онъ подумалъ: куда ни шла!—подхватилъ Шубинъ:—тесть ли онъ мнѣ или нѣтъ—это еще скрыто въ урнѣ судьбы, а сто рублей хорошо человѣку, который взятокъ не беретъ.

— Тесть! Какой я къ чорту тесть? Vous rêvez, mon cher. Конечно, всякая другая дѣвушка обрадовалась бы такому жениху! Посудите сами: человѣкъ бойкій, умный, самъ собою въ люди вышелъ, въ двухъ губерніяхъ лямку теръ...

— Въ .....ой губерніи губернатора за носъ водилъ, — замѣтилъ Шубинъ.

— Очень можетъ быть. Видно, такъ и слѣдовало. Практикъ, дѣлецъ...

— И въ карты хорошо играетъ,—опять замѣтилъ Шубинъ.

— Ну да, и въ карты хорошо играетъ. Но Елена Николаевна... Развѣ ее возможно понять? Желаю я знать, гдѣ тотъ человѣкъ, который бы взялся постигнуть, чего она хочетъ? То она весела, то скучаетъ; похудѣетъ вдругъ такъ, что не смотрѣлъ бы на нее, а тамъ вдругъ поправится, и все это безъ всякой видимой причины...

Вошелъ неблаговидный лакей съ чашкой кофе, сливочникомъ и сухарями на подносѣ.

— Отцу нравится женихъ, — продолжалъ Николай Артемьевичъ, размахивая сухаремъ: — а дочери что до этого за дѣло! Это было хорошо въ прежнія, патріархальныя времена, а теперь мы все это перемѣнили. Nous avons changé tout ça. Теперь барышня разговариваетъ съ кѣмъ ей угодно; читаетъ, что̀ ей угодно; отправляется одна по Москвѣ безъ лакея, безъ служанки, какъ въ Парижѣ; и все это принято. На-дняхъ я спрашиваю: гдѣ Елена Николаевна? Говорятъ, изволила выдти. Куда? Неизвѣстно. Что это—порядокъ?

— Возьмите же вашу чашку, да отпустите человѣка,— промолвилъ Шубинъ. — Сами же вы говорите, что не надо devant les domésticques,—прибавилъ онъ вполголоса.

Лакей исподлобья взглянулъ на Шубина, а Николай Артемьевичъ взялъ чашку, налилъ себѣ сливокъ и сгребъ штукъ десять сухарей.

— Я хотѣлъ сказать,—началъ онъ, какъ только лакей вышелъ:—что я ничего въ этомъ домѣ не значу. Вотъ и все. Потому, въ наше время всѣ судятъ по наружности:

иной человѣкъ и пустъ, и глупъ, да важно себя держитъ — его уважаютъ; а другой, можетъ-быть, обладаетъ талантами, которые могли бы... могли бы принести великую пользу, но по скромности...

— Вы государственный человѣкъ, Николинька?—спросилъ Шубинъ тоненькимъ голоскомъ.

— Полноте паясничать! — воскликнулъ съ сердцемъ Николай Артемьевичъ. — Вы забываетесь! Вотъ вамъ новое доказательство, что я въ этомъ домѣ ничего не значу, ничего!

— Анна Васильевна васъ притѣсняетъ... бѣдненькій!— проговорилъ, потягиваясь, Шубинъ. — Эхъ, Николай Артемьевичъ, грѣшно намъ съ вами! Вы бы лучше какой-нибудь подарочекъ для Анны Васильевны приготовили. На-дняхъ ея рожденіе, а вы знаете, какъ она дорожитъ малѣйшимъ знакомъ вниманія съ вашей стороны.

— Да, да, — торопливо отвѣтилъ Николай Артемьевичъ:—очень вамъ благодаренъ, что напомнили. Какъ же, какъ же; непремѣнно. Да вотъ, есть у меня вещица: фермуарчикъ, я его на-дняхъ купилъ у Розенштрауха; только не знаю, право, годится ли?

— Вѣдь вы его для той, для ревельской жительницы купили?

— То-есть... я... да... я думалъ...

— Ну, въ такомъ случаѣ, навѣрное годится.

Шубинъ поднялся со стула.

— Куда бы намъ сегодня вечеромъ, Павелъ Яковлевичъ, а? — спросилъ его Николай Артемьевичъ, любезно заглядывая ему въ глаза.

— Да вѣдь вы въ клубъ поѣдете.

— Послѣ клуба... послѣ клуба.

Шубинъ опять потянулся.

— Нѣтъ, Николай Артемьевичъ, мнѣ нужно завтра работать. До другого раза.—И онъ вышелъ.

Николай Артемьевичъ насупился, прошелся раза два по комнатѣ, досталъ изъ бюро бархатный ящичекъ съ „фермуарчикомъ“, и долго его разсматривалъ и обтиралъ фуляромъ. Потомъ онъ сѣлъ передъ зеркаломъ и при-

нялся старательно расчесывать свои густые черные волосы, съ важностію на лицѣ наклоняя голову то направо, то налѣво, упирая въ щеку языкомъ и не спуская глазъ съ пробора. Кто-то кашлянулъ за его спиною: онъ оглянулся и увидалъ лакея, который приносилъ ему кофе.

— Ты зачѣмъ?—спросилъ онъ его.

— Николай Артемьевичъ!—проговорилъ не безъ нѣкоторой торжественности лакей:—вы нашъ баринъ!

— Знаю: что̀ же дальше!

— Николай Артемьевичъ, вы не извольте на меня прогнѣваться; только я, будучи у вашей милости на службѣ съ малыхъ лѣтъ, изъ рабскаго, значитъ, усердія должо̀нъ вашей милости донести...

— Да что̀ такое?

Лакей помялся на мѣстѣ.

— Вы вотъ изволите говорить, — началъ онъ:—что не изволите знать, куда Елена Николаевна отлучаться изволятъ. Я про то извѣстенъ сталъ.

— Что ты врешь, дуракъ?!

— Вся ваша воля, а только я ихъ четвертаго дня видѣлъ, какъ онѣ въ одинъ домъ изволили войти.

— Гдѣ? что̀? какой домъ?

— Въ .....мъ переулкѣ возлѣ Поварской. Недалече отсюда. Я и у дворника спросилъ, что, молъ, у васъ тутъ, какіе жильцы?

Николай Артемьевичъ затопалъ ногами.

— Молчать, бездѣльникъ! Какъ ты смѣешь?.. Елена Николаевна, по добротѣ своей, бѣдныхъ посѣщаетъ, а ты... Вонъ дуракъ!

Испуганный лакей бросился-было къ двери.

— Стой! — воскликнулъ Николай Артемьевичъ. — Что̀ тебѣ дворникъ сказалъ?

— Да ни... ничего не сказалъ. Говоритъ, сту... студентъ.

— Молчать, бездѣльникъ! Слушай, мерзавецъ, если ты хоть во снѣ кому-нибудь объ этомъ проговоришься...

— Помилуйте-съ...

— Молчать! если ты хоть пикнешь... если кто-нибудь...

если я узнаю... Ты у меня и подъ землей-то мѣста не найдешь! Слышишь? Убирайся!

Лакей исчезъ.

„Господи, Боже мой! Что̀ это значить?“ подумалъ Николай Артемьевичъ, оставшись одинъ: „что̀ мнѣ сказалъ этотъ болванъ? А? Надо будетъ однако узнать, какой это домъ, и кто тамъ живетъ. Самому сходить. Вотъ до чего дошло наконецъ!.. Un laquais! Quelle humiliation!“

И повторивъ громко: un laquais! Николай Артемьевичъ заперъ фермуаръ въ бюро, и отправился къ Аннѣ Васильевнѣ. Онъ нашелъ ее въ постели, съ повязанною щекой. Но видъ ея страданій только раздражилъ его, и онъ очень скоро довелъ ее до слезъ.

XXX.

Между тѣмъ гроза, собиравшаяся на Востокѣ, разразилась. Турція объявила Россіи войну; срокъ, назначенный для очищенія княжествъ, уже минулъ; уже не далекъ былъ день Синопскаго погрома. Послѣднія письма, полученныя Инсаровымъ, неотступно звали его на родину. Здоровье его все еще не поправилось: онъ кашлялъ, чувствовалъ слабость, легкіе приступы лихорадки, но онъ почти не сидѣлъ дома. Душа его загорѣлась, онъ уже не думалъ о болѣзни. Онъ безпрестанно разъѣзжалъ по Москвѣ, видѣлся украдкой съ разными лицами, писалъ по цѣлымъ ночамъ, пропадалъ по цѣлымъ днямъ; хозяину онъ объявилъ, что скоро выѣзжаетъ, и заранѣе подарилъ ему свою незатѣйливую мебель. Съ своей стороны, Елена также готовилась къ отъѣзду. Въ одинъ ненастный вечеръ она сидѣла въ своей комнатѣ и, обрубая платки, съ невольнымъ уныніемъ прислушивалась къ завываніямъ вѣтра. Ея горничная вошла и сказала ей, что папенька въ маменькиной спальнѣ и зоветъ ее туда... „Маменька плачутъ“, шепнула она вслѣдъ уходившей Еленѣ: „а папенька гнѣваются“...

Елена слегка пожала плечами и вошла въ спальню Анны Васильевны. Добродушная супруга Николая Артемьевича полулежала въ откидномъ креслѣ и нюхала пла-

гокъ съ одеколономъ; самъ онъ стоялъ у камина, застёгнутый на всѣ пуговицы, въ высокомъ, твердомъ галстукѣ и туго-накрахмаленныхъ воротничкахъ, смутно напоминая своей осанкой какого-то парламентскаго оратора. Ораторскимъ движеніемъ руки указалъ онъ своей дочери на стулъ, и когда та, не поняви его движенія, вопросительно посмотрѣла на него, онъ промолвилъ съ достоинствомъ, но не оборачивая головы: „прошу васъ сѣсть". (Николай Артемьевичъ всегда говорилъ женѣ *вы*, дочери— въ экстраординарныхъ случаяхъ.)

Елена сѣла.

Анна Васильевна слезливо высморкалась. Николай Артемьевичъ заложилъ правую руку за бортъ сюртука.

— Я васъ призвалъ, Елена Николаевна, — началъ онъ послѣ продолжительнаго молчанія:—съ тѣмъ, чтобъ объясниться съ вами, или, лучше сказать, съ тѣмъ, чтобы потребовать отъ васъ объясненій. Я вами недоволенъ, или нѣтъ: это слишкомъ мало сказано; ваше поведеніе огорчаетъ, оскорбляетъ меня—меня и вашу мать... вашу мать, которую вы здѣсь видите.

Николай Артемьевичъ пускалъ въ ходъ однѣ басовыя ноты своего голоса. Елена молча посмотрѣла на него, потомъ на Анну Васильевну, и поблѣднѣла.

— Было время,—началъ снова Николай Артемьевичъ:— когда дочери не позволяли себѣ глядѣть свысока на своихъ родителей, — когда родительская власть заставляла трепетать непокорныхъ. Это время прошло, къ сожалѣнію; такъ, по крайней мѣрѣ, думаютъ многіе; но повѣрьте, еще существуютъ законы, не позволяющіе... не позволяющіе... словомъ, еще существуютъ законы. Прошу васъ обратить на это вниманіе: законы существуютъ.

— Но, папенька,—начала-было Елена...

— Прошу васъ не перебивать меня. Перенесемся мыслію въ прошедшее. Мы съ Анной Васильевной исполнили свой долгъ. Мы съ Анной Васильевной ничего не жалѣли для вашего воспитанія: ни издержекъ, ни попеченій. Какую вы пользу извлекли изъ всѣхъ этихъ попеченій, этихъ издержекъ — это другой вопросъ; но я имѣлъ право ду-

мать... мы съ Анной Васильевной имѣли право думать, что вы, по крайней мѣрѣ, свято сохраните тѣ правила нравственности, которыя... которыя мы вамъ, какъ нашей единственной дочери... que nous vous avons inculqués, которыя мы вамъ внушили. Мы имѣли право думать, что никакія новыя „идеи“ не коснутся этой, такъ сказать, завѣтной святыни. И что̀ же? Не говорю уже о легкомысліи, свойственномъ вашему полу, вашему возрасту... но кто могъ ожидать, что вы до того забудетесь...

— Папенька,—проговорила Елена:—я знаю, что̀ вы хотите сказать...

— Нѣтъ, ты не знаешь, что̀ я хочу сказать!—вскрикнулъ фальцетомъ Николай Артемьевичъ, внезапно измѣнивъ и величавости парламентской осанки, и плавной важности рѣчи, и басовымъ нотамъ:—ты не знаешь, дерзкая дѣвчонка...

— Ради Бога, Nicolas,—пролепетала Анна Васильевна:—vous me faites mourir.

— Не говорите мнѣ этого, que je vous fais mourir, Анна Васильевна! Вы себѣ и представить не можете, что̀ вы сейчасъ услышите! Приготовьтесь къ худшему, предупреждаю васъ!

Анна Васильевна такъ и обомлѣла.

— Нѣтъ,—продолжалъ Николай Артемьевичъ, обратившись къ Еленѣ:—ты не знаешь, что̀ я хочу сказать!

— Я виновата передъ вами,—начала она...

— А, наконецъ-то?

— Я виновата передъ вами,—продолжала Елена:—въ томъ, что давно не призналась...

— Да ты знаешь ли,—перебилъ ее Николай Артемьевичъ:—что я могу уничтожить тебя однимъ словомъ?

Елена подняла на него глаза.

— Да, сударыня, однимъ словомъ! Нечего глядѣть-то! (Онъ скрестилъ руки на груди.) Позвольте васъ спросить, извѣстенъ ли вамъ нѣкоторый домъ въ ...мъ переулкѣ, возлѣ Поварской? Вы посѣщали этотъ домъ? (Онъ топнулъ ногой.) Отвѣчай же, негодная, и не думай хитрить! Люди,

люди, лакеи, сударыня, de vils laquais видѣли васъ, какъ вы входили туда, къ вашему...

Елена вся вспыхнула, и глаза ея заблистали.

— Мнѣ не за чѣмъ хитрить,—промолвила она:—да, я посѣщала этотъ домъ.

— Прекрасно! Слышите, слышите, Анна Васильевна. И вы, вѣроятно, знаете, кто въ немъ живетъ?

— Да, знаю: мой мужъ.

Николай Артемьевичъ вытаращилъ глаза.

— Твой...

— Мой мужъ,—повторила Елена.—Я замужемъ за Дмитріемъ Никаноровичемъ Инсаровымъ.

— Ты?... замужемъ?.. — едва проговорила Анна Васильевна.

— Да, мамаша... Простите меня. Двѣ недѣли тому назадъ, мы обвѣнчались тайно.

Анна Васильевна упала въ кресло; Николай Артемьевичъ отступилъ на два шага.

— Замужемъ! За этимъ оборвышемъ, черногорцемъ! Дочь столбового дворянина Николая Стахова вышла за бродягу, за разночинца! Безъ родительскаго благословенія! И ты думаешь, что я это такъ оставлю? что я не буду жаловаться? что я позволю тебѣ... что ты... что... Въ монастырь тебя, а его въ каторгу, въ арестантскія роты! Анна Васильевна, извольте сейчасъ сказать ей, что вы лишаете ее наслѣдства!

— Николай Артемьевичъ, ради Бога,—простонала Анна Васильевна.

— И когда, какимъ образомъ это сдѣлалось? Кто васъ вѣнчалъ? гдѣ? какъ? Боже мой! Что скажутъ теперь всѣ знакомые, весь свѣтъ! И ты, безстыдная притворщица, могла послѣ этакого поступка жить подъ родительской кровлей! Ты не побоялась... грома небеснаго?

— Папенька,—проговорила Елена (она вся дрожала съ ногъ до головы, но голосъ ея былъ твердъ):—вы вольны дѣлать со мною все, что угодно, но напрасно вы обвиняете меня въ безстыдствѣ и въ притворствѣ. Я не хотѣла... огорчать васъ заранѣе, но я поневолѣ на-дняхъ

сама бы все вамъ сказала, потому что мы на будущей недѣлѣ уѣзжаемъ отсюда съ мужемъ.

— Уѣзжаете? Куда это?

— На его родину, въ Болгарію.

— Къ туркамъ! — воскликнула Анна Васильевна и лишилась чувствъ.

Елена бросилась къ матери.

— Прочь! — возопилъ Николай Артемьевичъ, и схватилъ дочь за руку: — прочь, недостойная!

Но въ это мгновеніе дверь спальни отворилась и показалась блѣдная голова, съ сверкающими глазами; то была голова Шубина.

— Николай Артемьевичъ! — крикнулъ онъ во весь голосъ: — Августина Христіановна пріѣхала и зоветъ васъ!

Николай Артемьевичъ съ бѣшенствомъ обернулся, потрозилъ Шубину кулакомъ, остановился на минуту и быстро вышелъ изъ комнаты.

Елена упала къ ногамъ матери и обняла ея колѣни.

Уваръ Ивановичъ лежалъ на своей постели. Рубашка безъ ворота, съ крупною запонкой, охватывала его полную шею и расходилась широкими, свободными складками на его почти женской груди, оставляя на виду большой кипарисовый крестъ и ладонку. Легкое одѣяло покрывало его пространные члены. Свѣча тускло горѣла на ночномъ столикѣ, возлѣ кружки съ квасомъ, а въ ногахъ Увара Ивановича, на постели, сидѣлъ, подгорюнившись, Шубинъ.

— Да, — задумчиво говорилъ онъ: — она замужемъ и собирается уѣхать. Вашъ племянничекъ шумѣлъ и оралъ на весь домъ; заперся, для секрету, въ спальню, а не только лакеи и горничныя, — кучера все слышать могли! Онъ и теперь такъ и рветъ и мечетъ, со мной чуть не подрался, съ отцовскимъ проклятіемъ носится, какъ медвѣдь съ чурбакомъ; да не въ немъ сила. Анна Васильевна убита, но ее гораздо больше сокрушаетъ отъѣздъ дочери, чѣмъ ея замужество.

Уваръ Ивановичъ поигралъ пальцами.

— Мать,—проговорилъ онъ:—ну... и того.

— Племянникъ вашъ,—продолжалъ Шубинъ:—грозится к митрополиту, и генералъ-губернатору, и министру жалобы подать, а кончится тѣмъ, что она уѣдетъ. Кому весело свою родную дочь губить! Попѣтушится и опуститъ хвостъ.

— Пра̀ва... не имѣютъ,—замѣтилъ Уваръ Ивановичъ и отпилъ изъ кружки.

— Такъ, такъ. А какая поднимется по Москвѣ туча осужденій, пересудовъ, толковъ! Она ихъ не испугалась... Впрочемъ, она выше ихъ. Уѣзжаетъ она—и куда! даже страшно подумать! Въ какую даль, въ какую глушь! Что ждетъ ее тамъ? Я гляжу на нее, точно она ночью, в метель, въ тридцать градусовъ мороза, съ постоялаг двора съѣзжаетъ. Разстается съ родиной, съ семьей; я ее понимаю. Кого она здѣсь оставляетъ? Кого видѣла Курнатовскихъ, да Берсеневыхъ, да нашего брата; и эт еще лучшіе. Чего тутъ жалѣть? Одно худо: говорятъ, мужъ, — чортъ знаетъ, языкъ какъ-то не поворачивает на это слово,—говорятъ, Инсаровъ кровью кашляетъ; э худо. Я его видѣлъ на-дняхъ: лицо, хоть сейчасъ лѣпи с него Брута... Вы знаете, кто былъ Брутъ, Уваръ Ивановичъ?

— Что знать? человѣкъ.

— Именно: „человѣкъ онъ былъ“. Да, лицо чудесное, а нездоровое, очень нездоровое.

— Сражаться-то... все равно,—проговорилъ Уваръ Ивановичъ.

— Сражаться-то все равно, точно; вы сегодня совершенно справедливо изволите выражаться; да жить-то не все равно. А вѣдь ей съ нимъ пожить захочется.

— Дѣло молодое,—отозвался Уваръ Ивановичъ.

— Да, молодое, славное, смѣлое дѣло. Смерть, жизнь, борьба, паденіе, торжество, любовь, свобода, родина... Хорошо, хорошо. Дай Богъ всякому! Это не то, что сидѣть по горло въ болотѣ, да стараться показывать видъ, что тебѣ все равно, когда тебѣ, дѣйствительно, въ сущности все равно. А тамъ—натянуты струны, звени на весь міръ или порвись!

Шубинъ уронилъ голову на грудь.

— Да,—продолжалъ онъ послѣ долгаго молчанія:—Инсаровъ ея стòитъ. А, впрочемъ, что за вздоръ! Никто ея не стòитъ. Инсаровъ... Инсаровъ... Къ чему ложное смиреніе? Ну, положимъ, онъ молодецъ, онъ постоитъ за себя, хотя до сихъ поръ дѣлалъ то же, что и мы грѣшные, да будто ужъ мы такая совершенная дрянь? Ну хоть я, развѣ я дрянь, Уваръ Ивановичъ? Развѣ Богъ меня такъ-таки всѣмъ и обидѣлъ? Никакихъ способностей, никакихъ талантовъ мнѣ не далъ? Кто знаетъ, можетъ-быть, имя Павла Шубина будетъ современемъ славное имя? Вотъ, у васъ на столѣ лежитъ мѣдный грошъ. Кто знаетъ, можетъ-быть, когда-нибудь, черезъ столѣтіе, эта мѣдь пойдетъ на статую Павла Шубина, воздвигнутую въ честь ему благодарнымъ потомствомъ?

Уваръ Ивановичъ оперся на локоть и уставился на разгорячившагося художника.

— Далека пѣсня,—проговорилъ онъ наконецъ, съ обычною игрой пальцевъ: — о другихъ рѣчь, а ты... того... о себѣ.

— О, великій философъ земли русской! — воскликнулъ Шубинъ.—Каждое ваше слово—чистое золото, и не мнѣ,—вамъ слѣдуетъ воздвигнуть статую, и за это берусь я. Вотъ, какъ вы теперь лежите, въ этой позѣ, — про которую не знаешь, что̀ въ ней больше — лѣни или силы? — такъ я васъ и отолью. Справедливымъ укоромъ поразили вы мой эгоизмъ и мое самолюбіе! Да! да! нечего говорить о себѣ: нечего хвастаться. Нѣтъ еще у насъ никого, нѣтъ людей, куда ни посмотри. Все — либо мелюзга, грызуны, гамлетики, самоѣды, либо темнота и глушь подземная, либо толкачи, изъ пустого въ порожнее переливатели да палки барабанныя! А то вотъ еще какіе бываютъ: до позорной тонкости самихъ себя изучили, щупаютъ безпрестанно пульсъ каждому своему ощущенію и докладываютъ самимъ себѣ: вотъ что̀ я, молъ, чувствую, вотъ что̀ я думаю. Полезное, дѣльное занятіе! Нѣтъ, кабы были между нами путные люди, не ушла бы отъ насъ эта дѣвушка, эта чуткая душа, не ускользнула бы, какъ рыба въ воду!

Что жъ это, Уваръ Ивановичъ? Когда жъ наша придетъ пора? Когда у насъ народятся люди?

— Дай срокъ,—отвѣтилъ Уваръ Ивановичъ:—будутъ.

— Будутъ? Почва! черноземная сила! ты сказала: будутъ? Смотрите же, я запишу ваше слово. Да зачѣмъ же вы гасите свѣчку?

— Спать хочу, прощай.

XXXI.

Шубинъ сказалъ правду. Неожиданное извѣстіе о свадьбѣ Елены чуть не убило Анны Васильевны. Она слегла въ постель. Николай Артемьевичъ потребовалъ отъ нея, чтобъ она не пускала своей дочери къ себѣ на глаза; онъ какъ будто обрадовался случаю показать себя въ полномъ значеніи хозяина дома, во всей силѣ главы семейства: онъ безпрерывно шумѣлъ и гремѣлъ на людей, то и дѣло приговаривая: „я вамъ докажу, кто я таковъ, я вамъ дамъ знать—погодите?“ Пока онъ сидѣлъ дома, Анна Васильевна не видѣла Елены и довольствовалась присутствіемъ Зои, которая очень усердно ей услуживала, а сама думала про себя: „Diesen Insaroff vorziehen—und wem?“ Но какъ только Николай Артемьевичъ уѣзжалъ (а это случалось довольно часто: Августина Христіановна взаправду вернулась), Елена являлась къ своей матери—и та, долго, молча, со слезами глядѣла на нее. Этотъ нѣмой укоръ глубже всякаго другого проникалъ въ сердце Елены; не раскаяніе чувствовала она тогда, но глубокую, безконечную жалость, похожую на раскаяніе.

— Мамаша, милая мамаша! — твердила она, цѣлуя ея руки:—что же было дѣлать? Я не виновата, я полюбила его, я не могла поступить иначе. Вините судьбу! она меня свела съ человѣкомъ, который не нравится папенькѣ, который увозитъ меня отъ васъ.

— Охъ!—перебивала ее Анна Васильевна: — не напоминай мнѣ объ этомъ. Какъ я вспомню, куда ты хочешь ѣхать, сердце у меня такъ и покатится!

— Милая мамаша,—отвѣчала Елена:—утѣшьтесь хоть тѣмъ, что могло быть и хуже: я могла бы умереть.

— Да я и такъ не надѣюсь больше тебя видѣть. Либо ты кончишь жизнь тамъ, гдѣ-нибудь, подъ шалашомъ (Аннѣ Васильевнѣ Болгарія представлялась чѣмъ-то въ родѣ сибирскихъ тундръ), либо я не перенесу разлуки...

— Не говорите этого, добрая мамаша, мы еще увидимся, Богъ дастъ. А въ Болгаріи такіе же города, какъ здѣсь.

— Какіе тамъ города! Тамъ война теперь идетъ; теперь тамъ, я думаю, куда ни поди, все изъ пушекъ стрѣляютъ... Скоро ты ѣхать собираешься?

— Скоро... если только папенька... Онъ хочетъ жаловаться, онъ грозится развести насъ.

Анна Васильевна подняла глаза къ небу.

— Нѣтъ, Леночка, онъ не будетъ жаловаться. Я бы сама ни за что не согласилась на эту свадьбу, скорѣе умерла бы; да вѣдь сдѣланнаго не воротишь, а я не дамъ позорить мою дочь.

Такъ прошло нѣсколько дней. Наконецъ, Анна Васильевна собралась съ духомъ, и въ одинъ вечеръ заперлась съ своимъ мужемъ наединѣ въ спальнѣ. Все въ домѣ притихло и приникло. Сперва ничего не было слышно; потомъ загудѣлъ голосъ Николая Артемьевича, потомъ завязался споръ, поднялись крики, почудились даже стенанія... Уже Шубинъ вмѣстѣ съ горничными и Зоей собирался снова явиться на выручку, но шумъ въ спальнѣ сталъ понемногу ослабѣвать, перешелъ въ говоръ, и умолкъ. Только изрѣдка раздавались слабыя всхлипыванья—и тѣ прекратились. Зазвенѣли ключи, послышался визгъ отворяемаго бюро... Дверь раскрылась и появился Николай Артемьевичъ. Сурово посмотрѣлъ онъ на всѣхъ встрѣчныхъ и отправился въ клубъ; а Анна Васильевна потребовала къ себѣ Елену, крѣпко обняла ее и, залившись горькими слезами, промолвила:

— Все улажено, онъ не будетъ поднимать исторіи, и ничего теперь тебѣ не мѣшаетъ уѣхать... бросить насъ.

— Вы позволите Дмитрію придти благодарить васъ,— спросила Елена свою мать, какъ только та немного успокоилась.

— Подожди, душа моя, не могу я теперь видѣть на-
іего разлучника. Передъ отъѣздомъ успѣемъ.

— Передъ отъѣздомъ,—печально повторила Елена.

Николай Артемьевичъ согласился „не поднимать исто-
іи“; но Анна Васильевна не сказала своей дочери, какую
ѣну онъ положилъ своему согласію. Она не сказала ей,
то обѣщалась заплатить всѣ его долги, да съ рукъ на
руки дала ему тысячу рублей серебромъ. Сверхъ того,
нъ рѣшительно объявилъ Аннѣ Васильевнѣ, что не же-
іаетъ встрѣтиться съ Инсаровымъ, котораго продолжалъ
іеличать черногорцемъ, а пріѣхавши въ клубъ, безо вся-
кой нужды заговорилъ о свадьбѣ Елены—со своимъ парт-
іеромъ, отставнымъ инженернымъ генераломъ. „Вы слы-
шали“, промолвилъ онъ съ притворною небрежностью:
„дочь моя, отъ очень большой учености, вышла замужъ
за какого-то студента“. Генералъ посмотрѣлъ на него че-
резъ очки, промычалъ: „Гмъ!“ и спросилъ его, въ чемъ
онъ играетъ?

XXXII.

А день отъѣзда приближался. Ноябрь ужъ истекалъ,
проходили послѣдніе сроки. Инсаровъ давно кончилъ всѣ
свои сборы, и горѣлъ желаніемъ поскорѣе вырваться изъ
Москвы. И докторъ его торопилъ: „вамъ нуженъ теплый
климатъ“, говорилъ онъ ему: „вы здѣсь не поправитесь“.
Нетерпѣніе томило и Елену; ее тревожила блѣдность Ин-
сарова, его худоба. Она часто съ невольнымъ испугомъ
глядѣла на его измѣнившіяся черты. Положеніе ея въ ро-
дительскомъ домѣ становилось невыносимымъ. Мать при-
читала надъ ней, какъ надъ мертвою, а отецъ обходился
съ ней презрительно-холодно: близость разлуки втайнѣ
мучила и его, но онъ считалъ своимъ долгомъ, долгомъ
оскорбленнаго отца, скрывать свои чувства, свою слабость.
Анна Васильевна пожелала, наконецъ, увидѣться съ Инса-
ровымъ. Его провели къ ней тихонько, черезъ заднее
крыльцо. Когда онъ вошелъ къ ней въ комнату, она долго
не могла заговорить съ нимъ, не могла даже рѣшиться
взглянуть на него; онъ сѣлъ возлѣ ея кресла, и съ спо-

койной почтительностію ожидалъ перваго ея слова. Еле сидѣла тутъ же и держала въ рукѣ своей руку матер Анна Васильевна подняла, наконецъ, глаза, промолви „Богъ вамъ судья, Дмитрій Никаноровичъ...“ и останов лась: упреки замерли на ея устахъ.

— Да вы больны, — воскликнула она: — Елена, онъ тебя болепъ!

— Я былъ нездоровъ, Анна Васильевна, — отвѣти Инсаровъ: — и теперь еще не совсѣмъ поправился; но надѣюсь, родной воздухъ меня возстановитъ окончатель

— Да... Болгарія!—пролепетала Анна Васильевна и думала: „Боже мой, болгаръ, умирающій, голосъ какъ и бочки, глаза какъ лукошко, скелетъ скелетомъ, сюрту на немъ съ чужого плеча, желтъ какъ пупавка — и о его жена, она его любитъ... да это сонъ какой-то“... И она тотчасъ же спохватилась.—Дмитрій Никаноровичъ, проговорила она: — вы непремѣнно... непремѣнно долж ѣхать?

— Непремѣнно, Анна Васильевна.

Анна Васильевна посмотрѣла на него.

— Охъ, Дмитрій Никаноровичъ, не дай вамъ Богъ исп тать то, что я теперь испытываю... Но вы обѣщает мнѣ беречь ее, любить ее... Нужды вы терпѣть не буде пока я жива!

Слезы заглушили ея голосъ. Она раскрыла свои об тія, и Елена и Инсаровъ припали къ ней.

Роковой день наступилъ наконецъ. Положено бы чтобы Елена простилась съ родителями — дома, а пус лась бы въ путь—съ квартиры Инсарова. Отъѣздъ бы назначенъ въ двѣнадцать часовъ. За четверть часа срока пришелъ Берсеневъ. Онъ полагалъ, что застане у Инсарова его соотечественниковъ, которые захотятъ е проводить; но они уже всѣ впередъ уѣхали; уѣхали так и извѣстныя читателю двѣ таинственныя личности (о служили свидѣтелями на свадьбѣ Инсарова). Порт встрѣтилъ съ поклономъ „добраго барина“; онъ, долж быть, съ горя, а можетъ и съ радости, что мебель

оставалась, сильно выпилъ; жена скоро его увела. Въ комнатѣ уже все было прибрано; чемоданъ, перевязанный веревкой, стоялъ на полу. Берсеневъ задумался: много воспоминаній прошло у него по душѣ.

Двѣнадцать часовъ давно пробило, и ямщикъ уже привелъ лошадей, а „молодые“ все еще не являлись. Наконецъ послышались торопливые шаги на лѣстницѣ, и Елена вошла въ сопровожденіи Инсарова и Шубина. У Елены глаза были красны: она оставила мать свою лежащую въ обморокѣ; прощаніе было очень тяжело. Елена уже больше недѣли не видѣла Берсенева: въ послѣднее время онъ рѣдко ходилъ къ Стаховымъ. Она не ожидала его встрѣтить, вскрикнула: „вы! благодарствуйте!“ и бросилась ему на шею; Инсаровъ тоже его обнялъ. Настало томительное молчаніе. Что̀ могли сказать эти три человѣка, что̀ чувствовали эти три сердца? Шубинъ понялъ необходимость живымъ звукомъ, словомъ прекратить все томленіе.

— Собралось опять наше тріо, — заговорилъ онъ:— въ послѣдній разъ! Покоримся велѣніямъ судьбы, помянемъ прошлое добромъ, и съ Богомъ на новую жизнь! „Съ Богомъ, въ дальнюю дорогу“, — запѣлъ онъ и остановился. Ему вдругъ стало совѣстно и неловко. Грѣшно пѣть тамъ, гдѣ лежитъ покойникъ; а въ это мгновеніе, въ этой комнатѣ, умирало то прошлое, о которомъ онъ упомянулъ, прошлое людей, собравшихся въ нее. Оно умирало для возрожденія къ новой жизни, положимъ... но все-таки умирало.

— Ну, Елена,—началъ Инсаровъ, обращаясь къ женѣ:— кажется, все? Все заплачено, уложено. Остается только этотъ чемоданъ стащить. Хозяинъ!

Хозяинъ вошелъ въ комнату вмѣстѣ съ женой и дочерью. Онъ выслушалъ, слегка качаясь, приказаніе Инсарова, взвалилъ чемоданъ къ себѣ на плечи и быстро побѣжалъ внизъ по лѣстницѣ, стуча сапогами.

— Теперь, по русскому обычаю, сѣсть надо,—замѣтилъ Инсаровъ.

Всѣ сѣли: Берсеневъ помѣстился на старомъ диванчикѣ; Елена сѣла возлѣ него; хозяйка съ дочкой прикор-

нули на порогѣ. Всѣ умолкли; всѣ улыбались напряженн и никто не зналъ, зачѣмъ онъ улыбается; каждому хотѣ лось что-то сказать на прощанье, и каждый (за исклю ченіемъ, разумѣется, хозяйки и ея дочери: тѣ толь глаза таращили), каждый чувствовалъ, что въ подобны мгновенья позволительно сказать одну лишь пошлость, чт всякое значительное, или умное, или просто задушевно слово, было бы чѣмъ-то неумѣстнымъ, почти ложным Инсаровъ поднялся первый и сталъ креститься... „Про щай, наша комната!“ воскликнулъ онъ.

Раздались поцѣлуи, звонкіе, но холодные поцѣлуи ра луки, напутственныя, недосказанныя желанія, обѣщані писать, послѣднія, полусдавленныя прощальныя слова...

Елена, вся въ слезахъ, уже садилась въ повозку; Инса ровъ заботливо покрывалъ ея ноги ковромъ; Шубин Берсеневъ, хозяинъ, его жена, дочка съ неизбѣжным платкомъ на головѣ, дворникъ, посторонній мастерово въ полосатомъ халатѣ — всѣ стояли у крыльца, как вдругъ на дворъ влетѣли богатыя сани, запряженны лихимъ рысакомъ, и изъ саней, стряхая снѣгъ съ во ротника шинели, выскочилъ Николай Артемьевичъ.

— Засталъ еще, слава Богу,—воскликнулъ онъ, и по бѣжалъ къ повозкѣ.—Вотъ тебѣ, Елена, наше послѣдне родительское благословеніе, — сказалъ онъ, нагнувши подъ балчукъ, и, доставъ изъ кармана сюртука маленьк образокъ, зашитый въ бархатную сумочку, надѣлъ ей в шею. Она зарыдала и стала цѣловать его руки, а кучер между тѣмъ выпулъ изъ передка саней полубутылку шам панскаго и три бокала.

— Ну! — сказалъ Николай Артемьевичъ, а у самог слезы такъ и капали на бобровый воротникъ шинели:— надо проводить... и пожелать...—Онъ сталъ наливать шам панское; руки его дрожали, пѣна поднималась через край и падала на снѣгъ. Онъ взялъ одинъ бокалъ, а дв другіе подалъ Еленѣ и Инсарову, который уже успѣл помѣститься возлѣ нея.—Дай Богъ вамъ...—началъ Ни колай Артемьевичъ, и не могъ договорить — и выпил вино; тѣ тоже выпили. — Теперь вамъ бы слѣдовал

господа. — прибавилъ онъ, обращаясь къ Шубину и Берсеневу, — но въ это мгновеніе ямщикъ тронулъ лошадей. Николай Артемьевичъ побѣжалъ рядомъ съ повозкой.— Смотри жъ, пиши намъ, — говорилъ онъ прерывистымъ голосомъ. Елена выставила голову, промолвила: „прощайте, папенька, Андрей Петровичъ, Павелъ Яковлевичъ, прощайте всѣ, прощай Россія!“ и откинулась назадъ. Ямщикъ взмахнулъ кнутомъ, засвисталъ; повозка, заскрипѣвъ полозьями, повернула изъ воротъ направо — и исчезла.

XXXIII.

Былъ свѣтлый апрѣльскій день. По широкой лагунѣ, отдѣляющей Венецію отъ узкой полосы наноснаго морского песку, называемой Лидо, скользила острогрудая гондола, мѣрно покачиваясь при каждомъ толчкѣ падавшаго на длинное весло гондольера. Подъ низенькою ея крышей, на мягкихъ кожаныхъ подушкахъ, сидѣли Елена и Инсаровъ.

Черты лица Елены немного измѣнились со дня ея отъѣзда изъ Москвы; но выраженіе ихъ стало другое: оно было обдуманнѣе и строже, и глаза глядѣли смѣлѣе. Все ея тѣло расцвѣло, и волосы, казалось, пышнѣе и гуще лежали вдоль бѣлаго лба и свѣжихъ щекъ. Въ однѣхъ только губахъ, когда она не улыбалась, сказывалось едва замѣтною складкой присутствіе тайной, постоянной заботы. У Инсарова, напротивъ, выраженіе лица осталось то же, но черты его жестоко измѣнились. Онъ похудѣлъ, постарѣлъ, поблѣднѣлъ, сгорбился; онъ почти безпрестанно кашлялъ короткимъ, сухимъ кашлемъ, и впалые глаза его блестѣли страннымъ блескомъ. На пути изъ Россіи, Инсаровъ пролежалъ почти два мѣсяца больной въ Вѣнѣ, и только въ концѣ марта пріѣхалъ съ женой въ Венецію: онъ оттуда надѣялся пробраться черезъ Зару въ Сербію, въ Болгарію; другіе пути ему были закрыты. Война уже кипѣла на Дунаѣ; Англія и Франція объявили Россіи войну, всѣ славянскія земли волновались и готовились къ возстанію.

Гондола пристала ко внутреннему краю Лидо. Елена и Инсаровъ отправились по узкой песчаной дорожкѣ обсаженной чахоточными деревцами (ихъ каждый год сажаютъ, и они умираютъ каждый годъ) на внѣшній край Лидо, къ морю.

Они пошли по берегу. Адріатика катила передъ ними свои мутно-синія волны; онѣ пѣнились, шипѣли, набѣгали и, скатываясь назадъ, оставляли на пескѣ мелкіе раковины и обрывки морскихъ травъ.

— Какое унылое мѣсто!—замѣтила Елена.—Я боюсь, не слишкомъ ли здѣсь холодно для тебя; но я догадываюсь зачѣмъ ты хотѣлъ сюда пріѣхать.

— Холодно!—возразилъ съ быстрою, но горькою усмѣшкой Инсаровъ.—Хорошъ я буду солдатъ, коли мнѣ холод бояться. А пріѣхалъ я сюда... я тебѣ скажу зачѣмъ. Гляжу на это море, и мнѣ кажется, что отсюда ближе д моей родины. Вѣдь она тамъ,—прибавилъ онъ, протянув руку на востокъ.—Вотъ и вѣтеръ оттуда тянетъ.

— Не пригонитъ ли этотъ вѣтеръ тотъ корабль, который ты ждешь?—сказала Елена:—вотъ бѣлѣетъ парус ужъ не онъ ли это?

Инсаровъ посмотрѣлъ въ морскую даль, куда показывала ему Елена.

— Рендичъ обѣщался черезъ недѣлю все намъ устроить,—замѣтилъ онъ. — На него, кажется, положиться можно.. Слышала ты, Елена,—прибавилъ онъ съ внезапнымъ одушевленіемъ: — говорятъ, бѣдные далматскіе рыбаки пожертвовали своими свинчатками, — ты знаешь, этими тяжестями, отъ которыхъ невода на дно опускаются, — на пули! Денегъ у нихъ не было, они только и живутъ, что рыбною ловлей; но они съ радостію отдали свое послѣднее достояніе, и голодаютъ теперь. Что̀ за народъ!

— Aufgepasst!—крикнулъ сзади ихъ надменный голосъ. Раздался глухой топотъ лошадиныхъ копытъ, и австрійскій офицеръ, въ короткой сѣрой тюникѣ и зеленом картузѣ, проскакалъ мимо ихъ... Они едва успѣли посторониться.

Инсаровъ мрачно посмотрѣлъ ему вслѣдъ.

— Онъ не виноватъ,—промолвила Елена:—ты знаешь, у нихъ здѣсь нѣтъ другого мѣста, чтобы наѣзжать лошадей.

— Онъ не виноватъ,—возразилъ Инсаровъ:—да кровь онъ мнѣ расшевелилъ своимъ крикомъ, своими усами, своимъ картузомъ, всей своей наружностью. Вернемся.

— Вернемся, Дмитрій. Притомъ здѣсь въ самомъ дѣлѣ дуетъ. Ты не поберегся послѣ твоей московской болѣзни, и поплатился за это въ Вѣнѣ. Надо теперь быть осторожнѣе.

Инсаровъ промолчалъ, только прежняя горькая усмѣшка скользнула по его губамъ.

— Хочешь?—продолжала Елена:—покатаемся по Canal Grande. Вѣдь мы съ тѣхъ поръ, какъ здѣсь, хорошенько не видѣли Венеціи. А вечеромъ поѣдемъ въ театръ: у меня есть два билета на ложу. Говорятъ, новую оперу даютъ. Хочешь, мы нынѣшній день отдадимъ другъ другу, позабудемъ о политикѣ, о войнѣ, обо всемъ, будемъ знать только одно: что мы живемъ, дышимъ, думаемъ вмѣстѣ, что мы соединены навсегда... Хочешь?

— Ты этого хочешь, Елена, — отвѣчалъ Инсаровъ:— стало-быть, и я этого хочу.

— Я это знала, — замѣтила съ улыбкой Елена.— Пойдемъ, пойдемъ.

Они вернулись въ гондолѣ, сѣли, и велѣли везти себя, не спѣша, по Canal Grande.

Кто не видалъ Венеціи въ апрѣлѣ, тому едва ли знакома вся несказанная прелесть этого волшебнаго города. Кротость и мягкость весны идутъ къ Венеціи, какъ яркое солнце лѣта къ великолѣпной Генуѣ, какъ золото и пурпуръ осени къ великому старцу — Риму. Подобно веснѣ, красота Венеціи и трогаетъ, и возбуждаетъ желанія; она томитъ и дразнитъ неопытное сердце, какъ обѣщаніе близкаго, незагадочнаго, но таинственнаго счастія. Все въ ней свѣтло, понятно, и все обвѣяно дремотною дымкой какой-то влюбленной тишины: все въ ней молчитъ, и все привѣтно; все въ ней женственно, начиная съ самаго имени: не даромъ ей одной дано названіе *Прекрасной*.

Громады дворцовъ, церквей, стоятъ легки и чудесны, какъ стройный сонъ молодого бога; есть что-то сказочное, что-то плѣнительно-странное въ зелено-сѣромъ блескѣ и шелковистыхъ отливахъ нѣмой волны каналовъ, въ безшумномъ бѣгѣ гондолъ, въ отсутствіи грубыхъ городскихъ звуковъ, грубаго стука, треска и гама. „Венеція умираетъ Венеція опустѣла“, говорятъ вамъ ея жители; но, быть можетъ, этой-то послѣдней прелести, прелести увяданія въ самомъ расцвѣтѣ и торжествѣ красоты, не доставало ей. Кто ея не видѣлъ, тотъ ея не знаетъ: ни Каналетти ни Гварди (не говоря уже о новѣйшихъ живописцахъ)— не въ силахъ передать этой серебристой нѣжности воздуха, этой улетающей и близкой дали, этого дивнаго созвучія изящнѣйшихъ очертаній и тающихъ красокъ Отжившему, разбитому жизнію не для чего посѣщать Венецію: она будетъ ему горька, какъ память о несбывшихся мечтахъ первоначальныхъ дней; но сладка будетъ она тому, въ комъ кипятъ еще силы, кто чувствуетъ себя благополучнымъ; пусть онъ принесетъ свое счастіе подъ ея очарованныя небеса, и какъ бы оно ни было лучезарно, она еще озолотитъ его неувядаемымъ сіяніемъ.

Гондола, въ которой сидѣли Инсаровъ и Елена, тихонько минула Riva dei Schiavoni, дворецъ дожей, Піаццетту, и вошла въ Большой-Каналъ. Съ обѣихъ сторонъ потянулись мраморные дворцы; они, казалось, тихо плыли мимо, едва давая взору обнять и понять всѣ свои красоты. Елена чувствовала себя глубоко-счастливою: въ лазури ея неба стояло одно темное облачко — и оно удалялось: Инсарову было гораздо лучше въ тотъ день. Они доплыли до крутой арки Ріальто и вернулись назадъ. Елена боялась холода церквей для Инсарова; но она вспомнила объ академіи delle Belle Arti, и велѣла гондольеру ѣхать туда. Они скоро обошли всѣ залы этого небольшого музея. Не будучи ни знатоками, ни дилетантами, они не останавливались передъ каждой картиной, не насиловали себя: какая-то свѣтлая веселость неожиданно нашла на нихъ. Имъ вдругъ все показалась очень забавно. (Дѣтямъ хорошо извѣстно это чувство.) Къ великому скандалу трехъ посѣ-

тителей англичанъ, Елена хохотала до слезъ надъ святымъ Маркомъ Тинторета, прыгающимъ съ неба, какъ лягушка въ воду, для спасенія истязаемаго раба; съ своей стороны, Инсаровъ пришелъ въ восторгъ отъ спины и икръ того энергическаго мужа въ зеленой хламидѣ, который стоитъ на первомъ планѣ Тиціановскаго *Вознесенія* и воздымаетъ руки вослѣдъ Мадонны; зато сама Мадонна— прекрасная, сильная женщина, спокойно и величественно стремящаяся въ лоно Бога Отца — поразила и Инсарова, и Елену; понравилась имъ также строгая и святая картина старика Чима да-Конельяно. Выходя изъ академіи, они еще разъ оглянулись на шедшихъ за ними англичанъ съ длинными, заячьими зубами и висячими бакенбардами — и засмѣялись; увидали своего гондольера съ куцою курткой и короткими панталонами—и засмѣялись; увидали торговку съ узелкомъ сѣдыхъ волосъ на самой вершинѣ головы — и засмѣялись пуще прежняго; посмотрѣли наконецъ другъ другу въ лицо — и залились смѣхомъ, а какъ только сѣли въ гондолу — крѣпко, крѣпко пожали другъ другу руку. Они пріѣхали въ гостиницу, побѣжали въ свою комнату, и велѣли подать себѣ обѣдать. Веселость не покидала ихъ и за столомъ. Они потчивали другъ друга, пили за здоровье московскихъ пріятелей, рукоплескали камеріеру за вкусное блюдо рыбы, и все требовали отъ него живыхъ frutti di mare; камеріере пожимался и шаркалъ ногами, а выходя отъ нихъ покачивалъ головой, и разъ даже со вздохомъ шепнулъ: poveretti! (бѣдняжки!) Послѣ обѣда они отправились въ театръ.

Въ театрѣ давали оперу Верди, довольно пошлую, сказать по совѣсти, но уже успѣвшую облетѣть всѣ европейскія сцены, оперу, хорошо извѣстную намъ, русскимъ — *Травіату*. Сезонъ въ Венеціи минулъ, и всѣ пѣвцы не возвышались надъ уровнемъ посредственности; каждый кричалъ, во сколько хватало силъ. Роль Віолетты исполняла артистка, не имѣвшая репутаціи, и судя по холодности къ ней публики, мало любимая, но не лишенная дарованія. Это была молодая, не очень красивая, черно-

глазая дѣвушка съ несовсѣмъ ровнымъ и уже разбитымъ голосомъ. Одѣта она была до наивности пестро и плохо: красная сѣтка покрывала ея волосы, платье изъ полинялаго голубого атласа давило ей грудь, толстыя шведскія перчатки восходили до острыхъ локтей; да и гдѣ-жъ было ей, дочери какого-нибудь бергамскаго пастуха, знать, какъ одѣваются парижскія камеліи! И держаться на сценѣ она не умѣла; но въ ея игрѣ было много правды и безхитростной простоты, и пѣла она съ той особенной страстностью выраженія и ритма, которая дается однимъ итальянцамъ. Елена и Инсаровъ сидѣли вдвоемъ въ темной ложѣ, возлѣ самой сцены; игривое расположеніе духа, которое нашло на нихъ въ академіи delle Belle Arti, все еще не проходило. Когда отецъ несчастнаго юноши, попавшаго въ сѣти соблазнительницы, появился на сценѣ въ гороховомъ фракѣ и взъерошенномъ бѣломъ парикѣ, раскрылъ криво ротъ и, самъ заранѣе смущаясь, выпустилъ унылое басовое *тремоло*, они чуть оба не прыснули... Но игра Віолетты подѣйствовала на нихъ.

— Этой бѣдной дѣвушкѣ почти не хлопаютъ,—сказала Елена:—а я въ тысячу разъ предпочитаю ее какой-нибудь самоувѣренной второстепенной знаменитости, которая бы ломалась и кривлялась и все била бы на эффектъ. Этой какъ будто самой не до шутки; посмотри, она не замѣчаетъ публики.

Инсаровъ припалъ къ краю ложи и пристально посмотрѣлъ на Віолетту.

— Да, — промолвилъ онъ: — она не шутитъ: смертью пахнетъ.

Елена умолкла.

Начался третій актъ. Занавѣсъ поднялся... Елена дрогнула при видѣ этой постели, этихъ завѣшенныхъ гардинъ, склянокъ съ лѣкарствомъ, заслоненной лампы... Вспомнилось ей близкое прошедшее... „А будущее? А настоящее?“ мелькнуло у ней въ головѣ. Какъ нарочно, въ отвѣтъ на притворный кашель актрисы раздался въ ложѣ глухой, неподдѣльный кашель Инсарова... Елена

украдкой взглянула на него, и тотчасъ же придала своимъ чертамъ выраженіе безмятежное и спокойное; Инсаровъ ее понялъ, и самъ началъ улыбаться и чуть-чуть подтягивать пѣнію.

Но онъ скоро притихъ. Игра Віолетты становилась все лучше, все свободнѣе. Она отбросила все постороннее, все ненужное и *нашла себя*: рѣдкое, высочайшее счастіе для художника! Она вдругъ переступила ту черту, которую опредѣлить невозможно, но за которой живетъ красота. Публика встрепенулась, удивилась. Некрасивая дѣвушка съ разбитымъ голосомъ начинала забирать ее въ руки, овладѣвать ею. Но уже и голосъ пѣвицы не звучалъ, какъ разбитый: онъ согрѣлся и окрѣпъ. Явился „Альфредо"; радостный крикъ Віолетты чуть не поднялъ той бури, имя которой fanatismo, и передъ которой ничто всѣ наши сѣверныя завыванія... Мгновеніе—и публика опять замерла. Начался дуэтъ, лучшій нумеръ оперы, въ которомъ удалось композитору выразить всѣ сожалѣнія безумно растраченной молодости, послѣднюю борьбу отчаянной и безсильной любви. Увлеченная, подхваченная дуновеніемъ общаго сочувствія, съ слезами художнической радости и дѣйствительнаго страданія на глазахъ, пѣвица отдалась подпимавшей ее волнѣ, лицо ея преобразилось, и передъ грознымъ призракомъ внезапно приблизившейся смерти, съ такимъ, до неба достигающимъ, порывомъ моленья, исторглись у ней слова: „Lascia mi vivere... morir si giovane" (дай мнѣ жить... умереть такой молодой!), что весь театръ затрещалъ отъ бѣшеныхъ рукоплесканій и восторженныхъ кликовъ.

Елена вся похолодѣла. Она начала тихо искать своею рукою руку Инсарова, нашла ее и стиснула ее крѣпко. Онъ отвѣтилъ на ея пожатіе; но ни она не посмотрѣла на него, ни онъ на нее. Это пожатіе не походило на то, которымъ они, нѣсколько часовъ тому назадъ, привѣтствовали другъ друга въ гондолѣ.

Они поплыли въ свою гостиницу опять по Canal Grande. Ночь уже наступила, свѣтлая, мягкая ночь. Тѣ же дворцы потянулись имъ навстрѣчу, но они казались другими. Тѣ

изъ нихъ, которые освѣщала луна, золотисто бѣлѣли, въ самой этой бѣлизнѣ какъ будто исчезали подробное украшеній и очертанія оконъ и балконовъ; онѣ отчетл вѣе выдавались на зданіяхъ, залитыхъ легкой мгл ровной тѣни. Гондолы съ своими маленькими красны огонечками, казалось, еще неслышнѣе и быстрѣе бѣжа таинственно блистали ихъ стальные гребни, таинствен вздымались и опускались весла надъ серебряными р ками возмущенной струи; тамъ, сямъ, коротко и негром восклицали гондольеры (они теперь никогда не поют другихъ звуковъ почти не было слышно. Гостиница, г жили Инсаровъ и Елена, находилась на Riva dei Sch voni; не доѣзжая до нея, они вышли изъ гондолы и п шлись нѣсколько разъ вокругъ площади святого Мар подъ арками, гдѣ передъ крошечными кофейными тол лось множество празднаго народа. Ходить вдвоемъ любимымъ существомъ въ чужомъ городѣ, среди чужи какъ-то особенно пріятно: все кажется прекраснымъ значительнымъ, всѣмъ желаешь добра, мира и того счастія, которымъ исполненъ самъ. Но Елена уже могла безпечно предаваться чувству своего счастія: серд ея, потрясенное недавними впечатлѣніями, не могло усп коиться; а Инсаровъ, проходя мимо дворца дожей, ук залъ, молча, на жерла австрійскихъ пушекъ, выглядыва шихъ изъ-подъ нижнихъ сводовъ, и надвинулъ шля на брови. Притомъ онъ чувствовалъ себя усталымъ— взглянувъ въ послѣдній разъ на церковь св. Марка, на куполы, гдѣ подъ лучами луны на голубоватомъ свин зажигались пятна фосфорическаго свѣта, они медлен вернулись домой.

Комнатка ихъ выходила окнами на широкую лагун разстилающуюся отъ Riva dei Schiavoni до Джіудекк Почти напротивъ ихъ гостиницы возвышалась острок нечная башня св. Георгія; направо, высоко въ воздух сверкалъ золотой шаръ Доганы — и разубранная, ка невѣста, стояла красивѣйшая изъ церквей, Redentor Палладія; налѣво черпѣли мачты и реи кораблей, труб пароходовъ; кое-гдѣ висѣлъ, какъ большое крыло, нап

ловину подобранный парусъ, и вымпела едва шевелились. Инсаровъ присѣлъ передъ окномъ, но Елена не дала ему долго любоваться видомъ; у него вдругъ показался жаръ, его охватила какая-то пожирающая слабость. Она уложила его въ постель и, дождавшись пока онъ заснулъ, тихонько вернулась къ окну. О, какъ тиха и ласкова была ночь, какою голубиною кротостію дышалъ лазурный воздухъ, какъ всякое страданіе, всякое горе должно было замолкнуть и заснуть подъ этимъ яснымъ небомъ, подъ этими святыми, невинными лучами! „О, Боже,—думала Елена:—зачѣмъ смерть, зачѣмъ разлука, болѣзнь и слезы? или зачѣмъ эта красота, это сладостное чувство надежды, зачѣмъ успокоительное сознаніе прочнаго убѣжища, неизмѣнной защиты, безсмертнаго покровительства? Что̀ же значитъ это улыбающееся, благословляющее небо, эта счастливая, отдыхающая земля? Ужели это все только въ насъ, а внѣ насъ вѣчный холодъ и безмолвіе? Ужели мы одни... одни... а тамъ, повсюду, во всѣхъ этихъ недосягаемыхъ безднахъ и глубинахъ,—все, все намъ чуждо? Къ чему же тогда эта жажда и радость молитвы? („Morir si giovane“ зазвучало у нея въ душѣ)... Неужели же нельзя умолить, отвратить, спасти... О, Боже! неужели нельзя вѣрить чуду?“ Она положила голову на сжатыя руки. „Довольно?“ шепнула она. „Неужели уже довольно! Я была счастлива, не однѣ только минуты, не часы, не цѣлые дни — нѣтъ, цѣлыя недѣли сряду. А съ какого права?“ Ей стало страшно своего счастія. „А если этого нельзя?—подумала она.—Если это не дается даромъ? Вѣдь это было небо... а мы люди, бѣдные, грѣшные люди... Morir si giovane... О, темный призракъ, удались! Не для меня одной нужна его жизнь!“

„Но если это—наказаніе“, подумала она опять: „если мы должны теперь внести полную уплату за нашу вину? Моя совѣсть молчала, она теперь молчитъ, но развѣ это доказательство невинности? О, Боже, неужели мы такъ преступны! Неужели Ты, создавшій эту ночь, это небо, захочешь наказать насъ за то, что мы любили? А если

такъ, если онъ виноватъ, если я виновата, — прибави
она съ невольнымъ порывомъ:—такъ дай ему, о, Боже, д
намъ обоимъ умереть по крайней мѣрѣ честной, слави
смертью—тамъ, на родныхъ его поляхъ, а не здѣсь,
въ этой глухой комнатѣ".

„А горе бѣдной, одинокой матери?" спросила она се
и сама смутилась, и не нашла возраженій на свой вопро
Елена не знала, что счастіе каждаго человѣка основа
на несчастіи другого, что даже его выгода и удобст
требуютъ, какъ статуя—пьедестала, невыгоды и неуд
ства другихъ.

„Рендичъ!" пролепеталъ сквозь сонъ Инсаровъ.

Елена подошла къ нему на цыпочкахъ, нагнулась на
нимъ и отерла потъ съ его лица. Онъ пометался немн
на подушкѣ и затихъ.

Она опять подошла къ окну, и опять взяли ее дум
Она начала самоё-себя уговаривать и увѣрять себя, ч
нѣтъ причинъ бояться. Она даже устыдилась своей с
бости. „Развѣ есть опасность? развѣ ему не лучше?" ше
нула она. „Вѣдь если бы мы не были сегодня въ театр
мнѣ бы все это въ голову не пришло". Въ это мгновен
она увидѣла высоко надъ водой бѣлую чайку; ее, вѣр
ятно, вспугнулъ рыбакъ, и она летала молча, неровны
полетомъ, какъ бы высматривая мѣсто, гдѣ бы опуститьс
„Вотъ, если она полетитъ сюда", подумала Елена: „э
будетъ хорошій знакъ"... Чайка закружилась на мѣст
сложила крылья—и, какъ подстрѣленная, съ жалобны
крикомъ пала куда-то далеко за темный корабль. Еле
вздрогнула, а потомъ ей стало совѣстно, что она вздро
нула, и она, не раздѣваясь, прилегла на постель воз
Инсарова, который дышалъ тяжело и часто.

XXXIV.

Инсаровъ проснулся поздно, съ глухою болью въ
ловѣ, съ чувствомъ, какъ онъ выразился, безобразной с
бости во всемъ тѣлѣ. Однако, онъ всталъ.

— Рендичъ не приходилъ? — было его первымъ
просомъ.

— Нѣтъ еще,—отвѣчала Елена и подала ему послѣдній нумеръ „Osservatore Triestino“, въ которомъ много говорилось о войнѣ, о славянскихъ земляхъ, о княжествахъ. Инсаровъ началъ читать; она занялась приготовленіемъ для него кофе... Кто-то постучался въ дверь.

„Рендичъ“, подумали оба, но стучавшій проговорилъ по-русски: „можно войти?“ Елена и Инсаровъ переглянулись съ изумленіемъ, и, не дождавшись ихъ отвѣта, вошелъ въ комнату щегольски-одѣтый человѣкъ, съ маленькимъ, остренькимъ лицомъ и бойкими глазками. Онъ весь сіялъ, какъ будто только-что выигралъ огромныя деньги или услышалъ пріятнѣйшую новость.

Инсаровъ приподнялся со стула.

— Вы не узнаете меня,—заговорилъ незнакомецъ, развязно подходя къ нему и любезно кланяясь Еленѣ.— Лупояровъ, помните, мы въ Москвѣ встрѣтились у Е....хъ?

— Да, у Е....хъ,—произнесъ Инсаровъ.

— Какъ же, какъ же! Прошу васъ представить меня вашей супругѣ. Сударыня, я всегда глубоко уважалъ Дмитрія Васильевича... (онъ поправился): Никанора Васильевича,—и очень счастливъ, что имѣю, наконецъ, честь съ вами познакомиться. Вообразите,—продолжалъ онъ, обратившись къ Инсарову:—я только вчера вечеромъ узналъ, что вы здѣсь. Я тоже стою въ этой гостиницѣ. Что это за городъ, эта Венеція—поэзія, да и только! Одно ужасно: проклятые австріяки на каждомъ шагу! — ужъ эти мнѣ австріяки! Кстати, слышали вы, на Дунаѣ произошло рѣшительное сраженіе: 300 турецкихъ офицеровъ убито, Силистрія взята, Сербія уже объявила себя независимою. Не правда ли, вы, какъ патріотъ, должны быть въ восторгѣ? Во мнѣ самомъ славянская кровь такъ и кипитъ! Однако, я совѣтую вамъ быть осторожнѣе; я увѣренъ, что за вами наблюдаютъ. Шпіонство здѣсь ужасное! Вчера подходитъ ко мнѣ какой-то подозрительный человѣкъ и спрашиваетъ: „русскій ли я?“ Я ему сказалъ, что я датчанинъ... А только вы должно-быть нездоровы, любезнѣйшій Никаноръ Васильевичъ. Вамъ надобно полѣчиться; сударыня, вы должны полѣчить вашего мужа. Я вчера,

какъ сумасшедшій, бѣгалъ по дворцамъ и по церквамъ— вѣдь вы были во дворцѣ дожей? Что за богатство вездѣ! Особенно эта большая зала, и мѣсто Марино Фаліеро; такъ и стоитъ: decapitati pro criminibus. Я былъ и въ знаменитыхъ тюрьмахъ: вотъ гдѣ душа моя возмутилась—я, вы, можетъ-быть, помните—всегда любилъ заниматься соціальными вопросами и возставалъ противъ аристократіи— вотъ бы я куда привелъ защитниковъ аристократіи: въ эти тюрьмы; справедливо сказалъ Байронъ: „T stood in Venice on the bridge of sighs"; впрочемъ, и онъ былъ аристократъ. Я всегда былъ за прогрессъ. Молодое поколѣніе все за прогрессъ. А каковы англо-французы? Посмотримъ, много ли они сдѣлаютъ: Бустрапà и Пальмерстонъ. Вы знаете, Пальмерстонъ сдѣлался первымъ министромъ. Нѣтъ, что ни говорите, русскій кулакъ не шутка. Ужасный плутъ этотъ Бустрапà! Хотите, я вамъ дамъ les Châtiments de Victor Hugo — удивительно! L'avenir le gendarme de Dieu — смѣло немножко сказано — но сила, сила. Хорошо также сказалъ князь Вяземскій: „Европа твердитъ: Башъ-Кадыкъ-Ларъ, глазъ не сводя съ Синопа". Я люблю поэзію. У меня также есть послѣдняя книжка Прудона, у меня все есть. Не знаю, какъ вы, а я радъ войнѣ; только какъ бы домой не потребовали, а я собираюсь отсюда во Флоренцію, въ Римъ: во Францію нельзя— такъ я думаю въ Испанію — женщины тамъ, говорятъ, удивительныя, только бѣдность и насѣкомыхъ много. Махнулъ бы въ Калифорнію, намъ, русскимъ, все ни почемъ, да я одному редактору далъ слово изучить въ подробности вопросъ о торговлѣ въ Средиземномъ морѣ. Вы скажете, предметъ не интересный, спеціальный, но намъ нужны, нужны спеціалисты, довольно мы философствовали, теперь нужна практика, практика... А вы очень нездоровы, Никаноръ Васильевичъ, я васъ, можетъ-быть, утомляю, но все равно, я еще посижу немножко...

И долго еще трещалъ такимъ образомъ Лупояровъ и, уходя, обѣщалъ побывать.

Измученный нежданымъ посѣщеніемъ, Инсаровъ легъ *на диванъ*.

— Вотъ,—съ горечью промолвилъ онъ, взглянувъ на Елену:—вотъ ваше молодое поколѣніе! Иной важничаетъ и рисуется, а въ душѣ такой же свистунъ, какъ этотъ господинъ.

Елена не возражала своему мужу: въ это мгновеніе ее гораздо больше безпокоила слабость Инсарова, чѣмъ состояніе всего молодого поколѣнія Россіи... Она сѣла возлѣ него, взяла работу. Онъ закрылъ глаза и лежалъ неподвижно, весь блѣдный и худой. Елена взглянула на его рѣзко обрисовавшійся профиль, на его вытянутыя руки, и внезапный страхъ защемилъ ей сердце.

— Дмитрій...—начала она.

Онъ встрепенулся.

— Что̀? Рендичъ пріѣхалъ?

— Нѣтъ еще... но какъ ты думаешь—у тебя жаръ, ты, право, не совсѣмъ здоровъ, не послать ли за докторомъ!

— Тебя этотъ болтунъ напугалъ. Не нужно. Я отдохну немного и все пройдетъ. Мы послѣ обѣда опять поѣдемъ... куда-нибудь.

Прошло два часа... Инсаровъ все лежалъ на диванѣ, но заснуть не могъ, хотя не открывалъ глазъ. Елена не отходила отъ него; она уронила работу на колѣни и не шевелилась.

— Отчего ты не спишь?—спросила она его наконецъ.

— А вотъ, погоди.—Онъ взялъ ея руку и положилъ ее себѣ подъ голову. — Вотъ такъ... хорошо. Разбуди меня сейчасъ, какъ только Рендичъ пріѣдетъ. Если онъ скажетъ, что корабль готовъ, мы тотчасъ отправимся... Надобно все уложить.

— Уложить не долго,—отвѣчала Елена.

— Что̀ этотъ человѣкъ болталъ о сраженіи, о Сербіи,— проговорилъ, спустя немного, Инсаровъ. — Должно-быть, все выдумалъ. Но надо, надо ѣхать. Терять времени нельзя... Будь готова.

Онъ заснулъ, и все затихло въ комнатѣ.

Елена прислонилась головою къ спинкѣ кресла и долго глядѣла въ окно. Погода испортилась; вѣтеръ поднялся. Большія бѣлыя тучи быстро неслись по небу, тонкая

мачта качалась въ отдаленіи, длинный вымпелъ съ краснымъ крестомъ безпрестанно взвивался, падалъ и взвивался снова. Маятникъ старинныхъ часовъ стучалъ тяжко, съ какимъ-то печальнымъ шипѣніемъ. Елена закрыла глаза. Она дурно спала всю ночь; понемногу и она заснула.

Странный ей привидѣлся сонъ. Ей показалось, что она плыветъ въ лодкѣ по Царицынскому пруду съ какими-то незнакомыми людьми. Они молчатъ и сидятъ неподвижно, никто не гребетъ; лодка подвигается сама собой. Еленѣ не страшно, но скучно: ей бы хотѣлось узнать, что̀ это за люди, и зачѣмъ она съ ними? Она глядитъ, а прудъ ширится, берега пропадаютъ — ужъ это не прудъ, а безпокойное море: огромныя, лазуревыя, молчаливыя волны величественно качаютъ лодку; что-то гремящее, грозное, поднимается со дна; неизвѣстные спутники вдругъ вскакиваютъ, кричатъ, махаютъ руками... Елена узнаётъ ихъ лица: ея отецъ между ними. Но какой-то бѣлый вихорь налетаетъ на волны... все закружилось, смѣшалось...

Елена осматривается: попрежнему все бѣло вокругъ; но это снѣгъ, снѣгъ, безконечный снѣгъ. И она ужъ не въ лодкѣ, она ѣдетъ, какъ изъ Москвы, въ повозкѣ; она не одна: рядомъ съ ней сидитъ маленькое существо, закутанное въ старенькій салопъ. Елена вглядывается: это Катя, ея бѣдная подружка. Страшно становится Еленѣ. Развѣ она не умерла? думаетъ она.

— Катя, куда это мы съ тобой ѣдемъ?

Катя не отвѣчаетъ и завертывается въ свой салопчикъ: она зябнетъ. Еленѣ тоже холодно; она смотритъ вдоль по дорогѣ: городъ виднѣется вдали сквозь снѣжную пыль. Высокія бѣлыя башни съ серебряными главами... Катя, Катя, это Москва? Нѣтъ, думаетъ Елена, это Соловецкій монастырь: тамъ много, много маленькихъ тѣсныхъ келій; какъ въ ульѣ; тамъ душно, тѣсно,—тамъ Дмитрій запертъ. Я должна его освободить... Вдругъ сѣдая, зіяющая пропасть разверзается передъ нею. Повозка падаетъ, Катя смѣется. Елена, Елена! слышится голосъ изъ бездны.

„Елена!“ раздалось явственно въ ея ушахъ. Она бы-

ро подняла голову, обернулась и обомлѣла: Инсаровъ, лый, какъ снѣгъ, снѣгъ ея сна, приподнялся до полоны съ дивана, и глядѣлъ на нее большими, свѣтлыми, рашными глазами. Волосы его разсыпались по лбу, губы ранно раскрылись. Ужасъ, смѣшанный съ какимъ-то скливымъ умиленіемъ, выражался на его внезапно-измѣвшемся лицѣ.

— Елена!—произнесъ онъ:—я умираю.

Она съ крикомъ упала на колѣни и прижалась къ его руди.

— Все кончено, — повторилъ Инсаровъ: — я умираю... рощай, моя бѣдная! Прощай, моя родина!..

И онъ навзничь опрокинулся на диванъ.

Елена выбѣжала изъ комнаты, стала звать на помощь, меріѐре бросился за докторомъ. Елена припала къ Инрову.

Въ это мгновенье на порогѣ двери показался человѣкъ крокоплечій, загорѣлый, въ толстомъ байковомъ пальто клеенчатой низкой шляпѣ. Онъ остановился въ недоѣніи.

— Рендичъ!—воскликнула Елена:—это вы! Посмотрите, ди Бога, съ нимъ дурно! Что̀ съ нимъ? Боже, Боже! ъ вчера выѣзжалъ, онъ сейчасъ говорилъ со мною...

Рендичъ ничего не сказалъ и только посторонился. Мимо о проворно прошмыгнула маленькая фигурка въ парикѣ въ очкахъ: это былъ докторъ, жившій въ той же гостиницѣ. Онъ приблизился къ Инсарову.

— Синьора, — сказалъ онъ, спустя нѣсколько мгновеній:—господинъ иностранецъ скончался — il signore forestiere e morto,—отъ аневризма, соединеннаго съ разстройствомъ легкихъ.

XXXV.

На другой день, въ той же комнатѣ, у окна стоялъ Рендичъ; передъ нимъ, закутавшись въ шаль, сидѣла Елена. Въ сосѣдней комнатѣ въ гробу лежалъ Инсаровъ. Лицо Елены было и испугано, и безжизненно; на лбу, между бровями, появились двѣ морщины: онѣ придавали напря-

женное выраженіе ея неподвижнымъ глазамъ. На ок лежало раскрытое письмо Анны Васильевны. Она зв свою дочь въ Москву, хоть на мѣсяцъ, жаловалась на с одиночество, на Николая Артемьевича, кланялась Ин рову, освѣдомлялась объ его здоровьѣ и просила его пустить жену.

Рендичъ былъ далматъ, морякъ, съ которымъ Инсаро познакомился во время своего путешествія на родину, котораго онъ отыскалъ въ Венеціи. Это былъ челов суровый, грубый, смѣлый и преданный славянскому дѣ Онъ презиралъ турокъ и ненавидѣлъ австрійцевъ.

— Сколько времени вы должны остаться въ Венеціи спросила его по-итальянски Елена. И голосъ ея былъ б жизни, какъ и лицо.

— День, чтобы нагрузиться и не возбудить подозрѣн а тамъ прямо въ Зару. Не обрадую я нашихъ земляко Его уже давно ждали; на него надѣялись.

— На него надѣялись,—повторила машинально Еле

— Когда вы его хороните?—спросилъ Рендичъ.

Елена не тотчасъ отвѣчала:

— Завтра.

— Завтра? я останусь: я хочу бросить горсть земли его могилу. Надо жъ и вамъ помочь. А лучше было ему лежать въ славянской землѣ.

Елена поглядѣла на Рендича.

— Капитанъ,—сказала она:—возьмите меня съ нимъ перевезите насъ по ту сторону моря, прочь отсюда. В можно это?

Рендичъ задумался.

— Возможно, только хлопотно. Надобно будетъ возить съ здѣшнимъ проклятымъ начальствомъ. Но положи мы это все уладимъ, похоронимъ его тамъ; какъ же васъ назадъ доставлю?

— Вамъ не нужно будетъ доставлять меня назадъ.

— Какъ? Гдѣ же вы останетесь?

— Я уже найду себѣ мѣсто; только возьмите на возьмите меня.

Рендичъ почесалъ у себя въ затылкѣ.

— Какъ знаете, но все это очень хлопотно. Пойду, по-
лтаюсь: а вы ждите меня здѣсь часа черезъ два.

Онъ ушелъ. Елена перешла въ сосѣднюю комнату, при-
онилась къ стѣнѣ и долго стояла, какъ окаменѣлая,
отомъ она опустилась на колѣни, но молиться не могла.
ъ ея душѣ не было упрековъ; она не дерзала вопро-
ать Бога, зачѣмъ не пощадилъ, не пожалѣлъ, не сбе-
егъ, зачѣмъ наказалъ свыше вины, если и была вина?
аждый изъ насъ виноватъ уже тѣмъ, что живетъ, и
нѣтъ такого великаго мыслителя, нѣтъ такого благодѣ-
еля человѣчества, который въ силу пользы, имъ прино-
имой, могъ бы надѣяться на то, что имѣетъ право жить...
Но Елена молиться не могла: она окаменѣла.

Въ ту же ночь широкая лодка отчалила отъ гостиницы,
дѣ жили Инсаровы. Въ лодкѣ сидѣла Елена съ Ренди-
емъ и стоялъ длинный ящикъ, покрытый чернымъ сук-
омъ. Они плыли около часа и приплыли, наконецъ, къ
небольшому двухъ-мачтовому кораблику, который стоялъ
на якорѣ у самаго выхода гавани. Елена и Рендичъ взо-
ли на корабль; матросы внесли ящикъ. Съ полуночи
поднялась буря, но поутру рано корабль уже миновалъ
ндо. Въ теченіе дня буря разыгралась съ страшною си-
ой, и опытные моряки въ конторахъ „Ллойда“ качали
головами и не ждали ничего добраго. Адріатическое море
между Венеціей, Тріестомъ и далматскимъ берегомъ чрез-
вычайно опасно.

Недѣли три послѣ отъѣзда Елены изъ Венеціи, Анна
Васильевна получила въ Москвѣ слѣдующее письмо:

„Милые мои родные, я навсегда прощаюсь съ вами. Вы
меня больше не увидите. Вчера скончался Дмитрій. Все
кончено для меня. Сегодня я уѣзжаю съ его тѣломъ въ
Варну. Я его схороню, и что со мной будетъ, не знаю!
Но уже мнѣ нѣтъ другой родины, кромѣ родины Д. Тамъ
готовится возстаніе, собираются на войну; я пойду въ
сестры милосердія; буду ходить за больными, ранеными.
И не знаю, что со мною будетъ, но я и послѣ смерти Д.
останусь вѣрна его памяти, дѣлу всей его жизни. Я вы-
училась по-болгарски и по-сербски. Вѣроятно, я всего

этого не перенесу — тѣмъ лучше. Я приведена на кр
бездны и должна упасть. Насъ судьба соединила не д
ромъ: кто знаетъ, можетъ-быть, я его убила; теперь о
очередь увлечь меня за собою. Я искала счастья—и найд
быть-можетъ, смерть. Видно, такъ слѣдовало; видно, бы
вина... Но смерть все прикрываетъ и примиряетъ, —
правда ли? Простите мнѣ всѣ огорченія, которыя я ва
причинила; это было не въ моей волѣ. А вернуться
Россію—зачѣмъ? Что дѣлать въ Россіи?

„Примите мои послѣднія лобзанія и благословенія и
осуждайте меня“. Е.

Съ тѣхъ поръ минуло уже около пяти лѣтъ, и ни
кой вѣсти не приходило больше объ Еленѣ. Безплод
остались всѣ письма, запросы; напрасно самъ Никол
Артемьевичъ, послѣ заключенія мира, ѣздилъ въ Венеці
въ Зару; въ Венеціи онъ узналъ то, что уже извѣст
читателю, а въ Зарѣ никто не могъ дать ему полож
тельныхъ свѣдѣній о Рендичѣ и кораблѣ, который он
нанялъ. Ходили темные слухи, будто бы, нѣсколько лѣ
тому назадъ, море, послѣ сильной бури, выкинуло н
берегъ гробъ, въ которомъ нашли трупъ мужчины... П
другимъ, болѣе достовѣрнымъ свѣдѣніямъ, гробъ это
вовсе не былъ выкинутъ моремъ, но привезенъ и похор
ненъ возлѣ берега иностранной дамой, пріѣхавшею и
Венеціи; нѣкоторые прибавляли, что даму эту видѣли в
томъ въ Герцеговинѣ при войскѣ, которое тогда собир
лось; описывали даже ея нарядъ, черный съ головы
ногъ. Какъ бы то ни было, слѣдъ Елены исчезъ навсег
и безвозвратно, и никто не знаетъ, жива ли она е
скрывается ли гдѣ, или уже кончилась маленькая и
жизни, кончилось ея легкое броженіе, и настала очере
смерти. Случается, что человѣкъ, просыпаясь, съ невол
нымъ испугомъ спрашиваетъ себя: неужели мнѣ уже три
цать... сорокъ... пятьдесятъ лѣтъ? Какъ это жизнь та
скоро прошла? Какъ это смерть такъ близко надвинула
Смерть, какъ рыбакъ, который поймалъ рыбу въ св
сѣть и оставляетъ ее на время въ водѣ: рыба еще н

ваетъ, но сѣть на ней, и рыбакъ выхватитъ ее — когда захочетъ.

Что̀ сталось съ остальными лицами нашего разсказа?

Анна Васильевна еще жива; она очень постарѣла послѣ поразившаго ее удара, жалуется меньше, но гораздо больше груститъ. Николай Артемьевичъ тоже постарѣлъ и посѣдѣлъ, и разстался съ Августиной Христіановной... Онъ теперь бранитъ все иностранное. Ключница его, красивая женщина лѣтъ тридцати, изъ русскихъ, ходитъ въ шелковыхъ платьяхъ и носитъ золотыя кольца и сережки. Курнатовскій, какъ человѣкъ съ темпераментомъ, и въ качествѣ энергическаго брюнета, охотникъ до миловидныхъ блондинокъ, женился на Зоѣ; она у него въ большомъ повиновеніи и даже перестала думать по-нѣмецки. Берсеневъ находится въ Гейдельбергѣ: его на казенный счетъ отправили за границу; онъ посѣтилъ Берлинъ, Парижъ, и не теряетъ даромъ времени; изъ него выйдетъ дѣльный профессоръ. Ученая публика обратила вниманіе на его двѣ статьи: *О нѣкоторыхъ особенностяхъ древнегерманскаго права въ дѣлѣ судебныхъ наказаній*, и—*О значеніи городского начала въ вопросѣ цивилизаціи;* жаль только, что обѣ статьи написаны языкомъ нѣсколько тяжелымъ и испещрены иностранными словами. Шубинъ въ Римѣ; онъ весь предался своему искусству и считается однимъ изъ самыхъ замѣчательныхъ и многообѣщающихъ молодыхъ ваятелей. Строгіе туристы находятъ, что онъ не довольно изучилъ древнихъ, что у него нѣтъ „стиля“, и причисляютъ его къ французской школѣ; отъ англичанъ и американцевъ у него пропасть заказовъ. Въ послѣднее время много шуму надѣлала одна его Вакханка; русскій графъ Бобошкинъ, извѣстный богачъ, собирался было купить ее за 1,000 скуди, но предпочелъ дать 3,000 другому ваятелю, французу pur sang, за группу, изображающую „Молодую поселянку, умирающую отъ любви на груди Генія Весны“. Шубинъ изрѣдка переписывается съ Уваромъ Ивановичемъ, который одинъ нисколько и ни въ чемъ не измѣнился. „Помните“, писалъ

14 DAY USE
RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED

LOAN DEPT.

This book is due on the last date stamped below, or
on the date to which renewed.
Renewed books are subject to immediate recall.

RENEWALS ONLY Tel. No. 642-3405

OCT 1 0 1962

RECEIVED
MAR 7 '69 -2 PM
LOAN DEPT.

RECEIVED
DEC 5 '68 -11 AM
LOAN DEPT.

OCT 7 1970 6

REC. CIR.

NOV 25 1977
REC. CIR. NOV 7 '77

OCT 21 1993

AUTO DISC CIRC NOV 05 '93

LD 21A-10m-1,'68
(H7452s10)476B

General Library
University of California
Berkeley

C045451661